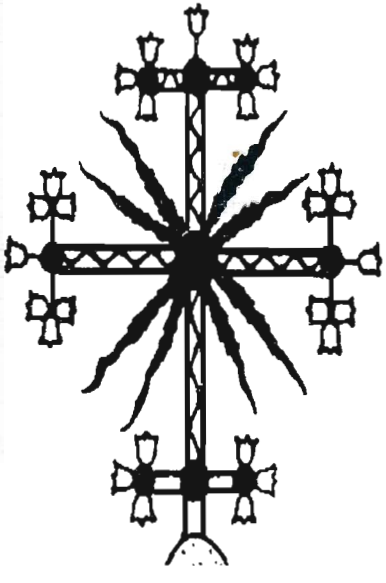
Исследования в области балто-славянской духовной культуры

Загадка как текст

1



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Институт славяноведения и балканистики

Исследования в области балто-славянской духовной культуры

Загадка как текст. 1

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИНДРИК»
1994

ББК 81
И85

Ответственный редактор:
доктор филологических наук *Т.М. Николаева*

Ответственный секретарь:
кандидат филологических наук *Л.Г.Невская*

Рецензенты:
кандидат филологических наук *Т.А. Агапкина*
доктор филологических наук *С.Ю. Неклюдов*

И85 **Исследования в области балто-славянской духовной культуры: Загадка как текст. 1.** — М.: Издательство "Индрик", 1994. — 270 с.
ISBN 5-85759-004-3

Загадка — это один из самых дискуссионных вопросов современной паремиологии.

В первом томе монографии рассматривается генезис, структура и язык загадки и ее отношения к пословице, заговору и другим видам паремий. Исследуются также прагматические аспекты этого жанра.

Книга рассчитана на лингвистов, фольклористов и всех, кто интересуется проблемами традиционной народной культуры.

Studies on baltic-slavic traditional spiritual culture: Riddle as text. 1. — M., 1994. — 270 p.

The riddle is one of the most discussed topics in the current paremiology.

The first volume of the monograph contains sections on the genesis, the structure and the language of the riddle and its relation to the proverb, charm and other types of paremia. The problem of the pragmatic of this genre is aslo considered in details.

The book is assigned to linguists, folklorists and those who are interested in the problems of the traditional spiritual culture..

© Институт славяноведения и балканистики РАН, 1994

ISBN 5-85759-004-3 ББК 81

Предисловие

Эта монография носит название "Загадка как текст", и именно такое именование полностью адекватно и содержанию книги, и, в еще большей степени, ее замыслу. Загадка — текст, отражающий постижение мира человеком, текст, обращенный к человеку же, и потому вся исследовательская телеология представляемых ниже глав безусловно антропоцентрична.

По своей филологической ориентации монография примыкает к ряду предшествующих изданий, выполненных с тех же позиций и практически теми же людьми. Это в первую очередь книги "Структура текста" (1980), "Текст: семантика и структура" (1983), "Исследования по структуре текста" (1987), "Лингвистические основы балканской модели мира" Т.В. Цивьян, монографии о погребальном обряде, о заговоре и многочисленные тезисы конференций и отдельных работ авторов этой книги.

Начиная с доклада В.В. Иванова и В.Н. Топорова на IV конгрессе славистов, посвященного идее реконструкции текста, в работах их последователей текст рассматривается непременно как билатеральное единство, единение смысла и формы, причем каждая из этих сторон создает свои собственные связи в замкнутом вербальном пространстве. Поэтому понимание онтологической сущности загадки оказывается немыслимым без равно важного рассмотрения этих двух сторон.

Важным оказывается таким образом не жанровая ориентированность загадки, не дуальные противопоставления в ней действительности, а ее антропоцентрическая сущность.

Поэтому, строго говоря, предлагаемое сочинение не является ни собственно паремиологическим, ни даже фактом фольклористики.

Все кратко характеризуемые ниже главы в той или иной степени — и прежде всего вместе взятые — направлены на постижение сути загадки, предпосылок и причин ее существования.

В этом отношении естественно в первую очередь назвать главу В.Н. Топорова, непосредственно адресованную к концептуальному статусу загадки. Вслед за известной и часто цитируемой в книге статьей Т.Я. Елизаренковой и В.Н. Топорова о ведийской загадке типа brahmodya загадка понимается здесь как один из основных способов постижения Вселенной через ее членение и установление тождества между расчлененными компонентами. Подобное мышление строится на сознании единства Макро- и Микромира, при одновременном сознании отдельности и, точнее, объективности, их существования. Вселенная существует вне нас и в то же время в нас, а сама Вселенная есть в то же время и Всечеловек. При таком взгляде на

мир естественным орудием постижения является тождество, познание через сопоставление. Индуктивно-дедуктивный подход принадлежит иному миропониманию, с космосом, уже отделенным ментально от человека.

Содержательному ядру "загадочной" онтологии, в связи с общей установкой на билатериальность текстового воздействия, соответствует и выявленное общими усилиями участников исследования (см. у Вяч.Вс. Иванова, Т.М. Николаевой, Т.Н. Молошной и др.) категориально-грамматическое ядро наиболее древнего пласта загадки балтов и славян. Это прежде всего сочетание инактивного глагола типа "стоит", "лежит", "висит" с субъектом: *Среди леса, леса лежит шмат железа.* — Змея; *Над двором стоит чаша с молоком.*— Месяц и т.д. Доминирующей глагольной формой является так называемое неактуальное настоящее, т.е. вневременное, употребляющееся и при активном глаголе: *По синему небу тарелка плывет.* — Месяц. Второй глагольной доминантой можно считать результативно-перфектную форму, как известно, исторически и содержательно связанную с настоящим: *Рассыпался стакан по всем городам, всяк ему дивится; Бела кабыла ўвесь лес паела; Червоне коромисло через річку повисло* и т.д.

Референциальный статус имени в загадке во многом определяется общей антропоморфностью процесса и непросто соотносится с категорией определенности-неопределенности, поскольку денотатом как загадываемым, так и отгадываемым является и типизированный представитель, и конкретный феномен, и некий Первообъект расчленяемого мира. В загадках архаической структуры соотношение загадываемого и отгадываемого имени определяется корреляцией трех компонентов: 1) феномена Природы, 2) одушевленного Живого существа и 3) рукотворного продукта цивилизации.

Вторым важным направлением монографии является обращение к сферам, соприкасающимся с загадкой как текстом, и описывающим более широкое пространство феноменов. В соответствии с двусторонностью текста эти сферы могут соотноситься с загадкой как в плане содержательном, так и в плане выражения.

Именно с общеконцептуальным планом квалификации загадки как отражения, точнее, отображения миров через тождество, связана глава А.В. Головачевой, в первую очередь ценная проводимым в ней различением картины мира (КМ) и модели мира (ММ). Картина мира — это отражение феноменов действительности и их неотъемлемых онтологических свойств, модель же мира описывает свойства не денотатов, а концептов, воплощающихся в текстовой сфере каждого условного "жанра". Так, в русской фольклорной модели мира волк глуп, заяц сексуален, козел инфернально угрожающ и т.д. Модели мира могут различаться и по языкам, так лисица у русских — женщина, обольстительная, удачливая и коварная, европейский Лис — мужчина, вороватый и не всегда удачливый, плохой товарищ и т.д. Модели мира могут различаться и по жанрам: так, как показывает А.А. Головачева, концепты заговоров и их атрибуты отличны от концептов в загадках.

Ментальный мир загадки связан прежде всего с числовым миром архетипического воззрения древних, когда можно было говорить об особом субпространстве числа в архаическом сознании. В этот мир загадка вводится работой Вяч.Вс. Иванова о загадке Эдипа, поистине каждый раз — через новый подход — помогающей понять общенаправленность загадки. Числа ног в загадке Эдипа сопоставляются с древнейшими рядами загадок индоевропейского мира, в частности, о символике удвоенного (беременность), о категории лишительности — одноногость и т.д. Числовой параметр описываемого мира оказывается активным для ряда "экзотических" загадок, представленных Е.А. Хелимским. Так, четырехногий лабаз в лесу является лосем, многоногий лабаз — беременной лосихой и т.д. Таким образом сакрализация числа неотъемлема от мира загадываемого и потому числа входят в загадку не всегда адекватным для современной картины мира образом. Как уже было сказано выше, загадка есть постижение через сопоставление. Однако фактор Сопоставления может быть мотивирован в самой высокой степени, при которой феномен предварительного сходства постепенно элиминируется. Тогда Сопоставление смыкается с превращением, с Метаморфозой. Мир превращений как мир, смыкающийся и пересекающийся с загадочным, описан в главе Т.В. Цивьян. Девица в темнице с косой на улице как бы превращается в морковь. Такое ви́дение мира ведет к античным мифам о превращениях, к "Метаморфозам" Овидия, к превращениям у Данте. Перетекание образов с неразгаданной мотивировкой приводит нас от загадки к снам, к их превращениям и преображениям. Поэтому глава заканчивается записями о сновидениях и сновидческих метаморфозах у А. Ремизова.

С ментальным миром загадки связан и способ представления действительности, обрисовка концепта в тексте загадки. Так, в работе Вяч.Вс. Иванова способ представления объекта в поэтическом мире загадки соотносится с особой формой загадки — кеннингом, хорошо известным исследователям архаической поэтики северогерманского мира. Но оказывается, форма представления неиндоевропейской поэтики русского Сибирского Севера также знает подобный "кеннингоподобный" способ представления загадываемого концепта: ср., например, *Лабаз в лесу* — Лось.

Описывая мир загадки, необходимо осознавать, что она служит не только как орудие постижения мира, но и как мощный инструмент социализации. Люди, знающие ответ на загадку, который представляется единственным, тем самым являются уже членами одного часто эзотерического социума, поскольку мгновенная сообразительность при ответе вовсе не предполагается, ведь даже самым разумным героям сказки, в которую включена загадка-испытание, кто-нибудь помогает. Социальный аспект загадки, уже не являющейся средством постижения вселенной, описан у Т.М. Николаевой. Так, средством социализации, особенно в подростковом возрасте, служат так называемые автонимические загадки: *От чего утка плавает? — От берега; Что в центре Парижа? — Буква Р* и т.д. Страх "незнания" правильного ответа ведет путь от загадки к единодушному выкрики-

ванию выученного текста в вопросо-ответной системе тоталитарных режимов, включая и допросы. Наоборот, снятие параметра опасности незнания, при сохранении профанного невежества, рождает и такой специфический вид загадок, как загадко-анекдоты, когда незнание коммуниканта вполне приветствуется и даже служит поводом еще раз посмеяться вместе.

Теоретически к этому направлению примыкает и глава М.И. Лекомцевой о так называемой "индексальной загадке". Индексальная загадка — это загадка с неназванным кодовым денотатом, с его презумпированной окказиональной прозрачностью (при возможной изначальной непрозрачности). Близки к именам индексальной загадки и бессмысленные конструкции, и загадки с ономастическим заполнением индекса: *Зимою Фомою, а летом Филаретом.* Разумеется, индексальные загадки в наибольшей степени способствуют социализирующейся концептуализации и являются достаточно сильным средством социального воздействия.

В плане выражения ядро загадки, кратко обрисованное выше, соприкасается с двумя сферами высказывания: его грамматическим наполнением, с одной стороны, и способом представления семантической структуры загадки, с другой стороны.

Синтаксическая структура загадки описана достаточно подробно (сопоставляются факты русского и болгарского языков) в главе Т.Н. Молошной. Оказывается, что в структуре загадок вопросов как таковых мало, их синтаксическая структура достаточно проста, данные русского и болгарского языков в основной своей части однотипны. Г.Н. Молошная также фиксирует доминирование так называемого "вневременного" настоящего. К этим грамматическим идеям примыкает и часть главы Т.М. Николаевой, где говорится о семантике тех форм, которые корреспондируют паремиологическим текстам. Наиболее сложным оказывается передать референционный статус имени в загадке (составлялась классификация всех известных видов перевода русского имени на артиклевые языки). Разнобой в передаче объяснялся, по мнению автора, гетерогенностью самого объекта. Так, *По горам по долам ходит шуба да кафтан* — это и представитель класса баранов, т.е. le mouton, как отвстил русист-француз, это и баран как тип, как идея — т.е. un mouton, как ответил исследователю французист-русский, это и Первобаран расчлененной Вселенной, тогда он не имеет артикля вообще.

В главе Т.Н. Молошной подчеркивается наличие самых разнообразных грамматических и синтаксических способов негации в тексте загадок. Это же мы видим и в главе Вяч.Вс. Иванова, специально говорящего в этом случае о "категории лишительности" в загадке. Очевидно, загадка как аналог мира, должна, как и он, маркировать отсутствие при общей установке на самодостаточность Вселенной. Негации уделяется много места и в главе А.В. Головачевой в той ее части, в которой описываются маркированные признаки кодового денотата в загадке. Концепт репрезентируется в загадке через свои свойства, через функции, через связь с некоторым процессом и — через отсутствие этих качеств. При этом указанные характеристики

оказываются небезразличными для каждого отрезка живой и неживой природы. На основании этих релевантных при демонстрировании свойств паремиологии еще предстоит сделать ряд принципиально новых выводов типологического и этноментального характера.

Небольшая глава Т.Н. Свешниковой построена как на литературном, так и на диалектном румынском материалы. В главе презентируется во всех своих паремийных ипостасях один из героев балканского фольклора — волк.

Итак, авторы монографии попытались очертить сущностное ядро загадки, ее текстовый и семантический генезис, вырождение загадки, переход к иным социальным функциям. Авторы демонстрировали концептуальные, текстовые и собственно языковые сферы, с которыми соприкасается и в которые входит загадка как текст. Сферы эти относятся и к современному, и к архаическому бытованию.

Однако, несмотря на многолетние усилия авторов монографии, изучено и описано далеко не все, что должно быть привлечено к описанию загадки. Прежде всего — это языковая типология. Отдельные наблюдения сделаны в работе Т.Н. Молошной, Т.Н. Николаевой, А.В. Головачевой и др., но обобщающей типологической главы в книге нет.

Следующие недочеты связаны друг с другом. Нет специального ономастического исследования. А между тем очевидно, что за решением проблемы имен стоит во многом подход к ключевым проблемам загадки. Уже априори очевидно, что проблемы ономастики не открываются одним ключом: здесь и решения собственно ритмические, и анаграмматические подсказки, и случайные имена-"джокеры" и какие-то деформированные веками имена-аллюзии и/или свернутые мифологемы. С именами, особенно непрозрачными, связана и проблема бессмысленных компонентов текста, отчасти затронутая в работе М.И. Лекомцевой. С этими комплексами объединяются столь же не разобранные детально вопросы о сути метрической системы загадки и ее функции. Естественно, что вопросы анаграмматических структур в имени, аллюзий метрического характера упираются в общую задачу: загадка и звукопись (поставленную ранее в пионерских трудах В.Н. Топорова). Метрика, звукопись, бессмысленные сочетания, нерасшифрованные имена в свою очередь ведут к проблемам повтора, тавтологии и эхо-логоса в загадке.

Надеемся, что все эти проблемы будут хоть отчасти представлены в подготавливаемом втором томе книги — "Загадка как текст. 2".

На заре своего существования загадка не только объясняла, но и объединяла мир, видя единство в расчлененном целом и всю Вселенную в разъятых ее частях. Конец XX века знаменуется, уже для все большего числа задумывающихся, идеями единства Микро- и Макрокосмоса, идеями нерасчленившегося, но расчлененного Целого.

К сожалению или к счастью, но мы уверены, что философская и провидческая мысль сегодняшнего дня поддержит идеи нашего скромного труда.

Т. М. Николаева

Часть I

В. Н. Топоров

Из наблюдений над загадкой

Шарю я пошарю, дошарю до правды...[4093][1]

Каждая загадка — прежде всего, конечно, о том своем, что до поры скрыто и открывается только в ответе-разгадке, но она также — и о загадке, т.е. о самой себе как представительнице этого жанра: авторефлексивность глубинно присутствует в загадке — чаще всего тайно, но иногда она дерзает заявить о себе явно, на поверхности "загадочного" текста. Поэтому есть основания думать, что и вся совокупность загадок данной конкретной традиции, не являющейся вырожденной, весь ее "загадочный" корпус в целом — не только обо всем том многом и разном, о чем может быть спрошено и что может быть обозначено *своим именем* (а значит, и подлинно существует, есть, ибо в мифопоэтической традиции имя онтологично по преимуществу: во всяком случае оно онтологически первичнее того, что им обозначается, и обозначающее первенствует над обозначаемым)[2], но и о самой загадке, о том, что́ она такое, и о том, как ее можно разгадать, исходя из того, что́ она есть. Конечно, вечная труженица и воплощенное внимание, загадка универсальна, вездесуща, повернута ко всему, что есть; она ничего не упускает из виду, не забывая обернуться лицом и к себе самой, выстраивая вопросы о себе, которые, впрочем, могут подходить и не только к ней (ср.: *Когда меня не знают, то бываю нечто, а как скоро узнают, то перестаю быть тем, чем была* [5216]; — *Без лица в личине* [5217]; ответ в обоих случаях — *Загадка*). Но о себе же загадка говорит нередко туманными намеками, спрашивая о чем-то другом, а иногда эти намеки совершенно прозрачны (как говаривали некогда — *толстые намеки на тонкие обстоятельства*), но отгадчик, введенный в другой инерционный поток и ориентированный на другой семантический ряд, как завороженный, не замечает очевидного, и, даже догадавшись, что *Загадка без разгадки* [1630] это — *Смерть*, упорно не догадывается, что это и высказывание о самой загадке, сделанное как бы вне "загадочной" формы, о загадке в самой ее бесконечно углубляющейся по мере ее разгадывания сути, что *То-сто вито-сто, перевито-сто,* | *Кто-сто отганет, тому сто рублей,* | *Кто не отганет, тому сто плетей* [4151] это не только *Бусы*, но и сложно запутанная, витая-перевитая загадка (ср. *вить словеса, извитие словес*, об изощренной речи, в частности, и "загадочной"), которую, однако, мудрец-отгадчик не "отганул" (*кто-сто отганет, ... кто не отганет...*), ибо права пословица, и действительно — *На всякого мудреца довольно простоты*[3].

Из того, что загадка направлена не только на свой непосредственный объект, обнаруживающий себя в разгадке-отгадке, но и на самое себя, что она знает-сознает себя, вытекает ряд следствий, из которых здесь достаточно назвать важнейшие. Указанное знание-сознание себя разом образует основу, "почву" и для субъектной направленности, связанной с авторефлексией, и для снятия в загадке на известном уровне противопоставления субъектного и объектного планов (в некоем широком ракурсе денотат-отгадка может быть понят не только как объект загадывания, но и как его субъект подобно тому, как некоторые вещные объекты античной традиции — вазы, фибулы, оружие и т.п. — могут выступать и в субъектно-объектной функции, оповещая о себе в первом лице по схеме "Мастер Х сделал меня для У" и тем самым как бы разрешая соответствующей надписью загадку своего происхождения и своего назначения), и для формирования "мета-объектного" слоя — описания (вторичного) уже сделанного описания, при котором конкретная отгадка в некоей глубокой перспективе описывает и общее — самоё загадку, являясь тем самым способом вторичного описания "общего" типа. *Смерть* или *Бусы* как отгадка к "загадывающей" части соответствующих (см. выше) загадок выступают как мета-описание самой загадки.

Эта ситуация, конечно, достаточно парадоксальна, и она дает основания думать, что сфера парадоксального в связи с загадкой не исчерпывается только указанными выше явлениями и что за этим парадоксальным стоит некая фундаментальная особенность, определяющая глубинную структуру загадки, ее высшие смыслы, ее предназначение и ее телеологию. И в самом деле, загадке свойственно "трансцендиро-

[1] Русские загадки цитируются в основном по собранию: Загадки. Издание подготовила *В.В. Митрофанова*. Л., 1968.

[2] Загадки об имени — важная часть каждой "загадочной" традиции, в значительной степени совпадающая и/или пересекающаяся с "мета-загадочными" загадками. В этой части подчеркивается универсальность имени, его бессмертность и высочайшая цена, его необходимая ориентированность на человека. Ср. несколько характерных примеров: *На воде не тонет, на огне не горит, в земле не гниет* [1621]; *—Мал малышка, золота кубышка,* | *На воде не тонет, на огне не горит и в земле не гниет* [1622]; *—Тебе дано, а люди пользуются* [1623]; *— Что за прилипа ко всякому льнет?* [1624]; *—И у тебя, и у меня, и у попа, и у кота,* | *И у щуки в море, и у дуба в лесу* [1625]; *—Без чего не может жить человек?* [1626];*— Что у всех есть?* [1627] — все с отгадкой: *Имя* (к [1624] ср.: *Что ко всему прилипло? = Имя* [5408]). Но имя присутствует и в "вопросной" части целого ряда загадок, ср.: *Стоит дом в двенадцать окон,* | *В каждом окне по четыре девицы,* | *У каждой девицы по семь веретен,* | *У каждого веретена свое имя* [4939], ср. варианты — *...У каждой птицы есть свое название* [4946] или *...Есть семь братьев: годами равные, именами разные* [4969]: дни недели и др. Ср. также аналогичные загадки в сборниках Садовникова, Рыбниковой и др.

[3] Слова, стоящие в эпиграфе к настоящей работе, представляют собой фрагмент загадки с ответом — *Рукавичка*: *Шарю я пошарю, дошарю до правды,* | *На правде дыра, на дыре хохол,* | *Всунул да пошел* [4093]. Но правда загадки не исчерпывается отсылкой к рукавичке: загадка, несомненно, отсылает и к области эротического (ср. другую загадку не только о рукавичке: *Распушу хохлушку, всуну голышка* [4094]; сам глагол *всунуть*, как и *распушить, шарить*, достаточно диагностичен), а через него — и к гностическому: *познать женщину — познать правду-истину*, скрытую в загадке, которая вместе с тем подсказывает проницательному испытуемому, как ее и ее правду-истину открыть.

вание": она способна выходить за свои собственные пределы (*transcendere fines sui*), ставить под сомнение и, более того, даже опровергать свои же правила и установления, подрывать свои собственные основы, как бы намекая на потенциальную способность к перемене основ, в предельном случае — на мыслимую бесконечность и неисчислимость своих основ, на неясность отношений между основанием и тем, что на нем основано, наконец, на допустимость зависимости "обратного" направления — основания от загадки, когда сама загадка должна пониматься как некая о с н о в а (речь идет в этом случае, разумеется, не о "загадочной" эмпирии, а о некоем механизме "загадочного" акта или — метафорически — о самом д у х е загадки), а то, что считалось ее основой применительно к некоему среднему стационарному уровню, — как некое порождение или следствие действия этого механизма загадки или ее "духа" в условиях "среднего" уровня. Этот выход за свои пределы позволяет загадке п о з н а т ь с а м о ё с е б я (*noscere se ipsum*), а ее исследователю понять то н а п р а в л е н и е движения самораскрывающегося с м ы с л а, которое полнее всего характеризует загадку и объясняет ее назначение и телеологию, с одной стороны (сверху), и логическую непротиворечивость "загадочной" системы на "среднем" уровне (стандарт), с другой стороны (снизу). Этот контекст, как легко заметить, одновременно отсылает к той проблематике, которая возникла в связи с "машиной Тьюринга" ("мыслящей" машиной) и ее возможностями, и к знаменитой теореме Гёделя, о чем см. ниже, и предполагает далекоидущие аналогии между ситуацией, описываемой "машиной Тьюринга" и теоремой Гёделя, и ситуацией загадки в условиях близких к предельным или возникающих при выходе за ее пределы. В этих условиях загадка все более и более обнаруживает свою связь с "игровым" началом, о котором также см. ниже. Здесь же достаточно подчеркнуть наиболее существенное: загадка "знает" и, более того, предполагает всей своей структурой, что о том, что она имеет в виду ("загадывает"), можно сказать и и н а ч е, чем говорит об этом она, загадка, — "серьезнее", более открыто, прямо и непосредственно, настолько ясно, что субъект отгадывания ("отгадчик") и сама эта с ним связанная "отгадывательно-эвристическая" функция почти полностью лишаются своих оснований, и возникает ситуация "вопросо-ответного" диалога обычного типа, строго говоря, уже не являющаяся "загадочной".

Но парадоксальность продолжается и во внутренней противоречивости загадки, в подвижности и изменчивости ее составных частей и даже в способности к мене их позиций. Загадка "знает", что она не только "загадывает", но и "отгадывает" и что отгадка лежит уже в самой "загадывающей" части загадки, что, следовательно, она, загадка, т а в т о л о г и ч н а и что для того чтобы не работать вхолостую, когда результат работы — сплошные трюизмы, хотя нередко и достаточно сложно замаскированные (само сочетание трюизма и сложности интерентно присуще загадке и имеет прямое отношение к ее сути), она должна быть бесконечно развивающейся и самоуглубляющейся смысловой конструкцией, таящей в себе или, точнее, вырабатывающей новые ответы, то есть новые смыслы, которые на определенном этапе саморазвития начинают довлеть самим себе и как бы перехватывают у

"загадывающего" путеводительную инициативу, вынуждая его "подстраиваться" к этим новым смыслам "на выходе". Персонаж повести С.Д. Кржижановского "Клуб убийц букв" (1926) справедливо замечает: "Чтоб объяснить то, ...что внутри печного горшка, незачем карабкаться на небо — ответ тут же, под донцем, у земли. А чтоб объяснить то, что зародилось в голове, — незачем странствовать по свету: о т в е т тут же, под теменем, рядом с в о п р о с о м. З а г а д к а всегда делается из р а з г а д к и, и ответы — так было и будет — всегда с т а р ш е вопросов. Не буди спутников, пусть отоспятся: вам предстоит долгий и трудный в о з в р а т"[4]. Именно на этом возвратном пути и обретаются новые смыслы, до поры неизвестные и индуцируемые "известным" ответом-разгадкой. Игнорирование этого "противохода" порядка операции разгадывания и порядка порождения новых смыслов, также относящегося к числу парадоксов загадки, чревато искажением самой сути "загадочного" действия как постановки-выдвижения вопросов о смыслах, бóльших и/или идущих дальше, чем данные наличные смыслы.

Загадка как бы берет откликнувшегося на ее вопрошание за руку и ведет вперед. В ней отчетливо ощутимо волевое активно-динамичное, субъектное, "мыслящее" или даже, суммируя, а н т р о п о ц е н т р и ч н о е начало, иногда воплощаемое как персонификация ("Я — загадка /тайна/, пришла к тебе, разгадай меня" — характерное клише речевой партии типичной фигуры "загадочных" игр, приурочиваемых к карнавально-маскарадной ситуации, так сказать, самого духа загадки, являющегося потенциальному "разгадчику", который в случае успеха как бы высвобождает плененные тайной смыслы, выходящие из тени на свет Божий). Это волевое субъектное антропоцентричное начало достаточно гибко, чутко и инициативно: оно приспосабливается к разным условиям и готово к решению разных задач; аккомодируясь к первым и в ходе аккомодации усваивая себе последние, меняясь само, оно изменяет и условия, в которых ему предстоит далее действовать, и задачи, которые возникают в этих новых условиях и требуют своего решения. Это новое "нечто" открывает себя соприсутствующим ему обстоятельствам и как бы вынуждает их открыться в свою очередь и ему самому, этому "нечто". Это взаимное, навстречу друг другу, со-раскрытие определяет тот дух сообщительности, коммуникативности, сотрудничества, соучастия, который так характерен для "загадочного" действия и который кладет неизгладимую печать и на само это "нечто", определяя глубинный смысл загадки, ее едва ли не главную потенцию.

Цель этих предварительных и достаточно общих по своему характеру замечаний в том, чтобы сразу же, с самого начала, попытаться определить область феномена загадки и соответствующего действия загадывания в возможно более широком, по идее — максимальном объеме, указав пределы этой области, во-первых, и самоё возможность

[4] В этом отношении особенно двусмысленным оказывается слово *загадка*, относящееся и ко всему тексту загадки в целом, и к его "загадывающе-вопрошающей" части. Но при признании первичности ("предзаданности") ответа двусмысленность минимализируется: целью загадки оказывается именно "загадывание", то есть формулирование вопроса к ответу, который сам лежит как бы в н е загадки.

выхода за эти пределы в беспредельное, во-вторых. Такие указания представляются важными, более того, в определенных отношениях необходимыми, поскольку они позволяют освободить суть этого феномена от бремени "загадочной" эмпирии, за которой легко упустить главное, не увидеть его за тяжелой плотностью и вещественностью эмпирического, что, к сожалению, так часто и происходит. Разумеется, эта суть здесь может быть обозначена лишь в общем виде, скорее пунктирно, чем сплошно, и даже пунктирность эта относится не ко всему целому, но только к некоторым важнейшим его участкам, соответственно — аспектам.

I. Происхождение и функции загадки

Суть явления обычно открывается в пространстве, ограниченном двумя вопросами, — откуда? и для чего? Первый — как раз о происхождении, второй — о функциях. Стóит отметить, что в обоих случаях суть явления определяется (во всяком случае так обычно представляется) не из самого явления, а откуда-то извне, из того, что самому явлению внеположено, — конкретно, из того, чтó явлению предшествует и им, строго говоря, не является, и из того, что в этом явлении востребовано тем, кто по отношению к явлению "внешен" (человек). Разумеется, если мы в состоянии положительно ответить на вопрос, откуда это явление произошло, то, значит, мы вправе пренебречь известной ситуацией *ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца* и обязаны исходить из того, что само явление и то, что его породило (его "мать"-источник), связаны чем-то существенно (а значит, в пределе и сущностно: *суть*) общим, ни с каким другим видом сходства не смешиваемым, и что само наличие такого "общего" — основание для положительного ответа на вопрос "откуда?"

Это "общее" вовсе не обязательно должно быть броским и даже заметным. Более того, его объем может быть невелик, и вообще оно в целом ряде случаев невидимо и открывается лишь в результате реконструкции, но при всех обстоятельствах это "общее" генетической природы, то есть предполагает внутренне-родственные отношения преемства по нисходящей линии. Типологически-общее может быть обширнее по своему объему и ярче по способу выражения, но оно немо в вопросах происхождения, и эта немота принципиально неустранима. Зато генетически-общее всегда говорит о сути, хотя бы о части ее или об особом ее аспекте, поскольку оно по условию внутренне укоренено в самой сути, в чем-то большом, огромном, усиленном, замечательном, лучшем и свидетельствует о чем-то родном, интимном, "чревном" и, следовательно, настоящем, подлинном, истинном (ср. лат. *gens* 'род'; 'потомок', *germen* < **gen-men* 'порождение', 'род', 'потомство', *gigno* 'порождать', *in-gigno* 'порождать-выращивать', но и 'одарять при рождении' при *in-genium* 'врожденные способности', 'природные свойства', 'талант', 'гений', *in-geniosus* 'щедро одаренный от природы', *in-gens* 'огромный', 'сильный', 'могущественный', 'великий', 'замечательный' и др., ср. *genius*, *germanus* < **gen-manus* /:*genus*/ 'родной'; 'истинный', 'подлинный').

Вопрос о функциях (для чего?) также отсылает, как кажется с первого взгляда, к "внешнему" в отношении сути — к человеку, как он выражает себя и характеризуется через свои потребности, знать не знающему (в предельных случаях) о сути явления и часто не желающему знать о ней, не нуждающемуся в этом знании, но хорошо знающему, чтó ему нужно для удовлетворения своих потребностей. Во всяком случае это "чтó" — так предполагается поначалу и часто так думают до конца — может никак не затрагивать сути явления, но относится к вторичному, периферийному, несущественному, даже просто случайному, следовательно, "внешнему" по отношению к сути явления. Впрочем, и в этом случае "внешнее" по отношению к явлению в конечном счете обнаруживает некое свое "внутреннее" соответствие, аспект укорененности во "внутреннем" явления (*in-gen-*), отсылающий к сути. Это самораскрытие "внутреннего" во "внешнем", своеобразная индукция его, становится возможным постольку, поскольку суть явления определяется при встрече явления, точнее, его конструктивных возможностей, с пространством субъектно-субъективного, познающего, интенционального, ибо только при такой встрече, благой для обеих встречающихся сторон, как вспышка, возникает смысл, высшее откровение сути явления. Свойство открытости — основное для явления: нечто становится явлением (τὸ φαινόμενον), обнаруживает себя в качестве такового именно в результате акта открытия. Инерция этого акта продолжает пребывать в самом явлении: его потенциальность как раз и выступает как образ открытости, как залог того, что явление, пока оно живо и функционирует, может и в дальнейшем открывать свою суть, порождать новые смыслы. Тем не менее конструктивные возможности явления не допускают вживления любого смысла в него, и, более того, они, хотя и пассивно, определяют и контролируют, чтó из них может быть востребовано "субъектно-субъективной" стороной. Поэтому реализация востребования и сам отбор востребуемого в известной степени зависит и от явления — от тех его свойств, которые могут быть предложены для своего рода отчуждения в пользу "субъектно-субъективной" стороны, и, значит, в самих функциях явления присутствует некое указание на внутреннее особенности явления, на его "потенциальную" суть. В этом контексте ответы на оба вопроса — откуда? и для чего? — открывают возможность представить их как формулировку некиих "внутренних" характеристик явления, по крайней мере в потенциальном модусе.

Осуществление этой потенции, ее реализация и актуализация происходят, однако, только внутри пространства конструктивных возможностей самого явления, хотя необходимо помнить, что это "внутреннее" для каждого данного временнóго состояния является результатом встречи-контакта "предыдуще-внутреннего" с "внешним" и как бы инфицирования последнего первым, отвоеванием у внешнего его скрытой внутренней части, итогом сотрудничества не только "внутренне-объектного" с "внешне-субъектным", но и природного с "культурным", пассивного с активным, экстенсивного с интенсивным, дознакового (не представленного как знак) со знаковым. Тайный план подобной ситуации не в том, чтобы человек нашел явление, и не в том,

чтобы явление нашло человека, но в том, чтобы они — человек и явление — встретились друг с другом (как всякая встреча, и эта одновременна, хотя участники встречи обладают разными возможностями для ее осуществления и в разной степени и разными путями стремятся к ней) и, как бы осознав свою взаимную потребность друг в друге, сговорились трудиться ради общего дела. Лишь в этой ситуации противоречивого и напряженного цельно-единства, включающего в себя и человека и явление и представляющего наибольшие возможности приближения к уровню "сутей", снимается острота (и взаимоисключаемость) выбора между "сознательным" и "бессознательным", "объективным" и "субъективным", между тем, чем суть явления обязана лишенному сознания явлению во всем разнообразии его свойств, и тем, чем она обязана сознающему явление человеку. Форсирование выбора и "последнего" заключения в подобной ситуации всегда грозит нарушением и необратимым разрушением самой ситуации и, следовательно, исключает возможность адекватного ответа в связи с нею.

Говоря о загадке как некоем явлении, существующем в горизонте интересов человека и истолковываемом именно человеком, у которого в связи с загадкой существуют неясности и вопросы, имеющие целью устранение этих неясностей (неясное для "внешнего", для человека составляет как раз самое сильно-организованное и "конструктивно"-оригинальное во внутреннем строении самой загадки, и, следовательно, как всё эктропически-ориентированное, оно максимально ясно для "внутреннего" взгляда самой загадки: при том, что в себе самой загадка всё "знает" и ей всё ясно, она временно может "забывать" о чем-то второстепенном, необязательном, во всяком случае не грозящем целому загадки, но уж никак не о том, что составляет ее смысловой point), и ставя вопрос о происхождении и функциях загадки, следует иметь в виду сказанное выше, прежде всего о "субъектно-объектном" характере загадки, и не в том элементарном отношении, что человек — субъект загадывания, а загадка — его объект, но в том несравненно более сложном и важном смысле, что загадка принципиально субъектно-объектна по своей природе и в силу ее, то есть с самого начала, что "субъектное" и "объектное" органически слиты в каждой точке "загадочного" пространства и разделимы только условно, в идее, в схематически-предельном представлении. В совокупности двух своих основных частей, воспроизводимых в семантической упорядоченной цепи (серии) загадок, "логически" связанных между собой, загадка подобна шахматной партии, разыгрываемой одним игроком в игре с "самим собою", когда правая рука ("белые") делает вид, что не знает, что будет делать левая ("черные"). И в том и в другом случае игру ведет двуединый "всезнающий" игрок, поочередно делающий ходы то за одного, то за другого участника "антагонистической" игры. И в том и в другом случае — некое квази-состязание, при котором "состязательное" по сути дела сведено к минимуму и поставлено в зависимость от естественно-неравномерного распределения уровня "компетентности" (в другом аспекте — "внимания") "все-игрока" в разные моменты игры, от "случая". Наконец, и в том и в другом случае, чтобы восстановить "состязательность" игры и вернуть ей подлинность, двуединый "все-игрок" разделятся надвое.

"Субъектно-объектность" загадки означает прежде всего снятие фундаментального противопоставления agens : patiens и упразднение-преодоление коренящейся в этом противопоставлении традиционной схемы, определяемой наличием двухместного предиката. Эти решающие преобразования не могут быть беспоследственными и для постановки вопроса о происхождении загадки и о ее функциях, поскольку оба эти вопроса "традиционно" исходят из упраздняемой "субъектно-объектностью" упомянутой выше схемы. Очевидно, что изменившиеся условия вынуждают найти иную перспективу, в которой должны получить свое объяснение эти вопросы. В самом деле, происхождение предполагает, что нечто таким образом предшествует во времени (и/или в причинно-следственном ряду) тому, о чьем происхождении идет речь, что между ними существует зависимость нисходящего порядка: А делает, творит, создает, родит В (*Авраам роди Исаака, Исаак роди Иакова...*). Так как каждое творение сакрально, то сакрально и место, где оно происходит (или творящая стихия), — бездна, воды, огонь и т.п., наиболее точно соответствующие вопросу "откуда?" Но для архаичного мифопоэтического сознания само место (где? откуда?) неотделимо от его персонификации, от Genius loci, покровителя, хранителя и представителя *места сего*, иногда и творца-создателя этого места, в котором и далее продолжаются творческие деяния. В этом отношении есть основания говорить об ином характере связи между кто и где, между творцом и местом творения или, точнее и шире, о существенно ином понимании agens'а и места, локуса этого agens'а. Их независимость для определенной эпохи весьма относительна: скорее речь идет о двух вариациях одного и того же явления, еще не порвавших соединяющую их пуповину и различающихся некиим смысловым акцентом (agens — кто-где?, locus, место — где-кто?). Эта ситуация, подтверждаемая обширным материалом живых архаичных традиций и многочисленными пережитками в развитых мифологических системах (напр., древнегреческой традиции), как нельзя лучше соответствует явлению "субъектно-объектности", ее "разлитости" по всему пространству данной ситуации: субъектность оказывается свойственной не только agens'у, но и тому, что приходится называть "местом" (семантический компонент "кто"), локальность — не только месту, но и agens'у, наконец, и agens и место обнаруживают и аспект объектности: место порождает того, кто как agens творит=оформляет место.

Мотив-идея "порождения-познания" связывает все три эти выделенные явления и образует основу всей концепции происхождения и его элементов. Сохранилось немало свидетельств того, что эта проблема вызывала мучительные рефлексии человека, оставаясь для него той загадкой-тайной (русск. *загадка* сохраняет оба эти значения — и терминологическое: 'загадка' и общее — 'тайна'), потому что без решения этой загадки, без открытия этой тайны была бы невозможна самоидентификация человека в схеме творения, как и определение его места в мире; оставался бы тайной и сам прорыв из "ничто" в "нечто", а именно эта последняя тема была выделена как профилирующая. "Не было не-сущего, и не было сущего тогда, — размышляет древний мыслитель. — Не было ни воздушного пространства, ни неба над ним.

Что (*kím*) двигалось туда и сюда? Где (*kúha*)? Под чьей защитой? Что за вода была — глубокая бездна?" (RV X, 129,1). Не было ни творца, ни творения, ни твари, но все-таки нечто было — некое "движение туда-сюда" (*āvarīvaḥ*, интенсивный глагол) и некое Единое (*Ekam*), и через размышления над этим нечто была открыта тайна происхождения, хотя бы в виде веера возможностей. "Происхождение сущего в несущем открыли мудрецы размышлением, вопрошая в (своем) сердце" (129,4), и одна из этих возможностей предусмотрена в ответе на повторяющийся главный вопрос — "Откуда родилось, откуда это творение?" (129,6: *kúta ājātā kúta iyáṃ víṣṛṣṭiḥ*), "Откуда это творение появилось?" (129,7: *iyáṃ víṣṛṣṭir yáta ābabhūva*). Этот ответ, подтверждаемый различными свидетельствами и в самой древнеиндийской традиции (Упанишады) и во многих других (например, в древнеегипетской), в высшей степени характерен —"Может, само создало себя, может, нет" (129,7: *yádi vā dadhé yádi vā ná; dadhé* — медиальная форма).

Создать само себя только и можно было в той исходной ситуации абсолютного начала, когда "мрак был сокрыт мраком", и было "все это — неразличимая пучина" (129,3). "Движение туда-сюда", множественное, пестро-разнообразное, неупорядоченно-хаотическое, но уже нащупывающее нечто или, по меньшей мере, готовящееся к этому, собственно, и было направлено в сторону жизни и благодаря ему был совершен сам этот прорыв к жизни как форме преодоления хаоса и небытия ("ничто")[5]. В перспективе жизни само это хаотическое движение в "дожизненном" пространстве может быть истолковано как первый намек на "жизненное", первый образ и первый опыт его, так как это было первым открытием хаоса в сторону неведомой еще жизни: ей как бы предоставлялось право использовать по-своему это многообразие возможностей, чтобы сделать возможным свое собственное воплощение. До этого заключенное в пустоту, объятое пустотой, это жизненное (*ā-bhū*) было порождено силой жара как нечто Единое (*tápasas tán mahināj̄āyataikam*. 129,3). Жар был связан с движением, и он же дал начало восходящему процессу сублимации, в ходе которого оформлялось Единое. На Единое нашло желание, что было "первым семенем мысли" (129,4), но и волей к жизни, сложением первого варианта интенционального плана.

Создание самого себя в описываемой ситуации было единственной возможной формой творения. Языковый вид формулы авторефлексивного творения — *Сам создал себя* — вводит в заблуждение, потому что в первоситуации нет ни *самого́* (субъекта), ни *себя* (объекта), но есть лишь движение. И идея двоения, этим движением "туда-сюда" выдвигаемая и постепенно оформляемая (праслав. **dvigati /sę/* связано с **d/ъ/va* 'два', ср. обозначение разветвляющейся надвое конструкции — нем. *Zweig*, англ. *twig* 'ветвь', в материальном плане, и нем. *zweifeln*, лат. *dubito*, русск. *раздваиваться в мыслях* и т.п., в духовном, специально — мыслительном плане). Это движение из "мрака, сокрытого мраком" направлено к свету, к заполнению

[5] В этом отношении представления ведийских риши о происхождении жизни и сознания предвосхищают — в принципе — современную сциентистскую концепцию Тейяр де Шардена.

пустоты "ничто" плотью-плотностью "нечто", жизни. Движение "туда-сюда" все более учащается и усиливается, его инерция, направленная в противоположные стороны, возрастает, аморфное оформляется, сотворяемое единство поляризуется. Когда движение направляется "туда", постепенно начинает актуализироваться идея создания, активный ее аспект; когда оно направляется "сюда", актуализируется пассивный аспект — идея создаваемости-созданности того, что создается активным началом. И будущее "субъектное" и будущее "объектное" растут постепенно друг из друга, из того единого для них исходного локуса, который лишь постепенно раздваивается, и когда инерция раздвоения-расхождения обретает свою полную силу, раздваивающиеся части начинают оформляться уже через взаимное отталкивание друг от друга, но память об исходном их единстве продолжает сохраняться, а для того чтобы гарантировать сохранность этой информации о праистоках, чтобы обеспечить возможность в случае надобности возвращения к ним, культура вырабатывает особые механизмы, и загадка — один из таких механизмов.

Понятно, что в этом контексте "субъектно-объектность" загадки, о которой говорилось выше, корнями своими связывается с "субъектно-объектностью" самой ситуации первотворения. Загадке на ее первых шагах, как и формирующемуся Космосу, предшествует некий хаос, и только из ситуации преобладания и господства хаоса можно понять назначение загадки, ее внутренний план и отчасти ее внутреннее строение. Проявление бытия, сущего во всем его мыслимом составе, его организация и смыслопорождение в первоначальном ничто, несущем, в безбытийности и бессмысленности хаотического — всё это составляло общий круг задач и творения (космогенеза) и загадки. Они шли нога в ногу, и различало их то, что создаваемое в творении как дело, в загадке или, точнее, в той широкой сфере, из которой позже выкристаллизовалась как жанровая структура загадка, воспроизводилось в слове, в речи, в тексте. Но это творение в слове не было только дублированием творения в деле: *Поэт издалека заводит речь.* | *Поэта далеко заводит речь,* и эта речь-слово заводила так далеко, что была создана знаковая вселенная, возможности которой многократно превышали возможности вселенной "дел и вещей" и которая онтологически (по меньшей мере) была первичной. "В начале было Слово", — сказано именно об этой ситуации. Поэтому слово (имена людей и вещей) было не только объектом-результатом творческого акта, но и творцом-субъектом. Словом, дарующим жизнь, подлинное бытие всему, что есть в мире и что *может быть* в нем, ибо — "*Границы моего языка* означают границы моего мира [...] Тот факт, что мир есть *мой* мир, проявляется в том, что границы языка (единственного языка, который понимаю я) означают границы *моего* мира" (Витгенштейн 1958, 80—81: 5.6, 5.62)[6].

[6] "Логика наполняет мир; границы мира являются также ее границами. Поэтому мы не можем говорить в логике: это и это существует в мире, а то — нет. Ибо это, по-видимому, предполагало бы, что мы исключаем определенные возможности, а этого не может быть, так как для этого логика должна была бы выйти за границы мира: чтобы она могла рассматривать эти границы также и с другой стороны. — То, чего мы не можем мыслить, того мы мыслить не можем; мы, следовательно, не можем сказать того, чего мы не можем мыслить [...] Субъект не принадлежит миру, но он есть граница мира" (Витгенштейн 1958, 80—81: 5.61, 5.632).

На основании целого ряда предыдущих работ, как и на основании сказанного выше, можно сделать заключение о некоей связи между делом и словом, творением и его отображением в знаковом пространстве, в тексте. Эта связь может быть обозначена (по меньшей мере) как п а р а л л е л и з м, одна из фундаментальных составляющих которого — общее направление движения в схеме происхождения, развития (нужно подчеркнуть, что в данном случае нельзя говорить о параллелизме как автоматическом следствии из ситуации "отображаемое — отображающее", поскольку в отношении этого критерия и слово и дело вполне симметричны, то есть каждое из них равным образом выступает и как отображаемое и как отображающее). Наиболее интенсивная часть этого параллелизма, однако, не столько в общем направлении движения, сколько в его смысле, в его телеологии. В обоих случаях речь идет о дифференциации элементов и их упорядочении в синтезируемом целом, иначе говоря, о выходе из тьмы хаоса в свет Космоса, из небытия в бытие, в жизнь и о создании гарантий устойчивости бытия и жизни. Преодоление энтропии и создание в недрах хаоса хотя бы некоего ядра, которое может стать источником противоположного энтропии э к - т р о п и ч е с к о г о потока, собственно, и было главной целью акта творения в его глубинном выражении. Творение мира уже по самому условию предполагает эту цель, но такова же и цель слова и текста, соотнесенного с творением, о чем поведано в Евангелии от Иоанна, где подчеркнута и творческая сила Слова, его божественность, субъектность, персонифицированность и антропоцентричность его. — "В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его" (Иоанн I, 1—5).

Отмеченный параллелизм между творением-делом и Словом — творимым и творящим, позволяет, кажется, сделать некоторые заключения о п р о и с х о ж д е н и и Слова, в более узком плане — загадки как одной из форм словесного творчества, по происхождению-творению мира, которое представлено в источниках в более эксплицированном виде и потому лучше известно. Сам феномен происхождения наиболее полно осмыслен может быть в контексте, где имел место этот феномен. Ответ на вопрос о происхождении предполагает нахождение не только контекста этого явления, но и его непосредственного локуса и точки "прорыва" из одного состояния в принципиально иное, который, собственно, и есть одновременно причина и следствие происхождения[7].

[7] Внутренняя форма слова, обозначающего происхождение, вскрывает семантическую мотивировку обозначения, обычно весьма информативную. Сумма таких мотивировок по данным разных языков позволяет создать некий языковый образ соответствующей идеи. Здесь достаточно ограничиться лишь несколькими примерами. Прежде всего заслуживает внимания идея резкого, энергичного, внезапного движения или даже противо-движения, порывающего с инерцией покоя или "предыдущего" движения, движения как скачка, разрыва с неким прасостоянием — исходным, первичным, теряющимся в глубине серии предшествований, ср. нем. *Ur-sprung* (: *Sprung* 'скачок', 'прыжок', 'разрыв' и т.п.); лат. *origo* (: *orior*) из и.-евр. **er-* : **or-* также подчеркивает идею противоречивости движения, преодолевающего сопротивления, направленность снизу вверх, ср. русск. *про-ис-хождение, вос-стание*

В рамках мифов творения "происхождение" — это как раз то, что отделяет одно состояние от другого, благодаря чему совершается этот переход (или перевод) из тьмы в свет, из небытия в бытие, из хаоса в Космос. Суть начала перехода, как уже говорилось, в п р о - я в л е н и и с у щ е г о, а для того чтобы это про-изо-шло, нужно освободить то, что до того находилось в состоянии смешения, и открыть-явить то, что было скрыто, определить неопределенное, найти в пассивном активное, в экстенсивном интенсивное, в лишенном смысла смысл, обозначить направление движения, которое определяет собою новое состояние. В рамках этого перехода и происходит разделение некоей нерасчленимой ранее аморфной "субъектно-объектности" на "субъектное" и "объектное", устанавливается некая универсальная система оппозиций, разделяюще-связывающая предшествующее "хаотическое" и становящееся, про-исходящее последующее "космическое": явленное — неявленное, видимое — безвидное, открытое — закрытое, дискретное — непрерывное, определенное — неопределенное, внешнее — внутреннее, знание — незнание (сознающее — бессознательное, ср. *añgá veda yádi vā ná veda*. RV X, 129,7 'только он знает или же не знает'), целенаправленное — спонтанное, контролируемое — неконтролируемое и т.п. Разумеется, эта картина не означает, что в сотворенном "космическом" полностью отсутствует "неявленное" или "безвидное", или "непрерывное", или "неопределенное" и т.п.: речь идет только о тенденции и о преобладании именно такого распределения членов этих оппозиций, и лишь в "сильных", диагностически наиболее важных позициях реальное распределение практически совпадает с идеальной схемой. Вместе с тем наличие неизжитых элементов "хаотического" в "космическом" — тот дефект, то упущение, на основе которого формируется новая тенденция к продолжению развития, заданного "противо-движением", позволившим осуществить прорыв из хаоса в Космос, и имеющего целью выход в новое пространство — от конкретного к абстрактному, от э т о г о к и н о м у, от наличного и умопостигаемого к трансцендентному, от конечного к бесконечному как пространству потенциального.

Имея в виду этот контекст и особенно ситуацию, связанную с "прорывом" из "хаотического" в "космическое", уместно вернуться к з а г а д к е или к тому, что ей предшествовало. Легко заметить, что, подобно слою нерасчлененной "субъектно-объектности", о которой говорилось ранее, в ней обнаруживаются и другие характерные (отчасти парадоксальные) особенности — даже в современном состоянии загадки, — которые аналогичны тем, что отмечались в связи с творением. Сразу же нужно подчеркнуть, что речь не идет (во всяком случае с непременностью) о сохранении данной особенности в диахронически тождественном узле. Гораздо существеннее в этом отношении другое — сохранение загадкой самого принципа, самой атмосферы, а иногда и структуры, которые некогда определяли ситуацию творения и, как можно полагать с большим вероятием, варианты "первотекста" творения, в частности, а может быть, и в первую очередь загадку или, точнее, проте-загадку.

(ср. *ὄρνυμι* и под.). Др.-греч. *γένεσις* 'происхождение' отсылает к идее рождения (*γίγνομαι*), неотделимой от идеи знания-познания (*γιγνώσκω* : **g'en-* 'знать'; 'рождать') и т.п.

Помимо "субъектно-объектности", растворенной в аморфности целого, части которого (для известного периода лишь потенциальные) восстанавливаются лишь в перспективе будущей диатезы "субъект — объект", для загадки актуальны практически все оппозиции, перечисленные выше, при том, что чаще всего она реализует (хотя и в разной степени) оба члена каждой пары, образующей оппозицию. Особенно существенна роль оппозиций, отсылающих к познавательной сфере (знание — незнание) и к сфере, образуемой движением "трансцендентного" типа (это — иное), а также свойство открытости и потенциальности, присущее загадке.

Во многих традициях мифы творения завершаются тем, что после того как Творец создал весь "материальный" состав мира, он совершает последний творческий акт — имянаречение всего, что есть в мире. В ряде традиций этот акт связан с реальным полаганием некоего вполне материального субститута-эквивалента имени, но тем не менее главное в этом акте — не материального, но идеального, духовного свойства. Этот последний акт творения одновременно и первый акт прорыва в знаковое пространство, образующего трещину (*Sprung* : *Ur-sprung*)[8] в монолите "дознакового", которая сама и есть знак возникновения первой собственно "знаковой" оппозиции — обозначаемое : обозначающее. Всё, что имеет имя, может быть объектом вопрошания, потому что само имя предмета уже и есть ответ на вопрос о главном в этом предмете, ибо "Для ответа, который не может быть высказан, не может быть высказан вопрос. *Загадки* не существует. Если вопрос вообще может быть поставлен, то на него можно также и ответить" (Витгенштейн 1958, 96 : 6.5)[9]. Всё, что сотворено, образует

[8] Ср. одно из основных понятий древнеиндийской философии языка и поэтики, связанное с явлением — про-явлением смысла, — *sphoṭa-* при *sphuṭ-* 'раскалывать(ся)', 'взрывать(ся)' и под.

[9] С этими положениями связаны еще два круга проблем, затрагиваемых Витгенштейном и глубинно соотнесенных друг с другом — о пределе и о возможном. К первому (помимо 5.6—5.62) ср.: "Временно́е бессмертие человеческой души, означающее, следовательно, ее вечную жизнь даже после смерти, не только ничем не гарантировано, но прежде всего это предположение не выполняет даже того, чего с его помощью всегда хотели достичь. Решается ли какая-либо загадка тем, что я вечно продолжаю жить? Не является ли поэтому эта вечная жизнь настолько же загадочной, как и настоящая? Решение загадки жизни в пространстве и времени лежит вне пространства и времени" (6.4312), "*Как* есть мир — для высшего совершенно безразлично. Бог не проявляется *в* мире" (6.4332), "Все факты принадлежат только к задаче, а не к решению" (6.4321), "Мистическое не то, *как* мир есть, но то, что он *есть* " (6.44) и т.п., не говоря уж о знаменитом тезисе внеположенности смысла миру — "Смысл мира должен лежать вне его. В мире все есть, как оно есть, и все происходит так, как происходит. В нем нет никакой ценности, а если бы она там и была, то она не имела бы никакой ценности. Если есть ценность, имеющая ценность, то она должна лежать вне всего происходящего и вне Такого (So-Sein). Ибо все происходящее и Такое — случайно. То, что делает это не случайным, не может находиться в мире, ибо в противном случае оно было бы случайным. Оно должно находиться вне мира" (6.41). — Ко второму, как следствие из 6.5 (см. выше), ср.: "Скептицизм не неопровержим, но, очевидно, бессмыслен, если он хочет сомневаться там, где нельзя спрашивать. Потому что сомнение может существовать только там, где существует вопрос, вопрос — только там, где существует ответ, а ответ— только там, где что-нибудь *может быть сказано*" (6.51), "Мы чувствуем, что, если бы и существовал ответ на все *возможные* научные вопросы, проблемы жизни не были бы при этом даже затронуты. Тогда, конечно, боль-

состав творения, сумму вещей-предметов прежде всего. Загадка, как правило, и служит проявлению бытия, сущего в его "предметной" форме и актуализации "предметного" состава мира в "языковой" форме (в данном случае имеется в виду естественный язык). Но есть основания думать, что "прото-загадка" уходит своими корнями в более древнюю ситуацию, разыгрывающую некую задачу применительно к "доязыковому" уровню, точнее — к "внеязыковой" обстановке. Здесь опять-таки не нужно думать, что современные (или во всяком случае существенно более поздние) примеры непосредственно отражают исходную ситуацию, с которой они связаны непрерывной преемственной цепью. Скорее, эта связь — в самом духе загадки, который время от времени воспроизводит некую архаичную ситуацию.

Сочетание ориентированности загадки на "предметность" с "внеязыковостью" (хотя бы частичной) встречается не столь уж редко и знает две разновидности. Первая из них, когда "вопросная" часть имеет нулевое языковое выражение, представлена в известной ряду традиций практике "быстрых" загадок: вместо "вопроса" в речевой форме ведущий указывает на некий предмет, предполагая быстрый ответ, сменяемый столь же быстрым новым "вопросом" в виде указания следующего предмета (указание совершается рукой, пальцем, поворотом головы, взглядом и т.п.). Вторая разновидность таких загадок характеризуется словесной формой вопроса при "предметной" (указание на предмет) форме ответа или вообще при ответе "делом", а не словом. Такое "говорение вещами", о котором некогда писал Свифт в его "Гулливере", не раз отмечалась в ритуале загадывания загадок в день бракосочетания в свадебном обряде в русской традиции. В этом случае уместно ограничиться одним примером, достаточно подробным и в высшей степени показательным. Речь идет в нем о сцене, происходящей в доме отца невесты, когда туда приходит "партия" жениха и дружка начинает торговаться с "продавцом мест" (обычно братом невесты, подле нее сидящим) относительно покупки места рядом с невестой, чтобы его занял в итоге сделки жених:

"— Нельзя ли нам, добрый молодец, свое местечко уступить для жениха [...]? — Я своего места даром не уступаю, а продать — продаю. — Чем же ты, добрый молодец, торгуешь [?]. — Я торгую всем: лисицами, куницами и местом княжеским. — Сколько же тебе надобно и чем ты берешь [...]? — У нашего князя нареченного всего достаточно. — Когда так, что я буду спрашивать, то и подавай, да мне отвечай. — Изволь, молодец! — Дай мне на почине рубликов семь, чтобы любо было всем. — Изволь, обирай [Дружка высыпает на блюдо, поставленное на столе, на которое и должен выкладываться «выкуп» за места]. — Давай мне, друженька, что светлее солнца, краше неба звездного? — Изволь принимать [Дружка вынимает из-за пазухи образ-икону и подает. Продавец, принимая икону, крестится и ставит икону на полку в «божницу», в углу [...]]. — Давай мне, дру-

ше не остается никаких вопросов; это как раз и есть ответ" (6.52), "Решение проблемы жизни состоит в исчезновении этой проблемы" (6.521), "Есть, конечно, нечто невыразимое. Оно *показывает* себя; это — мистическое" (6.522) и, наконец, "О чем невозможно говорить, о том следует молчать" (7).

женька: сам наг, а рубашка в запазухе? — Изволь принимать [Дружка подает восковую свечу]. — Дай мне, друженька: поле яровое, другое ржаное, а третье пареницу? — Изволь принимать. Дружка подает: хлеб, пирог и пряженцы. — Дай мне, друженька: море на пяти столбах, в дремучих краях? — Изволь принимать. [Дружка подает пиво в жбане или ендове. После этого, когда всё спрошенное дружкой подано, начинаются между продавцом и дружкой загадки. [...] Вот некоторые из загадок:] — Чем ты, друженька, вперед шел? — Мыслями с молитвой. — Что такое, друженька, великое поле ирландское, много скота астраханского, а один пастырь, две агницы? — Поле великое — небо ясное; скот астраханский — звезды; пастырь — месяц; две агницы — утренняя и вечерняя зори. — Стоит дуб, в дубу — тина, в тине — сосна, на верху — лён? — Дуб — квашня; тина — тесто; сосна — мутовка; лён — покрывало, ветошка [...]" и т.п. (Шейн 1898, 644—662, ср. Дерунов 1868).

После этих прений, где обе стороны оказываются на высоте и обществу ясно, что "дока на доку нашел", у дружки спрашивают, все ли у него "заговоры приговорены", и тот отвечает, что их у него "лукошко целое бездонное" и что он готов, если позволит хозяин, вступить в торги с "продавцом" на условиях: "загадка за загадку, кто не отганет, с того по рублю на стол для новобрачных князя и княгини". Таким образом, этот обрядовый свадебный текст представляет собой "загадочный" диалог двух видов — словесно-"предметный" и чисто словесный, граница между которыми определяется окончанием сбора предметов необходимых в ходе обряда. Первый тип "загадочного" диалога — своего рода проверка дружки на его "практическую" сообразительность, на способность "предметной" идентификации по его непрямому, метафорическому описанию. Второй тип диалога — проверка дружки на умение не только идентифицировать предмет по его описанию, но и назвать его в слове, найти имя искомого предмета, соответствующее метафоре, содержащейся в вопросе[10]. Успешное прохождение этого испытания — своего рода аттестат зрелости в области "метафорически-поэтической" ориентации, дающий право и дружке быть вопрошающим в "загадочном" диалоге, своего рода magister verborum, тогда как успешное разрешение им загадок первого типа давало бы основания считать его чем-то вроде magister rerum.

Описанная здесь ситуация, собственно говоря, более всего показательна тем особым взаимоотношением слова и дела, которое — по крайней мере типологически — воспроизводит архаичную ситуацию "ограниченного", неполного языкового поведения, чем бы оно ни объяснялось (неразвитостью языковых функций и, следовательно, отсутствием или несовершенством в "разыгрывании" языком внеязыковых ситуаций, нерегулярностью "включения" языка, соображениями табу и другими причинами, относящимися к этикету использования языка и т.п.), когда дело и слово, вещь и ее имя были связаны теснее, чем в более позднее время, и, значит, в большей степени дублировали друг

[10] Кстати, показательно включение в этот "загадочный" ряд и загадки об имени: *Есть штука, собственная своя; люди корыстуются, да не я? — Собственное имя*.

друга, входя практически в отношения взаимной коммутации. Если реконструкция такой глоссогенетической ситуации, которая по инерции могла удерживаться очень долго (ср. типичные "бытовые" эпизоды: "Где моя шапка?" и ответ в виде молчаливого указания рукой на вешалку или "Ты пойдешь гулять?" и ответ в виде отрицательного покачивания головой и т.п.), основательна, то это уводит нас в эпоху, когда не только слово было делом (как в поэтической метафоризации), но и дело было словом (как в первой половине приведенного выше свадебного "загадочного" диалога — партия дружки). Очень правдоподобно, что перед нами (говоря, конечно, в общем) прото-ситуация, из которой выросли два величайших завоевания культуры — ритуал и миф: дело легло в основание ритуала (и обозначение ритуала во многих языках мотивируется идеей делания)[11], а слово — в основание мифа (и само слово μῦθος отсылает к слову, речи, речевой деятельности, ср. μυθέομαι 'говорить' и т.п.) — при том, что и ритуал и миф взаимно хранят память друг о друге (ср. использование мифа в ритуале, с одной стороны, и мифы об учреждении ритуала, с другой) и взаимно дополняют друг друга как непрерывное и дискретное.

Возвращаясь к загадкам "смешанного" типа, когда на словесно сформулированную первую (будущую вопросную) часть следует "вещный" ответ (указание на соответствующий предмет) или когда на молчаливое указание на предмет (вопрос о нем) дается словесный ответ-идентификация, необходимо отметить, что наличие в них "немой", бессловесной "предметной" части вносит очень серьезные коррективы в схему структуры загадки, как она традиционно описывается и понимается. Сведéние в этом случае загадки к вопросо-ответной конструкции было бы, пожалуй, проявлением антиисторизма, конкретнее — анахронизма. Конечно, обе части такой смешанной "предметно-словесной" загадки в широком смысле можно было бы трактовать, особенно находясь в инерционном потоке, создаваемом знакомством с загадками "стандартного" типа ("Что такое...?" & "Это — то-то"), как вопрос и ответ, но такое понимание было бы более чем приблизительным, сугубо прагматическим, имеющим целью "первичное" (грубое) распознавание и столь же поверхностное приклеивание подручных этикеток. Основной глубинный нерв такой "загадочной" конструкции при таком понимании оставался бы в тени. А он, надо полагать, определяется не причинно-следственной вопросо-ответной структурой, но соотносительно-опознающей, идентифицирующей, дейктической конструкцией. Таков смысл, такова форма подобных "загадок". Такова и их прагматическая направленность — опознание через указание и отождествление (ср. *idem* 'тот самый' : *identitas* 'тождество', 'отождествление', ср. позднее *identificatio* : **idem* & **facere*, букв. 'делать тем самым', то есть устанавливать, что *это* и есть *то самое*).

Такому назначению подобных "загадок" отвечает и их норма: они безвопросны, и "на выходе", на поверхностном языковом уровне

[11] Ср. лат. *sacrificium, sacrum facere* в отнесении к ритуалу или др.-инд. *kriyā* 'ритуал' (: *kar- /kṛ-/ kr-* 'делать') и т.п., см. Топоров 1988, 23—25.

(отсутствие вопросительных слов — кто? что? какой? где? когда? и т.п.; в этом смысле обозначение таких "идентификаций" словом *загадка* теряет свое основание, и их, чтобы не терять окончательно связи с идеей загадки, целесообразнее было бы называть "загадками-идентификациями"); часто и во многих традициях, особенно сохраняющих архаический тип загадок, они начинаются с местоименно-дейктических элементов — *Это..., Вот...* или с "дейктического" глагола-существительного *Есть...*, вводящего некую синтетическую "картину-ситуацию" (ср.: *Есть клен, есть он,* | *Есть и платье на нем* | *Есть и шапка с бобром* или *Есть глаза — не видят,* | *Есть уши — не слышат,* | *Есть рот — не говорит,* | *Есть нос — не нюхает* [3570—3571], в обоих случаях с ответом — *Портрет*, или *Есть человек без рук, без ног,*| *Голова есть — без мозгу,* | *Брюхо есть — без кишок,* | *Бока есть — без мяса* [4609], с ответом — *Донце прялки* и т.п.), или же просто с некоей картинки, никаким словесным элементом не вводимой, но самой за себя предстательствующей (ср. в приводимом выше "свадебном" тексте: *поле яровое, другое ржаное, а третье паренину?* или *море на пяти столбах, в дремучих краях?* [предшествующее *Дай мне, друженька*: не является обязательным, как и вводимые публикатором "по смыслу" вопросительные знаки (в отличие от двоеточия, равнозначного в данном случае чему-то вроде *Вот...*)]; следует отметить, что подавляющее большинство русских загадок лишено вопросительных слов, а в ряде архаичных традиций такие слова в загадках вообще отсутствуют). Поэтому приходится считать наиболее вероятным такое пояснение, при котором наличие вопросительных слов в загадке — чаще в начале ("Что это такое?..), реже в конце ("...Что это такое?) — не может считаться отражением исходной "загадочной" структуры, но наследием эпохи формирования вопросо-ответного диалогического типа речи. Более того, в совсем позднюю эпоху, включая и настоящее время, отмечается институализация избыточного вопросительного блока в загадке, когда реально чуть ли не любая загадка начинается (и уж во всяком случае может начинаться) со стандартного *Что это такое?...*

Если указанные здесь особенности "загадки-идентификации" дают основание для реконструкции, то исходное или вообще достаточно древнее ("довопросо-ответное") состояние может характеризоваться напряженным соотношением двух противоположных явлений: с одной стороны, ослабленная по сравнению с последующим состоянием организованность загадки, проявляющаяся, в частности, в отсутствии или минимальности связей "сложно-подчинительного" характера при господстве соположительных паратактических связей, существенная роль "неинтерпретированного" остатка (нечто вроде посыла, оставшегося без ответа), "континуального" (или просто имеющего сильно размытые границы — внешние и внутренние /стыки/), "аморфного", тяготение к "картинке", точнее, к некоей "картинности", в которой как бы плавают, не имея вполне четко фиксируемых мест, элементы с довольно неопределенными связями; с другой же стороны (как попытка спасти растворяющееся, расползающееся целое), безбрежная игра идентификаций с огромной избыточностью по известной схеме "это

есть то"[12], имеющая целью ответить на вызов со стороны дискретности, аморфности, хаотичности, энтропической стихии пан-организацией, приводящей к универсальному порядку, при котором сразу же ясно, что́ есть *это,* а что́ есть *то,* и какова всеобщая система идентификаций (в свою очередь эта тотальная соотносимость и идентифицируемость как раз и стала основой складывающегося пан-детерминизма в архаичных представлениях о мире, о чем писал, между прочим, и Леви-Стросс)[13]. В исторической перспективе само это соотношение двух противоположных и разнонаправленных тенденций в известной мере прообразовывало и предопределяло будущую вопросо-ответную структуру загадки. Вместе с тем едва ли можно объяснить чистой случайностью то, что в ходе творения обнаруживают себя те же самые две противоположные тенденции, которые, однако, существенным образом разведены по разным этапам космогенеза: в начале его, когда хаотическое еще преобладало и не утратило свою силу, аморфное, смешанное, непрерывное, перетекающее играло особенно большую роль (создание стихий — воды, огня, воздуха, позже — земли); чем дальше развертывался процесс космогенеза, тем большее значение приобретали элементы организации, упорядочения, дискретности, оформления, диверсификации, классификации и т.п. В свою очередь эта последовательность стадий космогенеза — от стихий через стадию крупных оплотнений их до элементов и вещей — соотносима и с последовательностью тематических циклов в достаточно полных и архаичных собраниях загадок, в основу которых кладется "нисходящий" принцип.

Из мифов творения известно, что происхождение вещей — поздняя стадия космогенеза, связанная, как правило, с топикой дома, быта, хозяйства (исключение могут составлять сакральные предметы глубокого символического значения), чему соответствует и место загадок о

[12] Известный вариант формулы "это есть то" применительно к антропоцентричному и персонологически-личностному плану — древнеиндийская формула *tad tvam asi* 'это ты еси', в частности, актуальная в загадках с ответом "это ты сам" — некое описание, соотносимое с самим отгадывающим загадку.

[13] Установка на идентификацию реализуется не только в объектном, но и в субъектно-субъективном плане. В частности она обнаруживает себя в ситуации "мистического участия" (participation mystique), характерной для архаичного сознания, для определенных стадий в развитии ребенка, для патологии. В основе этого явления "проективной идентификации" — выход за пределы своего Я, своей души с тем, чтобы найти точку опоры для собирания своего Я, для такого синтеза его, который, включая Я в некую общность, давал бы гарантии безопасности и сохранности этого Я (см. Юнг 1991, 28, ср. 286 и др., ср. Jung 1964). Нельзя упускать из вида, что "мистическое участие", несомненно, имеет отношение и к механизму отгадывания загадок, которое осуществляется не только в силу знания или изобретательности, проницательности и иных способностей "отгадчика", но и благодаря той атмосфере легкого "проницания", особой открытости и повышенной сообщительности, которая свойственна ситуации "мистического участия" и позволяет одному человеку, связанному таким образом с другим, угадывать его мысли, желания, слова, сны. Но сама потребность в проективной идентификации, поиск опоры для своего Я и вне материального носителя этого Я, по Юнгу, "означает, что человеческая психика далека от полного синтеза, напротив, она слишком легко готова распасться под напором неконтролируемых эмоций". Этой "диссоциированности" Я, его выходу за собственно свои пределы, растворению в других может быть поставлена в соответствие та атмосфера, в которой складывалась загадка-идентификация и которая определила ее первоначальный дух.

вещах в корпусе загадок. Тем не менее количество вещей, которые становятся объектами загадывания, как и количество загадок о вещах в любом достаточно представительном "загадочном" корпусе, достаточно велико и дает повод для ложных в своей основе представлений о том, что загадки "разыгрывают" преимущественно и прежде всего "предметно-вещный" состав мира. Отчасти причиной такого заблуждения является инерция, сложившаяся в результате некорректного обобщения материала "вещных" загадок и перенесенная за свои первоначальные пределы. В других случаях (отчасти объясняемых этой же инерцией или же просто небрежностью участников загадывания-разгадывания или публикаторов "загадочных" собраний) причина заблуждений — в известном разрыве между вопросной и ответной частями загадок: многообразное, перетекающее, следующее друг за другом, процессуальное в ответе неточно кодируется через "предметное"; в результате загаданное действие в ответе декодируется как предмет, вовлеченный в это действие, а "картинка", изображающая целый ряд действий — как последовательность соответствующих предметов или даже один предмет, если он связан со всеми звеньями цепи таких действий (ср.: *Топили, сушили, колотили, рвали, крутили, ткали, на стол клали = Лен* [2105] и под.). Впрочем, нередко сохраняется и "непредметная" форма ответа, ср. в серии загадок из цитируемого выше свадебного текста: *брюхо-то режут, тело в ад валят, душу-то в рай тащат = Молотьба хлеба* или *Край с краем сходится, вечорошного хочется = Спать хочется* [1606], или *День и ночь одну работу работаю* и *Что не лень делать?* — с одним и тем же ответом — *Дышать* [1610—1611] и др. К соответствующей проблематике ср. Юнг 1991, Фромм 1992, Кьеркегор 1993 и др.[14] Иногда же "непредметная" форма ответа восстанавливается по смыслу и/или смыслу и рифме, когда форма ответа представляет собой рифму к одному из слов в "загадывающей" части, которое своей формой имплицирует точный вид ответа.

Подводя промежуточные итоги (в предварительном варианте) рассуждениям об особенностях "прото-загадки", уместно подчеркнуть лишь важнейшее — отсутствие вопрошания (и, следовательно, вопроса), но наличие приглашения к идентификации (но не к ответу в строгом смысле слова), "демонстрационность" ("картинка") и дейктичность, аморфность, непрерывность, диссоциированность, с одной стороны, и установка на проективную идентификацию, отождествление с целью синтеза, с другой стороны. В этом контексте можно думать, что "загадчику" и "отгадчику" предшествовали фигуры несколько иного плана — "дейктор"-указатель и "идентификатор"-отождествитель,

[14] Иногда ответы на загадку имеют весьма неканоническую форму, весьма приблизительно соответствуя "загадываемой" части, ср. такие ответы, как *Пашут* [1951], *Покойника несут* [1664—1668], *Могилу рыть и повивать* [1675], *Сон видеть* [1608], *Молотят снопы* [2322—2367], *Жнут серпом* (но и *Серп*) [2106—2145], *Возят снопы к овину* [2278—2287], *Едут с вилами за снопами или сеном* [2273—2277], *Мыши спрашивают, где кот* [1221—1246], *Посев ржи или пшеницы* [2019—2048], *Смерть* [1630—1645] и даже *Пошел я за лошадью или на охоту и взял с собой собаку, нашел медведицу* [1259] и т.п. Многие из таких ответов вполне могли бы быть названием картины, а некоторые как [1259] — резюме небольшого рассказа.

которые, вероятно, в определенных ситуациях могли меняться местами — или регулярно, то есть в каждом новом цикле, или в зависимости от успеха-неуспеха идентификатора. Идентификация-отождествление как основная операция "прото-загадки", с помощью которой устанавливается состав мира и некоторые связи, существующие в нем, дает основание предполагать, что ее непосредственное назначение состояло в классификации и сериации состава мира, первых формах осознания принципов о р г а н и з а ц и и мира. Поиск же организационного начала мира был скорее всего попыткой найти ту точку опоры (terra ferma) в диссоциированном мире, еще хранящем в себе наследие хаоса, с тем, чтобы через знание мира и его собирание-синтезирование познать и самого себя и соответственным образом собрать-кристаллизовать свое Я, что, кажется, стало основным содержанием следующего по времени периода. Конечным назначением указанных "интеллектуальных" операций нужно считать выработку з а щ и т н ы х механизмов человека от случайного, непредвиденного, страшного, чем чреват мир, пока он не преодолел в себе "хаотическое" начало и не обезвредил его угрозы. Эта ситуация и определяет ф у н к ц и ю "прото-загадки", которая отсылает к прагматике, к некоему смешанному "субъектно-объектному" состоянию растворенности человека в мире, неполной и непоследовательной выделенности его из него, и первому варианту проблемы потребностей (*needs*) человека, еще не отделимых вполне от данностей мира и тоже как бы растворенных в нем. Поэтому "прото-загадка" помогала человеку установить правильное отношение между собою и миром, найти свое место в нем, преодолеть диссоциацию сознания, обрести и вернуть себе "потерянную душу" (а угроза потери души была актуальной на протяжении всей истории человеческого рода[15]), то есть собрать себя в целое.

Это назначение и эта "перво-функция", предполагаемые для "прото-загадки", носят слишком общий характер, чтобы эксклюзивно определять только ее. Несомненно, что организация и использование ее для самосохранения имеют существенно более широкое распространение и присущи всему живому (по меньшей мере в самой жизни, то есть уходят в "до-человеческую" древность, хотя характер, способы и формы организации и использования ее в "прото-загадке" безусловно "человеческие". Поэтому такое определение сути "прото-загадки", конечно, страдает экстенсивностью и неспецифицированностью, хотя при всем этом оно важно тем, что указывает ее корни, лежащие в н е культуры, в сфере природного и жизни как одной из форм этого природного и в пространстве более широком, чем то, что ограничено человеком. То, что в архаичных загадках обнаруживается этот "докультурный" и "шире-чем-человеческий" слой, и то, что отпечаток этого состояния может быть реконструирован и для ряда типов современных загадок, подтверждает высказываемые здесь соображения и в свою очередь подтверждается и "снизу" (круг исследований над способностью животных, во всяком случае высших, к опознаванию, указанию, идентификации и передаче опыта следующему поколению)[16], и "сверху" (языковые

[15] К соответствующей проблематике ср. Юнг 1991, Фромм 1992, Кьеркегор 1993.

[16] Ср., в частности, известные наблюдения Фриша над поведением пчел.

данные), и в том, что объединяет "низ" и "верх" (сфера игрового в самом широком смысле слова: и представление операций указания и идентификации /"опознания"/ в мире животных как игры по преимуществу, и языковое "разыгрывание" /а не просто "отражение", "передача", "кодирование" и т.п./ той сути, что составляет смысл загадки).

Проблема происхождения загадки, ее предыстория, функция и использование не могут быть поняты и тем более решены в отрыве от определения места загадки в общей линии глоссогенетической эволюции, уходящей своими корнями за пределы "человеческого", но породившей свой лучший плод — естественный язык — уже на достаточно продвинутой стадии человеческого развития. К сожалению, в истории глоссогенеза много существенных неясностей, и в силу этого и ряда других обстоятельств здесь придется ограничиться лишь указанием некоторых основных узлов схемы.

Прежде всего загадка, даже в древнейшей из доступных нам в реконструкции форм, представляет собой двучленную конструкцию — или целиком словесную или наполовину, при том, что другая половина представляет собой указание подлежащего отгадке или уже отгаданного предмета или, может быть, точнее — явления. Еще одна существенная черта загадки — запрет на совмещение в одном лице "загадчика" и "отгадчика", что, учитывая двучленность "загадочной" конструкции, означает непременное участие в акте загадки двух участников и, что особенно важно, другого — и не только как "отгадчика", но именно как *другого,* наличие которого предопределяет ориентацию "загадчика" на него и особую структуру языковой формы этого "загадочного" акта: для "загадчика" этот другой — *ты,* к нему направлена речь ("партия") "загадчика" (*отгадай /отгани/ загадку, разреши вопрос...*), который тем самым не может занять иной ниши, нежели нишу перволичного *я* (ср. характерные ходы, вводящие загадку: *Я загадаю /тебе/ загадку...* или даже *Я — загадка... отгадай меня...*). Эта схема нуждается в нескольких пояснениях. Есть ситуации, где вторую партию образует коллективное *ты,* выступающее, однако, как монолитное единство, обладающее одним общим голосом (такая ситуация возникает, в частности, в некоторых ритуалах). Другое существеннейшее дополнение к сказанному выше состоит в том, что обе части двучленной "загадочной" структуры составляют единое целое, вне которого каждая из двух составных частей загадки или лишается своей самодостаточности, полноты, суверенности вообще, или, сохраняя ее, решительно меняет свой статус, выходя из "загадочного" пространства и становясь некиим "нейтральным" высказыванием. Следовательно, та связь, которая соединяет обе части загадки в цельно-единство, в пределах "загадочного" пространства не может быть признана случайной, вторичной, факультативной: она — главный элемент загадки, образующий то поле, в котором соединяются в целое обе части "загадочной" конструкции и обретают свой смысл. В известном отношении эта связь априорна, и онтологически она первична в загадке и определяет собою все остальное. Иными словами, она — само условие становления и оформления загадки из того, что *без* и *вне* этой связи было бы не в состоянии сложить нечто в загадку.

Наконец, еще одно важное дополнение, касающееся того, что обычно ускользает от внимания исследователей или как известное и самоочевидное, или как нечто побочное и малосущественное. Речь идет о том, что сам двучастный акт загадывания-отгадывания никогда не воспроизведение чего-то уже имевшего место: повторение этого акта вообще невозможно, он всегда единственный в своем роде, неповторимый, *здесь* и *сейчас* совершающийся и переживаемый во всей его подлинности и жизненной актуальности, он — действительно действо, и дело, им совершаемое, изменяет нечто существенное в *этом* мире. Эта черта, несомненно, связывает загадку и сам акт загадывания с ритуалом, но, как и в случае ритуала, речь идет именно о внутреннем переживании этого акта, снимающем ту конфликтность и кризисность, которые вызвали необходимость выдвинуть и решить загадку, чтобы устранить напряженность ситуации.

Глоссогенетические исследования обычно характеризуют тип "перворечи" как эвокативный, направленный вовне, не описывающий или рассказывающий, не "объективный", не нейтрально-индикативный, но — можно думать — сигнализирующий о самом себе. В известном смысле речь идет о некоем посыле в пустоту с расчетом на потенциальный отклик источнику речи. Отсутствие отклика означало бы дезавуирование самой "эвокации", лишение ее смысла и значения. Это потенциальное наличие реципиента сигнала, исходящего из источника речи, — принципиальная черта исходной ситуации, которая может быть существенно конкретизирована при обращении к семантической мотивировке обозначения источника речи, иначе говоря, к этимологии личного местоимения 1-го лица в глоссогенетической перспективе. Как известно, слова, обозначающие Я типа др.-инд. *ahám,* др.-греч. ἐγώ, лат. *ego,* слав. **(j)azъ* и т.п. восходят к и.-евр. **He-g'h-om,* в котором первый элемент является дейксисом, а второй усилительной частицей, а целое должно пониматься приблизительно как 'вот-здешность'. Строго говоря, никакой "личности" и тем более перволичности в этой форме не присутствует: есть, пожалуй, лишь некий "местообразующий" (возможно, и шире — хронотопический: 'вот-здесь-теперешность') субстрат, которому только еще в будущем предстоит соединиться с тем, что вызовет преображение безличного и пассивно-инертного в личное и активное. В другом месте (Топоров 1992, 128—153 и др.) была предпринята попытка показать, что в основе парадигматического набора **He-g'h-om* (Pron. pers. 1. Sg. Nom.) & **men-* (id. Gen. или нечто вроде casus obliquus), ср. *ahám—mana, (j)azъ—mene* и т.п., некогда лежала синтагматическая последовательность, в которой элемент **men-* обозначал некую ментальную деятельность, вид специфического "тонкого" возбуждения, дрожания, вибрирования, позволяющего открыться и реализоваться особым творческим способностям — дару слова, памяти о прошлом, предвидению будущего, прорыву к ноуменальному, к сути. Этот **men*-элемент отражен в др.-инд. *mánas* : *mányate,* др.-греч. μένος, μανια : μέμονα, слав. **pa-męti* : **mьněti,* лит. *mintìs* : *miñti, minėti* и т.п. (кстати, в высшей степени показательно, что этот корень находится и в слове, обозначающем загадку, ср. лтш. *mīkla* : *uzdot mīklu* 'загадать загадку' и особенно *at-minēt/uz-minēt mīklu*

'отгадать загадку' при том, что *mīkla* восходит к **min-tlā*, от глагола *min-ēt*: и.-евр. **men-*, ср. лит. *miñklė, mįslė*, см. ME II, 641; Karulis 1992, I, 594; LEW s.v. и др.). Особо нужно отметить наличие слов с элементом **men-* в связи с обозначениями говорения, поэтической ритуальной речи, что опять-таки возвращает нас к загадке как особому виду и жанру подобной речи. Весьма правдоподобно, что именно соединение элементов **men-* с **He-g'h-om* и "инфицировало" понятие "вот-здешнесть" идеей "личного" как присутствия здесь и сейчас отмеченно-напряженной и "поэтической" речи, что, собственно, и превратило **He-g'h-om* в подлинно личное "авторское", к автору отсылающее местоимение 1-го лица, уже оторвавшееся от жесткой связи с местом и временем, но сохранившее память о былой связи с ними в преобразованном виде: *Я* — именно тот, кто говорит в данный момент и, следовательно, с данного места. *Я* как голос *места сего* становится обозначением того, кому этот голос принадлежит, субъекта говорения в момент этого действия, и только это. Уже в этой изначальной "пустоте" локуса речи — первый залог всесилия и универсальности языка и слова.

Но как связан с поэтическим творчеством тот **men*-персонаж из формулы **He-g'h-om & *men-*, который непосредственно отсылает к первичному местоимению *Я*, к автору-творцу, в этом (**He-*) месте и в этот (**He-*) момент ее творящему? Чтобы приблизиться к ответу на этот вопрос, нужно поставить перед собой еще один — что могло значить говорить, т.е. пользоваться словом (очевидно, отмеченным), применительно к эпохе глоссогенеза или во всяком случае к ранним стадиям в развитии речи и складывании речевых жанров? Здесь уместно самым кратким образом высказать несколько предположений. Во-первых, речь, говорение, произносимое слово были в это время отмеченными ("маркированными") как по отношению к "неречи", молчанию, так и по отношению к другим знаковым системам более древнего, чем язык, происхождения (напр. к жестам), и в этом смысле они могли быть и более эмоциональны, аффективны, и более импровизационны (в теоретико-множественном понимании), нежели устоявшиеся, отлившиеся уже в свои формы, институализированные инознаковые тексты. Во-вторых, речь, слово, говорение скорее всего должны были выступать как некий импровизационный ритуал, потребность в котором возникает в крайних условиях, в том кризисном состоянии, для выхода из коего нет заранее предусмотренных стандартных средств и полагаться приходится на случай, шанс, удачу, вероятность которой вычислена быть не может. Как каждый ритуал — акт, деяние, так и говорение-речь — дело (хочется сказать — "не слово, а дело", хотя именно слово и есть в этом случае дело по преимуществу). В-третьих, ритуал, в частности, и такое говорение-речь, касаются всего коллектива, но в данном случае весь этот коллектив как бы слит в образ того одного, кто совершает ритуал, кто берет на себя ответственность за всех и берет на себя риск говорить, то есть стать *Я*, и кто, выступая как жрец, совершитель ритуала, как и любой жрец ощущает себя одновременно и жертвой. В этом отношении акт говорения-речи есть знак готовности умереть, шаг к смерти, к опустошению в слове своей жизненной силы, вещества жизни. В-четвертых, говорение, слово в этих условиях было чем-то промежуточным и сугубо

непредсказуемым: оно отрывалось от того знания, которое было до начала речи, и еще не обладало знанием, которое в случае удачи могло быть достигнуто речью-словом. Совсем как у поэта: *Да вот и сейчас, словарю | Придавши бессмертную силу*,— | *Да разве я то́ говорю, | Что́ знала, пока не раскрыла | Рта, знала еще на черте | Губ, той — за которой осколки... | И снова, во всей полноте | Знать буду, как только умолкну*[17].

Если высказанные выше предположения верны, то открывается широкая область аналогий с загадкой, тем более с реконструируемой "прото-загадкой". Отмеченные здесь зависимости бросают луч света и на отношение *mánas*, μένος (:μαίνω), связанных, в частности, и с поэтическим даром и с определенными видами (жанрами) поэтической речи, и обозначений таких ментальных действий, как говорить, мыслить, помнить, вспоминать, осмысливать, понимать, предсказывать, прорицать, и здесь еще раз нужно напомнить о том, что понятие "говорение загадками" обозначает не только темную речь, смысл которой полностью неясен, но и особый "дефектный" тип произнесения "загадочного" текста, отличный от обычной нейтральной речи и не раз отмечавшийся в связи с манерой исполнения загадок. Также необходимо напомнить, что лит. *miñti* 'загадывать', 'отгадывать' и лтш. *minet*, то же (ср. *runāt miklas* 'говорить загадками'), восходят к корню **men-* и, не исключено, могли некогда обозначать и сам произносительный стиль "загадочной" речи.

Глубинные свойства загадки, наиболее ярко проявляющие себя в ее архаических типах и подтверждаемые правдоподобными реконструкциями, в ряде важнейших отношений так близко подходят к ситуации, фиксируемой в набросанной здесь глоссогенетической перспективе, что предположение о случайном совпадении представляется существенно более надуманным, чем предположение об общем истоке совпадающих особенностей языка глоссогенетической стадии развития и "прото-загадки" той эпохи, когда она впервые дает о себе знать.

Если *Я* — голос *места сего, этой* "вот-здешнести" и если оно представляет себя именно как "вот-здешнесть", то это имеет смысл только в том случае, если *Я* рассчитывает на какую-то реакцию на свой

[17] К сожалению, проблема природы и характера "перво-речи" остается практически мало разработанной. Тем не менее то, что об этом все-таки известно, в ряде существенных отношений подтверждается данными о некоторых экстремальных, часто патологических (хотя бы функционально патологических) видах говорения, отмечаемых у пророков, шаманов, жрецов,юродивых, мистиков, экстатиков и нередко даже у самих поэтов, принадлежащих к вполне "цивилизованному" кругу. Сведения о "говорении" (в частности, ритуальном и ритуализированном) в архаических культурах дополняют другие данные и отвечают общим представлениям.Основные психофизические характеристики такого говорения — присутствие особого волнения, возбуждения, "дрожания" речи, ее прерывистость, неупорядоченность, наконец, сама манера произнесения, с отмеченными силой голоса, тембром, скоростью речи, иногда с подражанием другим голосам и т.п. Формы такой речи нередко довольно непосредственно связываются с болезнями, называемыми *эмирячение* и *мэнэрийи*, присущими именно шаманам или в период обретения ими шаманского дара, или во время камлания. Во время такой "шаманской" болезни помимо прочих болезненных явлений человек испытывает и специфическое чувство "обмирания", опустошения от жизненного вещества, потому что, говоря языком более известных традиций, он лишился того, что называют *manas, μένος*. "Дефектная", опустошенная речь — следствие обмирания-умирания.

голос-посыл, на некую ответность со стороны *другого*, того что вовне, чуткой к этому "голосу" и "тонкой" реверберирующей материи, способной как минимум механически отразить воспринятое и хотя бы частично вернуть его как эхо или же как максимум вступить в смыслостроительный диалог двух сознаний. Такой диалог или даже предшествующая ему "пред-диалогическая" конструкция уже есть некая коммуникация, предполагающая наличие участников этого акта (когда участник один, он вынужден раскалывать свое сознание и свой голос надвое и строить внутренний диалог между двумя частями своего *Я*), их адреса-шифры и направление диалога. Адрес и шифр *Я* — "вот-здешность". Второй участник диалога — другое — не может быть ничем иным, как "вон-тамностью", и на *Я* как имя "вот-здешности" он может ответить, прежде чем оформится полноценное *Я* "другого", подобием этого *Я* — названием себя, ибо название вещи это и есть своего рода "маленькое" *я* вещи и одновременно средство если не распространить "персональность" на мир вещей, то во всяком случае найти в нем некое соответствие "персональности" *Я*, то свое внутреннее состояние, которое открывало бы путь для контакта с "персональностью" *Я*. Когда *Я* входило в общение с вещью, оно объявляло о себе как о "вот-здешности", а вещь откликалась ему своим названием — "дом", "хлеб", "корова". И каждое из этих названий — своего рода "вот-я (моя) домовость, хлебность, коровность". Как *Я* или имя человека в "личной" сфере, так и название вещи в "безличной", — тот кратчайший способ самоидентификации, поиску которого посвящена и загадка, и форма представления результата этого акта — название "на выходе" того, что было загадано[18]. Я и оно, человек и вещь, имя

[18] О вещи спрашивают, как она называется, о человеке — как его зовут. Человека зовут-призывают, и это звание-зов-призывание образует основу вовлеченности человека в диалог. К вещи (кроме ситуаций типа "уважаемого шкафа" или чернильницы, "подруги жизни праздной") не обращаются, ее не зовут и не призывают — она всегда под руками, всегда к услугам человека, стоит лишь протянуть к ней руку. О ней, как о мертвом, не способном сказать что-либо о себе, спрашивают у другого, и даже ее название полностью захвачено и присвоено себе человеком. Между человеком и вещью — то же, что между быть и иметь. Название вещи *имеется*, его *имеют*. Имя человека *есть* и даже — "усиленно" — "сверх-есть", потому что оно "внутри-есть" (*in-esse*), то есть глубинно "бытийствует". А "глубинно-бытийствовать" значит не только и не просто быть в глубине, но и переживать это бытие в глубине, уметь порождать (**g'en-*) его и, следовательно, знать-сознавать (**g'en-*) это, помнить о нем, уметь вновь и вновь возвращаться к этому "внутри-бытию" на глубине, то есть к самому себе, и рассказывать об этом. Эта авторефлексивность бытия, сознаваемого как таковое, "заражает" и имя: оно тоже направлено на само себя не в меньшей степени, чем на человека, и все время помнит о своей идее, возвращается к ней и являет ее. И, может быть, не столько имя у человека, сколько человек у имени. Имя у человека лишь в той мере, в какой он может его освоить, ему соответствовать. Человек же по идее весь у имени, в имени. Вернее: подобно тому, как искусство — название той силы, что применена в поэтическом произведении и определяет его (Пастернак), так и имя — та внутренняя сила, которая предназначена определять главное в человеке: входя в него, эта сила оказывается его свойством, то есть внутренне и глубинно укорененной и неотъемлемой от него сутью его. Иван, Петр, Сидор — лишь преходящие явления-вспышки, отсылающие к непреходящему "внутри-бытию" (**n-men*) "именства" — "иванства", "петровства", "сидорства", и поэтому *"-ство"*, может быть, точнейший, "глубинный" перевод слова *имя*: суть имени *Иван* — в его "иванстве", и только в нем. Кажется, лишь при таком понимании снимаются противопоставления произвольности — непроизвольности имени, сути и яв-

ление названия, внутреннее и внешнее, каковы бы ни были опыты нахождения промежуточных звеньев между ними и ведущих к ним взаимных переходов, в ходе антропогенеза и глоссогенеза обнаруживали отчетливую тенденцию к расхождению и взаимному противопоставлению, прежде чем человек не задумался о прелести "вещи" (натюрморт, пейзаж и т.п.) и не попытался увидеть в ней не только "полезное", "нужное", "прикладное", но и собеседника, своего рода младшего брата, с которым возможен некий мыслимый диалог.

Как бы то ни было, ситуация *Я* как голоса *места сего* ориентирована на отклик *иного места*, на ответность, и самоидентифицирующемуся *Я* важно узнать из ответа, как идентифицирует себя голос *иного места*: без этого коммуникация была бы "безадресной" и, следовательно, мнимой; построение диалога на этой зыбкой основе невозможно. Ответность — отклик, самоидентификация и идентификация повторяемость коммуникационного акта объединяют ситуацию определенного этапа глоссогенеза и необходимых условий акта загадывания отгадывания и самой структуры загадки. И в первую очередь именно "ответность" направляла становление и развитие языка в глоссогенезе и "ответность" же делает некое высказывание-посыл загадкой[19].

ления, содержания и формы, внутреннего и внешнего. Точно так же имя не только прогнозирует его носителя, в известной степени предопределяя его судьбу-участь если он окажется достойным ее, не только будит-толкает его на некий путь, выводящий наружу и развертывающий вовне то, что предсказано именем в его глубине, но и открывает перед человеком пространство свободы, возможность достойного имени и предназначения человека выбора. Разумеется, человек может оказаться ниже имени и потому заниженно оценить его. Он может увидеть в нем только формальный индекс, фишку, внешний прагматически-опознавательный привесок, только объект-вещь для себя-субъекта, только "чистую" форму. Но имя не только форма или во всяком случае оно не исчерпывается ею: имя-*nāman* в др.-инд. *nāmarūpa-*, с одной стороны, противопоставлено форме-"виду", а с другой, отсылает к сути, к "содержанию", к смыслу. Если имя — форма, то только в том отношении, в каком это "смыслующе-именствующая" форма, то есть "содержание-смысл" не само по себе, в некой невесомости и отвлеченности, а уже взятое в модусе воплощения. На этом пространстве и складываются две известные позиции в споре "об имени": имя как суть, как душа, как то, что не просто "улавливает", "метит" и "классифицирует", но самодостаточно, суверенно, абсолютно, свободно, и имя как нечто внешнее, производное, вторичное, произвольное, как то, о чем говорят — "что в лоб, что по лбу".

[19] Учитывая выдающуюся роль древнеегипетской традиции в рефлексии над языком и ее интерес к проблеме имени, наконец, весь контекст тождества и различия, инварианта и вариантов, коммутации, уместно привлечь внимание к такому гибридному "вещно-персонифицированному" образу "ответности", как ушебти. Эти маленькие мумиеобразные фигурки из камня, дерева, фаянса отчетливо свидетельствуют о своем "ответном" (само слово *ушебти* значит 'ответчик') и "заменительном" назначении (в надписях на ушебти указывается имя и титул покойника, за-меняемого самим ушебти, и содержатся заклинания о замене умершего на трудных работах в загробном царстве). Характерный типовой пример — формула на ушебти госпожи Мутри (Эрмитаж, СПб.): "О, ушебти этот, если причислят ... госпожу Мутри к работе всякой, что делают в некрополе ..., если призовут ее взращивать поля, орошать высокие берега, перевозить песок с запада на восток, если причислят к ежедневной повинности, — «Я, вот Я», — скажешь ты". Вопрос загадки, часто не только не наводящий на ответ, но, напротив, уводящий от него, сбивающий с толку, по сути дела, и есть некий "заменительный" образ подлинного искомого. Вместе с тем ответ загадки вполне может трактоваться как восстановление истинного заменяемого по "косвенному" в отношении истинности "заменяющему" (вопрос). В этой рамке сам поиск правильного ответа представляет собой акт нахождения "правильной" основы коммуникации.

Наиболее ранней и примитивной формой самореализации ответности, как уже говорилось, является эхо — и как чисто физическое явление акустической природы и как явление, осваиваемое сферой смысла. Когда спрашивают, *что́ есть истина?*, ответ *Истина* совершенно верен, но он не открывает ничего нового и заставляет любопытного снова повторять этот же вопрос. Если нечто названо и об этом нечто спрашивается, что́ оно такое, то это уже само по себе знак, указывающий на то, что в тавтологической замкнутости на самого себя не может быть найден удовлетворительный ответ на поставленный вопрос, для которого необходимо хотя бы минимальное приращение информации (например, — *Истина-естина* и под.). Без этого эхо-вопрос об истине при серии повторяющихся ответов (*Истина, истина, истина...*) делает необходимость ответа еще более настоятельной, а вопросу придает сугубую важность. Как чисто физическое явление эхо-ответ сам по себе не имеет смысла, хотя он может оказаться небеспоследственным для дальнейшего. Так, в частности, такой эхо-ответ позволяет обратить внимание на позицию, в которой сто́ит искать по преимуществу подлинный ответ, так как эхо акцентирует прежде всего последнюю позицию, так как именно в ней тишина, молчание проявляют то, что им предшествует, или — в меньшей степени — начальную позицию, когда тишина, молчание предшествуют речи и появление ее (первое же слово) вызывает концентрацию внимания и его особую восприимчивость-чуткость. Эхо-ответ приобретает значимость, смысл лишь тогда, когда в нем самом есть намек на искомый смысл или на путь его поиска. В любом случае ответ организует некую "рифму" к вопросу, но важно, чтобы эта рифма не была абсолютна: абсолютность всегда мертвая почва, и на ней плоды истины не созревают. Эта "не-абсолютная" (существенна именно "не-абсолютность", в частности, и потому, что эхо вовсе не абсолютно воспроизводит то, эхом чего оно является) рифма может быть "семантической": в вопросе — образ решета, в ответе — сито. Игра в загадке (и соответственно — в языке и культуре) синонимами не только не запрещена, но, наоборот, поощряется: при ней плоть мира наращивается, и каждое место получает дополнительную поддержку, а гарантия целого возрастает. Запрещается лишь одно — на образ решета в вопросе повторить и в ответе: решето. Но и "звуковая" не-абсолютная рифма может указывать путь к ответу: в вопросе слово *гадко*, имплицирующее *кадка*, но лишь с несколько большим вероятием (степень фонетического подобия-идентичности), чем *грядка, матка, заплатка, оглядка* и т.п. *Что в избе гадко? = Кадка* [3799] — правильное "загадочное" высказывание при всей его бессмысленности, тогда как *Что в избе гадко? — Гадко* при "смысловой" правильности было бы "загадочно" неправильным способом выражения, нарушением принципа загадки, в которой, как и в языке, позволено очень многое, но все-таки не всё. Характерно, что таких загадок, имеющих, между прочим, своей целью и проверку испытуемого на внимательность к звуковой стороне загадки и на "разрешающую" силу его эвристического потенциала и соответствующих способностей ("селективность"), не так уж мало (ср.: *Что в избе Фрол? = Стол* [3549] или *Что не корыстно? = Коромысло* [3827] и под.)[20]. Кстати сказать, такие загадки не вполне "бессмысленны" и потому, что в их структуре есть до сих пор, кажется, не замеченная яркая особенность, сильно сокращающая путь к отгадке: они в своей вопросной части по сути дела однословны (*Что? Что такое? Что это?* и под., строго говоря, к вопросу не относятся, но лишь указывают некий элемент "вопросного" пространства): *гадко? → Кадка, Фрол → Стол, не корыстно? — Коромысло* и под.[21]. А подобная структура отсылает практически к игре "в рифмы", параллельной игре "в синонимы", отмечавшейся выше, и институализированной как особый жанр (иногда ритуализированный), близкий к коану в дзен-буддизме. Если последняя обучает поиску и формированию синонимического пространства данного слова, то первая учит распознаванию и снятию ситуаций близких к омонимии. Обе операции, соответственно — игры, связаны друг с другом и на достаточной глубине друг друга предполагают, подобно тому как синтез и анализ взаимно предполагают друг друга, и каждый со своей стороны кладут предел один другому. Однословность же таких загадок или во всяком случае явная, бросающаяся в глаза и не оставляющая места для сомнений выделенность одного слова предельно облегчают нахождение ключа к решению загадки при том, что этот ключ может открыть и ряд других дверей.

Во всяком случае загадки этого типа отсылают к проблеме синтеза и анализа, возникающей в ходе решения "загадочной" ситуации, и к тому, как загадка "обучает" своего любознательного и внимательного "пользователя" искусству отгадывания самой себя: "в моем начале — мой конец" — могла бы сказать загадка, — впрочем, с теми же основаниями, что и обратное "в моем конце — мое начало", что, однако, менее интересно: начало и так дано "пользователю" в "открытом" виде (если не придираться к частным двусмысленностям); к проблеме "отгадывания" загадки и роли "наводящих" на ответ особенностей самой загадки см. Левин 1973, 183—190. На роль "эхо-образного" принципа в ранние эпохи развития языка, особенно в глоссогенетическую эпоху, в устной традиции (особенно при отсутствии альтернативного письменного варианта), в детской речи, в языковой патологии, в "экстатических" вариантах речи и т.п., внимание обращалось не раз. В данном случае, возможно, важнее подчеркнуть роль этого принципа при

[20] Случаи такого рода — лишь один из примеров принципа компенсации семантики фонетикой, когда "фонетическое богатство компенсирует семантическую произвольность (или пустоту)". Исследователь, занимавшийся и этим типом загадок и внесший большой вклад в исследование семантической структуры русской загадки, имея в виду именно такие случаи, пишет: "Ответ «по смыслу» здесь, как правило, невозможен: такая загадка строится только на фонетике и сводится к упражнению на подбор слова, рифмующегося с данным. Эти загадки обладают фонетическим point'ом, но не внутренним, содержащимся в самом тексте, а внешним, основанным на фонетическом отношении между текстом и отгадкой. С другой стороны, здесь можно говорить и о внешнем семантическом point'е, ибо эти загадки построены формально сходно с такими как: *что у нас безвестно?* (судьба), *что не лень делать?* (дышать), *что в избе сборщик?* (шкаф), и поэтому при сообщении отгадки может возникнуть чувство обманутого ожидания: вместо ожидаемой отгадки «по смыслу» дается «фонетическая»" (Левин 1973, 183).

[21] Добавление *в избе* практически мало что меняет в сущности дела, хотя, конечно, и *кадка* и *коромысло* могут быть локализованы и *в избе*.

решении "текстостроительных" задач, о чем свидетельствуют отдельные фольклорные жанры и стили, представленные ими (нередко эхообразная стихия заполняет бо́льшую часть текста, а иногда ее структура позволяет реконструировать некоторые ключевые слова "эхо-трансформированного" текста, как, например, в загадках типа *В поле-то го-го-го, а в лесах-то ги-ги-ги. — Горох и грибы* [2442] и т.п.), а также нередкие опыты использования этого типа в текстах художественной литературы, прежде всего стихотворных[22]. Применение эхообразного принципа, разумеется, позволяет решать и ряд более общих задач, связанных с соотношением "устойчивого" и "изменяющегося", с чисто информационными проблемами и, конечно, не в последнюю очередь, с мнемоническими задачами, столь существенными для устной словесности. Нельзя упускать из виду и использование эхообразных повторов в тактических целях, например, с целью выигрыша времени, оттягивания в выборе решения, правильный или лучший вариант которого остается неизвестным, расширения возможностей получения дополнительной информации и т.п.[23]

О значении эхо-принципа можно было бы говорить и далее, но здесь эта тема может быть закрыта, если подчеркнуть еще два существенных его признака — повторение, реализующееся в двух разных частях единого целого, выстраиваемого сочетанием этих двух условий. "Экзоцентрическое" повторение при том, что повторяющаяся часть существенно короче предшествующего ей повторяемого и содержит в себе только одно (в принципе!), но зато ключевое слово, как раз и создает основу той структуры, без которой немыслима загадка, с одной стороны, а с другой, выстраивает фундамент "диалогизма", обозначившего начало новой эпохи в развитии человека и культуры. Выбор именно такой речевой конструкции открыл путь к весьма напряженно-противоречивой, сложной, но исключительно перспективной операции, предназначенной для познания неизвестного и нахождения соответствующего решения. Собственно говоря, она как раз и была источником той вопросо-ответной схемы, которая с известного времени стала определяющей для загадки (см. ниже).

[22] Иногда использование принципа эха в литературных текстах предполагает некоторый сдвиг в точности воспроизведения его и/или некоторую дополнительную семантизацию эха с целью получения комического эффекта, как, например, в случае частичной глухоты одного из участников ситуации (ср. известное *Аль ты глуха? — Купила петуха* ... и т.п.) или некоей гипнотичности; более сложный случай, когда "авторское" слово эхообразно отображается в "не-авторской" речи, как у Алексея Толстого: *Вонзил кинжал убийца нечестивый | В грудь Деларю. | Тот, иляну сняв, сказал ему учтиво: | "Благодарю". | Тут в левый бок ему кинжал ужасный | Злодей вогнал. | А Деларю сказал: "Какой прекрасный" | Увас кинжал!"* и т.п. Довольно естественно тяготение к эхообразному построению в логаэдических стихах, когда существенно более короткий стих на фоне более длинного, даже при отсутствии между ними рифмовки, как бы открывает некую дополнительную возможность для явления эха.

[23] Типичная ситуация из совсем иной сферы. Учитель спрашивает ученика, сколько будет, если сложить пять и три. Ученик: Сложить? -- Учитель: Да, сложить! — Ученик: Пять и три? — Учитель (теряя терпение): Да, да, сложить пять и три! — Ученик: Значит, сложить пять и три? — Учитель (молчание перед срывом). — Ученик (понимая, что дальнейшая оттяжка чревата неприятностью): Сложить пять и три будет ... -- Практически такая ситуация является типовой во всех тех случаях, когда существует дефицит информации и отсутствует знание плана решения вопроса.

Поэтому здесь в рассуждении о речевых основах "прото-загадочной" структуры можно остановиться, отметив, пожалуй, лишь то, что применение эхообразного принципа вне первоначальных пределов его употребления послужило мощным импульсом к развитию разных типов повторов, к их диверсификации и вариации в первой ("длинной") части реконструируемой выше схемы. Этот процесс на определенном этапе был осознан как порождение разных типов языковой репрезентации, отвечающих одному и тому же содержанию, смыслу (ситуация, предполагающая формирование поэтической функции), что выдвигало в свою очередь проблему отбора форм представления семантического инварианта и ряд криптограмматических вопросов, которые не могли не имплицировать (хотя бы на опытно-эмпирическом уровне) развитие первых вариантов эвристической теории дешифровки, применительно к загадке — принципов разгадывания ее. Другое заслуживающее внимания явление состоит в наличии двух очень различных типов повторов.

Первый, "экстенсивный", взятый в отвлечении от эмпирической данности, определил путь расширения языкового высказывания за счет повтора синтаксической структуры, представленной в исходном ("коротком") высказывании, способом присоединения по формуле S_a (синтаксическая структура определенного вида) → S_a & S_a. Такая "паратактическая" структура возникает, как полагал еще С. Карцевский, из "присоединительного диалога" (А : *Я пойду гулять* & В : *И я тоже* или *А я буду работать* и т.п.). Предполагается, что из второй реплики такого диалога возникла пословица, тогда как загадка уходит своими корнями в "гипотактическую" структуру диалога вопросо-ответного типа (А : *Почему ты так думаешь?* & В : *Потому, что я это знаю* и т.п.) . Безвременно ушедший из жизни Яков Иосифович Гин, живо интересовавшийся проблемой формирования фундаментальных грамматических категорий и типов высказывания и жанровых конструкций, проницательно, хотя и кратко, в общих чертах, воссоздал ситуацию формирования этих явлений. В письме к Г.А. Левинтону от 20 января 1987 г. он сообщает о планах своих занятий и высказывает некоторые весьма серьезные соображения: "Я же сейчас решил рассмотреть переключение лица в лирике и вообще соотношение лиц на материале XIX—XX вв. [...] Хочу в дальнейшем сравнить с фольклорной лирикой [...], а также — с функцией лиц в заговорах, загадках и пословицах. Важно, что в загадках есть запрет на 2-е лицо (загадываемый предмет — 1-е или 3-е лицо); в пословицах исключительно редко 1-е лицо. [...] Г. Пермяков неправ, считая, что первые — недиалог, а вторые — диалог. Я вспомнил С. Карцевского, который выводил паратаксис из "присоединительного" диалога, а гипотаксис — из вопросо-ответного диалога. Так вот, загадка есть второй тип диалога, а пословица, видимо, изначально представляет собой 2-ю реплику 1-го типа диалога" (Белоусов и др. 1992, 83—84).

Второй, "интенсивный" тип повторов, определялся внутренним направлением движения: "повторительная" структура интериоризировалась вглубь высказывания и реализовалась не в синтаксических структурах (не только в них!), легко замечаемых и быстро воспринимаемых, но в сфере семантики, и не только чаще всего не была легко различимой,

но, напротив, нарочито вуалировалась с целью представить "повторяющееся" подобное как различное, инакое для сохранения необходимого разрыва и напряжения между обеими частями загадки (см. выше)[24].

И, наконец, в этой связи нужно упомянуть о выработке определенных "жанровых" структур, существенных с точки зрения генезиса загадки и имеющих в своей основе некие специализированные операции, и о соотнесении их с соответствующими языковыми конструкциями, ср. выше об операции идентификации-отождествления в особом типе "пред-загадки" и ниже о вопросо-ответных операциях.

Выше в связи с загадкой и ее особенностями не раз уже говорилось об и г р е, в частности, об игре смыслами (синонимия) и звуками (см. также далее), об общей "игровой" атмосфере и ситуации "загадывания" в "загадочных" прениях в архаических традициях и самой загадки, где "игровое" определяет самое ее структуру. Но в связи с вопросом происхождения загадки и/или определения типа культуры, "культурной" ситуации, в которой загадка возникает как естественный ответ на некие условия, выдвигаемые этой ситуацией, вовлечение "игрового" в сферу "генетических" интересов имеет особый дополнительный смысл. Он определяется, о чем вкратце уже было сказано ранее, наличием в загадках (особенно архаического типа) "докультурного" и "шире-чем-человеческого" слоя. Иначе говоря, принадлежа культуре и человеку, загадка обнаруживает в себе некий "природный", из "природного" выводимый и объясняемый остаток, присущий не только человеку, но и части животного мира. Этот остаток, вероятно, можно описать под разными углами зрения, но связь его с "игровым" началом, со стихией игры, с ее условиями и целями несомненна. Поэтому далее необходимо вкратце сказать о природе самого феномена игры, об "игровом" начале в загадке как определяющем в ней нечто весьма существенное. Предварительно, однако, нужно подчеркнуть, что вовсе не все культурные феномены, обнаруживающие в себе "игровое" начало, сами по себе уходят своими корнями в "природное" и "шире-чем-человеческое"

[24] Необходимо еще раз подчеркнуть и н т е н с и в н о с т ь загадки и лежащей в ее основе конструкции. Эта интенсивность захватывает в свою сферу и "загадочную" эмпирию и "загадочную" метафизику. Загадка "разыгрывает" всегда некую жизненно важную ситуацию, увиденную под необычным углом зрения и сформулированную неожиданно-остро, напряженно, часто непредсказуемо. Отношение загадки к "нейтральному" высказыванию с тем же смыслом напоминает отношение метафоры, метафоризующего к метафоризуемому. И не случайно, что загадка насквозь метафорична и, как сказано поэтом по иному поводу и несколько иначе, "одна великолепная метафора" и уже в силу этого принадлежит поэзии и несет в себе силу поэтического слова, которое всегда и поэтический образ. Эта метафоричность загадки и это внутреннее сродство загадки с метафорой — следствие конфликта между дефицитом времени и огромностью задач, которые предстоит решить. *Загадка без разгадки. — Смерть* [1630], а загадка — всегда в ожидании разгадки, в устремлении к бессмертию. Она берет на себя труд быть посредником между человеком и ситуацией, где так много неясного, где далеко не все понятно и в этой неопределенности таится опасность и угроза. Загадка рассчитана на адекватность человека ситуации и на того, кто способен стать вровень с ситуацией. Обращенная одной своей стороной к ситуации, схваченной как целое в его кратчайшим и парадоксальнейшим образом изложенной сути, она другой своей стороной обращена к человеку, который должен понять, что, сколь бы ни была сложна сна, загадка, она должна быть принята человеком как путеводительница среди всех опасностей пути. Есть основания полагать, что некогда загадка и воспринималась как нечто необыкновенно яркое и напряженное, и разгадка ее была подлинным откровением.

(примеры слишком обильны и на поверхности, чтобы их здесь приводить): в определенных ситуациях "игровое" самозарождается, создается "поле" игры со свойственной ему инерцией, в котором "игровое" репродуцируется легко и свободно, как бы само по себе. "Легкость" и "свобода" — ингерентные свойства игры, что как раз и объясняет естественность и простоту вхождения в игру участников этой игры и положительно-приемлющее отношение их к игре. Разумеется, загадка содержит в себе и сама порождает и то "игровое", которое является фактом т и п о л о г и ч е с к о г о сродства, но здесь об "игровом" в загадке сто́ит говорить лишь в том объеме и в том ракурсе, которые имеют непосредственное отношение именно к г е н е т и ч е с к о м у, к тому, что представляет собой наследие древней игры, переданное из глубин времен в сплошной цепи преемственности, что отсылает именно к "началу", к "первому разу" (прецеденту), к п р о и с х о ж д е н и ю.

Помня о давних исследованиях феномена игры и отдавая им должное, нужно все-таки подчеркнуть, что современные представления об игре сложились прежде всего в результате того прорыва, который был совершен в европейской науке, начиная с рубежа 20—30-ых годов XX века, прежде всего усилиями голландских и русских исследователей культурологического и филологического круга. Помимо всемирно известного труда Хейзинги (Huizinga 1938, Хейзинга 1992), подытожившего круг исследований, начавшихся с 1903 года[25], существенно учитывать ряд других важных исследований, среди которых стоит выделить Zondervan 1928, Buytendijk 1932, 1934, Бахтин 1929, 1965, 197[illegible] и др. (большая часть этих работ была написана значительно раньше) Фрейденберг 1936, 1978 и др., а из исследований последнего времени Laser 1987 и т.п. Результат совершенного прорыва в понимании игры и культуры как игры ближайшим образом отражается в хейзинговском определении игры, которое в известной мере характеризует и культуру и имеет непосредственное (и, может быть, даже усиленно-преимущественное) отношение к загадке как одному из ведущих типов игры культуры. "Суммируя эти наблюдения с точки зрения формы, — пишет исследователь, — мы можем теперь назвать игру свободной деятельностью, которая осознается как «невзаправду» и вне повседневно-

[25] Одна из существенных составляющих того прорыва, который был осуществлен Хейзингой и Бахтиным, — в определении подлинного отношения игры к культуре: не только игра в культуре, но — важнее и интенсивнее — сама культура как игра, игровой характер культуры. Сам Хейзинга осознавал новизну акцента, поставленного им в этой проблеме. "С давних пор шел я все определеннее к убеждению, что человеческая культура возникает и развертывается в и г р е, к а к и г р а. Отголоски этой концепции встречаются в моих работах уже с 1903 г. В 1933 г я посвятил этому предмету свою инаугурационную речь в качестве ректора Лейденского университета, назвав ее «О границах игры и серьезного в культуре». Когда я впоследствии дважды переработал эту речь — вначале для доклада в Цюрихе и Вене (1934), затем для выступления в Лондоне (1937), я назвал ее так: «Das Spielelement der Kultur», «The Play Element of Culture» («Игровой элемент культуры»). Устроители моих выступлений оба раза исправляли название: «...in der Kultur», «...in Culture» («...в культуре»), но я снова и снова зачеркивал предлог «в» и восстанавливал родительный падеж. Для меня проблема заключалась не в том, какое место занимает игра среди прочих явлений культуры, но в том, н а с к о л ь к о с а м а к у л ь т у р а н о с и т и г р о в о й х а р а к т е р. Мне было важно — и этому посвящена также данная обстоятельная штудия — понятие игры, если позволительно так выразиться, интегрировать в понятие культуры" (Хейзинга 1992, 7—8).

жизни выполняемое занятие, однако она может целиком овладевать играющим, не преследует при этом никакого прямого материального интереса, не ищет пользы, — свободной деятельностью, которая совершается внутри намеренно ограниченного пространства и времени, протекает упорядоченно, по определенным правилам и вызывает к жизни общественные группировки, предпочитающие окружать себя тайной либо подчеркивающие свое отличие от прочего мира всевозможной маскировкой" (Хейзинга 1992, 24), ср. также "Мы полагали возможным очертить это понятие [игры — *В.Т.*] следующей формулой: игра есть добровольное действие либо занятие, совершаемое внутри установленных границ места и времени по добровольно принятым, но абсолютно обязательным правилам с целью, заключенной в нем самом, сопровождаемое чувством напряжения и радости, а также сознанием «иного бытия», нежели «обыденная» жизнь. Кажется, что таким образом определенное, наше понятие будет в состоянии охватить всё, что мы у животных, детей и взрослых называем игрой: игры на развитие ловкости, силы, ума и азартные игры, представления и показы. Казалось бы, категория игры может рассматриваться как один из самых фундаментальных духовных элементов жизни" (Хейзинга 1992, 41).

Будучи явлением игровой природы, загадывание-отгадывание не может не разделять с игрой ее основных характеристик, хотя и должно иметь — как особый вид игры — свои специфические черты, о которых Хейзинга тоже говорит в своей книге. Чтобы убедиться в принадлежности "загадывания" к игровому кругу (ср. *играть в загадки* и под.), достаточно напомнить, что загадывание-отгадывание тоже деятельность-действие, связанная с определенным, некиим образом отмеченным пространством и временем (эта связь совершенно очевидна в ритуальных вопросо-ответных диалогах, в которых "загадывается" суть мира в форме вопросов о составе его, о чем см. ниже, но она, эта связь, просматривается нередко и в случае десакрализованной, профанической "игры в загадки", имеющей почти исключительно "развлекательное" назначение) и ведущаяся по определенным правилам, ограничивающим "игровой" произвол, столь свойственный, казалось бы, игре, и упорядочивающим загадывание-отгадывание; что эта деятельность, действительно, свободная и добровольная в том смысле, что она не проистекает из некиих "внешних" импульсов, но коренится во внутреннем желании заниматься чем-то приносящим удовлетворение, приятным; что загадывание-отгадывание тоже бескорыстно, то есть оно вне прямых материальных забот человека и вне круга, определяемого установкой на "полезное", хотя результат этой деятельности — удовлетворение и радость от снятия того напряжения, которым сопровождается эта деятельность; что, как и игра, загадывание-отгадывание вовлекает в себя человека, захватывает его, овладевает им; что оно так же, как игра, "вызывает к жизни общественные группировки, предпочитающие окружать себя тайной либо подчеркивающие свое отличие от прочего мира" (в случае загадывания-отгадывания ср. особую отмеченность "загадывающей" стороны — от жрецов, формулирующих вопросы о составе Вселенной, до индивидуального "загадчика" в профаническом варианте); что, наконец, в акте загадывания-отгадывания присутствует, как и в игре, аспект "невзаправдашности", чего-то отличного от "серьезности" повседневной обыденной жизни, некоей инакости, уводящей в тайну.

Тем не менее существует необходимость в некоторых комментариях, поскольку, в частности, есть явления, происходящие из игры и несущие на себе печать духа игры, но уже вовлеченные в иной круг ("серьезное") и вынужденные подчиняться его законам, установлениям, правилам; кроме того нуждаются в уточнении и некоторые особенности, отмеченные Хейзингой, но не эксплицированные достаточным образом или не введенные им в более широкий контекст. Прежде всего речь идет о свободном, добровольном характере игровой деятельности, с одной стороны, и "абсолютно обязательных правилах" и цели, заключенной в самой игре, с другой стороны. Это противопоставление свободы-добровольности и принудительности-обязательности, как бы разведенное по разным планам, вероятно, можно было бы трактовать в более общем и теоретическом виде, как бы снимающем противопоставление "частных" планов. Одновременное присутствие свободы и необходимости, соположение их в каждой ключевой точке игрового пространства, придание этому факту особого значения, собственно, и образует conditio sine qua non явления игры. Без этого и вне этого игра не достигает своей цели, лишаясь того основания, на котором только и может "разыгрываться" идея двоения *этого* и *того*, инакого. Игра добровольна, свободна, произвольна, прихотлива, "несерьезна" ("игрушечна"), и в этих своих вполне реальных установках она бросает вызов жесткой логике и детерминированности *сего мира*, представляет собою попытку вырваться из него вовне, в пространство потенциального, в *иное*. Но та же самая игра озабочена и тем, чтобы, найдя это *иное* и прорвавшись к нему, не утратить полностью почву *сего мира*, не разорвать его связь с обретенным сю *иным*, не положить непоправимо непроходимую грань между реальным *этим* и потенциальным *тем*. Именно для того, чтобы этого не произошло, чтобы можно было вернуться на твердую почву, с одной стороны, и вместе с тем не отказаться от моделирующе-программирующей роли игры, с другой, игра же связывает самое себя жесткими правилами, не подлежащими отмене или изменению. Правила *сего мира* действуют до тех пор и настолько, пока и насколько они "полезны" для дела, выгодны, оправдывают себя. Правила мира игры абсолютны, и потому их неизменность никак не может быть отвергнута по соображениям "пользы", и в этом смысле игра не может быть признана свободной: играя свободой и необходимостью, игра всегда озабочена чем-то глубинным, *иным*, что имеет отношение и к *этому*, здешнему, и, помня об этом и ради этого, она ведет свою игру. В этом контексте возникает и необходимость внести коррективу в утверждение, согласно которому игра не преследует материального интереса и не ищет пользы. Применительно к *сему миру*, к его данности и падшести, к сиюминутной ситуации это действительно так. Игра как бы знает, что решать практические задачи на конкретно-эмпирическом уровне не главное ее дело и что для этого есть иные способы. Но она заботится о той пользе и о том интересе, которые не могут быть достигнуты этими "иными" способами и которые лежат в ином плане. "Интересы" игры по сути дела внеположены

этому миру, и сама игра — некий механизм, позволяющий выделить эти "интересы" и наметить стратегию их поиска и нахождения, а также обучить участников игры на конкретных примерах общей теории поиска правильного решения в сложных и неясных условиях, когда "интересы" участников могут иметь антагонистический характер.

Загадка как словесная формула игры в "загадывание-отгадывание" разделяет все эти признаки игры, но в чем-то, что является конкретной спецификацией игры в варианте загадки, она идет дальше. Две особенности привлекают в этой связи особое внимание. Тайну, о которой говорит Хейзинга в связи с игрой и ее "сторонами" и которая как бы невидимо разлита в игре, загадка выводит наружу в том отношении, что объявляет ее открыто, формулируя ее в наиболее "таинственной", то есть наиболее сложной для ее раскрытия форме, и настоятельно призывает к ее решению, суля конкретные выгоды за успешную разгадку тайны и неприятности за неумение сделать это (ср. типичную формулу, дополняющую текст собственно загадки: *Кто отгадает загадку, тому..., кто не отгадает загадку, тому...*). Таким образом, тайна в загадке выводится из ее невидимости и сокрытости и объявляется как проблема, подлежащая решению. И другая особенность игры усиливается в загадке настолько, что становится ее неотъемлемым принципом, определяющим специфику загадки. Речь идет о "невзаправдашности" и "инакости" ее. Если игра вообще сознает свою невзаправдашность и инакость по отношению к "серьезному", то она во всяком случае не обязана помнить и тем более акцентировать "правдашнее" и "серьезное". Иное дело — загадка: она строится именно на игре того и другого — "невзаправдашнего" и "правдашнего", *этого* и *иного*. В загадке сплошь и рядом загадывающая и разгадывающая части разноприродны: первая формулируется нарочито непрямо, косвенно, метафорически и часто не столько скрывает нечто, сколько подталкивает к ложному ответу, тогда как вторая часть содержит в себе это нечто, наиболее прямая и адекватная характеристика которого была бы иной, нежели его описание в "загадывающей" части. Из этих примеров следует, что одну из особенностей игр вообще загадка интенсифицировала в столь сильной степени, что это послужило основой для формирования особого жанра со своей особой прагматикой, хотя загадка и не порвала своих связей, став, однако, наиболее "сильной" и выдвинутой вперед частью всего "игрового" состава" — игрой-состязанием в мудрости. Состязательность, "агональность", присущая игре вообще (кроме игры-"представления"), была специфицирована загадкой как состязание в раскрытии тайны мира, при котором обнаруживает себя и высшая мудрость мира.

Сугубая "интеллектуальность", определяющая характер этих прений "о мире и его мудрости", не лишает их элемента борьбы, иногда непримиримой и до конца (цена победы и поражения в этой ставке слишком высока, чтобы биться вполсилы); в этом отношении состязания в "загадывании-отгадывании" вполне серьезны, но агональность подобных прений, их "серьезность" никак не отменяет и игрового характера их, то есть некоей "невзаправдашности". Серьезность, серьезная опасность и игра не исключают друг друга, но как

бы сливаются в понятии риска как серьезной игры, своего рода "серьезной несерьезности"[26].

Эта "серьезная несерьезность" или "несерьезная серьезность" особенно характерна не для состязаний в физической силе (как бы ни были важны их результаты, от исхода их чаще всего зависит судьба героя, власти, царства, то есть нечто преходящее, не угрожающее миру в целом; некоторым исключением можно было бы считать поединки-состязания при творении мира, но они как раз нередко не ограничиваются выяснением вопроса, кто сильнее, и выясняют еще и кто мудрее), а для состязаний в мудрости, организуемых как вопросо-ответный диалог-поединок (о чем см. ниже), потому что мудрость творения *мира сего* в последних его глубинах постигается при выходе человеческой мудрости за пределы этого мира и за пределы его "средней" логики в *иной* мир и *иную* логику — парадоксов, абсурда, игры, где всё — то бесконечно далеко друг от друга и розно, то сливается воедино и где суть мира нередко открывается в том, что́ поперек мира, как бы перпендикулярно-противоречаще ему. Нередко ставка в этой игре-состязании — жизнь, и поражение стоит головы. Типичная форма такого состязания в загадках представлена "Речами Вафтруднира" в "Старшей Эдде" (Vries 1934, 1--59; Топоров 1971, 15 сл.; 1973, 116--118 и др.), но древняя германская традиция знает и ряд других подобных "загадочных" вопросо-ответных поединков в виде состязания-игры, в котором "серьезное" и "игровое" слиты, подобно жизни и смерти, и которое по идее должно решить-открыть "последние" тайны мироздания. Но эта задача исключительно сложна. Более того, она единственна в своем роде, и нет стандартного способа решения этого

[26] Современное сознание склонно видеть в "несерьезной серьезности" игры-состязания некий парадокс, а в образе игры как борьбы и борьбы как игры метафорические ходы. Разумеется, такое представление — результат аберрации сознания, утратившего связь со своими истоками. Единство "серьезной" игры о "ценностях мира и его мудрости" и борьбы, представляемой как игра, выступает как исходная первичная данность, лишь позже распавшаяся на две противоположности в свете "трезвого" аналитического сознания. Во многих случаях язык лучше ухватывает это единство, и кулачный бой до крови или до смерти он называет игрой (*кулачная игра; уж и поиграем мы нынче,* — хвастаются перед началом этой "игры" участники противостоящих партий, поигрывая в честной игре мускулами, а в нечестной цепями или дубинками, ср. также др.-англ. *heaðo-lâc, beadu-lâc* 'бой' как "битва-игра"). Хейзинга привел целый ряд таких языковых свидетельств, особенно из древнегерманской языковой и поэтической традиции, но и не только из нее: "пусть встанут юноши и поиграют (*ṣaḥaq,* букв. — 'смеяться', 'шутить', 'делать нечто шутя', 'танцевать'), — сказал Авенир Иоаву. -- И встали и пошли числом двенадцать [...] Они схватили друг друга за голову, *вонзили* меч один другому в бок и пали вместе" (2-ая Кн. Царств II, 14), ср. Huizinga 1938; Хейзинга 1992, 55. Нераздельная слитность борьбы и игры, "серьезного" и "несерьезного" ("игрушечного") может быть продемонстрирована на примере и.-евр. **jag-* (: **jagos*), обозначающего религиозное почитание, чувство благоговения и священного страха, жертвоприносительный ритуал (ср. др.-инд. *yajñá-* 'жертва', авест. *yasna-*, др.-греч. *ἁγνός* 'священный', 'непорочный', '(ритуально)чистый' при др.-инд. *yaj-*, авест. *yaz-* 'приносить жертву', 'почитать жертвоприношением и молитвой', др.-греч. *ἄζομαι* 'благоговейно чтить', 'почитать' и т.п.: *ἅγιος* 'священный' и т.п.; недавно было предложено возводить к этому же корню и слав. **jьg-ra* 'игра'), но и возможно, лат. *iocus* (**jok-* : **jek-*) 'шутка', 'острота'; 'развлечение', 'игра' (в частности, и в загадки) и т.п.: *jocor* 'шутить', ср. *lūdus* : *lūdo* примерно с тем же кругом значений. Но подобное соотношение "серьезно"-священного и "шутливо"-профанического свойственно не только состязательной ситуации, но и состязаниям в разгадывании загадок, о чем см. выше.

вопроса-тайны, а условия поединка весьма жестки: на каждый вопрос его участнику дается одна и только одна попытка ответа. Поэтому альтернативы нет, всякие *или... или...* исключаются, и, может быть, единственная возможность (она же единственная поблажка) состоит в том, что в определенных ситуациях вопрошаемый может ответить столь искусно (отчасти и таинственно-неопределенно), чтобы ответ, с одной стороны, был неложен (то есть не противоречил явно "истинному" решению и не мог быть опровергнут с хода), а с другой, не претендовал на окончательность и "последнюю" точность. Иначе говоря, в этой ситуации признается допустимым неопределенно-витиеватый, отчасти тоже "загадочный" ответ, помещающийся в пространстве между истиной и ложью, но от последней решительно отделенный при открытости (хотя бы потенциальной) первой. Такой "предварительный" ответ нередко не менее мудр, чем "последний" ответ, который после длинной серии удачных "предварительных" ответов приводит к ситуации, когда формулировка "последнего" истинного ответа становится уже иногда делом техники. Во всяком случае на каждом шаге состязания "предварительный" ответ этого рода спасителен для испытуемого ответчика и каждый раз он получает возможность облегченно вздохнуть — "пронесло!"

Чем больше в серии этих спасительных "предварительных" ответов, которые вопрошающий не может признать ложными, тем более возрастает инерция приближения к истинному ответу, поскольку очередной "неопределенный" ответ, что-то проясняет для ответчика как в стратегии вопрошающего, так и в структуре тайны "о мире", вокруг которой развертывается состязание. От ответчика на вопросы требуется исключительная сосредоточенность, внимательность, бдительность, так как любая ошибка — последняя в поединке. Искусство ответчика — в правильной стратегии перехода от полной неопределенности в начале (один полюс) к полной определенности, ясному и истинному ответу в конце (другой полюс). Понятно, что по сути дела именно эта проблема перехода предопределяет действия того, кто берется за ее решение, и поэтому "отгадчик", имеющий в начале своего пути дело с преимущественно непрерывным, должен пользоваться тем, с помощью чего можно "ухватить" это непрерывное, то есть тем непрерывным, неопределенным, текучим, что находится в его распоряжении — интуицией, метафорическими поэтическими образами, ресурсами сферы подсознательного, лишь очень постепенно и осторожно приближаясь к твердой почве дискретного, где уже можно будет использовать интеллект, сообразительность, "остроумие", логику *мира сего,* умозаключение, знания, обретенные в предыдущем опыте, и формальные приемы ("технику"). Но именно игра чаще и лучше всего раскрывает возможности для этого движения от непрерывного к дискретному, и в этом контексте именно она, с ее апелляцией к неопределенности, "несерьезности", импровизационности, обеспечивает наиболее эффективную, хотя и весьма непрямую, возможность достижения цели, решения задачи. "Загадочные" вопросо-ответные диалоги обязаны "игровому" началу слишком многим, чтобы пренебречь этим наследием и забыть о нем.

Сама неопределенность, "несерьезность", разлитая в загадке, особенно в ее архаических формах, открывает шанс для определенности и "серьезности", приводящих не к тривиальному решению, но к обнаружению нового даже в известном уже старом. Две неопределенности — "загадывающей" части и "разгадывающей" части загадки — образуют своего рода корреляцию неопределенностей, за которой узревается определенная взаимозависимость этих частей и тавтологичность загадки: вопрос и ответ держат друг друга на коротком поводке, боятся, что эта связь может оказаться разорванной и утратится возможность взаимного контроля, уже потому необходимого, что между вопросом и ответом существует взаимозаинтересованность, и одно не может жить без другого. Поэтому-то и постановка проблемы, что раньше-главнее в загадке — вопрос или ответ,— столь же бессмысленна или, наоборот, ведет к столь же глубоким осмыслениям, как такая же проблема в связи с курицей и яйцом. Ответ, конечно, предполагает вопрос, но прежде чем вопрос сформулирован, ответ не только уже в общем известен, но и уже продиктовано — пусть в серии вариантов, — каким должен быть вопрос. Но означает ли это первичность и "главность" ответа? Едва ли. Замкнутый в самом себе, он нуждается в некоем импульсе извне, который даст подлинную жизнь смыслу, содержащемуся в ответе: без вопроса смысл ответа остается неподвижным, овеществленным и как бы окончательным, то есть закрытым для возможного его углубления. Чтобы избежать этой тупиковой ситуации, вопрос и ответ, как и вопрошающий и отвечающий, вступают в игру друг с другом. Такая игра впускает в себя для общения и взаимопроникновения заведомо противоположное, которое, однако, позволит открыть в нем тождественное. Прямой и переносный, метафорический смыслы, рационально-логическое и интуитивное, определенное и неопределенное, "форма" и "содержание", дискретное и непрерывное, относящееся к сознанию и подсознание и даже бессознательное принимают в этой игре участие на равных и куда-то ведут нас вдаль и вглубь, немножко мороча при этом. Дав на вопрос *Что в избе Фрол?* ответ — *Стол,* мы склонны считать загадку решенной и испытываем чувство удовлетворения, чаще всего не осознавая, что дело здесь не в *столе* и не во *Фроле* а в сути мира, где всё связано, где одно бросает луч света на другое и — в принципе — всё освещает-объясняет всё, в "проходимости" его из конца в конец, в какой бы исходной точке его мы ни оказались, в установимости его состава и в осмысленности-осмысляемости всего, что есть в мире, в осознании взаимозависимости мира и нас и, наконец, в догадке, что "полный" смысл мира лежит вне мира (*Есть, друг Горацио,...*) и о нем мы можем гадать и судить, призвав на помощь случайное, как делали это древние евреи с помощью таинственных *урим* и *тумим* (Исх. 28:30; Лев. 8:8; Второз. 33:8; Езд. 2:63; Неем. 7:65).

"Не осознавая..."! Хорошо это или плохо, полезно или вредно? Ответить на этот вопрос вообще нельзя, и само отвечание в этом случае бессмысленно. Но пытаться ответить на вопрос, когда это неосознавание — благо, а когда — нет, можно и нужно. Неосознавание вредно, когда разгадчик решает конкретную и конечную задачу — что же означает *Фрол* вопроса на самом деле и почему предпочти-

тельнее считать, что это *стол,* а не *печь, лавка* или *ведро,* с одной стороны, и не *пол, вол* или *дол,* с другой. Поиск результата такой задачи предполагает наличие мыслительной процедуры, предварительного знания и его возрастания в ходе логико-дискурсивного рассмотрения вопроса. И в этом случае благо — осознавание, а неосознавание лишало бы ищущего возможности получения ответа на вопрос, результата. Но иногда сознание-осознавание вредно (свет фар, направленных не вовне с целью освещения пути, а внутрь, когда он ослепляет того, кто нуждается в свете, — по Пастернаку), и слава Богу, что свет сознания, столь плодотворно ведший человека на его пути от результата к результату (от "стола" к "столу" и в конечном счете — от "стола" к "миру" и его сути), нередко угасал, когда ставился вопрос об ultima ratio мира и бытия и возникал соблазн последнего и окончательного узрения этой ultima ratio. Как правило, движение к ней надежнее осуществлялось в ходе решения насущных повседневных вопросов, в процессе работы над конкретным и конечным, вынуждавшим человека сосредоточивать сознание именно на нем, не позволяя ему отвлечься ради "метафизического". Но в ходе этой "черновой" работы сознания над конкретно-предельным, незаметно, невидимо и незнаемо для сознания параллельно, но на неизмеримо большей глубине выстраивалась цепь несравненно более важных "результатов" отнюдь не вещественно-материального, но духовного плана. Осознавание же этой неосознанно выстроившейся метафизики было, несомненно, благом. Несомненно же и то, что такая ситуация — общее правило, которое обладает полнотой смысла, когда общему правилу соприсутствуют "необщие" исключения, в данном случае — дар мистического узрения сущностей и бесконечного, открываемый сразу и в целом, помимо того знания или со-знания, о котором говорилось до сих пор и которое есть порождение как "операция" открытия сути искомого (**g'en-* 'знать', но и 'рождать').

Не трудно заметить, что эта ситуация весьма напоминает ту, которая составляет основное содержание известной книги Поппера "Открытое общество и его враги" и была непосредственным внутренним поводом для ее создания — конфликт между вполне естественным научным подходом и научным предсказанием, с одной стороны, и "историческим пророчеством", с другой, между "историзмом" (*historism*) как требованием смотреть на вещи исторически, в исторической перспективе, и "историцизмом" (*historicism*) как социально-философской концепцией, претендующей на возможность открытия объективных законов развития истории (и, более того, на само открытие их) и на возможность пророчествовать о путях исторического развития. "Главное, чем моя книга обязана научному методу, — пишет Поппер, — состоит в осознании собственных ограничений: она не предлагает доказательств там, где ничего доказанного быть не может, и не претендует на научность там, где не может быть ничего, кроме личной точки зрения. Она не предлагает новую философскую систему взамен старых. Она не принадлежит к тем столь модным сегодня сочинениям, наполненным мудростью и метафизикой истории и предопределения. Напротив, в ней я пытаюсь показать, что мудрость пророков чревата бедами и что

метафизика истории затрудняет постепенное, поэтапное (piecemeal) применение научных методов к проблемам социальных реформ. И наконец, я утверждаю, что мы сможем стать хозяевами своей судьбы, только когда перестанем считать себя ее пророками" (Поппер 1992, I, 33).

Преимущества подхода Поппера и его выбора очевидны. Но представляются очевидными и его слабости, из которых здесь стоит указать лишь две основных — неучет постоянно возникающего в развитии человеческого общества (и, следовательно, типового) конфликта между *сегодняшними* трудностями и дефицитом времени и возможностей решения неотложных задач по преодолению этих трудностей именно *сегодня* и недооценку "нестандартных", "ненаучных", но апеллирующих к индивидуальному, случайному, вероятностному, интуитивному способам развязывания этих трудностей, которые (способы) не только так же естественны, как и научный подход, но в широкой перспективе равноценны друг другу. Сам Поппер пишет, что "склонность историцизма и родственных ему воззрений защищать бунт против цивилизации проистекает, возможно, из того, что сам историцизм является в значительной степени реакцией на трудности, встающие перед нашей цивилизацией, и на выдвинутое ею требование личной ответственности" (Поппер 1992, I, 35). Но и трудности и требование ответственности (в частности, личной) перед их лицом — явления, неизбежно возникающие в ходе развития, имеющие свой raison d'être, свою телеологию, свой смысл, которые не могут быть отброшены с самими трудностями. Поэтому, не оспаривая того, что каждая данная трудность в данном состоянии общества и при данных его возможностях требует своего способа решения, лучшего, чем другие, и что применительно к конкретной ситуации разные стратегии и разные способы решения задачи отнюдь не равноценны, нужно подчеркнуть наличие таких трудностей, для устранения которых нет стандартных способов (и не может быть) и единственный шанс — довериться интуиции, случаю, рискнуть вступить в игру с "неопределенно-непрерывным". Более того, нужно уметь представить себе тот контекст целого, в котором и "научное" и "метафизическое" не более чем варианты этого целого, функции которого могут быть отчасти уподоблены (конечно, скорее метафорически) функциям обоих полушарий мозга.

Другой вполне естественной метафорической параллелью была бы именно загадка, вырастающая из двуединой основы и апеллирующая как к "логическому", "научному", "интеллигибельному" (сфера дискретного), так и к "интуитивному", "метафизическому", "случайно-неопределенному" (сфера непрерывного), как к "закону", так и к исключению из него, к случаю, нарушающему закон. Поэтому нельзя считать случайным, что загадка, точнее — лежащая в ее основе "загадочная" конструкция и ситуация, вызвавшая ее к жизни, в свою очередь стала "родимым лоном" и "науки" и "метафизики", сферы которых вполне распознаваемы и в исторически засвидетельствованных типах загадок, о чем, к сожалению, обычно забывают, а чаще всего даже и не знают. Эта же ситуация еще раз возвращает нас к противопоставлению "дискретно-логического" мифа и "непрерывно-игрового" ритуала, тоже, как уже отмечалось, связанных с "загадочной" конструкцией в ее архаичной форме.

В этом контексте привлекает к себе внимание фигура Ивана-дурака с его двойственностью, как бы соотносимой с указанной двойственностью загадки, с которой этот персонаж органически связан. Двойственность этого персонажа русской сказки на поверхностном уровне фиксируется сразу же, со всей очевидностью. С одной стороны, он, действительно, д у р а к, и именно как таковой он и воспринимается фольклорным сознанием, пока оно находится в пределах "здравого смысла", в круге "сермяжной" правды: суждения и дела Ивана-дурака, конечно, вопиющим образом противоречат общепринятым представлениям (плач на свадьбе, смех на похоронах как ставший уже клише вызов по отношению к "общему мнению") и "поперечны" миру "среднего" человека. Но, с другой стороны, Иван-дурак — м у д р е ц и удачник именно в силу своего превосходства в мудрости над остальными, и эти его преимущества демонстрируются и в ходе сказочного действия и особенно в финале сказки, где Иван-дурак неслучайно становится женихом царской дочери, обладателем царства и царем (что может выражаться эксплицитно или предполагаться), и во всяком случае он всегда подлинный герой сказки, победитель, прошедший с честью через все испытания. Результаты этой победы конкретны, очевидны, не подлежат сомнению — поверженные противники, посрамленные оппоненты, царская дочь, царский трон, царство, и эти результаты "разумны", расчлененно-проверяемы и представлены как явления "дискретно-логической" природы. Но прежде чем достичь этих результатов и тем самым подтвердить свою мудрость, Иван-дурак движется в противоположном направлении: всё розное, отдельное, конкретное, понятное, общепринятое он как бы смешивает-растворяет в неопределенно-едином, отвлеченно-парадоксальном, противоречащем здравому смыслу; его пристрастие к загадкам "тавтологического" типа обнаруживает тягу к хаотически-непрерывному, в котором снимаются все конкретно-индивидуальные особенности элементов мира.

Характерный пример — сказка о царевне, разрешающей загадки (Афанасьев № 239). Царская дочь — отцу: "Позволь мне, батюшка, отгадывать загадки; если у кого отгадаю загадки, тому чтобы голову ссекли, а не отгадаю, за того пойду замуж". Сделали клич, многие явились, никто не смог отгадать загадок и должны были поплатиться своей головой. И тогда Иван-дурак — своему отцу: "Благословляй, батюшка! Я пойду к царю загадывать загадки!" — "Куда ты, дурак! И лучше-то тебя, да казнят!" — "Благословишь — пойду, и не благословишь — пойду!" Отец вынужден был благословить, и Иван-дурак отправился в путь. Такова исходная ситуация. Эта сказка очень ценна тем, что она показывает, как и из чего складывается загадка и что она обнаруживает удивительную особенность Ивана-дурака — представлять все, что он видит, как загадку, как вопрос к уже готовому ответу. "Иван-дурак поехал, видит: на дороге хлеб, в хлебе лошадь; он выгнал ее кнутиком, чтобы не отаптывала, и говорит: «Вот загадка есть!» Едет дальше, видит змею, взял ее заколол копьем и думает: «Вот другая загадка!»" Иван-дурак приезжает к царю, и ему велят загадывать загадки. В этом "загадочном" прении ему противостоит царская дочь. Ставка этого прения велика: в случае удачи — царская дочь и, предполагается, в итоге и царство; в случае "поражения" (отгадка царской

дочерью загадки) — казнь. Что же делает Иван-дурак из увиденного им в личном опыте (хлеб, кобыла, кнутик)? Он строит свое сообщение об увиденном как сплошную тавтологию: "Ехал я к вам, вижу на дороге добро, в добре-то добро же, я взял добро-то да добром из добра и выгнал; добро от добра и из добра убежало". Царевна не может отгадать загадки, бросается к книжке (образ известной и потому, по сути дела, мертвой мудрости), но не находит там ответа, она пытается выиграть время, добыть ответ за деньги. Но Иван-дурак бескорыстен (денег ему не надо) и широк (наутро он сообщает царевне ответ на первую загадку или, скорее, наводит царевну на ответ — "Иван-дурак утром сказал загадку, что выгнал из хлеба лошадь. И царевна разгадала"; этот "компромиссный" вариант не дает возможности казнить Ивана, но и не вынуждает царевну выходить за него замуж). И второй эпизод, имевший место во время путешествия Ивана-дурака, стал темой загадки, построенной по тому же принципу: "Ехал я к вам, на дороге вижу зло, взял его да злом и ударил, зло от зла и умерло". И опять царевне не помогли ни книжка, ни денежный посул, и пришлось ей опять простоять не спавши всю ночь, но на этот раз она загадку разгадала (видимо, без дополнительной помощи со стороны Ивана-дурака). В заключение Иван, собрав всех сенаторов, загадал последнюю, третью загадку — "как царевна не умела отгадывать те загадки и посылала к нему горнишну подкупать на деньги". Царевна не могла отгадать этой загадки, опять "сулила серебра и золота сколько угодно и хотела отправить домой на прогоне". Но не тут-то было. На утро, когда Иван-дурак рассказал ей, о чем загадка, она поняла — "ей разгадывать-то нельзя; о ней, значит, узнают, как и те загадки она выпытывала у Ивана-дурака". И тогда царевна вынуждена была сказать то, что решало окончательный исход прения — "Не знаю". "Вот веселым пирком, да и за свадебку: Иван-дурак женился на ней; стали жить да быть, и теперь живут", — подводит сказка итоги. Очевидно, что первые две загадки — своего рода "тавтологизирующе-мультипликативная" игра (девятикратно повторенное *добро* [цепь, вероятно, могла бы быть удлинена: ведь и ехал Иван скорее всего на добре-лошади и добро-то увидел тоже на добре-дороге] или четырехкратно введенное *зло*)[27], в которой дискретное кодируется как непрерывное с тем, чтобы

[27] Такие "сквозные" тавтологии характеризуют и некоторые другие загадки. Ср. лишь одну из них: *Идет худ на гору, идет худ под гору. Говорил худ худу: "Ты худ, я худ, сядь худ на худ, погоняй худ худом железным прутом. — П а ш у т* [1951]. Эта загадка, несомненно, окрашена в эротические тона, что подтверждается, с одной стороны, мотивом пахоты нивы-целины как образом соития, лишения девственности и, с другой, загадкой *Ты худ, я худ, сядь на худ, с худа не свались, худом подопрись. — С т о г с п о д п о р к а м и* [2270] при том, что ответ является, по сути дела, и образом детородного члена в "неприличных" загадках. Разумеется, такое понимание не отменяет и иных интерпретаций элемента *худ* в загадках, в частности, в "сильно"-тавтологических. Ср. сказку о Горшене (Афанасьев № 325), содержащую "царские загадки" и характерный диалог между государем Иваном Васильевичем и Горшеней: "А что, горшенюшка, давно ты этим ремеслом кормишься?" — "Сызмолоду ..." — "Кормишь детей?" — "Кормлю, ваше царское величество! И не п а ш у [ср. *Пашут* как ответ к загадке № 1951 — *В.Т.*], и не кошу, и не жну [ср. мотив косьбы-жатвы, предполагаемый ответом к загадке № 2270 — *В.Т.*], и мороз не бьет". — "Хорошо, горшеня, но все-таки на свете не без х у д а". — "Да, ваше царское величество. На свете есть три х у д а". — "А какие три х у д а, горшенюшка?" — "Первое х у д о: х у д о й шабер, а второе х у д о: х у д а я жена, а третье х у д о: х у д о й разум". — А скажи

оно было декодировано как прерывное, и которая отсылает к некоему двуполюсному пространству: один из них — всё, что ни есть, — одно и то же и потому едино-одинаково, другой — всё, что ни есть, — розно, особно, индивидуально-неповторимо, то есть к той же проблеме тождества и различия, что составляет главную внутреннюю задачу загадки, определяющую и ее механизмы. В решении этой задачи равно важны и царь и дурак, за предельной противоположностью которых (верх — низ, мудрость — глупость и т.п.) легко усматривается на материале самих сказок их тождество или связь, это тождество подтверждающая: Иван-дурак в финале сказки оказывается царем. Другой, более косвенный аргумент в пользу тезиса о тождестве царя и Ивана-дурака — в их общей связи с загадкой и загадыванием, ср. так называемые "царские загадки" (см. Дикарев 1896, 1—64 и др.; ср. "царские загадки" — Афанасьев №№ 323—326, 330, 332—334 и др.), причем эти загадки так или иначе соотносятся с матримониальными задачами, как в сказке Афанасьев № 239 и др. или в истории царя Соломона и царицы Савской (ср. роль царской свадьбы как образа иерогамии и ее воспроизведения), ср. роль дружки и загадок в свадебном обряде, о чем см. выше. Во всяком случае едва ли может быть случайностью, что подавляющее большинство "сказочных" загадок связаны именно с женитьбой (ср. Афанасьев №№ 136, 198, 219, 220, 239, 240, 272, 291, 294, 296, 327, 328, 331 и др.)[28], то есть с реализацией некоего возрастного и социального статуса, знаменующего переход из одного состояния в другое как своего рода испытание-инициация. Иван-дурак как раз и выступает как субъект такого перехода-испытания — от холостого состояния к женатому, от "низкого" статуса к высшему (царь). Этот переход не только приносит его субъекту некий прибыток, но чаще всего он означает спасение от смерти (не отгадать загадку — умереть). Иногда мотив спасения эксплицируется нетривиальным способом, хотя и он связан с загадками. Так, в сказке о Балдаке Борисьевиче (Афанасьев № 315) ее герой "млад Балдак, сын Борисьевич", который по приказу "салтана турецкого" должен быть казнен, прибегает к хитрости: чтобы оттянуть время казни, он начинает загадывать салтану загадки, и звучат они абсурдно ("Добро конь идет, на что хвост волочится?" — "Не дурак ли ты? — отвечал салтан. — Конь с хвостом и на свет родится" или "Передние колеса конь везет, а задние почто черт несет?" — "Вот дурак! Наготово до смерти с ума сошел, в словах завирается! Мастер четыре колеса сделал — четыре и

мне, которое худо всех хуже?" — "От худого шабра уйду, от худой жены тоже можно, как будет с детьми жить; а от худого разума не уйдешь — все с тобой" и, наконец, в финале сказки: "Ба! Здравствуй, горшенюшка, с приездом!" — "Благодарю, ваше царское величество". — "Да на чем ты едешь?" — "На худом-то разуме, государь" и т.п. Мотив езды на худом разуме бросает луч света и на мотивы иденья и сидения худа в загадках №№ 1951 и 2270 (сиденье при иденье, собственно, и есть езда). Вместе с тем *худо* и езда на *худом* (разуме) отсылает к езде Ивана-дурака, "наехавшего" на зло в цитированной уже загадке из сказки Афанасьев № 339 ("Ехал я к вам, на дороге вижу зло...").

[28] Другие типы загадок, кроме "царских", также предполагающих нередко мотив женитьбы, или маргинальны (ср. "солдатские" — Афанасьев №№ 392—394 или "шуточные" — №№ 329, 477, 522), или редки (ср. сказку о Балдаке Борисьевиче — Афанасьев № 315).

катятся"). Когда же Балдака Борисьевича развязали, расковали и повели на виселицу, он попросил исполнить его последнее желание: "Есть у меня батюшкино подареньице, матушкино благословение — игральный рожок. Прикажи мне при последнем времени поиграть в него: себя потешить и вас повеселить". — "Играй, играй при последнем времени!" — разрешил салтан. Это время действительно стало последним, но не для Балдака Борисьевича. "Млад Балдак заиграл веселую — у всех разум помутился [стал как бы *худым разумом*, ср. выше. — *В.Т.*]; загляделись на него, заслушались, позабыли, зачем приехали; у салтана язык не шевелится", а тем временем молодцы Балдака вышли из задних рядов и острыми саблями посекли весь народ и освободили своего предводителя. Загадки, как и игра в рожок действуют значительной степени сходно: они ставят в тупик, отвлекают от сиюминутной ситуации, гипнотизируют, завораживают, вызывают помутнение разума. Во всем этом резонно видеть формы и способы "континуализации" дискретного, увеличение степени неопределенности, которая иногда, в крайних случаях, когда определенный выход неизвестен, оказывается единственно спасительной.

В этом отношении "загадчик" и "отгадчик" подобны и паре жрецов, участников ритуального диалога, — вопрошающему и отвечающему, и двум участникам "антагонистической" игры. При этом сто́ит подчеркнуть, что загадка, сама особый род игры, находящейся между "остальной" игрой и ритуалом, обнаруживает бо́льшую связь, пожалуй, именно с игрой, нежели с ритуалом. В игре больше прихотливости, спонтанности, изобретательности, импровизационности. Пока игра остается игрой, состязательность никогда не превращается в застывшую мертвую форму, и каждый из участников рассчитывает на свою удачу, на свой шанс, на благоприятный случай, и это в игре главное. Игра "свободна"; чтобы выиграть в ней, знания, запасенного заранее, мало, и надо вступить в некое тонкое общение с судьбой, тогда как в ритуале, особенно в жестко-догматизированных традициях, дело обстоит иначе. Здесь главное в том, чтобы знать, как должно быть, или даже как надо отвечать, какого ответа ждут-требуют. Это знание оказывается весьма эффективным, когда речь идет о чем-то характеризующемся высокой степенью организованности, прогнозируемости и даже просто известности, но первое же соприкосновение с неопределенным, непредсказуемым, иррациональным вскрывает как слабости "предсуществующего" знания, так и несовершенства знания "порождающего" типа (**g'en-* знание).

Загадка как агональная, интеллектуальная часть игры, как "состязание в мудрости" более специализирована, чем игра вообще, которая зато представляет собой более фундамантальное и более широкое явление, корни которого уходят глубже. "Игра старше культуры, ибо понятие культуры, как бы несовершенно его ни определяли, в любом случае предполагает человеческое сообщество, а животные вовсе не ждали появления человека, чтобы он научил их играть. Да, можно с уверенностью заявить, что человеческая цивилизация не добавила никакого существенного признака общему понятию игры. Животные играют точно так же, как люди. Все основные черты игры уже присутствуют в игре животных. [...] Существуют много более высокие,

много более развитые нормы: настоящие состязания и увлекательные представления для зрителей", — пишет исследователь, продолжая: "Здесь необходимо сразу же выделить один весьма важный пункт. Уже в своих простейших формах и уже в жизни животных игра представляет собой нечто большее, чем чисто физиологическое явление либо физиологически обусловленная физическая реакция. Игра как таковая перешагивает рамки чисто биологической или, во всяком случае, чисто физической деятельности. Игра — содержательная функция со многими гранями смысла. В игре «подыгрывает», участвует нечто такое, что превосходит непосредственно: стремление к поддержанию жизни и вкладывает в данное действие определенный смысл. Всякая игра что-то значит. Если этот активный принцип, сообщающий игре свою сущность, назвать духом, это будет преувеличением; назвать же его инстинктом — значит ничего не сказать. Как бы к нему не относиться, во всяком случае этим «смыслом» игры ясно обнаруживает себя некий имматериальный элемент в самой сущности игры" (Хейзинга 1992, 9—10).

Выше говорилось о происходящей в загадке в ходе самореализации ее сущности игре смыслами, но, может быть, еще важнее подчеркнуть, что в ней происходит порождение смыслов из смысловой пустоты и, следовательно, преодоление энтропии, каковым является и восходящий ток жизни. Это обстоятельство само по себе, помимо целого ряда других соображений и аргументов, дает основание не только соотнести два этих эктропически-ориентированных явления, но и утверждать, что это свойство, унаследованное загадкой из целого игры, свидетельствует о некоей фундаментальной жизненной основе игры и о том, что эта основа может быть осмыслена только в ее целостности, простирающейся в пространстве более широком, чем "человеческое" и "рациональное". Об этом убедительно писал Хейзинга: "В игре мы имеем дело с безусловно узнаваемой для каждого, абсолютно первичной жизненной категорией, некоей *тотальностью*, если существует вообще что-нибудь заслуживающее этого имени. Мы должны попытаться понять и оценить игру только в ее целостности. — Реальность, именуемая Игрой, доступная восприятию любого и каждого, простирается в одно и то же время на мир животный и мир человеческий. Поэтому она не может опираться на какой-либо рациональный фундамент, поскольку разумные основания ограничивали бы ее пределы только миром человеческим. Существование игры не привязано ни к определенной степени культуры, ни к определенной форме мировоззрения. Любое мыслящее существо может немедленно представить себе эту реальность — игру, «играние» — как самостоятельное, самодовлеющее нечто, если даже его собственный язык не располагает общим словесным выражением этого понятия. Игру нельзя отрицать. Можно отрицать почти все абстрактные понятия: право, красоту, истину, добро, дух, Бога. Можно отрицать серьезность. Игру — нельзя. — Но хочется того или нет, признавая игру, признают и дух. Ибо игра, какова бы ни была ее сущность, не есть нечто материальное. Уже в мире животных ломает она границы физического существования. С точки зрения детерминированно мыслимого мира сплошного взаимодействия сил, игра есть в самом полном смысле слова «superabundans» («излишество, избыток»). Только с вмешательством духа, снимающего эту

всеобщую детерминированность, наличие игры делается возможным, мыслимым, постижимым. Бытие игры всякий час подтверждает, причем в самом высшем смысле, супралогический характер нашего положения во Вселенной. Животные могут играть, значит, они уже нечто большее, чем просто механизмы. Мы играем, и мы знаем, что мы играем, значит, мы более чем просто разумные существа, ибо игра есть занятие внеразумное" (Хейзинга 1992, 12—13).

Здесь нет необходимости говорить далее о сути игры, ее корнях, ее возрасте. Достаточно суммировать то, что касается "игрового" наследия в загадке, отсекая все детали, какими бы интересными они ни оказались при изменении масштаба рассмотрения проблемы. Прежде всего явление игры первичнее и фундаментальнее той ее части, которая позже специфицировалась как загадка. Очевидно, "игровое" наследие загадки или, точнее, "прото-загадки", насколько она доступна реконструкции, заключается прежде всего в установке на тотальность и универсальность, в агональной структуре ее, в "сверх-логическом" характере и, наконец, в актуализации "сверх-мирного", нематериального, духовного, способного к бесконечному развитию. Те свойства загадки, о которых уже говорилось выше, — ее самодостаточность, открытость, свободный характер, импровизационность, двойственность, пронизывающая загадку сверху донизу (две партии, участвующие в загадывании-отгадывании, два смысла, актуализирующиеся и обнаруживающие себя в этом процессе, двоякая "психологическая" установка, проявляющаяся в игре веры-неверия, в свободных переходах от действительного к иллюзорному и обратно, в присутствии того элемента, который называют "make-believe" и который предполагает "веру для виду", хотя и без всякого элемента обмана, неискренности, лицемерия, цинизма, насилия над собою, но и готовность как верить, так и подвергать веру сомнению, способность добровольно поддаваться вере и обману при наличии сознания этой своей особенности, см. Хейзинга 1992, 35—36)[29], динамизм и подвижность как реального места, занимаемого участником, так и его семиотической позиции и всего духа "загадочного" акта-игры, способного подниматься до "священного" и спускаться до "низкого" и "смешного", наконец, сама праздничность, объясняющая многие из перечисленных особенностей, и определенность "праздничного" хронотопа и правил организации самого праздника (см. Kerényi 1938; 1940, cap. II. Il senso di festività; Huizinga 1938; 1992, 33—36; Абрамян 1983 и др.), — всё это, конечно, тоже укоренено в игре и было усвоено загадкой в той мере, в какой это было нужно ей, чтобы не нарушить и то новое, что складывалось в ней оригинальным образом и отличало ее от игры.

Это новое, произведшее разрыв в большом массиве игры и отделение той части "игровых" состязаний в мудрости, которой суждено было дать начало загадке, от всего массива, состояло в установке отделившейся части на универсальность, реализация которой пред-

[29] Многочисленные гомологии древнеегипетского религиозного сознания или даже древнеиндийских Упанишад при всей их софистицированности (не говоря уж о гомологических рядах в "примитивных" культурах) предполагают, между прочим, этот двоящийся "веряще-сомневающийся" взгляд, веру в той мере, в какой и неверие, свободную игру "позиций" на шкале "истинное — ложное".

определила сложение новых способов и инструментов "разыгрывания" мира, и дальнейшее осознание всего этого как новой стратегии и новой логики познания-переживания мира, в которой при сохранении роли индивидуального, исключительного, случайно-импровизационного, окольного, логики бриколажа (ср. *bricoler* 'играть отскоком') формировалась установка на учет всего состава мира, на его описание как целого, на понимание этого целого как некоей организации, на выделение в качестве самостоятельных классификационно-таксономических задач и, наконец, на выработку техники стандартного описания универсума (синхронический аспект, если пользоваться языком иной эпохи) и на объяснение происхождения всего состава этого универсума (диахронический аспект, который объясняет формирование как причинно-следственного, так и телеологического аспекта проблемы). Одним словом, "прото-загадка", исходя из игры, в значительной степени оторвавшись от нее при сохранении "игрового" наследия, произвела — и скрыто, тайно и открыто, явно — две огромные работы. Она расширила до возможного для нее предела круг своего внимания и интереса, собрав "вещный" (с теми оговорками о "вещности", которые были сделаны раньше) состав мира до некоей завершающей полноты, и обобщила элементы этого состава в целое (первая работа). Но она же произвела и организацию этого целого, расклассифицировав его и тем самым сделав его "проходимым", то есть пригодным для операций поиска, установления степени близости его элементов, соотнесения их друг с другом и т.д. (вторая работа).

Легко заметить, что эти работы совершались не только "прото-загадкой", а потом и загадкой, но были достоянием чего-то более общего. Исследователи первобытной культуры давно уже обратили внимание на пристрастие человека этой архаичной эпохи к разного рода классификациям, которые "логически" образуют как бы продолжение (=приложение) основного текста о творении, доведенное до инвентаря конечных и конкретных вещей и их названий (реально временно́е соотношение текста о творении и этих безбрежных классификаций могло быть иным). Тонкая, иногда кажущаяся невероятной по детализации, изощренности и изобретательности семантических мотивировок, дифференциация объектов наблюдаемого мира, самый объем словаря их и подчеркнутость операционного и таксономического аспектов делают маловероятным предположение о том, что столь систематическое и разветвленное знание представляло собою функцию исключительно практической полезности соответствующих объектов. Современный исследователь подчеркивает, что многочисленные объекты (например, растительные и животные виды) зачастую известны человеку той эпохи не потому, что они полезны, а скорее наоборот — они считаются полезными, потому что они заранее известны, потому что они суть звенья универсальной таксономии, где всё сакрально значимо (Lévi-Strauss 1964 и др.). Цель таких классификаций, конечно, не в практическом — в узком смысле — плане (хотя и он может актуализироваться, а иногда и выходить на первое место), но в создании предпосылок для своего рода интеллектуальной игры, выработке

формального и достаточно мощного аппарата, который предлагает схемы группировок конкретных вещей и их дифференциации, выявляет их сходства и различия, определяет ("высвечивает") вещную структуру Вселенной, тем самым закладывая предпосылки для настоящих и будущих содержательных интерпретаций. Такие классификации представляют мир (и сами представления о нем) упорядоченным, космологизируют его, делают доступным не только для интуитивного и "случайного" его постижения, но и для более или менее "рационально-интеллектуальных", логико-дискурсивных, аналитико-синтетических процедур исследования и описания мира, для сложения некоего унифицированно-общего метода представления мира. Эти черты наблюдаются и в загадке, особенно при рассмотрении всего корпуса загадок данной традиции и/или при обращении внимания на развитие загадки во времени (насколько это доступно наблюдению или реконструкции). Несомненно, что они тоже свидетельствуют об универсальности загадки, причем в интенсивно-глубинном плане, тогда как экстенсивный план, также свидетельствующий об универсальности загадки, отсылает к объему, охватываемому и перерабатываемому загадкой (природно-элементарный, космологический, антропологический, социально-культурный, "хрематологический" круги). Очевидно, что как интенсивный (в первую очередь), так и экстенсивный планы загадки имеют отношение к сложению того явления, которое как раннюю форму гносиса можно назвать "п р е д - н а у к о й" (ср. также и "пред-философию") (ср. нередко опускаемый зачин загадок типа *У з н а й, что такое...?* или *У з н а й, что з н а ч и т...?*[30]; типичный образец знания "по памяти" — "Голубиная книга", по сути дела, "загадочная" энциклопедия на тему творения, его состава и его высших ценностей, порядка вещей в природе, времени и пространстве, порядка бытия[31]). При этом как

[30] Иногда этот мотив з н а н и я дается эксплицированно. "Кто воистину з н а е т?" (*kó addhā́ veda*). RV X, 129, 6, — вопрошает ведийский риши после ряда вопросов о тайнах мира в гимне о его сотворении. Далее формулируется главный вопрос — о происхождении: "Откуда это творение появилось?" (*iyáṃ vísṛṣṭir yáta ābabhūva*). RV X, 129, 7 — с тем, чтобы в последнем стихе ответить в общей форме — "Только он з н а е т или же н е з н а е т" (*só aṅgá veda yádi vā ná véda*). RV X, 129, 7 (он — тот, кто надзирает над этим миром на высшем небе, или — как в гимне познанию /RV X, 71, 11/ — брахман, возглашающий з н а н и е сути вещей: *brahmā́ tvo vádati jā́ t a v i d y ā́ m*). Брахмодья, о которых см. ниже, и представляют собой как раз загадки, ориентированные на открытие знания начал, сути (*jātavidya*).

[31] Согласно Фробениусу (Frobenius 1932; 1933; ср. Хейзинга 1992, 27—29), человечество "разыгрывает" порядок вещей в природе, как он им воспринимается. Само сознавание идеи порядка и познание его конкретной структуры происходит "по порядку", по ступеням, постепенно: что-то познается раньше, а что-то позже, что-то уже познано, а что-то еще не познано, но это "непознанное", это развертывающееся познание, еще не нашедшее себе выражения, захватывает и увлекает человека. Эта "захваченность" (Ergriffenheit), как родовая схватка, нудит и толкает идти до конца, пока не совершатся роды (**g'en-*) и не будет обретено знание (**g'en-*), пока не произойдет Offenbarung des Schicksals, откровение судьбы. Это и есть майевтика Сократа платоновского "Теэтета", то е д и н о е родовспомогательное искусство, плоды которого — и новорожденный ребенок и новорожденное знание.

Проблема рождения знания ("второе рождение") и проблема понимания, которое уже предполагает некое знание и способность к определенным операциям, ориентированным на расширение знания и умение практически им пользоваться, имеют свой "сильный", преимущественный локус, когда они отнесены к "началу", понимаемому двояко — как начало жизни человека (детство) и как начало человеческого

выдающуюся особенность загадки надо отметить то, что при выработке в себе некоего подобия "интеллектуального", "преднаучного", "операционного" слоя, она не поступилась своим "игровым" наследием —

рода (ранние стадии развития, о которых обычно судят по "примитивным" культурам, археологическим данным и т.п. и соответствующим реконструкциям и интерпретациям). Поскольку филогенетическому "началу" уделяется очень большое внимание в многочисленных трудах по этнографии, социальной антропологии, культурологии, этнической психологии, языкознанию и т.п. и поскольку в этой работе оно занимает значительное место ("генетическая" топика в связи с загадкой), здесь целесообразно кратко обозначить некоторые наблюдения над онтогенетическим "началом" (детство), имеющие отношение к тем же проблемам, которые возникают в связи с загадкой в двух планах — ее начало как сложение первичных "загадочных" структур и восприятие загадки детьми (стадия введения загадки в сознание ребенка). Особенно ценны случаи, когда "примитивность" как свойство культуры, отражающей архаичность, принадлежность к относительно ранним стадиям развития, совмещается с "примитивностью" как достоянием раннего этапа сознания человека (детство).

Такие случаи не раз становились предметом исследования, но, пожалуй, особую важность в этом отношении имеют труды Маргарет Мид, во многом сохраняющие свое значение даже после сокрушительной критики (см. Freeman 1983), которую, разумеется, нельзя не учитывать, и частично изданные недавно в русском переводе (Мид 1988). В трудах Маргарет Мид в связи с обсуждаемой здесь темой "загадочного" гносиса особенно важны наблюдения над эксплицированными формами процесса познания-понимания и над теми способами, с помощью которых этот процесс совершается. Исследуя особенности культуры самоанского племени манус, обитающего на одноименном острове, входящем в состав островов Адмиралтейства, Мид отмечает жесткую очерченность области з н а н и я, которой должны овладеть дети племени манус, и строгую дифференциацию ее, осознаваемую и на языковом уровне, где различаются четыре круга знания-понимания, именуемые как "понимание дома", "понимание огня", "понимание каноэ", "понимание моря". Согласно Мид, "понимание дома" включает в себя ряд знаний-умений — осторожно передвигаться по ненадежному полу, влезать по лестнице, не забывать отодвинуть планку в полу, когда плюешь, мочишься или выбрасываешь мусор в море, уважать любую собственность, лежащую на полу, соблюдать ряд запретов и т.п. "Понимание огня" предполагает знание полезных и вредных (опасных) свойств огня, знание того, что вода гасит огонь и т.п. (умение разводить огонь не входит в "понимание огня", поскольку этим искусством овладевают позже, в 13—14 лет). "Понимание каноэ" и "понимание моря" приходит несколько позже, когда освоено понимание дома и огня, то есть понимание-знание внутреннего пространства обитания. Эти более поздние "понимания" включают в себя ряд умений, связанных с обращением с каноэ, с одной стороны, и, с другой, умение плавать (и под водой), нырять, удалять воду из носа и горла и т.п. (овладение этими умениями происходит в 5—6-летнем возрасте). Мид описывает и способы обучения детей этим умениям со стороны взрослых, контроля над тем, как идет усвоение, установление обратной связи (система наказаний). Иначе обстоит дело с знанием-пониманием языка, умением говорить. Этому специально не учат, но в это "и г р а ю т". Игру начинают и ведут взрослые, и делают это они охотно, испытывая определенное удовлетворение и сами. "Они учатся говорить, играя со взрослыми,— пишет Мид. — Большую помощь здесь оказывает любовь к п о в т о р а м. Меланезийские языки очень часто используют прием повтора для усиления речи [...] Хотя, строго говоря, этот прием повтора должен служить для выражения длительности или интенсивности действия, очень часто простая привычка к повтору овладевает рассказчиком, и вскоре его речь будет звучать так: «Теперь он встретил женщину. Ее имя было Саин, Саин, Саин» [акцент на повторении имени в данном случае весьма характерен: он находит аналогии и в практике загадки — в "пред-повторах" имени загадываемого объекта и в "именной" образности его, ср. *Дороня* ⊃ *Дорога* и т.п. — *В.Т.*]. Иногда повторяют даже предлоги или частицы. Слушатели также обладают склонностью подхватывать фразу, повторять ее или превращать в длинную монотонную песню. Это особенно часто случается тогда, когда говорящий произносит фразу в напевном тоне, выговаривает в ключе, выделяющем ее из тональности беседы, или бормочет ее себе под нос. Самые случайные и обыденные фразы, такие, как «Я не

поэтическим видением и переживанием мира, метафорической образностью, сложной игрой планов содержания и выражения, то есть всем тем, что применительно к современной эпохе считается не-

понимаю» или «Где мое каноэ?», будут подхвачены группой и превращены в напев, который будет повторяться с полным самоудовлетворением в течение нескольких минут. Особенности произношения и акцент подхватываются и имитируются точно таким же образом. [...] Взрослые не скучают, когда имеют дело с несколькими словами, которые может пролепетать младенец. Наоборот, именно эти с трудом усваиваемые им слова служат великолепным предлогом для взрослого отдаться собственной страсти к повторам. Так, младенец говорит «я» и взрослый говорит «я» ... и т.п. и т.д., в той же самой тональности. Я насчитывала до 60 повторов одного и того же слова либо просто слога, лишенного смысла. И в конце 60-го повтора ни младенцу, ни взрослому не было скучно. Ребенок со словарным запасом в десять слов ассоциирует такое слово, как «я» или «дом», с кем-нибудь из взрослых, с которым он был занят этой игрой в слова, и когда его дядя или тетка проплывают мимо его дома в каноэ, он с надеждою кричит им «я», «дом». Он не будет разочарован: обязательный взрослый, столь же довольный, как и ребенок, крикнет в ответ «я» или «дом» [...] Всё сказанное о речи в равной мере относится и к жесту. [...] Эта привычка к имитации, однако, не навязчива, так как она немедленно исчезает, будучи осознанной [...]" (Мид 1988, 185—187). Легко заметить, что те же самые особенности "познания-понимания" у детей с соответствующими изменениями и в не столь чистом (и даже гипертрофированном) виде представлены и в высоко развитых традициях "европейско-американского" круга. Несомненна, хотя и, видимо, менее заметна, связь описываемого процесса "понимания-познания" у детей манус с некоторыми особенностями загадки, о которых будет сказано позже. Здесь же достаточно лишь подчеркнуть, что "произвольная" метафоричность в именовании определенных лиц через "я" или "дом", как это практикуется у детей племени манус, образует ту особенность, что характеризует и загадку, особенно "предельного" типа, когда акцент делается не на установке на отгадывание, а на предельно-максимальной метафоричности, не отделимой от парадоксальности, которую — практически — декодирует тот, кто и кодирует объект загадки (совпадение "загадчика" и "отгадчика" в одном лице при том, что сам акт экспликации загаданного в подобной ситуации обладает особой "учительной" функцией в наиболее сильном ее проявлении). "Что такое «я»? — Дядя" или, наоборот, "Что такое «дядя»? — Я" — теоретически равновозможные типы загадок, которые могли бы быть построены на данных, приводимых Мид. Следует только помнить, что подобные загадки или их производные типа "Что такое дом? — Я" очень недалеко отстоят от воспринимаемых ныне как достаточно тривиальные речений типа "L'état — c'est moi" ("Государство — это я"). Также нужно сознавать, что сама "дикая парадоксальность" таких отождествлений в конечном счете коренится не только и не столько в безграничных фантазиях и бесконечных возможностях образного пространства, но и в самом ситуационном локусе: понимание дома как я "логически" оправданно, законно и, более того, естественно для того широкого круга архаичных культур, в котором дом, царство, страна и т.п. понимаются как неотчуждаемая собственность этого Я (например, царя), как продолжение его за пределами "малого" его тела. И в этих случаях обнаруживается как фундаментальная особенность подобных конструкций и соответствующих им "ментальных" структур казалось бы противоестественное сочетание безграничной свободы со строгой ограниченностью и жесткой детерминированностью, в пространстве которого и разыгрывается драма познания и сопутствующе-предвосхищающая ее игра смыслов. В более общем и абстрактном виде ситуация может быть представлена следующим образом. Некий "реалийный" комплекс, состоящий из объектов *a, b, c, ... n*, обозначается как X. У ребенка есть свобода выбора: он может связывать это обозначение X или с *a*, или с *b*, или с *c* и т.п. или с разными вариантами совокупностей этих элементов. Несвобода же состоит в том, что переход от неопределенно-непрерывного к определенно-дискретному вынуждает определить, что же все-таки такое X или — иначе — как все-таки называются *a, b, c* и т.д. порознь. И если оказывается, что X — это *a*, то с необходимостью вытекает, что *b, c* и т.д. — не X и должны быть названы как-то иначе (один случай). Если же все-таки X обозначает все множество элементов *a, b, c, ... n*, то на определенной стадии не может не возникнуть проблема их индивидуальных обозначений, причем X уже не может, обозначая сумму, обозначать и какое-либо из слагаемых (другой случай).

совместимым с "научностью". Во всяком случае это уникальное сочетание, также свидетельствующее об универсальных претензиях загадки, решительно выделяет ее среди всей совокупности жанров народной словесности, что помещает загадку в совсем иную эпоху зарождения и в иное "духовное" пространство, лишний раз подчеркивая

Однако и в этом случае и специально в случае загадки, независимо от того, идет ли речь о "загадчике" или "отгадчике", помимо соотношения свободы и несвободы весьма существенным, но, к сожалению, недооцениваемым в своем значении (во всяком случае применительно к проблеме загадки) оказывается другое соотношение — абстрактного и конкретного "речевого" поведения, о котором см. Goldstein, Scheerer 1941; Goldstein 1948 и др. Элементы абстрактного, мобильного, предполагающего актуальное осознавание "действия" поведения и их роли очевидны, и о них здесь говорить не сто́ит. Но загадка, ее текст часто не успевают осуществить цензуру в отношении инерционно-инертного, конкретного "действия", не вовлекающего в участие в нем сознания в его актуальной форме. Это не пропущенное через фильтры "конкретное" и образует те зазоры в тексте загадки, в которых, с одной стороны, концентрируются дополнительные трудности для "отгадчика", а с другой, дополнительные шансы, преимущества, позволяющие ему решить загадку или даже "обмануть" загадчика, предъявив ему ответ, удовлетворяющий всем условиям, формулируемым в "загадочной" части загадки и, тем не менее, не совпадающий с тем, что было задумано "загадчиком".

С соотношением "абстрактно-мобильного" и "конкретно-инертного" в значительной степени связан и иной круг исследований, посвященный сути элементарных логических структур и их генезису. В данном случае речь идет о Пиаже, которого так занимала проблема происхождения и в связи с этим проблема детского мышления, логика ребенка, ее качественно отличные друг от друга периоды (см. Пиаже 1932; Пиаже, Инельдер 1963 и др., ср. Рейшар, Шнейдер, Рапапорт 1944, 42—65 и др.). Выше названное соотношение послужило исходной точкой для рассмотрения явления "категоризации" и предлагавшихся позже попыток расширения этой темы ("докатегориальное" мышление, классификаторные структуры и т.д.). Некиим центром этого круга исследований, посвященных генезису элементарных структур, стала проблема классификации и сериации (операция распределения объектов в упорядоченные ряды) применительно к детскому мышлению (см. Пиаже, Инельдер 1963 и др.) и зависимости между этими операциями у ребенка и сенсорно-моторными или перцептивными механизмами. Принятие этой зависимости, как и операторного характера классификаций и сериаций, позволило прийти к выводу о большой солидарности между развитием логических операций или "прелогических" действий и инфралогических операций или действий, "относящихся к элементам, объединенным в одно пространственное или непрерывноецелое", а также к тому, что корни операций классификации и сериации находятся "не в понятиях и высказываниях, которыми оперирует речь, а в основных действиях соединения и упорядочивания, применяемых как к цельным объектам (непрерывное), так и к дискретным ансамблям" (Пиаже, Инельдер 1963, 409). Поскольку же классификаторные соединения и подразделения обнаруживают активный источник, общий с источником инфралогических операций объединения и деления, "первые практические и малодифференцированные агрегаты от понятий с объемом (классы) и содержанием (общие свойства), обозначаемых языком и благодаря ему функционирующих в мышлении, отделяет большое расстояние. В то время как «содержание», основанное на отношениях сходства, обеспечивается,-начиная с уровня сенсорно-моторных ассимиляций, восприятием общих свойств и элементарной абстракцией, связанной с практическими конечными целями, «объем» понятий доступен субъекту лишь через посредство определенного с и м в о л и з м а и, кроме того, при условии подчинения вербальных знаков системе совершенно правильных квантификаций" (Там же, 409—410), из чего вытекает ряд существенных следствий, в частности, и применительно к проблеме загадки.

Как известно, Пиаже много писал об эгоцентризме детского мышления, который, пренебрегая объективными связями, не столько приспосабливается к внешнему миру, сколько ассимилирует его собственному Я, и который объясняет такие черты этого мышления, как тенденция к синкретизму, снятие противоречий, неосознаваемость и т.п. Этот эгоцентризм или "эгоцентризм познания" соотносим с

ее сходство с игрой, которая, как и священодействие, в известном отношении "zwecklos, aber doch sinnvoll" (Guardini 1922, 5 —70).

Об установке на универсальность свидетельствует и функциональное пространство загадки. О функциях загадок писалось немало, многое было подмечено верно, не меньше было и упущено, но главные недостатки в исследовании функций загадки состояли, пожалуй, в следующем — в неполноте набора функций и некоей необязательности предлагаемых списков функций; в отказе от попыток найти некую иерархию функций или хотя бы определить схему соотношения их и выделить "ключевую" функцию или, по меньшей мере, ту, что отсылала бы к "перво-функции" или к той уже лежащей вне круга "загадочного" ситуации, которая могла бы быть отдаленным источником "перво-функции"; наконец, в недооценке аспекта исторического развития загадки. Конечно, эти недостатки легко объяснить: многие и притом нередко от исследователя к исследователю меняющиеся списки функций загадки сразу же бросаются в глаза, и они более или менее органично описывают нечто существенное в загадке, что как бы осво-

---

эгоцентризмом языка, о котором см. выше и который во времени, возможно, соотносился с той же чертой мышления. Эгоцентризм языка и эгоцентризм познания так или иначе предполагают наличие взаимодействия субъекта с внешним миром и тенденцию к усвоению его себе, к приспособлению к нему, к адаптации, которая не всегда адекватна адаптируемому миру и порождает иллюзии и ошибки. Обобщая этот ранний опыт человечества в его развитии и каждого человека в его жизни, Пиаже подчеркивает ненадежность "непосредственной" точки зрения и важность полицентризма, то есть децентрированности мышления, учитывающей многообразие связей объекта, описываемых субъектом, и постоянной коррекции общей картины по мере появления новых точек зрения или изменения старых. Тем самым оказывается, что эгоцентризм мышления о-пределяет, о-граничивает рамки познания пределами Я. Сам Пиаже пишет в связи с комментариями к трудам Выготского: "Я ввел выражение «эгоцентризм познания» для того, чтобы выразить ту мысль, что прогресс знания никогда не осуществляется путем простого сложения разделов или новых уровней, как если бы более полное знание было просто дополнением менее прошлого знания; этот прогресс требует постоянной переформулировки прежних точек зрения посредством процесса, который продвигается вперед так же, как и назад, непрерывно корректируя как начальные систематические ошибки, так и те, что возникают в самом процессе познания" (Piaget 1962, 3, ср. также Пиаже, Инельдер 1963, 428-429). Преодоление эгоцентризма познания, требующее выработки полицентричного узрения объекта, релятивного подхода, умение не только и не просто суммировать, но коренным образом переформулировать, "химически" пресуществлять, предполагает акцент на субъекте (даже когда в центре внимания объект), поскольку логические операции извлекаются не из объекта, но из субъекта действия, и соответственно этому развертывается и само познание. Загадка, как и познание, разделяющее с ней установку на универсальность, идет тем же путем, что становится наиболее явным, когда она входит в ритуальный локус, где акцент падает на действие и на субъект этого действия. Как бы ни был важен объект, в ритуале он, даже смешиваясь с субъектом, меняясь с ним позициями (ср. жреца и жертву), все-таки уступает место субъекту. Не случайно, что hic et nunc, в точке, где ритуал достигает своего высшего напряжения, ведущий ритуал предельно сближается с героем-субъектом, божественным персонажем, который участвовал в творении, в прецеденте, имевшем место в абсолютном начале. Использование загадок в ритуале, где они выступают как средство решения "гностических" задач (не знаешь — не родишь, не сотворишь), во-первых, и практических (творение), во-вторых, дополнительно подтверждает "гностический" аспект загадки, где снова встречаются знание и рождение.

бождает от задачи выявления полного состава функций. Но хуже, пожалуй, не эта незаконченность (время корректного решения этой проблемы, возможно, не наступило), а игнорирование того, что несомненно выделяет загадку среди других сопоставимых с нею явлений и что придает загадке черты исключительности как по сравнению с другими фольклорными жанрами, так и по сравнению с игрой и ритуалом, связь с которыми загадки не подлежит сомнению (сказанному, естественно, не противоречит наличие отдельных общих функций у загадки и сопоставимых с нею явлений; напротив, оно, вводя общее в сравнение, усиливает исключительность индивидуальных особенностей загадки в призме ее функций).

С одной стороны, есть аспект, в котором загадка как бы лишена функций вообще, потому что она не является необходимостью и в принципе может быть в любой момент отложена — и не только hic et nunc, но и далее ad infinitum. В этом смысле загадка сопоставима с игрой. Если в цитате Хейзинги о функции игры слово *игра* (и *играть*) заменить на слово *загадка* (и *загадывать*), то в смысле этой цитаты ничего не изменится — "Как бы то ни было, для человека взрослого и дееспособного загадка есть функция, без которой он мог бы и обойтись. Загадка есть некое излишество. Потребность в ней лишь тогда бывает насущной, когда возникает желание загадывать. Во всякое время загадывание может быть отложено или не состояться вообще. Загадка не диктуется физической необходимостью, тем более моральной обязанностью. Загадка не есть задание. Она протекает «в свободное время». Поначалу вторичные, по мере того как загадка становится функцией культуры, понятия долженствования, задания, обязанности привязываются к загадке" (Хейзинга 1992, 18 с соответствующими заменами слова *игра*). В этом, но только в этом смысле загадка, как и игра, "несерьезна" и, следовательно, афункциональна. С другой стороны, загадка имеет и свой несомненный прагматический аспект, и в нем она выступает как некое действие, итог которого — дело, то есть нечто меняющее ситуацию по сравнению с состоянием до совершения этого действия. И эта особенность объединяет загадку с ритуалом, явлением, ориентированным на прагматические цели и выступающим как некое "чистое" действие, направленное на изменение предшествующего состояния.

Что касается сопоставления загадок с другими фольклорными жанрами с точки зрения функциональных заданий, то при сравнении их между собой бросается в глаза полифункциональность загадки, как бы обеспечивающая все множества задач, возникающих перед коллективом в разных сферах, откуда может исходить опасность, при очень значительной функциональной узости и "конкретной" привязанности функций других жанров. Загадка, с одной стороны, и пословица, поговорка, хвала, поношение, былина, историческая песня, плач, духовный стих, сказка, меморат ("быличка"), легенды, заговоры, песня (обрядовая, трудовая, лирическая, детская, колыбельная и т.п.), частушка и т.д., с другой стороны, образуют, по сути дела, разные полюса. Уже одно это сигнализирует о некоей парадоксальной ситуации, которая, кажется, ставит под угрозу положение о едином классе явлений,

где загадка выделяется среди своих "соседей" лишь в количественном отношении. Скорее в этой ситуации следует видеть указание на поиск какого-то иного плана, в котором загадке некогда было уготовано особое место и особое назначение.

Загадка таит в себе вопросы относительно внеположенных ей "внешних" объектов, но она же — субъект загадывания, ставящий вопрос о самом себе, о загадке, так сказать, вопрос о вопросе. Ни один фольклорный жанр даже не приближается к такому уровню самосознания, даже "нелепицы", которые могут идти весьма далеко в попрании и деформации "здравого" смысла. Выше говорилось о целой системе семантических противопоставлений, "разыгрываемой" загадкой и тяготеющей к максимальному заполнению пространства потенциальных смыслов, что также отсылает к универсальному аспекту загадки. При этом особенно важно присутствие среди этих противопоставлений таких, которые носят черты кванторности или операционности: это — то, это — иное, то — не то, определенное — неопределенное, общее — частное, единое — многое, субъект — объект, "объектное" описание — "метаобъектное" описание, прямой смысл — косвенный ("переносный") смысл и т.п., ср. также оппозицию непрерывное — прерывное (дискретное), соответственно: смысловой континуум — смысловая дискретность.

Но, пожалуй, самая парадоксальная особенность загадки, выделяющая ее среди других фольклорных жанров, состоит в соединении жесткой интеллектуально-логической операции отождествления-идентификации объектов, стоящих под вопросом, с безгранично-прихотливым метафоризмом и непредсказуемыми ходами воображения, поэтической фантазии. Ни в одном другом фольклорном жанре форма и смысл не входят в столь сложные, изощренные и интимные отношения, как в загадке, где само различение формы и содержания часто представляется чем-то насильственным и сугубо условным. Более того, загадка не только "разыгрывает" эти отношения формы и содержания, но и сознает эту игру, описывает ее и намекает на нее "пользователю" загадки.

В ходе исторического развития локус загадки неоднократно менялся и соответственно изменению контекста, в который включалась загадка, менялось и назначение загадки, и соответственно этому одни функции возникали, другие исчезали, третьи или отступали в тень или, наоборот, попадали в световой фокус. Между игрой и ритуалом, ритуалом и фольклорным бытием, фольклорным бытием и забавой-развлечением — вот основные этапы исторического пути загадки, ее перипетии. Каждая из них что-то меняла в загадке, оставляла свои следы, так или иначе аккумулировавшиеся и синтезировавшиеся в загадке. Но при всей гибкости, изменчивости, протеичности загадки она никогда не переставала быть самой собой и никогда не забывала о своем самотождестве. Мы знаем возраст частушки и исторической песни, мы представляем себе временные пределы былины и духовного стиха, и едва ли могут быть сомнения в том, что возраст загадки несравненно более почтенен, а временные пределы ее гораздо шире. "Время" песни, плача, сказки тоже почтенно, и истоки его тоже скрыты от исследователя. Но все, что теперь известно о "перво-песне" и "перво-плаче", весь

опыт реконструкции их, подтверждаемый и фактами ряда живых архаичных традиций, склоняет к заключению, что эти жанры в их начальной стадии были существенно иными, что в их основе было некое элементарное ядро ("квант" жанра, некий образчик, "пропись"), реализовавшее себя в одном-двух, максимум трех-четырех стихах. Это ограничение размера не могло быть только количественным отличием от того, что известно нам по более поздним образцам этих жанров. Несомненно, что само качество "перво-песни" или "перво-плача" должно было быть иным, как иным был и локус этих прото-жанровых структур. Скорее всего, как можно предполагать, речь должна идти об элементарных "разовых" конструкциях-высказываниях, фиксирующих некий простой мотив, или о задании некоей ритмико-звуковой темы. "Прото-сказка" в своих истоках тоже, видимо, была чем-то вроде элементарного высказывания "нарративного" характера, лишь впоследствии втянутого в пространство "эпического", где начался процесс мультифицирования и синтезирования, в ходе которого высказывания теряли свою первоначальную природу. Различий между этими "прото-жанровыми" конструкциями и более поздними типами соответствующих жанров достаточно много, но главное из них, видимо, в том, что локус первых на грани языка ("высказывание") и элементарной "текстo-строительной" конструкции ("прото-мотив"): "прото-жанровая" конструкция — явление языка, как бы отчуждаемое им для его использования в ином пространстве ("поэтическом", "ритуальном", "коммуникативно-информационном" и т.п.) и в некиих новых институализированных формах. Если эти предположения верны хотя бы в общем, то "формальная" структура этих "прото-жанровых" конструкций и "прото-загадки" (и даже просто загадки в наиболее типичных ее формах) оказывается сильно сближенной. "Малые" жанры, как пословица, поговорка, поношения, похвала и т.п., обнаруживают и в более позднем своем состоянии ту же элементарную "формальную" структуру, что позволяет, кажется, в общих чертах представить тот ранний срез "жанровой" ситуации, где коренятся начала разных будущих фольклорных жанров и где происходит своего рода пресуществление (переход) "языкового" в "текстовое", о чем свидетельствуют многие факты.

Но и в этом едином лоне, где зарождались "прото-жанровые" конструкции, загадка занимала особое место — как в отношении ее связей с "языковым" началом (введение игры звуков и смыслов в самое суть загадки — интенсивный аспект, в отличие от экстенсивного использования подобной игры в песне или поговорке, где ей уделяется роль орнаментального элемента), так и в отношении ее связи с "текстостроительными" задачами (наличие более сложной языковой и ситуационной конструкции, объединяющей в себе двух участников, два "голоса", вступающих в диалогическое отношение "сильного" типа, ср. предполагаемую "обязательность" ответа на поставленный вопрос или, точнее, второй реплики после первой; наконец, сама антитетичность загадки /*x*, а не *y* — ? и под./ создавала ту напряженность связи, без которой текст или рассыпается или продолжает оставаться "слабым" текстом). Напряжение внутритекстовых связей в загадке, отраженное как в самой языковой конструкции, так и в логической схеме, подобно

быстрому круговому движению, удерживает "загадочную" конструкцию в целостности и единстве, не позволяя ей распасться. Благодаря этому загадка вполне довольствовалась отпущенным ей первоначальным объемом, не нуждаясь в расширении, хотя, конечно, известны и сильно-мультифицированные формы, представляющие собой разращение первоначального ядра и строящиеся как суммация ряда загадок или же как "расширение" одной загадки, приводящее к разрежению текста и снятию прежней напряженности внутритекстовых связей (характерно, что "длинные" загадки обычно признак или вырождения жанра, или литературного "вторичного" происхождения, или, наконец, некоего гибридного образования, сильно пронизанного загадками, ср. апологи, "прения" и т.п.). "Энергетичность" загадки, ее выдающаяся "тексто-строительная" роль объясняют почему так охотно к загадке прибегают и миф, и ритуал (собственно, вопросо-ответные ритуальные диалоги), и прения-состязания (космогонические тексты, юридически-судебные прения, состязания в мудрости и т.п.), и сказка, и песни. Здесь особенно существенно отметить роль загадки в сказке как ведущем жанре "нарративного" типа (отчасти это относится и к загадке в эпосе). Перед героем сказки всегда выдвигается некая з а д а ч а, органически вытекающая из некоего дефицита, "недостачи", нарушающей прежнее состояние и нуждающейся в восполнении. Задача обычно ясна, но не ясны способы ее выполнения, пути, ведущие к ее решению. Именно они и составляют з а г а д к у, стоящую перед героем. Сама возможность представить главную задачу как загадку — и в общем не эксплицированном до конца виде, и конкретно в виде задаваемой герою сказки загадки (или загадок) некиим "мудрым" персонажем или же, напротив, персонажем, злоумышляющим против героя и ищущим погубить его (нерешение загадки означает смерть), — существенно интенсифицирует сказку, придает ей "перипетийность" и драматизм (см. подробнее Елеонская 1907; Jolles 1925; 1929; Vries 1928; Колесницкая 1941; Митрофанова 1978 и др.).

Выше говорилось об особом месте загадки среди других фольклорных жанров в отношении ее связей с "языковым" началом и с "тексто-строительными" задачами. Эта "особость" загадки не в самóм наличии этих связей, но в объеме возможностей, в интенсивности, мощности и многообразии. "Языковое" полнее и сложнее мотивирует структуру загадки, которая в свою очередь как бы ответно "подыгрывает" языку, находящемуся в загадке у себя дома. "Текстовость" загадки, то есть густота и теснота, сложность и напряженность внутритекстовых связей, сам характер "текстуры" в загадке, наконец, степень полноты и завершенности "загадочного" текста как такового существенно превосходит (учитывая, конечно, лаконичную сжатость текста загадки) "текстовость", "тексто-строительность" других фольклорных жанров сопоставимого объема. Имплицитно или эксплицитно загадка всегда несет в себе "образную" конструкцию, реализуемую в минимальном (по идее) т е к с т е, который потенциально содержит в себе весь веер его расширений, сокращений, трансформаций (вопросительных, отрицательных, "условных" и т.п.).

Но есть еще одна особенность загадки, резко выделяющая ее среди других фольклорных жанров и придающая ей черты уникальности. Речь идет о "логическом" в загадке, прежде всего о том, что в каждой загадке совершается (или предполагается совершение) логическая операция идентификации (*identitas & facere*, ср. *idem* 'тот же самый', 'один и тот же'), то есть указания и отождествления, что прямым образом отсылает к проблеме тождества и различия, важнейшей в явлении языка, откуда по праву наследования она была перенята поэтикой и отдана на разрешение соответствующим текстам. Вместе с тем проблема идентификации была одной из самых важных уже на первых порах становления языка. Возникающая в "доязыковом" прошлом, она поставила язык перед необходимостью оформить операцию идентификации его собственными средствами, и язык усвоил себе эту идентифицирующе-различительную функцию. То, что из всех архаичных текстовых жанров именно загадка — и сама по себе и, может быть, особенно отчетливо в составе "загадочных" серий в ритуале — теснее всего связала себя с операцией идентификации, также свидетельствует и о возрасте загадки ("прото-загадки") и о контексте, в котором она могла возникнуть, и о ее первичных и главных функциях.

Многообразие и разноплановость функций загадки, о которых уже упоминалось ранее, не должны скрывать некоей "перво-функции" или функции по преимуществу, то есть наиболее общей и фундаментальной функции, по отношению к которой все другие функции, по крайней мере по происхождению, не более чем ее специализированные частные варианты. Тут же следует заметить, что "загадочная" конструкция вообще, кажется, "открыта" для усвоения себе других новых функций, и всё, что указывалось в качестве функций игры (включая и ее наиболее парадоксальную "квази-нулевую" функцию — игра не для чего, просто так, сама по себе и сама из себя, вне чего-либо "серьезного" и "функционального") и ритуала (ср. функции социализации индивида, интегрирования-связывания, коммуникации, воспроизведения, психотерапевтического действия, сохранения, упорядочения и т.п., ср. Durkheim 1912; Hubert, Mauss 1964; Hocart 1936; Eliade 1954; 1965; Jensen 1963; Leach 1968; Frykman 1979; Топоров 1988; Байбурин 1993 и др.), удивительно легко и органично укладывается в функциональное пространство загадки. Эта исключительная "функциональная" вместимость (усваиваемость) загадки, позволяющая и в этом отношении говорить о ее универсальности, дает еще один повод задуматься над сутью явления загадки как некоей текстовой конструкции, призванной решать какие-то важнейшие вопросы бытия человека, его сохранности, стабильности, надежности, положительный ответ на которые означал бы не только борьбу с энтропическими тенденциями, но и формирование — пусть в ограниченных условиях места, времени, сферы реализации — противоположно направленного эк-тропического потока. В самом общем виде именно так можно обозначить эту фундаментальную, "стратегическую" функцию загадки, функцию всех функций, универсальную функцию, в конечном счете соотносимую с универсальной топикой загадки, объемлющей весь состав мира — природа и культура, макрокосм и микрокосм, мир живого и мир мертвого ("вещный" состав Вселенной), атрибуты и предикаты, операции и мета-операции.

Но основная, "стратегическая" функция, соотносимая с главной потребностью человеческого существования (*need* по Малиновскому), которое оценивалось бы как хотя бы минимально удовлетворительное, скорее формулирует главную и наиболее общую задачу, conditio sine qua non этого "удовлетворительного" существования. Разумеется, существуют такие острые кризисные состояния, когда именно "стратегическая" функция оказывается в центре внимания и когда именно она фокусирует, собирает в себе все частное и конкретное. В этих ситуациях коллектив людей, сам человек, его жизнь воспринимаются как нечто цельно-единое и хрупкое, уязвимое. Начинает действовать принцип: одна "нужда" — один субъект "нужды" — один путь спасения. И тогда обращаются *или* к некоему единому ритуалу, "все-ритуалу", аккумулирующему в себе все то спасительно-необходимое, что есть в других ритуалах, *или* — когда условий для совершения его нет и сознание подавлено, деформировано и не может вернуться к логике стандартных ситуаций — к императивам интуиции, к "случайному", к шансу, ничего не гарантирующему вполне, но *иногда* приводящему к спасению. Этот последний выход, по сути дела, и есть та "игра отскоком", о которой говорилось выше, то сугубо "вероятностное" упреждение судьбы в надежде, что этот ответ-упреждение угадает вопрос, поставленный судьбой, что следствие повлияет на самое причину, и в результате будет выстроена "нормальная" цепь "вопрос" → "ответ", и ответ этот, по существу (во всяком случае на рациональном уровне) независимый от вопроса, окажется спасительным. Но важно подчеркнуть, что и совершение универсального "все-ритуала" и отдача решения "сверх-проблемы" на усмотрение "случая" и интуиции в принципе предполагают тот диалог человека и мира, "нужды" и способа ее удовлетворения, кризиса и спасения, который как раз и обеспечивает наиболее тесный контакт двух сторон, при котором в "тонкой" вибрации "вопрошания" уже выступают некие смутные очертания ответа. Только при этих условиях такой диалог может оказаться действенным, и чем он действеннее, интенсивно-спасительнее, тем чаще и полнее выступает в нем та "прото-структура", в которой укоренены и "вопросо-ответность", и загадка, и гадание-пророчество.

Однако conditions humaines таковы, что человек вынужден вопрошать судьбу или — более прозаически — ситуацию о том, что ему делать, не только перед лицом величайшего дефицита, тотального кризиса. Гораздо чаще это случается в частных и конкретных ситуациях, когда обращаться к "сильным" и тем более к самому "сильному" средству неэкономно, а нередко и просто невозможно. И тогда вместо "нужды" возникают "ну́жды" (*needs*), и актуальной становится одна из них — частная и конкретная нужда, и вместо универсальной "все-функции" на первый план выходит некая более конкретная и более специализированная функция, оказывающаяся более эффективным и экономным аспектом решения данной частной задачи, но — по сути дела — являющаяся лишь одним из конкретных аспектов этой универсальной "все-функции".

Не претендуя на исчерпывающее перечисление этих более частных и специализированных функций загадки, обнаруживающих себя в

разных условиях обращения к ней, стóит, однако, обозначить основные блоки их и наиболее очевидные элементы состава каждого из этих блоков. Наиболее общий характер имеет первый блок, функции которого предельно близки "стратегической все-функции" и являются первой эманацией ее — не столько спецификацией, сколько некиим уточнением, так сказать, "обозначением" ее. Самым абстрактным обозначением этого первого блока и одновременно указанием сути "все-функции" было бы — на языке функций — выделение анти-энтропической функции (задача-минимум — приостановление хаотизации жизни, распада) и теснейшим образом связанной с ней эк-тропической функции (задача-максимум — формирование противо-потока по отношению к энтропии). С задачей-минимум связана установка на более конкретную "хранительно-спасительную" функцию (с акцентом на первой ее части — *не было бы хуже,* status quo). С задачей-максимумом соотносятся функции, предполагающие, что исходить из status quo и его сохранения — слишком слабое и экстенсивное решение проблемы, и status quo должен быть нарушен, преодолен, но не в сторону хаоса, а в сторону дальнейшей космизации бытия, его организации-упорядочения. Эту функцию можно было бы поэтому назвать организующе-упорядочивающей. С этой функцией тесно связана другая — функция расширения пространства загадки, выхода в новое пространство, как бы ухода от самой себя. Подобно тому как суть космизации состоит в выходе из тесного, замкнутого, темного, хаотизированного пространства обуженности-ужаса (ср. др.-инд. *aṁhas* : **ǫzostь*, **ǫzasъ*) в широкий, просторный, открытый мир космической организации и свободы (др.-инд. *uru-loka-*), загадка тоже как бы пытается выскочить из запертого бесконечными повторениями одного и того же тавтологического смыслового универсума и стремится продвинуться вперед в царстве "тождественного", найти новую жизнь, преодолеть абсурд круговращения и выйти на новый путь. Вместе с тем есть основания говорить еще о двух функциях этого блока, связанных с другими его функциями. Одну из них можно назвать путеводительно-окормляющей, эвристической (*идти,* чтобы *на-йти;* путь, результат которого в преодолении пути и прежнего состояния ради нахождения-открытия нового состояния, открывающего субъекту пути новый путь), другую — прагматической. Все функции этого блока, по существу, служат делу, самой ближайшей и самой насущной практической потребности: не будь этой функции, все остальные потеряли бы свой смысл; не будь она осуществлена, реализована, не было бы возможным осуществить и другие функции или, точнее, сама прагматическая установка функций этого блока диктует формирование целого круга подсобных функций, из которых каждая по-своему позволяет подхватить эту исходную установку на прагматичность, на дело, на результат.

Второй блок можно было бы назвать логико-гностическим, связанным с познанием и его логической структурой. Внутри его целесообразно различение таких функций, как дейктически-идентифицирующая (указание как выделение частно-индиви-

дуального, особно-конкретного среди расплывчато-общего, "смешан
ного" и отождествление как установление связи, предполагающе
овладение пространством между максимально сходным и максимальн
розным и формирование не только корпуса конкретных "предметных
связей, но и осознание самих операций указания, отождествления
различения, без которых никакая классификация невозможна)
к л а с с и ф и к а ц и о н н о - т а к с о н о м и ч е с к а я (эта "загадочная
функция явно недооценивается, а чаще всего вообще игнорируется
тем не менее именно загадка охватывает своим ве́дением весь ми
[можно было бы в принципе сказать почти "по-витгенштейновски"
границы мира суть границы загадки или — обратно — границы загад
ки суть границы мира, загадкой "разыгрываемого"], всё, что в не
есть, и — мало того — производит фантастическую по объему работ
по упорядочению этого мира — и видимую и невидимую или скоре
не всегда замечаемую, но подчеркиваемую явно и требующую дл
своего выявления некоторых дополнительных усилий; всё, что есть
мире, и что в принципе, по идее собрано загадкой, классифицируетс
загадкой по многим более или менее независимым критериям, создаю
щим прочную и плотную, с высокой "разрешающей" способностью
классификационную сеть; среди этих критериев, или параметров клас
сификации особенно важны две группы: одна из них имеет отношени
к "п о р я д к у" мира — равно "генетическому" и "онтологическому"
логико-аксиологическому, вскрывающим порядок становления и
иерархию ценностей, а другая — к более формальным характеристи
кам: классификация "вещного" мира /сфера "предметного", "объект
ного"/, его атрибутов, его предикатов и т.п.; в результате создается
мощная, всеохватывающая, всепроникающая классификационная сеть
объект *l* входит в совокупность *j, k, m, n, o* и локализуется между *k*
m, он тождествен, близок, сопоставим с объектами *p, r, s* и отличен о
остальных, но эти отличия имеют разную степень; объект *l* имеет ат
рибуты C, D, E, F, G и предикаты α, β, γ, δ, ε; соответственно атрибу
M характеризует объекты *t, u, v, w*, а предикат π — объекты ρ, σ, τ,
и т.п.), а н а л и т и ч е с к и - с и н т е т и ч е с к а я (в зеркале загадки
цельно-единый мир распадается, в принципе без остатка, на его со
ставные элементы, и все безбрежное множество и разнообразие эти
элементов собирается загадкой в цельно-единый мир; загадка не толь
ко производит эмпирически эти две противоположные по направлению
"работы", но и сознает лежащие в их основе принципы как особые опе
рации; ответ загадки "раз-решается", выискивается путем перебора
возможностей, их анализа и отбрасывания всего, что не подходит или
подходит не лучшим образом, и это составляет суть "аналитически
изолирующей", дифференцирующей операции, но ответ загадки мож
но найти и иначе — на пути собирания всего, что может относиться к
ответу, всех указаний, направляющих к нему, и тогда перед нами
"синтетически-собирающая", интегрирующая операция), а в т о р е ф -
л е к с и в н а я (обращение на самое себя и как особая логическая опе
рация, и как источник высшего, "последнего" знания, см. далее, и как,
наконец, экспликация самой сути загадки и содержания "работы" меха
низма загадки, а также одного из мощных источников "поэтического"

и некоторых парадоксальных ходов в этой сфере), познавательная ("гностическая", о гностической установке загадки см. выше, а также в другой работе: *Узнай, что есть...?* или *Найди..., Отыщи..., Открой ...* и т.п. как нередкие ходы "загадочного" текста, к сожалению, часто опускаемые при публикациях "загадочных" текстов, в результате чего "повреждается" общий контекст загадки, теперь начинающейся с *Что есть..?*, помогают осознать близость этой функции к собственно эвристической из первого блока), дидактически-учительная, близкой к предыдущей (познание, знание → передача его путем научения; ряд механизмов загадки, несомненно, играет "учительную" роль, причем в двух направлениях — в загадке происходит научение "ищущего" путем передачи ему овеществленно-конкретного знания, некоего достигнутого результата или путем обучения "ищущего" ответа некиим правилам, закономерностям, фреквенталиям на операционно-логическом уровне загадки), "энциклопедическая", также близкая и к познавательной, и к предыдущей дидактически-учительной функциям ("энциклопедическая" функция как бы предполагает собирание всех результатов, извлекаемых из "загадочного" корпуса, в виде именно овеществленного "завершенного" знания, хранение их и демонстрацию этих результатов тем, кто в них нуждается).

Третий блок функций можно было бы обозначить как "информационно-коммуникативный". Этот блок составляют информационно-кумулятивная функция (она вполне отвечает теоретико-информационной "шенноновской" схеме акта информации с различением адресанта-"кодирующего" и адресата-"декодирующего", но сами условия этого акта коммуникации и передачи информации не могут быть признаны "средне-стандартными"; они существенно и нарочито усложнены, прежде всего в том отношении, что цель сообщения /*message*/ — предельно затруднить его декодирование адресатом, сохранив, однако, при этом некоторые "незаметные" или двусмысленные указания на содержание сообщения; следовательно, загадка может рассматриваться как передача сообщения, код которого или не ведет явно к "загадочному" сообщению, или не позволяет считать наиболее вероятным именно это сообщение, или, наконец, вуалирует подлинное сообщение и даже уводит от него, сбивает с толку, провоцирует на другой ответ[32]; вполне допустимо говорить и об особом "коммуникативно-связывающем" аспекте этой функции с акцентом на связи как частей загадки между собой, так и объектов, в ней участвующих), специально кодирующе-декодирующая функция (имеется в виду ситуация, когда слово разгадки кроется, анаграмматически или каким-либо иным "звуковым" способом, в тексте загадки[33], и сам язык выступает как кодирующий и декодирующий агент-субъект, причем кодирование совершается на уровне, лежащем обычно в не фиксируемой "разгадчиком" в связи с его основной задачей сфере),

[32]Ср. тип загадок, "загадывающая" часть которого ориентирована (как бы предполагает) на "неприличный" ответ, тогда как на самом деле вопросу загадки вполне удовлетворяет и "приличный" ответ.

[33]См. Jakobson 1970, 317; Топоров 1987 и др.

"криптограмматическая" (см. ниже) и верифицирующе-контрольная функция (обеспечивающая обратную связь и в случае ее утраты нахождение мест разрыва этой связи, контроль над связующими элементами загадки), наконец, проверочно-испытательная функция (определение условий "правильности" коммуникации, идентичности в отношении используемого кода и семантической "совместимости", испытание "разгадчика" и проверка, насколько он соответствует задаче решения загадки и, следовательно, каковы его способности познания универсума).

Четвертый блок охватывает языковые, тексто-строительные и семиотические функции, а также — и это особенно важно — поэтическую функцию, которая осуществляет себя в локусе, где "языковое" и "поэтическое" предельно сближены друг с другом, а иногда и просто не отделимы одно от другого. Этот блок мог бы быть назван в широком смысле "лингвистическим", "языковым", учитывая, что и "поэтическое" и "тексто-строительное" берут свои корни в языке, а знаковое в загадке реализует себя в языковой форме. Он включает в себя прежде всего языковую ("описательно-лингвистическую") функцию, своего рода "грамматику" языка загадки (парадигматика и элементарная языковая "тактика", "пред-синтаксис", реализующий возможности, заложенные в грамматической структуре), и заслуживающую особого внимания и выделения функцию смыслопорождения, функцию тексто-образования ("не-элементарная тактика", берущая свое начало в языке и усваиваемая себе далее "текстологией" как системой правил и конкретных способов формирования текста), "мета-функцию" как умение фиксировать не только элементы "объектно-языкового" уровня, но и формировать "мета-объектный" уровень; поэтическую функцию (в понимании Якобсона, трактующего ее в рамках акта коммуникации), криптограмматическую функцию (насколько она реализуется в языке и средствами языка, см. выше; ср. тайнопись, "посольский" язык — Геродот V, 92, а также III, 46; IV, 131; Псевдо-Каллисфен I, 36—39 и т.п.).

Предпоследний пятый блок функций связан с некиими крайними состояниями — с выходом за пределы "среднего" уровня, нормы, сферы профанических стандартов и охватывает магическую, религиозную (мифо-ритуальную), сакральную и тесно связанную с ней символическую (сфера высших смыслов, особенно ярко реализующих себя в главных ритуалах общего типа, когда речь идет о высших ценностях мира), наконец, развлекательно-игровую функцию (об отношении игры к загадке и о понятии функции в связи с игрой см. ранее).

Наконец, последний шестой блок функций, стоящий несколько изолированно, представлен одной функцией — аксиологической, но в разных ее аспектах (с одной стороны, речь в загадке действительно идет о всех ценностях мира, на основе которых формируется представление о ценности всего мира, как он представлен в загадке; с другой стороны, все объекты мира, которым поставлен в соответствие некий общий атрибут или — реже — предикат, постоянно определяют свой рейтинг /высший/ по шкале ценностей, ср. *Что всего быстрее?,*

Что всего сильнее?, Что всего легче?, Что всего тяжелее?, Что всего светлее?, Что всего жирнее?, Что всего слаще? и т.п. [в разных традициях подобные загадки выделяются в особую группу и предполагают нередко разные ответы, ср. *Что всего быстрее /резвее/? — Солнце* или *Луна*, или *Ветер*, или *Мысль*, или *Глаз* и т.п.; иногда "превосходность" ограничивается некоей относительностью: *Что у нас чаще леса? — Звезды* и т.п.]).

Последний акцент на теме универсальности загадки ставится при анализе использования загадок, обращения к ним, как об этом свидетельствуют данные архаичных традиций, "генетическая" реконструкция и типология загадки в диахроническом аспекте. Все эти данные совершенно определенно представляют загадку как нечто важное, своего рода "последний" суд, от заключительного слова которого зависит все или, по крайней мере, то главное, что в данной ситуации воплощает в себе это все или в случае удачи открывает ему путь к этому всему. Подробнее о ситуациях, в которых люди прибегали к загадке, писалось не раз и отчасти будет сказано ниже. Поэтому здесь достаточно обозначить это главное, ради которого приходится прибегать к загадкам, полагая, что в правильном ответе, в разгадке кроется удача высокого значения. В космологическом вселенском плане и в соответствующем ритуале, воспроизводящемся ежегодно и обладающем максимальной силой, которая распространяется не только на мир, но и на социум и на человека, загадки используются в момент величайшего кризиса, страшной угрозы разрушения (ср. "страшные загадки" удмуртов — *вожо*: *вожо-мадь*, загадки времени зимнего вожо), предельной опасности, грозящей превратить распадающийся мир в хаос, в бесконечное, непрерывное, неорганизованное, невидимое, безнадежно страшное, а именно на стыке Старого и Нового года, когда мир может быть спасен только загадкой, точнее, — мудростью, "разрешающей" все "последние" вопросы и тем самым способствующей возрождению-восстановлению мира. Эти "загадочные" прения, единственная ultima ratio мира, приурочиваются к месту ("центр" мира, "пуп" земли, мировое дерево, мировая гора и другие символы "центра") и ко времени (порог катастрофы, гибели, стык двух годовых кругов), которые сами возникли именно в первотворении и стали высшей сакральной ценностью, и сам этот главный ритуал, который в случае неудачи может оказаться последним и вызвать необратимое распадение мира, и в качестве центральной фигуры ритуала выступает как бы ритуальный двойник демиурга "первого" творения — "перво-жрец", "перво-царь", осознаваемый таковым по крайней мере на все время ритуала, воспроизводящего "перво-творение", то, что было в "первый" раз, "в начале" (именно так трактует этот главный годовой ритуал архаическое сознание). В социальном плане, несомненно, продолжающем космологический и отличающемся в основном объемом вовлекаемого в соответствующий ритуал и объемом и характером его результатов, наиболее характерная ситуация, в которой прибегают к "загадочным" прениям, — поставление царя на трон, интронизация (сто́ит напомнить, что царь — фигура не только социального плана, но и космологического: он ответствен не только за "порядок царства", но и за

"порядок мира"; сам мир в известной степени трактуется как его собственность и владение, причем эта собственность иногда понимается как неотчуждаемая, и в таком случае владение-власть и владение-собственность и соответствующие фигуры совпадают; "царские" загадки, задаваемые тому, кто, предполагается, будет царем, и составляют, собственно, то испытание, которое должно определить, достоин ли претендент на царское место возлагаемых на него задач: малой — царство и большой — мир, вселенная)[34]. В плане личном, индивидуальном, жизненном, где биологические данные перерабатываются социально, загадки сопровождают человека в главные и наиболее ответственные моменты его жизни — при его рождении, инициации, вступлении в брак, при смерти. Если загадывание загадок или процедура задавания вопросов при рождении (Кто я? Где я? Откуда я? Каково мое подлинное, сущностное имя? и т.п.) или при смерти, точнее, при вступлении в загробный мир не принадлежат к числу особенно распространенных явлений, то инициация как испытание и проверка перехода в наиболее престижный социально-возрастной класс предполагает проверку инициируемого на мудрость и, следовательно, на готовность занять свое место в этом классе и составляет, может быть, наиболее сложную и ответственную часть испытаний, проводимых, как свидетельствует ряд архаических традиций, старым жрецом или старой жрицей. Правда, нужно заметить, что во многих случаях провести определенную границу между "инициационными" и "брачными" загадками довольно трудно: одно перекрывает другое, и нередко складывается убеждение, что более частые по имеющимся данным загадки при вступлении в брак представляют собой трансформацию загадок при инициации. Как уже указывалось, брак трактуется в мифопоэтических традициях как своего рода имитация "перво-брака", и в этом случае жених и невеста воплощают участников иерогамии, божественных "перво-жениха" и "перво-невесту" или — несколько сниженно — царя, вступающего в брак с той, кто отныне становится царицей. Прошедший испытание загадками становится носителем мудрости — как физической, сексуальной (**mǫdě : *mǫdakъ : *mǫdostь*), так и умственной, духовной (**mǫdrostь : *mǫdrъ : *mǫdrьcь*), — тем, кто может достойно выполнить ту функцию, которая была возложена на "перво-жениха". Мудрость соединяет испытуемого с правдой-правотой, а при расширении пространства правды — и с истиной. Если истина — это поиск ответа на тайные вопросы бытия, то не приходится удивляться, что "загадочная" конструкция стоит и у начала философии, и

[34] Загадки могут задаваться царю (испытание загадками на мудрость) и в том случае, когда он становится старым и неспособным удержать ни власть, ни собственность, и возникают серьезные опасения относительно его дееспособности (ситуация, рассмотренная в свое время Фрезером). У "царских" загадок есть и более широкий контекст — они лишь частный случай, однако самый важный и ответственный, прений-состязаний в мудрости, проверяемой именно умением отгадывать загадки. Другой частный случай загадок, с помощью которых выявляется мудрость-правота, — определение правого и виновного в зависимости от удачного или неудачного разгадывания загадок. Близок к этому и обычай "загадочных" прений перед решающим сражением, когда каждая сторона выставляет для них своего вождя, как, предполагается, носителя наибольшей мудрости (ср. Хейзинга 1992, 124 и сл.).

в ситуации, когда возникает вопрос о пределах мысли и о способностях решать мыслительные задачи за пределами сферы собственно человеческого, и в ходе формирования детского мышления.

Роль загадки в сложении философского мышления и самой философии преувеличить трудно. При этом нужно, однако, помнить, что загадка может (и это достаточно частая и во всяком случае типовая ситуация) непосредственно, явным образом лежать в основе некоей философемы, но может присутствовать в ней и скрыто. Разумеется, загадка старше философии (или — в несколько другом аспекте — загадка и есть первое свидетельство в потребности философического осмысления бытия), и когда говорят о "философских" гимнах ("hymnes philosophiques"), то это надо понимать в достаточно условном смысле. Из самой загадки как таковой философия, естественно, не возникает, но когда "загадочная" конструкция применяется к сфере сакрального (а таковым в определенную эпоху была космологическая сфера, поскольку именно она отсылала к творению, к "началам"), тогда мысль человека почти принудительно вела его на путь, который в будущем должен был привести именно к философии. "Нам не дано определить в этих продуктах древнейшей экзальтации и восторга перед тайнами бытия разделительную грань между священной поэзией, мудростью, граничащей с безумием, глубочайшей мистикой и рядящимися в покров тайны словесами. Слово этих древних священников-певцов все время парит над вратами непознаваемого, которые закрыты для нас, как были закрыты и для них. Здесь остается сказать лишь следующее. В этих культовых состязаниях рождается философия, не *из пустой* игры, но *в священной* игре. Здесь культивируется мудрость как священное упражнение искусности ума. Философия здесь рождается в игровой форме. Космогонический вопрос, вопрос о том, как могло появиться все то, что есть в мире, — один из первых вопросов, всегда занимавших и занимающих человеческий ум. Экспериментальная детская психология показывает, что значительная часть вопросов, которые задает ребенок в возрасте до шести лет, фактически носит космогонический характер: кто гонит воду в реке, откуда берется ветер, вопросы о жизни и смерти и т.д." (Хейзинга 1992, 127—128; ср. Piaget 1930, chap. V: Les questions d'un enfant).

Древнеиндийская и древнегреческая традиции особенно хорошо фиксируют этот "предфилософский" этап и роль в нем "загадочных" конструкций и — шире — вопросо-ответных схем. Знаменитый гимн-загадка RV I, 164 (ср. Porzig 1925, 646—660 и др.) характерен и своей топикой и тем, как вопросо-ответные структуры "разыгрывают" ее. Будучи загадкой в целом, аккумулирующей в себе целую серию более частных загадок космологического характера, гимн I, 164 содержит в себе и ответы, по которым легко реконструировать "загадочные" вопросы (*Небо — отец мой, родитель* < **Кто отец мой, родитель? — Небо; Родня моя, мать — эта великая земля* < **Кто родня моя, мать? — Эта великая земля.* I, 164, 33 и др.) и многочисленные вопросы, на которые иногда дается ответ, а иногда они повисают в воздухе, обозначая проблему, ждущую своего решения. Существенно в этом гимне осознание самой процедуры вопрошания как метода, ведущего

к решению проблемы. "Я спрашиваю тебя о крайней границе земли. Я спрашиваю, где пуп мироздания [...]" (четырехкратное повторение *pṛcchā́mi* 'спрашиваю') — "Этот алтарь — крайняя граница земли. Это жертвоприношение — пуп мироздания [...]" (I, 164, 34—35) и т.п.[35] Замкнутость вопросо-ответных конструкций на космологическом свидетельствуется и многими другими примерами, ср. RV I, 129 ("Кто воистину знает? Кто здесь провозгласит? Откуда родилось, откуда это творение? [...] Откуда это творение появилось? [...], 6-7), AV X, 7, 8 и др. Впрочем, "загадочная" структура в Ведах уже готова была хотя бы отчасти эмансипироваться от собственно космологического содержания и стать "чистой" эвристической формой. Во всяком случае гимн RV VIII, 29, 1—10, где загадываются через их признаки имена богов, может служить доказательством тенденции к расширению применения "загадочной" конструкции, хотя и по-прежнему в рамках "священного" (ср. *brahmodya, jātavidyā*). Эта традиция с видоизменениями продолжается и в Брахманах, и в Упанишадах, и в послеведийской литературе, и в замечательном палийском тексте "Милинда-паньха", где между царем Менандром и мудрецом Нагасеной происходит диалогический вопросо-ответный спор на богословско-философские темы, внутри которых уже обозначается и "преднаучная" сфера применения этого метода решения проблем.

Греки еще в эпоху Аристотеля помнили о связи загадок с началом философии, о чем свидетельствовал ученик Аристотеля Клеарх, специально писавший о загадке. Не раз отмечалось, что многие апории Зенона или изречения Эмпедокла предполагают как бы ответ на загадку. Во всяком случае латентно загадка присутствует во многих заключениях философского характера, выдвигая проблему, направляя ее рассмотрение в нужную сторону и, наконец, во многих случаях приводя к решению. Но осознание роли "загадочной" конструкции, несомненно, характеризовало позицию ряда древнегреческих философов. Уже отмечалось, что "темный" Гераклит и природу, жизнь понимал как нечто "темное", как загадку (γρῖφος), а себя считал разгадчиком подобных загадок. Сам интерес ранних греческих философов к космологии, к исследованию начал (ἀρχή) и становления (φύσις), а также пророчески-поэтический стиль высказываний некоторых из них, позволяет усматривать в них сродство с ведийскими мудрецами при том, что греческие философы пошли несравненно дальше: утратив связь с жреческими обязанностями и выходя за пределы "священного", они становились постепенно профессиональными философами, а сама философия — особым видом познания. Тем больше значение памяти о своих истоках, о связях с загадкой[36].

[35]Возраст таких конструкций в их применении к космологической сфере подтверждается и авестийскими данными, ср. вопросо-ответный диалог на темы творения между Заратуштрой и Ахура-Маздой в "Ясне".

[36]Роль вопрошания в философии в еще большей степени была осознана и эксплицирована в наше (в широком смысле) время. Достаточно назвать в этой связи два имени — Ницше, в критический момент истории поставившего основной вопрос эпохи — о Сверхчеловеке и ответившего на него в том смысле, что человек должен преодолеть себя и стать Сверхчеловеком, и Гейдеггера, неоднократно подчеркивавшего творческую роль вопрошания как прокладывания пути и вместе с тем указав-

Проблема вопросо-ответного метода получила мощные стимулы для своего развития в последние полвека в круге научных (а отчасти и технических) исследований, связанных с теорией информации, теорией автоматов, с обсуждением вопроса о возможности создания искусственного интеллекта и т.п. Предположение об алгоритмическом характере человеческого мышления вводит эту проблему в несколько иной контекст. Обращение к вопросо-ответному методу как инструменту, способному охватить и "разрешить" любую задачу, которая может возникнуть перед человеком, было вполне естественным, когда, еще до войны, в 1937 г., была выдвинута идея известная под названием "машины Тьюринга" (ср. Turing 1950, 433—460; 1956, 2099—2123; Тьюринг 1960), с помощью которой достигается наиболее естественное и удобное уточнение *алгоритма* или вычислительной функции. Дальнейшую поддержку и развитие эта идея получила в рамках теории автоматов и в связи с аналогиями, возникавшими между вычислительной машиной и мозгом (ср. Нейман 1956, 68—139; 1960, 11—60; 1960а и др.). Две исходные установки представляются в связи с развитием этого круга идей наиболее важными и, кстати, в наибольшей степени отвечающими тому, что составляет загадку загадки. Первая была сформулирована Тьюрингом — "Нам кажется, что метод вопросов и ответов пригоден для того, чтобы охватить почти любую область человеческой деятельности, какую мы захотим ввести в рассмотрение" (Тьюринг 1960, 21), а вторая — Нейманом: "Во всей современной логике единственно важным является вопрос, можно или нельзя получить результат в конечное число элементарных шагов. С другой стороны, число шагов, которое для этого требуется, в формальной логике почти никогда не рассматривается. Любая конечная последовательность правильных шагов принципиально так же хороша, как и любая другая. Не играет никакой роли, каково это число: мало оно или велико или, быть может, столь велико, что соответствующую последовательность шагов нельзя выполнить в течение человеческой жизни или в течение предположительного времени существования звезд. Но когда мы имеем дело с автоматами, этот подход должен быть значительно изменен. Суть дела в том, что в случае автомата играет роль не только то, может ли он вообще дать определенный результат в

шего на опасность таких вопросов, которые делают невозможным ответ уже в силу того, что вопрос лишает любой мыслимый ответ какого-либо значения. Один из таких вопросов — вопрос о Ничто. "Все-таки попытаемся задать вопрос о Ничто. Что есть Ничто? [...] Задавая такой вопрос, мы заранее предполагаем Ничто как нечто, которое тем или иным образом есть — как некое сущее. Но ведь как раз от сущего Ничто абсолютно отлично. Наш вопрос о Ничто — что́ и как оно, Ничто, есть — искажает предмет вопроса до своей противоположности. Вопрос сам себя лишает собственного предмета. Соответственно и никакой ответ на этот вопрос тоже совершенно невозможен. В самом деле, он обязательно будет выступать в форме: Ничто «есть» то-то и то-то. И вопрос, и ответ в свете Ничто одинаково нелепы" (Хайдеггер 1986, 33—34; ср. несколько иную редакцию перевода этого места — Хайдеггер 1993, 18). Невозможность вопрошания, если оно рассчитано на ответ, в определенных ситуациях дает повод для постановки вопроса о том, что такое метафизика. Сказанное имеет отношение и к загадке: загадка задает вопрос о том, что *есть*, и поэтому ответ на нее возможен: он может не быть оптимальным, но он не искажает сущности того, о чем вопрошается.

конечное число шагов, но и вопрос о том, сколько потребуется таких шагов. Это объясняется двумя причинами. Во-первых, мы строим автоматы для того, чтобы иметь возможность получать некоторые результаты в течение определенных, наперед указанных отрезков времени или по крайней мере в течение таких отрезков времени, порядок которых указан заранее. Во-вторых, вероятность ошибки в компонентах автомата, используемых в любой индивидуальной операции, хотя и мала, но все же отлична от нуля. Если цепь операций достаточно длинна, то суммарный эффект вероятностей отдельных ошибок может при отсутствии контроля достигнуть порядка единицы, вследствие чего полученный результат становится практически полностью ненадежным. Хотя вероятности, которые мы встречаем в этом случае, очень малы, они все же не слишком далеки от того, что имеется в обычном техническом опыте" (Нейман 1960а, 80—81).

Первая установка, которая может быть названа установкой на универсальность вопросо-ответного метода, имеет к загадке самое непосредственное отношение. Она вскрывает самое суть загадки, и более того, она дает основание говорить, что "прото-загадка" как соответствие загадке в период, ей предшествующий, когда этот "предок-прародитель" загадки еще не обрел ни достаточного уровня формализации, чтобы стать особым жанром, ни универсальности, ставшей важнейшей характеристикой загадки, стала загадкой в полном смысле этого слова именно с той поры, когда усвоила себе вопросо-ответную схему как универсальный план своей организации (точнее, может быть, было бы сказать — когда загадка, сохраняя свои цели и смыслы, свое назначение и прагматику, "отдалась" формальной вопросо-ответной методе сполна, даже в тех случаях, когда вопрос был не выражен эксплицитно, а только подразумевался, существовал латентно; впрочем, исходная "формальность" этой вопросо-ответной конструкции не могла не отразиться и на содержательной стороне загадки и особенно на ее статусе как некоего универсального жанрового типа и на ее роли в развитии человеческой культуры).

Вторая установка — установка "реальных" возможностей получения результата, который в момент его получения не был бы уже бесполезным, потому что не мог быть использованным, и имел бы лишь некое теоретическое значение, которое могло бы реализоваться (востребование результатов) уже за пределами времени "заказчика" результата. Здесь обозначен, по сути дела, тот же конфликт между бесконечностью потребностей и возможностей человека и конечностью его существования, который вызвал к жизни "поэтическое" и душу этого "поэтического" — метафору (о чем в свое время писал Пастернак). Этот конфликт между конечным и бесконечным может быть решен или, по крайней мере, смягчен до той степени, которую "конечное", поэт, человек признает удовлетворительной в плане осуществления задуманного, только при введении времени в свое противоречиво-конфликтное пространство. При этом время в этой ситуации не может быть сведено до роли исключительно рамки, отделяющей внутреннее от внешнего, но должно быть усвоено как ингерентное

этому пространству свойство. Как и в случае логических автоматов, человек, которому загадана загадка, поставлен "загадочный" вопрос, предполагающий ответ, непосредственно сталкивается с деспотической силой времени. Она проявляет себя и в случае "быстрых" загадок, когда ответ должен быть дан немедленно, при определенных ситуациях одновременно с вопросом (поэтому не случайно, что уровень ответов, их качество в таком случае определяется не столько соответствием загаданного и данного ответа, сколько степенью спонтанности даваемого мгновенно ответа, в котором главное — то, что является прорывом из подсознательного и случайного, не успевшего пройти цензуру сознания), и в случае "обычных" загадок, когда на ответ выделяется определенное, но в принципе небольшое время или количество шагов. Ограниченность времени в такой ситуации столь же существенна, как и в шахматах, хотя эта проблема остается, как правило, вне сферы внимания исследователей загадки и — что, может быть, еще хуже — собирателей и публикаторов загадок, к которым могут быть предъявлены очень серьезные претензии (суть их — в недопустимости вырывания словесного текста загадки из того "смешанного" контекста, в который включена загадка и из которого она в наибольшей степени определяется и выводится; такой подход в представлении загадки, еще имеющий некоторые основания, когда загадка рассматривается как относительно поздний продукт жанровой структуры народного словесного творчества, как самодовлеющий текст, во всем остальном оказывается порочным: во всяком случае он воздвигает существенные преграды на пути к решению вопроса о происхождении загадки и ее "перво-функции"). Тем не менее проблема временно́й ограниченности в случае разгадывания загадки не только существует, но она в известной степени и осознается участниками "загадочного" действа, единственно подлинного и тем самым наиболее "сильного" локуса загадки. В разных традициях произнесение "вопросного" текста сопровождается пояснениями, чаще всего игнорируемыми публикаторами (если только речь не идет об архаичных "экзотических" культурах с высоким уровнем синкретизма, когда исследователи стараются фиксировать весь контекст словесного высказывания), типа "Подумай и скажи (ответь)" или "Ответь, дается три попытки" и т.п. (частый и хорошо известный случай загадывания трех желаний или трех загадок как некоего цельноединства едва ли может быть отделен от этих трех попыток при отгадывании). Эти приемы, собственно, и должны пониматься как способы "раздвижения" времени до приемлемой величины, когда временна́я дистанция между вопросом и ответом не превышает величины, после которой утрачивается цельность, непрерывность и непосредственность действа. Если же в это "раздвинутое", но все-таки существенно-ограниченное время (ситуация, объясняющая напряженность "загадочного" действа: можно напомнить, что нередко оно не что иное как состязание, где цена поражения — смерть, цена удачи — жизнь) загадка не может быть решена, она как бы переходит в класс "трудных" загадок, в максимуме—"вечных", нуждающихся в расширении времени, его размыкании, в максимуме же — до вечности. В этом случае конфликт конечного и бесконечного, о котором говорилось выше, снимается в

неопределенном будущем, в пределе — в бесконечности времени. Такие загадки, по сути дела, составляют некий класс "сверх-загадок": они обращены не к отдельному человеку, чья мудрость испытывается в акте загадывания, а к множеству людей как совокупному отгадчику, не к *времени сему*, а ко *всем временам*. Смысл таких "сверх-загадок" — в указании некоего предела, высшей тайны, которая есть, которая здесь и сейчас не раскрыта, но которая где-нибудь и когда-нибудь должна быть разрешена. Бесконечность и неисчерпаемая глубина возможностей вопрошания, по идее реализуемая загадкой, которая в определенном смысле всегда находится in statu nascendi и/или in statu genendi/ gignendi, вытекает из самой сути загадки и всего эпистемологического контекста, но может быть подтверждена и слабыми отражениями в более конкретном материале (ср. мотив загадывания некоей "сверх-загадки" многим потенциальным "разгадчикам", ни один из которых не может решить этой загадки, или "переходящей" сверх-загадки, которая снова и снова ставится перед каждым очередным поколением).

Идея некоего согласия, компромисса между "конечным" и "бесконечным" в загадке, обозначенная выше, могла бы получить некоторое развитие в зависимости не только от величины времени, отпущенной на отгадку, или числа шагов-попыток, но в зависимости от реакции "загадчика" на очередную неудачу "разгадчика", если только эта реакция не является нулевой или отрицательной (н е т). Известно из реальной практики загадывания, что не-нулевая реакция состоит в своего рода у к а з а н и я х, скорее в виде не вполне определенных намеков, полу-подсказок, аналогичных тем, которые представлены в распространенной игре в отыскание спрятанного предмета, когда спрятавший-знающий помогает ищущему-незнающему указаниями типа "тепло", "теплее", "холодно", "холоднее", "горячо" и т.п., или некиих п о о щ р е н и я х и н а к а з а н и я х (типа "лучше", "хуже", "ближе", "дальше" и т.п. и, что важнее, конкретных поощрительных или наказательных действиях, как это практикуется при обучении животных, детей и т.п.), как в английской игре в "двадцать вопросов", о которой вспомнил в связи с идеей "мыслящей" машины Тьюринг[37] или в ее русских аналогах. Во всяком случае вхождение в более конкретную эмпирию "загадочного" контекста позволяет обнаружить немало "дидактических" элементов в нем, причем "дидактическое" не только несомненно присутствует в каждой загадке в целом и тем более во всем корпусе загадок данной традиции, но и в партии загадывающего, но не в вопросе, который он ставит, а в его ответной реакции на полную или частичную неудачу "разгадчика" при предположении, что у

[37]Игра "двадцать вопросов" — характерный пример из класса "вопросо-ответных" игр. Некто задумывает какое-то понятие. Другой пытается отгадать задуманное, задавая вопросы, предполагающие правдивые ответы "да" или "нет". Количество вопросов, которые имеет право ставить отгадчик, ограничено двадцатью. Отгадчик выигрывает, если положенного количества вопросов хватило для отгадывания задуманного понятия. Ср. русскую игру в "повешение человека", в которой число возможных вопросов определяется числом графических элементов, потребных для изображения виселицы и человека в условной форме (голова, туловище, две руки, две ноги).

последнего еще осталась хотя бы одна попытка. Наличие этой "дидактичности" и формы ее реализации подводят ближе к пониманию того, как и в какой степени совершается отгадывание загадки, а также как бы намеком обозначает заинтересованность "загадчика" в ответе на вопрос: поражение "отгадчика" — в известной степени и поражение "загадчика", ибо без ответа на вопрос сам вопрос повисает в воздухе, становится бессмысленным, как, впрочем (в значительной степени), и вопрошающе-загадывающая функция и ее носитель — вопрошатель-"загадчик". В известной степени загадка и загадывание имеют смысл лишь при определенном вопросо-ответном балансе, и, так как исходная ситуация (абсолютное знание "загадчиком" загаданного и абсолютное незнание "разгадчиком" загаданного) ставит участников "загадочного" акта в столь неравные условия, "загадчик", подобно Творцу, совершающему "кеносис" и снисходящему к человеку не только из своей благости, но и из нужды-потребности в нем как другом, который может стать собеседником, тоже должен "снизойти" к "разгадчику", помочь ему, но только в той мере, в какой эта помощь не отменяет необходимости максимальных усилий со стороны "разгадчика", потому что и отсутствие помощи и "полная" (или излишне значительная) помощь могут ослабить связь обеих сторон и даже прервать тот контакт-коммуникацию, на котором держится логика *мира сего,* познание, культура, жизнь человека (ситуация вопрошающего учителя и вопрошаемого ученика, в которой зачастую учитель в большей степени заинтересован в успехе ученика, чем сам ученик, ибо связь между ними начинается с учителя, задающего ей определенную, как предполагается, "посильную" для ученика форму, ср. "катехитический" принцип). Разумеется, объем помощи — величина непостоянная ни вообще, ни применительно даже к одному конкретному случаю: она чутко отражает все изменения в уровне информации в ходе "загадочного" акта, как это присуще игре, прихотливой логике.

Этот круг проблем имеет непосредственное отношение к проблеме "перво-познания", которое — в реконструкции "начала" — может быть только само-познанием, сознанием себя самого (исходный аутизм), и отсылает к "прото-ситуации", в которой познающее и познаваемое неотделимы (во всяком случае вполне) друг от друга, но также и к проблеме того минимума, на котором держится "загадочная" коммуникация, связь между обоими ее участниками. Вместе с тем вся эта проблематика не позволяет игнорировать и аналогий, связанных с "мыслящей" машиной Тьюринга, в которой многое может быть объяснено из существа вопросо-ответного диалога (и, следовательно, из "загадочной" конструкции) и которая в свою очередь объясняет ряд "темных" вопросов "загадочной" коммуникации. Как ни дорог "человеческий" компонент в таких коммуникациях-играх гибридного "человечески-машинного" типа и как ни страшно упустить его, не увидев черты, разделяющей "человеческое" и "машинное", опыт становления человеческого познания и самосознания, формирования культуры и человеческого общества не позволяет (по крайней мере, на современном этапе наших знаний) претендовать на "последний", окончательный ответ и отказываться от далекоидущих аналогий, хотя бы потому,

что ни "познание" или "самосознание" человека, ни "мышление" машины не могут, к сожалению, считаться вполне адекватными их сущности понятиями. Более того, они, конечно, тоже суть метафоры и лишить их метафоричности нет ни возможности, ни даже надобности: достаточно лишь условиться, каким образом можно о п е р а ц и о н н о определить эти понятия. В основе метафорического образа "мыслящей" машины — элементарная синтагма "человек & мыслить", где субъект — "человек" (здесь нет необходимости обсуждать другие варианты типа "мысль & захватывать человека, вступать в контакт с ним, воплощаться в нем и т.п."), но и "мыслящий, знающий, познающий, самосознающий человек" некогда тоже было метафорой более простого и операционного понятия "порождение", вовсе не предполагавшего с необходимостью именно человека, но имевшего в виду явление к бытию из уже известного чего-то нового, что было одновременно и подобным этому известному (аспект связи) и иным в отношении его (аспект развития), об этом акте "порождения → познания" (и.-евр. **g'en-*) см. Топоров 1994 и др. "Человеческое" же в связи с понятием порождения как раз и составило суть метафоры: человек по-рождает → по-знает; все же остальное, что характеризуется предикатом порождения, по своей сути или по меньшей мере по началу, не давало повода для метафоры "познание" при исходном "порождение".

Поэтому, рассуждая об основоположном значении понятия "познания" применительно к некоему "началу", нужно помнить о его метафоричности и операционности, отсылающей с необходимостью к конкретной ситуации, в которой мог осуществиться метафорический прорыв и состояться акт рождения метафоры, вскоре забывшей о своем источнике и присвоившей себе право первородства, исходности (породить не только ребенка, вещь, Землю и т.п., но и нечто невидимым образом связанное с актом порождения и с его субъектом, иначе говоря "породить" как "поставить знак рождения, родовой знак" — с тем, чтобы потом перенести акцент на з н а к, з н а к о в о е, з н а н и е и сильно оттеснить — вплоть до забвения — исходный смысл "порождение"). Что значит, что ч е л о в е к п о з н а е т, для той отдаленной эпохи, о которой здесь идет речь (да и для нашего времени, для каждого человека и для разных людей)? Вкладывается ли в понятие "познание" единый смысл и каждое ли познание р а в н о-познавательно? Вероятно, или "познание" обозначает не одно и то же (выход из положения возможный, но крайне неудачный из-за своей неэкономичности и нарушения постулата "обобщающей" функции языка), или одно и то же познание рознится в каждом конкретном случае в зависимости от "гностической" силы, "разрешающей" способности, выбора стратегии и иных характерных особенностей (что весьма вероятно и отвечало бы логике общих представлений о сути познания). Кто-то из ученых нашего времени сказал, что мозг Эйнштейна (а следовательно, и способности к мышлению вообще и познанию в частности) отличается от мозга "обыкновенного" человека больше, чем мозг последнего от мозга самой развитой "интеллектуально" человекообразной обезьяны. Это преувеличение и заострение ситуации (всё-таки и Эйнштейн, и обык-

новенный человек, и даже тот, кого называют дураком, стоят по с ю сторону грани, отделяющей всех их от обезьяны, и, вероятно, в ближайших поколениях в той линии, которая привела к рождению Эйнштейна, были и "обыкновенные" люди, тогда как путь от обезьяны к "обыкновенному" человеку и даже "дураку" закрыт наглухо) можно простить "сравнителю", но само сравнение весьма показательно вскрытием относительности и сугубой условности содержания процесса познания, его интенсивности и результатов — меры познаваемого. Поэтому, даже если абстрагироваться от частных случаев (Эйнштейн, "обыкновенный" человек, "дурак") и говорить вообще только о типологии диахронических пластов сознания-познания в сопоставимых группах, из которых, естественно, наиболее диагностически важной является наиболее продвинутая группа, выходящая на новые рубежи и осваивающая не только новые массивы познаваемого, но новую стратегию познания, то это сознание-познание в п р и н ц и п е должно определяться столь же определенно, как определяется понятие "м ы ш л е н и е" применительно к машине. Любую машину можно назвать "умной" (и, значит, хотя бы в отдаленной степени если не мыслящей, то, по крайней мере, соображающей) при условии, что она делает нечто эффективнее, чем может сделать человек своими руками, и что пользование машиной выгодно человеку по разным соображениям. Но не все машины могут быть названы мыслящими. Применительно к середине XX века "мыслящими" было ц е л е с о о б р а з н о называть машины лишь одного класса — цифровые вычислительные машины с дискретными состояниями, то есть машины, "работа которых складывается из совершающихся последовательно одна за другой резких смен их состояния". Свойство цифровых вычислительных машин и м и т и р о в а т ь любую машину с дискретными состояниями и образует то основание, которое дает право считать эти машины универсальными (к типологическому аспекту ср. два положения: 1. "познание" может имитировать и имитирует порождение; 2. всё, что есть, — порождено, откуда: всё, что есть, может быть познано). В связи с вопросом, существуют ли в о о б р а ж а е м ы е вычислительные машины, которые х о р о ш о играют в имитацию мышления, Тьюринг последовательно переформулирует метафорический образ "машинного мышления" в направлении конкретности, простоты, оперативности. Оказывается, что вопрос "могут ли машины мыслить?" можно заменить целой серией все более точных в операционном плане вопросов — "существуют ли воображаемые цифровые вычислительные машины, которые могли бы хорошо играть в имитацию?" → "существуют ли машины с дискретными состояниями, которые могли бы хорошо играть в эту игру?" и, наконец, (учитывая универсальность таких машин)[38]: "Если взять одну конкретную цифровую вычислительную машину Ц, то спрашивается: справедливо ли утверждение о том, что, изменяя емкость памяти этой машины, увеличивая скорость ее действия и

[38]Каждый из этих вопросов эквивалентен следующему за ними последнему вопросу, которому они как бы передают свои права при общем решении.

снабжая ее подходящей программой, можно заставить Ц удовлетворительно исполнять роль А в «игре в имитацию» (причем роль В будет исполнять человек)?" (Тьюринг 1960, 31—32, ср. также 23 и др.). Ответ "середины XX века" был предложен Тьюрингом, и, насколько можно судить по открытиям последующих десятилетий и особенно последнего[39], этот ответ был правильным, и если в нем нужно (или можно) что-то менять, то, пожалуй, только в сторону усиления.

Разъясняя свои собственные убеждения, Тьюринг писал: "Я уверен, что лет через пятьдесят станет возможным программировать работу машин с емкостью памяти около 10^9 так, чтобы они могли играть в имитацию настолько успешно, что шансы среднего человека установить присутствие машины через пять минут после того, как он начнет задавать вопросы, не поднимались бы выше 70%. Первоначальный вопрос «могут ли машины мыслить?» я считаю слишком неосмысленным, чтобы он заслуживал рассмотрения. Тем не менее я убежден, что к концу нашего века употребление слов и мнения, разделяемые большинством образованных людей, изменятся настолько, что можно будет говорить о мыслящих машинах, не боясь, что тебя поймут неправильно. Более того, я считаю вредным скрывать такие убеждения. Широко распространенное представление о том, что ученые с неуклонной последовательностью переходят от одного вполне установленного факта к другому, не менее хорошо установленному факту, не давая увлечь себя никакому непроверенному предположению, в корне ошибочно. Не будет никакого ущерба от того, что мы ясно осознаем, ч т о́ является

---

[39]Зарождение нано-технологии и ее исключительные успехи за очень короткое время (лавинообразная результативность), вероятно, образуют главное основание для оптимизма и, в частности, для еще более "сильной" аргументации в пользу "мышления" машин. Впрочем, это ни в коей мере не исключало бы различения двух "мышлений" — человека и машины: перед нами типичная, хотя и в новой оригинальной форме, ситуация авторефлексивного действия или мысле-действия: обратившись на самого себя (или на самое себя, если говорить о мысли), человек осознал ограниченность своих собственных потенций, связанных со своей конечностью и следствиями, из этого вытекающими, понял разрыв между этой ограниченностью и безграничностью потенциально-мыслимых "логических" возможностей и нашел выход из этого кризиса "несоответствия" имеющегося и имеющего быть, чаемого в создании "воображаемой" м ы с л я щ е й машины, реальное воплощение которой, кажется, осуществляется неожиданно быстрее, чем это предполагалось поначалу. В связи с "нано-технологическим" опытом, видимо, особенно существенно, что поле жатвы, с которого познание (информация) собирает свои плоды, гигантски уменьшается при том же или даже многократно возрастающем урожае. Одним словом, продолжая тенденцию развития, — как в древнем мифе или сказке: все, что есть в мире, вся его мудрость, все его знание до поры укрыто в одной точке — в золотом зародыше (*hiraṇyagarbha-*), в мировом яйце. Ср. роль яйца как исходного локуса мудрости-мысли, знания в ряде мифологических гностических учений (отчасти и яйцо в русской сказке, в котором свернуты три царства, то есть состав неба, земли и подземного царства, соотв. золотое, серебряное и медное яйца, ср. Афанасьев №№ 132, 139, 140, 559 и др.), а также орфические теогонии, в которых персонифицированная Мысль-Мудрость (*Μῆτις*), первая супруга Зевса, помогает ему вывести из утробы Кроноса всех поглощенных им детей ("всё, что есть"). В теогонии, реконструируемой теперь на основании папируса из Дервени (Фрагменты 1989, 46—47), м у д р сам Зевс, обладающий *Μῆτις* и проглотивший мощь перворожденного бога (Протогона); "и с ним срослись воедино все бессмертные блаженные боги и богини, прелестные реки и источники, и все прочее, что тогда существовало — [всем этим], стало быть, стал он о д и н. <Ныне> — он царь в с е х, и <будет> засим. Зевс стал первым, Зевс — последним [...] Зевс — глава, <Зевс — средина>, в с ё произошло от Зевса".

доказанным фактом, а что́ предположением. Догадки очень важны, ибо они подсказывают направления, полезные для исследователей" (Тьюринг 1960, 32)[40].

Вопросо-ответная конструкция или игра, о которой пишет Тьюринг, между человеком и машиной, конечно, многим напоминает "загадочную" ситуацию. Эта вопросо-ответная конструкция привела к превращению "прото-загадки" в загадку как самодовлеющее явление с отчетливыми познавательно-мыслительными установками. Вопросо-ответная игра, доведенная до известного уровня, привела к идее "мыслящей машины". И то и другое неслучайно и коренится в самой логике подобных конструкций и игры. Поэтому и неслучайны многочисленные аналогии и параллели в этих областях, особенно если речь идет о сфере рационального и о плане чувственного восприятия.

Среди противоположных точек зрения и возражений, делавшихся Тьюрингу с разных позиций (теологической, математической, биологически-физиологической /нервная система не является машиной с дискретными состояниями/ и т.п.), наиболее серьезным, может быть, является возражение с точки зрения сверхчувственного восприятия, проявляющегося в телепатии, ясновидении, пророчествах-прорицаниях и психокинезисе. Тьюринг признает, что, несмотря на обычные устоявшиеся общенаучные представления и на инерционное желание, чтобы реальность подтверждала эти представления, статистические данные (к "несчастью", добавляет автор) и по крайней мере в случае телепатии на стороне тех, кто признает существование такого сверхчувственного восприятия. Позиция Тьюринга в этом вопросе представляется одновременно и смелой и осторожной, и это сочетание качеств делает ее именно в этом случае целесообразной. Он признает возражение против возможности создания "мыслящей" машины с точки зрения сверхчувственного восприятия достаточно серьезным и отказывается от легких решений вроде того, что на практике вполне можно обойтись и без допущения этого рода восприятия, считая подобную позицию слабым утешением: "есть опасение, — пишет он, — что мышление как раз относится к одному из тех явлений, к которым сверхчувственное восприятие имеет, быть может, непосредственное отношение"

[40]Говоря о той вопросо-ответной игре, которая способна охватить почти любую область человеческой деятельности, Тьюринг отказывается ставить в вину машине неспособность блистать на конкурсах красоты, а человеку — его неспособность соперничать с самолетом, потому что условия этой игры делают подобные недостатки с обеих сторон несущественными. "Вероятно, нашу игру можно подвергнуть критике на том основании, что в ней преимущества в значительной степени находятся на стороне машины. Если бы человек попытался притвориться машиной, то, очевидно, вид у него был бы весьма жалкий. [...] Кроме того, разве машина не может выполнять нечто такое, что следовало бы характеризовать как мышление, но что было бы весьма отлично от того, что делает человек? Это возражение очень веское. Но в ответ на него мы во всяком случае можем сказать, что если можно все-таки осуществить такую машину, которая будет удовлетворительно играть в имитацию, то относительно него особенно беспокоиться не следует. Можно было бы заметить, что при «игре в имитацию» не исключена возможность того, что простое подражание поведению человека не окажется для машины наилучшей стратегией. [...] Во всяком случае никто не пытался исследовать теорию нашей игры в этом направлении, и мы будем считать, что наилучшая стратегия для машины состоит в том, чтобы давать ответы, которые в соответствующей обстановке дал бы человек" (Тьюринг 1960, 21—22).

(Тьюринг 1960, 48). Отвечая на возражения сторонников этой точки зрения и допуская, что в силу психокинетической ситуации машина будет давать существенно больший процент правильных ответов, чем можно предположить, исходя из вероятностных расчетов, более того, не исключая даже и такую ситуацию, что можно узнать нечто вообще без помощи вопросов, а благодаря ясновидению ("если в дело вмешивается сверхчувственное восприятие, возможно еще и не такое" — Тьюринг 1960, 49), — Тьюринг предусматривает необходимость введения определенных ограничений при решении вопроса. "Можно, например, требовать, — пишет он, — чтобы ситуация была аналогична той, которая возникает, когда задающий вопросы обращается к самому себе, а один из участников игры подслушивает его через стенку. Чтобы удовлетворить всем требованиям нашей игры, отвечающих на вопросы следовало бы поместить в комнату, «защищенную от телепатий»" (Тьюринг 1960, 49).

Какова способность "мыслящих" машин уровня, мыслимого как предельно или хотя бы весьма высокий, к восприятию телепатических воздействий и к собственному телепатическому воздействию, сказать сейчас, конечно, трудно — тем более, что далеко не ясны сами формы сверхчувственного восприятия и соответствующих действий, и нельзя, естественно, исключать, что за ними не стоит нечто иное, остающееся пока не познанным. Но пренебрегать этим "неизвестным *иным*" нет никаких оснований: на всех стадиях познания, становления мышления это "неизвестное *иное*" всегда присутствовало, и было бы странным считать, что именно сейчас и именно применительно к ситуации "мыслящей" машины его не оказалось. При этом нельзя исключать, что в этом "неизвестном *ином*", воспринимаемом как нечто единое, кроются "неизвестные *иные*", одни из которых, например, представляют собой остаток хаотического состояния, того энтропического сгустка, который пока не освоен процессом космологизации, но потенциально осваиваем, а другие представляют собой явление совсем иной природы, аспект ограничения пределов проникновения в тайны мира, обнаруживающих себя, однако, в разных ситуациях драмы познания поразному. По-видимому, с этими двумя "неизвестными *иными*" имеет дело и загадка, и второе "неизвестное *иное*" неизвестно и загадчику, тогда как первое — только отгадчику. Несомненность присутствия "тонкой" связи "симфонического" характера между двумя участниками акта загадывания-отгадывания (разумеется, далеко не всегда, но хотя бы в исключительных случаях, при наличии выдающихся "гностических" и иных способностей у обоих участников или даже только у одного) кажется достаточно очевидной или — как минимум — правдоподобной. Об этом свидетельствуют и разрозненные, хотя и нередкие данные о случаях успешного отгадывания загадок с "нулевой" позиции, без каких-либо дополнительных указаний, кроме тех, что можно извлечь из текста самой вопросительной части загадки (такие случаи, кстати, не раз давали повод к сравнению их с ясновидением, и есть основания думать, что в архаичных традициях их было несравненно больше, чем в современном цивилизованном мире, где они составляют исключение), и сама типология отгадчиков, как она сложилась в кол-

лективном сознании и как явлена на институциональном уровне. Мудрый решает загадку сразу — или потому, что он знает весь загадочный контекст, который позволяет ему вычислить правильный ответ, или в силу той participation mystique, которая соединяет отгадчика с тем, что загадано. Для мудрого нет попыток, но есть попытка: он как бы мистически — в наиболее "сильном" варианте — узревает истину, и потому для него достаточно одного раза и ему нет необходимости "подыскивать" иной ответ, тоже корректный, но отличный от того, что имел в виду загадывающий[41]. Положение "разгадчика", не являющегося мудрецом, существенно другое: его помощниками могут быть или знание ответа заранее (знание-ве́дение), то есть наличие предыдущего опыта (кстати, 9/10 "разгадываний" загадок в "средней" русской традиции предполагает предварительное знание ответа), причем это знание может быть или нетвердым или альтернативным (случай, когда одному вопросу соответствует несколько ответов, признаваемых "коллективным" вопрошателем правильными), или знание операций, приводящих к ответу (знание-умение, операционное знание как способность к порождению, самостоятельному нахождению-открытию ответа, ср. и.-евр. **g'en-*), или то и другое вместе. Естественно, что в этих случаях возможны и неверные выборы правильного ответа, и последовательное приближение к нему (в таких случаях и нужны попытки — "до трех раз", как это нередко объявляется в числе "загадочных" условий). Очевидно, что уже в идее нескольких попыток, сопоставимой с идеей конечного числа шагов, ограничиваемых некиим минимумом, уже содержится намек на возможность софистицированных ходов: не угадавший загаданное отгадчик может настаивать на правоте (или во всяком случае допустимости) своего ответа, ссылаясь на некое коллективное мнение, тогда как амбициозный и не вполне честный загадчик в случае угадывания отгадчиком правильного ответа может прибегнуть к хитрости и тайным образом переменить ответ. Загадка-состязание в открытии истины, загадка-суд превращается в подобных случаях в инструмент эквилибристики, а сам выигрыш оказывается в принципе важнее истины[42].

[41] В определенном смысле то, что связано с высшей, по идее абсолютной, способностью к отгадыванию (мистическое узрение), менее всего характеризует активные свойства отгадчика: ответ он знает изначально, потому что ему дано свойство настраиваться и входить в ритмически-чуткое **men-*пространство, являющееся общим для него и для загадчика, а отсюда и загаданного.

[42] Вообще следует помнить (и это тоже в духе загадки), что вопросы (и загадка, в частности) в отношении открытости и установки на истину и закрытости (скрывания) и установки на ложь в одежде истины могут выступать в двоякой роли. "Диалектические" дарования Толстого позволили ему создать эффектную двухчастную художественную конструкцию в главе шестой части первой второго тома "Войны и мира". После дуэли с Долоховым, ночью, не в состоянии заснуть в кабинете покойного отца, Пьер осмысляет происшедшее, его причины, далеко выходящие за пределы случившегося, и в конечном счете самого себя. Мысль его несколько неповоротлива, громоздка: он не в силах придать ей плавность и непрерывность, и она распадается на разрозненные мысли, нуждающиеся в их связывании. И тут на помощь приходят вопросы: они, как фонари во тьме, освещают-выстраивают его путь, и когда инерция путеобразования становится значительной, восстанавливается и непрерывность хода мыслей. Опираясь на каждый очередной вопрос как на посох, Пьер инстинктивно чувствует, что *так надо*. Как честный человек он с самого начала

Идеи Тьюринга, важность которых в связи с общей теорией вопросо-ответных сетей и, в частности, загадки как одного из типов сетей, очевидна, сразу же были поддержаны и развиты Нейманом в его работах по логической теории автоматов (Нейман 1960а, 59—101; Neumann

---

ищет истины и лишь потом в зависимости от нее устанавливает свое место по отношению к ней и оценивает себя, ничего не смягчая и не щадя себя, если он не заслужил этого. Вступая на этот трудный путь внутреннего диалога между Пьером-вопрошающим и Пьером-отвечающим, он правильно понимает главное преимущество, главную силу вопросо-ответной стратегии, насколько он может применить ее к решению своих проблем.

Она обращена по идее к открытости, и открывание — главная ее цель и главный ее инструмент. Объектом открывания может стать всё что угодно — загадка бытия, мира, тайна жизни человека и даже секреты мелких эмпирических обстоятельств и через всё это — сам он, Пьер. Именно в поиске укрытого, сокровенного, тайного, как бы не имеющего к самому себе отношения, человек в конечном счете открывает и самого себя, но уже как субъекта: субъект, ищущий ответ на вопрос об объекте, находит себя-субъект (стóит подчеркнуть, что открытость предполагает не только плюрализм возможностей, а в идеале и указание некоего их предела, на котором ситуация "закрывается", но и выход в *невозможное* как вновь открываемую возможность [ср. в несколько ином плане замечание Аристотеля о том, что "идея загадки та, что, говоря о действительно существующем, соединяют вместе с тем совершенно невозможное" (*αἰνίγματος ἰδέα αὕτη ἐστί· τὸ λέγοντα ὑπάρχοντα ἀδύνατα συνάψαι*. Poet. 1458a 28)].

"«Что ж было? — спрашивал он сам себя. — Я убил *любовника*, да, убил любовника своей жены. Да, это было. Отчего? Как я дошел до этого? — Оттого, что ты женился на ней», — отвечал внутренний голос. «Но в чем же я виноват? — спрашивал он. — В том, что ты женился, не любя ее, в том, что ты обманул и себя и ее [...]». [...] «А сколько раз я гордился ею, гордился ее величавою красотой, ее светским тактом, — думал он [...]. Так вот чем я гордился?! Я тогда думал, что не понимаю ее [...] а вся разгадка была в том страшном слове, что она развратная женщина: сказал себе это страшное слово, и всё стало ясно! [...]» Пьер был один из тех людей, которые, несмотря на свою внешнюю так называемую слабость характера, не ищут поверенного для своего горя. Он перерабатывал один в себе свое горе. «Она во всем, во всем она одна виновата, — говорил он сам себе. — Но что ж из этого? Зачем я себя связал с нею, зачем я ей сказал это: «Je vous aime», которое было ложь, и еще хуже, чем ложь, — говорил он сам себе. — Я виноват и должен нести... Что? Позор имени, несчастие жизни? [...]»". Конечно, все это вполне могло быть сказано Пьером и в иной форме, без вопросов и ответов на них. Но вся ситуация, в которой "внешние" обстоятельства так невыгодно соединились с "внутренним" кризисом, некая отмеченная точка в этой ситуации, вызвавшая исповедальное настроение, подтолкнули Пьера, не выбиравшего сознательно этой архаической формы диалога, именно к ней, потому что в душе Пьера происходил суд — и не столько над женой, сколько над самим собой: лучшее в Пьере судило худшее в нем, и худшее очищалось от скверны, и поэтому наутро он не отказал Элен в беседе, которая ему самому была не нужна.

Бóльшую часть беседы Пьер молчал или отделывался незначительными замечаниями ("— Гм ... гм, — мычал Пьер морщась [...]"). В этом смысле беседа была псевдо-диалогом. Но все-таки это был как бы внутренний диалог Элен с самой собой, демонстративно, однако, обращенный вовне (во всяком случае первый псевдо-диалог с Пьером, чем дальше тем больше, оттеснялся и переходил в другой псевдо-диалог, который был ни внешним и ни внутренним, но был по своей сути монологом в форме диалога, где цель была двояка — подчеркнуть неправоту, более того, вину Пьера и оправдать себя, где и вопрос и ответ служили отвлечению от истины и, так как отвлечение было сознательным, — лжи). "— Это еще что? Что вы наделали, я вас спрашиваю? — сказала она строго. — Я? что я? — сказал Пьер. — Вот храбрец отыскался! Ну, отвечайте, что это за дуэль? Что вы хотели этим доказать? Что? Я вас спрашиваю. — Пьер тяжело повернулся на диване, открыл рот, но не мог ответить. — Коли вы не отвечаете, то я вам скажу... — продолжала Элен. — Вы верите всему, что вам скажут. Вам сказали... — Элен засмеялась, — что Долохов

1951, 2070—2099 и др.). В связи с рассматриваемыми здесь вопросами и в еще большей степени в связи с тем более широким контекстом, в котором возникают эти вопросы и хотя бы отчасти решаются, в исследованиях Неймана особенно существенно подчеркивание роли автоматов в естественных науках или, конкретнее, выделение того аспекта жизнедеятельности организмов в природе, который позволяет говорить не только о пользе применения логической теории автоматов к поведению живых организмов и необходимости учета некоторых закономерностей устройства живых организмов при изучении и проектировании автоматов, но и об определенном типе а н а л о г и й, связывающих "сложное" и "тонкое" живое с более элементарным и простым "автоматным". Очевидно, что наличие подобных аналогий объясняется более глубокими причинами, нежели случай или даже общее назначение и общие задачи, хотя, конечно, и то и другое нечто в этих аналогиях объясняют. Однако в данном случае важнее было бы привлечь внимание к проблеме возможности трактовки вопросо-ответных сетей и, следовательно, загадки, усвоившей себе и развившей эту конструкцию, как некоего аналога алгоритма или вычислимой функции того же класса, что и машина Тьюринга (если не настаивать на излишней буквальности этого предположения). Если эта гипотеза оказалась бы обоснованной, то вопросо-ответные сети и загадку для определенной эпохи можно было бы понимать как "искусственно" созданный автомат (сфера культуры), с помощью которого можно было решать некоторые задачи, связанные с жизнедеятельностью человека или с миром, его окружающим (сфера природы). Этот автомат, разумеется, моделировал и человека и мир (микрокосм и макрокосм), но моделирование было, видимо, вторичным, не планируемым специально выходом, задачей, не сознаваемой до поры человеком. Главным же назначением этого "автоматоподобного" образования была установка на получение информации о мире и о себе в виде такой "классификационной" картины, каждый элемент которой может быть легко найден, описан в с л о в е и сам по себе и в его связях с другими элементами и, наконец, усвоен себе как объект в процессе

мой любовник [...] — и вы поверили! Но что же вы этим доказали? Что вы доказали этою дуэлью? То, что вы дурак, que vous êtes un sot; так это все знали! К чему это поведет? К тому, что я сделалась посмешищем всей Москвы [...] — И почему вы могли поверить, что он мой любовник?... Почему? Потому что я люблю его общество? Если бы вы были умнее и приятнее, то я бы предпочитала ваше. — Не говорите со мной... умоляю, — хрипло прошептал Пьер. — Отчего мне не говорить! Я могу говорить и смело скажу, что редкая та жена, которая с таким мужем, как вы, не взяла бы себе любовников (des amants), а я этого не сделала, — сказала она". Но решающее слово было сказано, и теперь срыв Пьера стал неотвратим. "Я тебя убью! — закричал он [...], с раскрытыми руками подступая к Элен, закричал «Вон!» таким страшным голосом, что во всем доме с ужасом услыхали этот крик".

Разумеется, типология вопросо-ответных жанров и типов очень широка и многие из них были институализированы (ср. игру в "secrétaire", которой, в частности, часто предавались и в русском дворянском обществе (позже она постепенно превратилась в детскую игру примерно в том же социальном круге). "В Москве по-прежнему играли в petits jeux и в secretaire. Старшие Пушкины в этих забавах непревзойденны. На вопрос: «Quelle différence y-a-t-il entre M-r Pouchkine et le soleil?» — Сергей Львович отвечал: «Tous les deux font faire la grimace»" (Песков 1990. 311).

практических операций с этим элементом-объектом (д е л о). Эти вопросо-ответные сети "схватывали" мир, представляя его операционно и открывая тем самым путь к практическому его освоению: забрасывание сети обеспечивает улов, и загадка в этом смысле подобна сети, что вполне отчетливо обнаруживается во внутренней форме обозначения загадки в ряде языков (ср. др.-гр. γριτφος 'сеть', 'запутанная речь', 'загадка' и др.[43]). Это независимое сходство загадки с сетью да-

[43] К *γρῖφος* 'сеть' ср. у Плутарха: *γρίφοις καὶ σαγήναις ἐλαφους λομβάνειν* , ср. и *γρῖπος* 'рыболовная сеть' и 'право забрасывания сети' (т.е. рыболовной сети); ср. также сочетание *αἰνίγματα καὶ γρῖφοι*, отмеченное у ряда авторов применительно к загадке, запутанной речи (: *γριφώδης* 'запутанный', 'загадочный'). Др.-греч. *γρῖφος* восходит к и.-евр. **ger-bh-* : **gre-bh-* с идеей плетения, переплетения, запутанности, отраженному в других словах, значение которых выводится из этой идеи — ср. др.-инд. *grapsa-*, ср.-в.-нем. *krëbe*, др.-сакс. *kribbia*, др.-в.-нем. *krippa* (: нем. *Krippe*), др.-анг. *cribb* и т.п. На основании этих примеров можно поддержать идею этимологической трактовки др.-греч. *αἴνιγμα* 'загадка'; 'туманная, запутанная речь', 'иносказание' и под. (: *αἰνίσσομαι* 'говорить намеками, обиняками, туманно', 'намекать', *αἶνος* 'повествование', 'повесть', 'рассказ', 'речь'; 'басня', 'притча'; 'изречение', 'поговорка' и т.п.) в связи с *αἴνυμαι* 'брать', 'схватывать', 'снимать' (ср. микен. *ainumeno* : *Αἰνυμενός*, антропон., см. Chantraine I, 35—36; Frisk I, 40—41 и др.), которое возводят к и.-евр. **ai-* или *əʒi-* 'проникать', 'преодолевать', 'осиливать' (: др.-инд. *inóti, ínvati*, авест. *inaoiti* : *ainita-* и др., см. Pokorny I, 10). В этом контексте др.-греч. *προβάλλω αἴνιγμα* в своих истоках должно было бы пониматься не как обозначение предложения задать, загадать загадку, поставить ее, но скорее как 'забрасывать сеть' (*προ-βάλλω* 'бросать', 'кидать вперед', но и 'одолевать', 'опережать' /с идеей превосходства/ и т.п.). Если это верно, то нет, кажется, необходимости восстанавливать и.-евр. **ai- 5* : **oi-* 'bedeutsame Rede' (?) (Pokorny I, 11). Одно из латинских названий загадки *scirpus*; в прямом своем употреблении это слово обозначает тростниковую сеть, тростник, ср. *scirpeus* 'тростниковый', 'плетеный', *scirpiculus*, то же, но и 'плетенка', 'тростниковая корзина' и т.п. — при *scirpo* 'связывать тростником', 'плести', 'сплетать', к и.-евр. **(s)kerb(h)-* : **(s)kreb(h)-* (Pokorny I, 948). Эти примеры дают основание думать, что обозначение такой 'умственной сети' (образ, позднее ставший популярным в европейской культуре, но уже хорошо известный и в Ветхом Завете: сеть как соблазн, из пут которого трудно выбраться), как загадка или соединение вопросов и ответов, через идею сплетения-запутанности было хорошо известно, хотя каждый язык использовал для этого не совпадающий с обозначениями загадки в других языках элемент. Но само разнообразие семантических мотивировок обозначения загадки очень характерно. О балтийских названиях загадки уже говорилось выше (: и.-евр. **men-*). Славянские названия, восходящие к **gad-* : **gat-*, очень интересны, поскольку объединяют загадку с гаданиями и отсылают к особому типу речи,использовавшейся в сакральных речениях. Ср. в продолжениях слав. **gadati* такие значения, как 'гадание', 'загадка', 'предсказание', 'разгадывание', 'ворожба', но и 'говорить', 'болтать', 'браниться', 'тараторить' (ЭССЯ 6, 1979, 77—78), а в продолжениях **gatati* —'загадка', 'загадывание', 'гадание', 'ворожба', но и 'говорить', 'разговаривать' (ЭССЯ 6, 1979, 105). Оба варианта имеют надежные соответствия в индо-иранском, ср. вед. *gadati* 'говорить' и особенно др.-инд. *gāthā* 'песнь', 'речь' (сакрального типа), авест. *gāϑā* 'религиозное песнопение'. Вед. *brahmodya-* 'загадка', букв. — 'говоренье брахмана', т.е. ритуальной сакральной формы, рассматривалось ранее и будет еще раз обсуждено ниже (ср. также др.-инд. *śleṣa-* : *śliṣyati* 'прицепляться', *pra-vahni-* с идеей везенья вперед, *gūḍha-* и др.). Связь семантической мотивации русск. *загадка* и т.п. со словом, с его произнесением очень важна в двух отношениях. Она указывает на "языковой" локус возникновения загадки, на высокую степень обусловленности ее языковыми данностями, с одной стороны, и, с другой, дает дополнительные основания поместить загадку в некую нишу, где могли некогда быть и другие "родственные" малые жанры, ср. внутреннюю форму слов *по-словица* (: *слово*), *по-говорка* (: *говорить*) и т.п. Германские обозначения загадки — нем. *Rätsel*, нидерл. *raadsel*, англ. *riddle* и др. — внутри этой группы соотносятся с др.-исл. *ráða*, гот. *rêdan*, *др.-сакс. rædan*,

леко от случайности: основные черты сети как бы повторяются и в загадке. Загадка "набрасывается" на мир, подобно сети и благодаря "сетевой" структуре ("сплетенность") охватывает всё, на что она "наброшена", позволяет установить место данного объекта в классификационной схеме во всех его связях, с одной стороны, и в его индивидуальности, с другой. Эта "сетевая" структура позволяет учесть все множество охватываемого ею и описать его, что и придает загадке универсальный характер (широта охвата и глубина проницания, "исчерпываемость"). Наконец, она же позволяет "поймать", "схватить" искомое и представить его как некий конечный результат информационно-классификационной схемы. Мощность "сети", каковую представляют вычислительные машины, превышает мощность "загадочной" сети в трудно исчислимое число раз[44], однако, несмотря на все опасности "легких" аналогий, существенно найти тот локус и такую перспективу, в которой "искусственвенное" (мертвое) и "естественное" (живое), машина и человек могли бы быть увидены в

англ. *read,* др.-в.-нем. *râtan*, нем. raten и т.п., а вне ее с др.-инд. *rādh-*, авест. *rāδ-*, слав. **rad-* и под. — все к и.-евр. **rē-dh-*, **rō-dh-* (Pokorny I, 59—60), однако при самом общем понимании семантических мотивировок германских слов для обозначения загадки детали, которые могли бы поставить окончательный акцент, остаются не исследованными с семантической точки зрения. Это многообразие семантических мотивировок обозначения загадки в индоевропейских языках, конечно, не может быть использовано как аргумент в пользу относительно позднего происхождения, но тем не менее мимо этого факта пройти нельзя. Прежде всего привлекает к себе внимание то обстоятельство, что часть обозначений загадки носит черты не вполне переработанной образности, метафоричности, отсылающей к ее конкретным источникам (как обозначение загадки через образ сеи), но и, более того, "прикладности" (на скорую руку), эвентуальности, так сказать, "*ad hoc*'овости", что, кстати, свойственно обозначениям подсобных "инструментально-технических" объектов ("то, чем открывают" → "открывалка" и под.). Не менее существенно, что другая часть обозначений, напротив, отсылает к некиим основоположным категориям, связанным со сферой сакрального и ритуального, с высшими формами духовной деятельности "познавательного" характера. Этот разброс форм слова "загадка" и разница в типах мотивировок внутренней формы слова как бы намекает на два полюса загадки — ее связь с "вещно-инструментальным", с одной стороны, и с высоким "ценностно-категориальным", с другой, с дискретно-предметным и с непрерывно-стихийным. С последним естественно соотносится и тот факт, что многие обозначения загадки отсылают к идее речи особого типа, некоей отмеченной манеры говорения — "над-профанической", торжественно-возвышенной, ритуально-вещательной, характеризующейся особым тоном и ритмом (исследователи не раз отмечали особенности произнесения загадок), которая в изменившихся условиях могла пониматься и как *бред пророческий духóв,* темная, аморфная, даже дефектная речь. Проблема семантических мотивировок слова "загадка" в разных языках в определенной мере свидетельствует о сложности и разнородности стоящего за этим словом явления и дает основания предполагать, что исследователи часто склонны излишне упрощать характер явления, кодируемого словом "загадка", или, может быть, точнее — то, что переводится как "загадка", без каких-либо уточнений и спецификаций, представляет собой сверх-упрощенный перевод названия довольно разных явлений, некогда составлявших единое целое и/или развившихся позже из некоего единого источника и лишь позже, в эпоху жанровой кристаллизации, снова сблизившихся друг с другом.

[44] Имея в виду степень сложности вычислительных машин, с тех пор увеличившуюся на много порядков, Нейман писал: "Я не знаю никакой другой области человеческой деятельности, где результат действительно зависит от последовательности, состоящей из миллиарда (10^9) шагов в каком бы то ни было искусственном устройстве, и где к тому же каждая операция на самом деле имела бы значение для результата" (Нейман 1960а, 63)

некоем общем ракурсе, относительно которого предстоит решить, что́ это и какова его природа — очередное явление майи или отражение чего-то общего, хотя бы "л о г и ч е с к и"-общего. При этом существенно не впасть в грех "наглядной" конкретности и не соблазниться ни надеждой объяснить общее "генетически" (в паре человек-автомат эта опасность, кажется, не грозит), ни — при отсутствии такого объяснения — "спасительным" списыванием общего на счет типологии, в чем видят нередко своего рода снятие с себя задачи. Разумеется "типологическое" существенным образом связано с функциональным, но заключение такого общего вида достаточно тривиально и не вполне адекватно описывает ситуацию. И автомат, и человек решают некую задачу, и это значит, что их цель — восполнить некий "познавательный" дефицит, выйти из "познавательного" кризиса, подтвердив это восполнение "практически". В ходе решения задачи, "функционирования", неизбежно происходит возникает своего рода гибкая связь, которая на определенном уровне может пониматься как самодостаточная и осуществляющая выбор, который не коренится с необходимостью в исходной задаче. Применительно к *этой* "суверенной" и самонастраивающейся зоне, чуткой к изменениям и способной — в принципе — адекватно реагировать на изменения, то есть меняться самой, кажется, нет серьезных оснований слишком жестко противопоставлять "автоматно-машинное" и "человеческое" при том, что, конечно, и у автомата и у человека есть нечто *иное,* что решительно отделяет их друг от друга и не позволяет говорить об "общем". В том же *ином,* "легитимном"общем, о котором только здесь и идет речь, человек представлен не умом, не душой, не чувствами, но н е р в н о й системой-"с е т ь ю". Она же представляет собою ту ц и ф р о в у ю часть живого организма, которая, вероятно, вполне корректно может быть сопоставлена с цифровой частью вычислительных машин. И в том и в другом случае эта цифровая часть служит одной цели — цифризации н е п р е р ы в н ы х величин, которая осуществляется с помощью сообщений, состоящих из сигналов типа "все или ничего", "д а или н е т" (Нейман 1960, 85—86)[45]. Тот же автор утверждает, что работа нерва основана на использовании "счета" и объясняет выбор именно этого метода, заведомо менее эффективного, чем метод цифрового разложения: "высокая устойчивость, а также способность устранять ошибки и нарушения в своем функционировании, характеризующие естественные организмы, находят свое отражение в методе счета, которым, по-видимому, они пользуются в этом случае. Все сказанное отражает общее правило. Можно в большей мере обезопасить себя от ошибок, понизив эффективность обозначений, или, точнее говоря, допустив избыточность в обозначениях [...] В рас-

[45] В этой связи Нейман приводит яркую иллюстрацию — случай, когда нервной системе приходится решать задачу как бы по идее непосильную для нее — передача некоей непрерывной величины. Анализ конкретного примера (поведение нерва, передающего данные о величине кровяного давления) приводит к бесспорному выводу, что перед нами в этом случае — "поведение настоящего органа типа «да или нет», органа цифрового типа" и, более специально, "работа нерва основана на использовании «счета», а не «десятичного ... представления» величин" (Нейман 1960а, 86).

сматриваемом случае природа, очевидно, избрала систему, еще более избыточную в обозначениях и еще более надежную в работе" (Нейман 1960а, 87)[46].

Как бы то ни было, но складывается единая область знания, предмет которой логика и структура как автоматов, так и живых организмов. Из первых и наиболее выдающихся ее результатов выделяются теоремы Маккаллока и Питтса о связи между логикой и нервными сетями. Один из важнейших выводов состоял в том, что "всякое функционирование [...], которое вообще может быть определено логически — строго и однозначно — с помощью конечного числа слов, может также быть реализовано с помощью указанной выше формальной нервной сети" (Нейман 1960а, 89; "формальные нервные с е т и"— сложные схемы, использующие в качестве своих элементов нейроны как "черные ящики", характеризующиеся определенными свойствами — *В.Т.*). Нейман, специально проанализировавший результаты теории Маккаллока—Питтса, останавливается и на вытекающих из нее следствиях. Учитывая, что многие специалисты проявили скептицизм, полагая, что деятельность и функции нервной системы человека из-за их сложности не могут быть выполнены никаким из существующих механизмов, что есть такие специфические функции, которые налагают жесткие ограничения уже в силу своей природы, стараясь доказать, что такие функции, полностью описанные логически, недоступны механической, нервной реализации, Нейман видит главный результат Маккаллока—Питтса в положении предела скептицизму этого рода. Он состоит в доказательстве того, что "все, что можно описать исчерпывающим и однозначным образом, все, что можно полностью и однозначно выразить словами, ipso facto реализуемо с помощью соответствующей конечной нервной сети. Так как обратное утверждение очевидно, мы можем сказать, что не существует различия между возможностью описать словесно, полностью и однозначно, действительный или воображаемый способ поведения и возможностью реализовать этот способ поведения посредством конечной формальной нервной сети. [...] Принципиальная трудность выражения всякого способа поведения в такой сети возникает только тогда, когда мы не в состоянии дать полного описания рассматриваемого способа поведения" (Нейман 1960а, 89—90)[47].

---

[46] Ср. далее. "Разумеется, следует допустить, что имеются и другие причины, обусловливающие то, что нервная система использует метод счета, а не метод цифрового представления. Кодирование и раскодирование происходит гораздо проще в первом случае, чем во втором. Однако справедливо и то, что природа, по-видимому, стремится и может идти гораздо дальше в направлении усложнения, чем идем мы, или, вернее, чем мы можем позволить себе идти. Поэтому можно сомневаться в том, что если бы единственным недостатком системы цифрового представления была бы ее большая логическая сложность, природа отвергла бы ее единственно по этой причине" (Нейман 1960а, 87).

[47] Тем не менее Нейман выражал уверенность в том, что для понимания высокосложных автоматов, в частности, и центральной нервной системы, нужна новая логическая теория. При этом он допускал, что в ходе этого процесса логика может превратиться в неврологию в гораздо большей степени, чем неврология — в раздел логики (Нейман 1960а, 92).

Предшествующее отступление преследовало ряд целей — прежде всего обозначить предельно широкий контекст вопросо-ответной проблемы, далее, указать общее в логике и структуре "искусственных" автоматов и "естественных" автоматов, каковой является центральная нервная система, наконец, подчеркнуть общность "да — нет"-техники, которая используется в тех и других. Все это имеет непосредственное отношение и к загадке, усвоившей себе с определенного этапа своего развития эту "вопросо-ответность", но не как (или не столько) к конкретной жанровой структуре, а как (или сколько) к общечеловеческой стратегии познания, из которой вытекают и многие другие следствия в виде более специализированных задач. Впрочем, конечно, и к загадке как жанру это отступление имеет отношение, ср. известную игру в "да — нет", существующую в разных вариантах (наиболее известный в русской традиции — *Да и нет не говорите, черный, белый не берите...*), и представляющую собой вывернутую наизнанку и сдвинутую в сферу формы выражения конструкцию, противоположную той, которая лежит в основе разгадывания загадки с помощью задавания вопросов, предполагающих один из двух возможных ответов — д а или н е т (*Это живое существо? — Да & Оно двуногое? — Нет. & Четвероногое? — Да...* и т.д.). Наконец, предшествующее касалось проблем, которые непосредственно подводят к той грани, за которой сразу же возникает еще одна проблема, относящаяся к характеру протекания мыслительных процессов мозга в связи с определенными познавательно-эвристическими целями, обращение к которой на этих страницах оказывается, однако, невозможным.

Все эти аналогии и следующие из них рассуждения имеют своей целью расширить к о н т е к с т загадки и вопросо-ответных структур до того предела, за которым мысль исследователя обнаруживает нечто такое, что уже лежит вне жанра, словесного выражения, культуры и уже может рассматриваться как биологические (физиологические) основания этих жанров, как та сфера природного-человеческого, в которой лежат наиболее отдаленные их истоки. В принципе в этом контексте важнейшей и, пожалуй, единственно достижимой для исследователя оказывается его (контекста) в е р т и к а л ь н а я структура или, подходя с несколько иной стороны, контекст в его г е н е т и ч е с к и - д и а х р о н и ч е с к о м ракурсе. Разумеется, каждая точка этой вертикали была некогда включена в синхронный контекст, знание которого могло бы позволить говорить о сути "прото-загадочного" образования, о его природе, как она обнаруживает себя через функции. Впрочем, условий для реконструкции таких контекстов практически нет или они слишком малы и сложны, чтобы не считать это занятие малоцелесообразным.

Однако эти условия возникают, когда наступает эпоха словесных текстов — и тех, которые еще очень близки к дожанровому бытию вопросо-ответных структур, включая сюда и загадку, и тех текстов — независимо от времени их создания, — которые в наибольшей степени развили заложенные в них потенции и, следовательно, засвидетельствовали то наивысшее, что может быть в них достигнуто. И тот и другой круг условий позволяют судить об исходных импульсах к становлению жанра загадки и других жанровых структур, коренящихся в вопросо-

ответной сфере, о функциях подобных образований, об их текстостроительной роли и, наконец, о том, каким образом в них и благодаря им происходит порождение смыслов. В исследовании этих вопросов две фигуры привлекают преимущественное внимание в русской науке — М.М. Бахтин и О.М. Фрейденберг.

Генетическое, функциональное, категориальное, текстостроительное в той мере, в какой они отражают особенности мышления, стоят в центре внимания Фрейденберг, особенно в ее первой книге (см. Фрейденберг 1936). Новое, что было внесено исследовательницей в решение проблемы, состояло в помещении этой проблемы в контекст, где исследуемое "отражало" особенности мышления и предопределяло жанровые и сюжетообразующие конструкции. Агональное начало прослеживалось от его дословесных истоков, через словесное воплощение, вплоть до растворения его в жанре и сюжете. Восстанавливая "дословесную" стадию агонального начала как гадание, спор двух сторон, поединок (ср. обрядовые хоровые сражения двух полухорий, на которые делилась община, обряды "перекидывания" камнями между двумя партиями в праздник, при участии жрецов) и исследуя особенности "словесной" стадии (словесные поединки, вырастающие из примитивных споров-прений, из вопросов и ответов, которыми одна часть коллектива обменивается с другой; отгадывание и загадывание как важный элемент архаичных действ, где исходом может быть жизнь или смерть; "гадательное" назначение загадывания и разгадывания, образующих своего рода диалог, в котором вопрошаются космические силы, божества, жрецы; связь с определенными пространственными и временными координатами — храм, праздник и т.п.), исследовательница приходит к основным результатам своего труда. В кратком варианте они формулируются так: "Из борьбы и единоборства вырастает агональный характер действа и сказа; мышление, воспринимающее мир в категориях борьбы, строит миф и обряд на борьбе (позднéй — состязании, споре). Отсюда антифонный характер песен, вырастающих из перебрасывания шутками или воплями двух общественных хоров; отсюда — вопросы и ответы, загадки и отгадки, становящиеся на место дословесного диалога-битвы. Словесная перебранка чередуется с загадыванием шарад и загадок, и все это в форме амебейности; симметрия, отражающая своеобразное мышление, неизменно ведет нас к антитезам, антифонности, к возвратам и обратно-симметрическим композиционным линиям циклизующего мышления, в котором всякая "обратность" (ἀντί) представляется моментом борьбы двух противоположных начал. [...] Итак, вопросы и ответы, которыми перекидываются два спорящих хора, происходят или в виде антифонных песен или в форме личных рассказов-состязаний" (Фрейденберг 1936, 139). Весьма существенны мысли о "стихомифической" природе диалога и о древнейшем типе диалога[48], о связи сюжетности со словом, метафорой, образом[49] и т.п.

[48] В связи с обсуждением вопроса о "трагедической перипетии" ср.: "Борьба [...] приводит в движение весь аппарат драмы; помимо этого она присутствует и в самой структуре трагедии в виде агона, диалога и стихомифии. Собственно, древнейшим диалогом и является так называемая стихомифия, т.е. словесный поединок с пра-

Вклад Бахтина в исследование проблем *другого*, диалогических (включая и вопросо-ответные) и им соответствующих жанровых конструкций, природы коммуникации, как она определяется через ее участников, и смысла достаточно известен и не нуждается здесь в еще одном представлении (см. Бахтин 1929; 1965; 1979 и др.). Тем не менее уместно подчеркнуть некие далекоидущие, заостренные трактовки, бросающие луч света на суть исследуемых проблем или "берущие" проблему в самой ее сердцевине, в некиих высших формах ее выражения, обозначающих новые перспективы. Одна из таких высших форм — сфера великих текстов, от книги Иова до романов Достоевского. Возникающие в этом круге новые типы диалогических конструкций, неизмеримо более сложных, чем те, которые составляют предмет этой работы, важны не только в перспективе развития, но и в ретроспективе, когда неясные намеки, относящиеся к "прото-загадке" и другим вопросо-ответным и диалогическим структурам архаичной эпохи, вдруг находят точку опоры в "великих" текстах. Так, отдельные указания на нескоординированность "архаичного" диалога (в том числе и "загадочного"), на некоторую неслиянность партий диалога, не дающую возможности полноценного синтеза, подведения общего итога и превращающую диалог в своего рода псевдо-диалог с семантическим

вильно чередующимися вопросами и ответами в отрывистой, лаконической форме ф р а з ы - з а г а д к и, занимающей один шестистопный ямб. В стихомифии участвует двое словесных противников, из которых один задает вопросы, другой отвечает, либо один высказывает крайние, гномического характера, суждения, а другой возражает, правильная стихомифия переходит в середине в свою противоположность и отвечавший начинает задавать вопросы, а задававший — отвечать. Стихомифийные моностихи правильно чередуются, с выдержанной симметрией, дистихами и тристихами; их начало и конец метрически выдержаны. Диалог носит первоначально характер поединка между двумя антагонистами и вырастает из стихомифии. [...] Для понимания диалога нужно обратиться к песенной амебейности хоров и отдельных солистов. [...] Архаический характер трагедической стихомифии сказывается в самой ее форме, в сжатом языке, упрощенной конструкции, в гномичности выражений, в близости к з а г а д к е и пословице [...]" (Фрейденберг 1936, 181).

[49] Ср.: "Словесный сюжет складывается из той же семантики [...] Он так же системен; его морфология целиком компонуется из тех самых метафорических отливок, в которых оформляется образ. Я уже говорила, что 'слово' связано с самого своего возникновения с 'борьбой' и потому впоследствии произносится в агонистической форме; что слово — это сам тотем, в произносительных актах которого рождается мир; что слово, действие и вещь — три морфологических разновидности, оформляющие единую семантику своеобразной космогонии, — они различны, но внутренне едины, и каждому слову соответствует свое действие и своя связь. [...] Когда образ развернут или словесно выражен, он тем самым уже подвержен известной интерпретации; выражение есть облечение в форму, передача, транскрипция, следовательно, уже известная иносказательность. Образ [...] остается позади; за него представительствуют уподобления, которые мы привыкли называть метафорами. Как только основной образ забылся, эти метафоры начинают уподобляться з а г а д к е, имеющей два существования — структурное и смысловое, что и придает им зачастую известную двусмысленность и остроту, каламбурность, игру смыслов и недосказанность. Я имею в виду сюжеты фарсового аспекта из новеллы типа индусских парабол, где реалистический рассказ становится двусмысленным только оттого, что каждый его мотив, подобно з а г а д к е, говорит об одном, а значит другое. Расхождение смысла, создавшего структуру сюжета, с позднейшим смыслом, который вычитывается из этой структуры, порождает не только з а г а д к у, но и сказку, никогда не понимающую того, о чем она повествует [...]; но такой сказкой, допускающей интерпретацию структуры, является и всякий метафорический сюжет" (Фрейденберг 1936, 248—249).

абсурдом типа известного *В огороде бузина, а в Киеве дядька* (ср. *коан* и коано-образные примеры), на присутствие в таком диалоге некоей параллельной "своей" линии, как бы выпадающей из диалога, но все-таки, видимо, небесполезной и нужной для чего-то иного, попав под увеличительное стекло диалога Достоевского, находят поддержку именно в далекоушедших формах диалогического, которое, казалось бы, порвало связи со своими отдаленными истоками. Ср. подчеркивание Бахтиным ошибочности тезиса о диалектичности диалога у Достоевского, якобы приводящего к синтезу как некоей равнодействующей двух противоположных голосов, и, наоборот, выдвижение тезиса о неслиянности голосов такого диалога и о примате самого их взаимодействия[50]. Другая важная особенность, отмечаемая Бахтиным и, несомненно, характеризующая и архаичный вопросо-ответный диалог, оформивший "прото-загадку" в загадку, — ответность смысла, понимания (к сожалению, этому явлению не было уделено должного внимания пишущими о Бахтине в связи с его пониманием диалога) и "активизм". "Итак, всякое реальное целостное понимание активно ответно и является не чем иным, как начальной подготовительной стадией ответа (в какой бы форме он ни осуществлялся). И сам говорящий установлен именно на такое ответное понимание: он ждет не пассивного понимания, так сказать только дублирующего его мысль в чужой голове, но ответа, согласия, сочувствия, возражения, исполнения и т.д." (Бахтин 1979, 247) или: "Смыслами я называю *ответы* на вопросы. То, что ни на какой вопрос не отвечает, лишено для нас смысла. [...] Ответный характер смысла. Смысл всегда отвечает на какие-то вопросы. То, что ни на что не отвечает, представляется нам бессмысленным, изъятым из диалога. Смысл и значение. Значение изъято из диалога, но нарочито, условно абстрагировано из него. В нем есть потенция смысла. [...] Смысл потенциально бесконечен, но актуализироваться он может, лишь соприкоснувшись с другим (чужим) смыслом, хотя бы с вопросом во внутренней речи понимающего. [...] Актуальный смысл принадлежит не одному (одинокому) смыслу, а только двум встретившимся и соприкоснувшимся смыслам" (Бахтин

[50] "Повсюду — *пересечение, созвучие или перебой реплик открытого диалога с репликами внутреннего диалога героев.* Повсюду — *определенная совокупность идей, мыслей и слов проводится по нескольким неслиянным голосам, звуча в каждом по-иному.* Объектом авторских интенций вовсе не является эта совокупность идей сама по себе, как что-то нейтральное и себе тождественное. Нет, объектом интенций является как раз *проведение темы по многим* и *разным голосам*, принципиальная, так сказать, неотменная *многоголосость* и *разноголосость* ее. Самая расстановка голосов и их взаимодействие и важны Достоевскому. [...] Идея у Достоевского никогда не отрешается от голоса. Потому в корне ошибочно утверждение, что диалоги Достоевского диалектичны. Ведь тогда мы должны были бы признать, что подлинная идея Достоевского является диалектическим синтезом, например, тезисов Раскольникова и антитез Сони, тезисов Алеши и антитез Ивана и т.п. Подобное понимание глубоко нелепо. [...] Ни о каком синтезе не может быть и речи; может быть речь лишь о победе того или другого голоса или о сочетании голосов там, где они согласны. Не идея как монологический вывод, хотя бы и диалектический, а событие взаимодействия голосов является последнею данностью для Достоевского" (Бахтин 1979, 185—186). В этом Бахтин видит решительное отличие диалога Достоевского от платоновского и, напротив, принадлежность к той линии, блистательным образцом которой был диалог Иова с Богом.

1979, 350)[51]. Эти мысли имеют непосредственное отношение к самым общим и глубоким проблемам смысла, бытия в смысле и понимания, которые возникают и на иных путях — бесконечность смысла и, значит, его "относительность" как следствие не до конца реализованной им потенциальности, невозможность смысла "в себе" и нужда в *другом* смысле, чтобы актуализировать *этот* смысл, тот тип координации смысла и понимания, при котором "продвижение" в смысле "продвигает" и понимание, а понимание "открывает" новый смысл, ранее себя никак не обнаруживавший и/или не фиксируемый человеком. "Не может быть «смысла в себе» — он существует только для другого смысла, то есть существует только вместе с ним. Не может быть единого (одного) смысла. Поэтому не может быть ни первого, ни последнего смысла, он всегда м е ж д у смыслами, звено в смысловой цепи, которая только одна в своем целом может быть реальной. В исторической жизни эта цепь растет б е с к о н е ч н о, и потому каждое отдельное звено ее снова и снова обновляется, как бы рождается заново" (Бахтин 1979, 350—351).

В том ракурсе, который в этой работе представляется особенно существенным, приведенные мысли Бахтина подтверждают два положения — п е р в о е: внутри данной "смысловой" системы, если она достаточно мощна и непротиворечива, могут быть сформулированы положения, не доказуемые в данной системе; в т о р о е: каким бы высоким ни оказался смысловой уровень, он всегда может быть превзойден. Первое положение оказывается частным случаем известной теоремы Гёделя (или — наоборот: последняя как следствие первого)[52], второе же — отсылает к ситуации "состязания", описанной Тьюрингом: "для любой отдельной машины могут найтись люди, которые умнее ее, однако в этом случае снова могут найтись другие, еще более умные машины, и т.д." (Тьюринг 1960, 37, см. выше). Эти положения имеют непосредственное отношение к стратегии бытия человека "в смысле": у человека нет и не может быть некоей последней, окончательной, мыслимой как завершенная задачи. Если же он исходит из т а к о й задачи, вся перспектива непоправимо искажается и замыкается, и человек, поддавшись чарам и соблазнам "конечного", "последнего", сбивается с пути и теряет из вида даже ближайшую задачу, и ему становится недоступно понимание той немудреной, по сути дела, истины, что путь и ви́дение первого поворота на нем важнее фантомной последней точки пути, которая, подобно мерцающим болотным огонькам, заводит в никуда. Достижение первого поворота на пути — первая большая победа путника, которая утрачивает все свои благие плоды, если только перед ним не возникает ви́дение нового, очередного поворота пути. Каждое такое ви́дение — что вопрос, каждый участок пути между двумя поворотами — поиск ответа, каждый новый поворот,

[51] Встреча смыслов как раз и означает понимание: "*Встреча* с великим как с чем-то определяющим, обязывающим и связывающим — это высший момент понимания" (Бахтин 1979, 347, с отсылкой к теме встречи и коммуникации у Ясперса).

[52] В любой достаточно мощной логической системе можно сформулировать такие утверждения, которые внутри этой системы нельзя ни доказать, ни опровергнуть, если только сама система непротиворечива (теорема Гёделя).

по его достижении, — ответ на вопрос, радость решения задачи, но и отрезвляющее путника и умеряющее его радость ви́дение следующего поворота и сознание, что за ним — новая, до того неизвестная смысловая глубина и, следовательно, новый уровень понимания[53].

Одним из наиболее полных и адекватных воплощений этого образа пути, на котором смысл и понимание взаимно вскармливают и поддерживают друг друга, как раз и является цепевидная вопросо-ответная конструкция, используемая в серии загадок (ср. выше о вопросо-ответной и "загадочной" сетях). Когда речь идет об упорядоченной по временно́му критерию серии "загадочных" вопросо-ответов, как бы "исчисляющих" некую замкнутую и полную сферу (состав мира, как он формируется в актах последовательного творения), приходится иметь дело с конструкцией логической природы. Когда же перед нами отдельная загадка, то возрастает роль интуиции — как в открытии новых смыслов, так и в сложении новых форм овладения смыслами, то есть понимания. В этом последнем случае отсутствует та инерция, которая "несет" отгадчика вперед, позволяя ему в ряде случаев почти автоматически давать ответы, исходя в основном из той уже известной части "пройденного" целого (часть цепи, содержащая информацию двух родов — о составе элементов мира и о "порядке" мира, не говоря уж о некоторой информации о типологии вопросов и соотношений, существующих между вопросами и ответами), и энергия отгадывания в значительной степени отдается на откуп интуиции, "случаю". Как бы то ни было, но в этой ситуации нельзя пренебрегать разницей между горизонтально-восходящей структурой, лежащей в основе вопросо-ответных цепей, и вертикально-углубляющимся направлением стратегии в отгадывании отдельной изолированной загадки. В ходе разгадывания загадки с вопросом Q включенный в "агональную" структуру A "разгадчик" должен иметь (по крайней мере теоретически) установку не просто на любую приблизительную, правдоподобную, относительную разгадку *a, b, c, d, ... n,* но на ту, которую он определяет как наиболее "сильную", т.е. на выбор. В процессе такой эвристической деятельности открывается возможность формирования синонимических и омонимических комплексов: вопросу могут соответствовать *a, b, c, d, ... n* ("синонимическая" группа ответов), но и ответу *a* может отвечать группа вопросов Q, Q_1, Q_2, Q_3, ... Q_N ("синонимическая" группа вопросов), но каждая из этих "синонимических" групп "раскалывает" единый вопрос и единый ответ на совокупность омонимов

[53] Проблема п о н и м а н и я как цепь звеньев восхождения к адекватному пониманию смыслов может быть, видимо, спроецирована из "временно́го" плана в такой план, который можно было бы понимать как пространственный, для которого время не существенно ("одновременность"), хотя границы между двумя планами чаще всего условны и не всегда достаточно различимы. Наконец, целесообразно в ряде ситуаций вывернуть проблему понимания наизнанку и поставить ее как проблему н е п о н и м а н и я, решение которой снимает-упраздняет существовавшие до этого заторы на пути понимания (ср. опыт постановки проблемы непонимания текста с языково-семиотической точки зрения — Левин 1981, 283—296; попытки алгоритмизации отгадывания загадки, см. Левин 1978, 283—314, могли бы дать повод и для таких же попыток алгоритмизации "понимания" текста, хотя бы в ограниченных пределах).

(эти случаи "раскалывания" вопроса и ответа, придающие каждому из них аспект относительности, на некоей большей глубине теснее связывают тот и другой в некое целое и ставят перед исследователем задачу более специального изучения взаимных связей между вопросом и ответом[54]). Очевидно, что уже на этом уровне решения проблемы "идеальный" "разгадчик"-конструкт не может не осознать или не почувствовать себя захваченным той взаимной игрой вопросов и ответов, которая, исходя из элементарной однократной схемы Q — R (вопрос—ответ), развертывает свою серию вопросов и ответов, отличную от той, что представлена в горизонтально-восходящей цепи, направленную в глубь, дна которой не видно, как не видно и пределов в порождении смысла и в способности его понимания. Уча бесконечности и того и другого, эта вертикально-углубляющаяся процедура учит и другому, отчасти противоположному, — устойчивости против соблазнов бесконечного, ведущего к завороженности или к утрате способности видеть "повороты" пути, и мужественному выбору — *здесь и сейчас*, до очередного поворота — "конечного" смысла и адекватного ему "конечного" понимания при сохранении понимания "относительности" этой конечности; наконец, она учит и тому, что познание неотделимо от соблазнов и иллюзий, что их должно преодолевать, и как это нужно делать. Сама же эта вертикально-углубляющаяся "процедура", отражающая наиболее интенсивный аспект загадки, вполне может быть осмыслена как состязание в "возрастании ума": на умного "загадчика" более умный "разгадчик", на этого более умного "разгадчика" — еще более умный "загадчик" и так до бесконечности, как и в случае с состязанием "в уме" между машиной Тьюринга и человеком. В этом бесконечном состязании и нужно искать наиболее целесообразный, хотя и тоже бесконечный, путь к преодолению тавтологии бытия и его смысла, ограничивающей и то и другое и вместе с тем хранительной в отношении и бытия и смысла.

При обсуждении вопроса происхождения загадки не всегда можно вполне четко отделить "загадочное" от "вопросо-ответного" и "диалогического". В этом смешении, таящем для исследователя значительные неудобства, кроются и еще более существенные преимущества, хотя бы потому, что только при совпадении этих трех структур — загадка, вопрос-ответ, диалог — и особенно при наличии агонального начала восстанавливается "сильный" локус загадки, та степень полноты, без которой любое решение проблемы будет частичным и ограниченным. Поэтому генеалогия загадки в принципе немыслима без истории становления вопросо-ответных структур и диалогических построений — как вопросо-ответного, так и иных типов. Естественно, что решение или хотя бы освещение всех этих вопросов выходит за пределы воз-

[54] Ср.: "Наиболее важная из моих предпосылок состояла в том, чтобы изучить взаимоотношения между обеими частями загадки — ее образной частью и отгадкой. Обе эти части устойчивы и кодированы. И тот факт, что одна и та же образная часть загадки может иметь несколько ответов, еще не значит, что отгадка произвольна. Между собственно загадкой и отгадкой существует тесная связь, как и между альтернативными отгадками одной и той же загадки" (Кёнгэс-Маранда 1978, 252; ср. Köngäs-Maranda 1971; ср. также Левин 1978, 305—307).

можного в этой работе. Тем не менее несколько слов должно быть сказано и о вопросо-ответных и о диалогических конструкциях в связи именно с "загадочным" контекстом и с первыми вполне достоверными случаями фиксации загадки как вполне независимого типа в истории развития словесности, как она прослеживается по данным древнейших текстов в наиболее представительных традициях (III—I тысячел. до н.э., причем тексты III тысячелетия с достоверностью представлены лишь в Египте и Месопотамии, где, однако, они представлены или поздними записями, как в Шумере, или жанрово и типологически очень ограниченным кругом текстов, не говоря уж и об их количественной скудости). Поэтому необходимо помнить об относительно слабой степени представительности этих древних письменно-текстовых традиций в отношении выдвинутого здесь вопроса — как из-за потери значительной части информации в ходе ее передачи во времени, так и из-за ограничений, налагаемых на фиксацию некоторых жанровых структур, в которых было бы правдоподобным и вероятным появление загадок.

Только применительно к трем древним традициям можно с уверенностью говорить о загадке на основании бесспорных соответствующих жанровых форм, к тому же обозначаемых как загадка, — древнеиндийской (ведийской), древнееврейской и древнегреческой. Вне их надежных примеров загадки нет, хотя есть немало текстов, которые с точки зрения происхождения загадки и "загадочного" контекста должны привлечь внимание исследователей. В Древнем Египте в этой связи выделяются тексты, которые содержат диалогическую (иногда вопросо-ответную) структуру или — чаще — позволяют реконструировать ее (ср. сказку о Хоре и Сетхе, сказку о двух братьях, известный текст, так называемый "Памятник мемфисской теологии", дошедший в списке VII в. до н.э., но восходящий к эпохе Древнего царства; особенно важны в этом тексте его тема — космогония, субъект космогонии — Божественное Слово, что отсылает к проблеме онематесии, наречения всего, что образует состав мира и как бы "предметный" состав загадок о мире, и, наконец, форма текста — диалоги, ведущиеся между богами). В Древней Месопотамии в этом же контексте заслуживают внимания весьма разнородные данные — форма текстов (или фрагментов) космогонического содержания, позволяющая без особого труда восстановить исходную вопросо-ответную цепь, каждое звено которой могло стать поводом для загадки (ср.: "Когда небеса от земли отошли, вот когда, | Когда земля от небес отошла, вот когда, | Когда семя человечества зародилось, вот когда..." ⊃ *Когда отделились Небо и Земля? — Тогда, когда ...)[55]; сложившийся и получивший, видимо, существенное распространение уже в шумерский период жанр "споров-прений", включающих в себя диалог

[55] Ср. начало космогонической поэмы "Энума элиш": "Когда вверху не названо неба | ... | Когда из богов никого еще не было, | Ничто не названо, судьбой не отмечено, | Тогда в недрах зародились боги..." (начало табл. I), прием усвоенный и воспроизводимый в других текстах, ср. начало сказания об Атрахасисе ("Когда боги, подобно людям, | Бремя несли ..."; в этом же тексте — значительное количество *Кто*-вопросных конструкций) и др.

(иногда сопровождающийся и вопросами) и оказавших влияние на становление этого типа и в более поздних традициях того же ареала (ср. "Спор Овцы и Зерна", "Спор Мотыги и Плуга", "Спор Серебра и Меди" и т.д.[56]), о чем см. теперь Иванов 1993, 5—12, где и литература вопроса, и на некоторые диалогические тексты, строго говоря выходящие за пределы споров, но обнаруживающие связь с ними (ср. диалог двух влюбленных, нач. II тысячел. до н.э.: *Оставь попреки! | Не много ль с п о р о в? | Слово есть слово!* .., ср. Held 1961, или диалог Тамариска с финиковой Пальмой и т.п.); наконец, оформление четких и прагматически ориентированных дидактических вопросо-ответных схем, применявшихся при обучении учителем учеников (ср.: "Ученик, куда ты ходишь с раннего детства? — Я хожу в школу. — Что ты делаешь в школе? — Я учу свою табличку, я рассказываю свою табличку, я пишу свою табличку..." и т.п.; такого же рода схемы использовались, очевидно, и при семейном воспитании, см. Крамер 1965, 26—30).

В д р е в н е к и т а й с к о й культуре то, что имеет отношение к "пред-загадке" и всему "загадочному" контексту, полнее всего отразилось в двух кругах явлений, довольно рано возникших и получивших весьма широкое распространение, — в "гадательном" ("мантическом"), игравшем в китайской традиции выдающуюся роль, начиная с "гадательных словес" (*буцы,* надписи на костях, бамбуковых планках и др., 2-ая полов. II тысячел. до н.э. и несколько позже; *буцы* упоминаются в своде "Шу" /"Писание"/) и гадательных формул, появление которых относится уже к самому началу древнекитайской литературы, а также с практики гаданий на "триграммах" (*гуа,* ср. *ба гуа,* восемь триграмм как основа особой системы гадания, из которой 64 гексаграммы), отраженных и в литературных текстах, величайшим образцом которых служит "Ицзин" (то есть "Книга Перемен" [*и* 'перемена'], созданная, вероятно, еще в Чжоуский период; символом перемен стала триграмма; соединение двух триграмм давало гексаграмму, ту шестичерточную схему-чертеж, которая и была главным гадательным инструментом в "Ицзине"; результаты гадания выражались в кратких речениях, организованных с помощью ритма и/или лексического или синтаксического параллелизма)[57], и в "ф о р м а л ь н о - т е х н и з и р о в а н н о м",

[56] Можно предполагать наличие и других "споров" — Лета и Зимы, Дерева и Тростника и др.; ср. Lungman 1941; Landsberger 1949; Vanstiphout 1984 и др.

[57] "Ицзин" имеет исключительное значение для постановки тех вопросов, которые при обсуждении сути и природы загадки обычно даже не возникают, хотя они имеют непосредственное отношение к пределам "загадочного" и стратегии участников "загадывания-гадания". Две кардинальные проблемы равно существенны и для "Ицзина" и для загадки, если попытаться продумывать эти явления до предела — "о с м ы с л е н н о с т ь" ответа и п с и х о л о г и я участника процесса, оказавшегося также в состоянии близком к предельному. Поэтому здесь уместно привести наблюдения Юнга, изучавшего "Ицзин" и практиковавшегося в гаданиях, тем более, что соответствующий текст (статья "Рихард Вильхельм", см. Юнг 1992, 303—308) принадлежит к числу малоизвестных вне узкого круга юнгианцев. Нужно также при чтении помнить о более широком контексте "бессознательного". Юнг рассказывает о знакомстве с Вильхельмом в 1923, когда он, приглашенный в Цюрих, прочитал там в Психологическом клубе доклад об "Ицзине":

которое поступало в распоряжение "содержательно-тематического" и служило для решения задач, стоявших перед последним. Чтобы не умножать примеров, достаточно упомянуть два выдающихся текста древнекитайской литературы, весьма различных между собой и тем

"Уже до того как познакомиться с ним, я занимался восточной философией и примерно в 1920 г. начал экспериментировать с «И Цзин». Это случилось летом в Боллингене, когда я принял решение добраться до существа загадок этой книги. Вместо веточки тысячелистника, который употребляется в классической методе, я срезал себе стебель камыша. Я нередко часами просиживал на земле под столетней грушей — «И Цзин» рядом со мной — и упражнялся в технике такого рода, чтобы один «оракул» можно было соотнести с другим, как в игре с вопросами и ответами. При этом получались странные, не слишком сомнительные вещи — полные смысла и связанные с ходом моих собственных мыслей, — которые я не мог уяснить себе.

Единственное вмешательство субъекта в эксперимент состоит в том, что экспериментатор случайным образом, т.е. не считая, одним-единственным движением руки делит пучок из 49 веточек. Он не знает, сколько веточек получается в том и другом пучке. Результат же зависит от этого числового соотношения. Все прочие манипуляции делаются механически и не допускают никакого произвола. Если вообще имеется какая-то п с и х и ч е с к а я связь, она может состоять лишь в случайном разделении этого пучка (или случайном выпадении монеты). — В течение всех летних каникул я задавался тогда вопросами: имеют с м ы с л ответы «И Цзин» или нет? Если да, то каким образом осуществляется связь рядов психических и физических данных? Я снова и снова наталкивался на удивительные совпадения, которые навевали мысль об а к а у з а л ь н о й п а р а л л е л ь н о с т и (синхронизме, как я тогда называл это). Я был настолько околдован этими экспериментами, что вообще забыл делать записи, о чем затем очень пожалел. Позже, правда, я так часто проводил такой эксперимент со своими пациентами, что смог убедиться в довольно значительном числе очевидных совпадений. [...]

В середине 30-ых годов я повстречался с китайским философом Ху Ши. Я спросил его об «И Цзин» и услыхал в ответ: «О, это не более чем старый сборник заклинаний, не представляющий ценности!» С практической методой и применением ее он, по его утверждению, не был знаком. Лишь случайно Ху Ши как будто столкнулся с этим. Однажды на прогулке один из его друзей рассказал ему о своей несчастной любовной истории. В это время они проходили мимо даосского храма. Шутки ради он сказал своему другу: «Ведь здесь ты можешь запросить оракул об этом». Сказано — сделано. Они вошли вместе в храм и выпросили у жреца дать оракул по «И Цзин». Но сам он в эту бессмыслицу не верил. — Я спросил его, действительно ли оракул ничему не соответствовал? На что он, словно против воли, отвечал: «О, тем не менее... естественно...» Памятуя известную историю о «добром друге», который делает то, чего самому себе приписывать не хочется, я осторожно спросил его, не использовал ли он создавшиеся обстоятельства и ради самого себя. «Да, — согласился он, — шутки ради я задал вопрос и о себе». «И получили соответствующий оракул?» — спросил я. Он вздрогнул. «Ну да, если угодно». Ему было явно не по себе. Личное, как обычно, мешает объективности.

Спустя несколько лет после моих первых экспериментов со стебельками камыша «И Цзин» вышла в свет с комментарием Вильхельма. Естественно, я немедленно обзавелся ею и к моему удовольствию нашел, что смысловые связи он рассматривает совершенно так же, как я объяснял их себе. [...] Когда он прибыл в Цюрих, я имел случай основательно побеседовать с ним, и мы очень много говорили о китайской философии и религии. То, что он сообщил мне из известного ему о китайском духе, прояснило тогда для меня одну труднейшую проблему, которую ставило предо мною б е с с о з н а т е л ь н о е европейцев. С другой стороны, то, что я рассказал ему о своих исследованиях бессознательного, вызвало его немалое удивление, ибо в этом он обнаружил то, в чем прежде видел исключительно традицию китайской философии. [...]

Когда я познакомился с Вильхельмом, он был совершенным китайцем как в мимике, так и в письме и языке. Он принял точку зрения Востока и полностью проникся древней китайской культурой. [...] Возвращение [в Европу. — *В.Т.*] Вильхельма и его повторная ассимиляция на Западе казались мне не связанными, ви-

не менее отвечающих (хотя и по-разному) этому второму кругу явлений, — "конфуцианский" "Луньюй" ("Суждения и беседы") и "даосский" "Лао-цзы", созданные в середине I тысячелетия до н.э. В первом тексте многочисленные вопросы, обращенные к Конфуцию и

димо, с рефлексией и потому опасными. Я боялся, что он может таким образом вступить в конфликт с самим собою. [...] была опасность бессознательного конфликта, столкновения западной и восточной души. Если, как я предполагал, христианская точка зрения прежде подверглась влиянию Китая, то теперь может иметь место обратное — европейская сфера может снова взять верх над Востоком. Но если этот процесс имеет место без глубоко осознанного сопоставления, тогда грозит бессознательный конфликт, который может повредить заодно и телесному здоровью. [...] я попытался обратить его внимание на грозящую опасность. Я сказал ему буквально следующее: «Мой дорогой Вильхельм, [...] у меня такое чувство, будто Запад снова забирает Вас и что Вы оказываетесь неверны своей задаче — представить Восток Западу». Он отвечал мне: «Полагаю, Вы правы, что-то одолевает меня здесь. Да что поделаешь?» [...]

Я поехал во Франкфурт [узнав о серьезной болезни Вильхельма. — *В.Т.*] навестить его и нашел его тяжело больным. [...] Я надеялся на это [на выздоровление. — *В.Т.*], как и он, но питал свои сомнения. То, что он тогда доверительно сообщил мне, подтвердило мои догадки. В своих снах он опять оказывался на бесконечных тропах диких азиатских степей — в покинутом Китае, снова проникшись проблемой, какую ставил перед ним Китай и решению которой препятствовал Запад. Он уяснил себе этот вопрос, но не мог найти для него никакого решения [...]

За несколько недель до его смерти, когда я уже долгое время не имел никаких сведений о нем, я, едва заснув, был пробужден одним видением. У моей постели стоял китаец в темно-синей верхней одежде, скрестив спрятанные в рукава руки. Он низко поклонился мне, будто желая передать какое-то послание. Я знал, в чем тут дело. Примечательной в этом видении была его необыкновенная ясность. Я видел не только каждую морщинку на его лице, но также и каждую нить в ткани его одежды.

Проблему Вильхельма можно было бы понять и как конфликт между сознанием и бессознательным, который у него проявился как конфликт между Западом и Востоком [...], и мне известно, что значит оказаться втянутым в такой конфликт. Правда, во время нашей последней встречи Вильхельм отвечал мне довольно неясно. Но несмотря на это я заметил, что его интересует нечто внешнее, тогда как я становился на точку зрения психологии. Его же интересы распространялись лишь на то, что касалось объективно существующего, медитации или психологических вопросов религии. Тут все было в порядке. Когда я попытался коснуться актуальной проблемы его внутреннего конфликта, то сейчас же почувствовал некоторую нерешительность и внутреннюю замкнутость, ибо это слишком брало его за живое; это феномен, который я наблюдал у многих незаурядных людей. Есть нечто «нехоженое, недоступное», где нельзя и не надо брать силой, — судьба, не выносящая человеческого вмешательства" (Юнг 1992, 303—308).

Тема "И Цзина" и проблемы, с нею связанные, были затронуты Юнгом в речи, произнесенной им 10 мая 1930 г. в Мюнхене на собрании, посвященном памяти Р.Вильхельма. Ср. особенно:

"Лежащая в основе практики «И Цзин» функция [...], по всей видимости, находится в острейшем противоречии с нашим западным научно-каузалистским мировоззрением. [...] Наука «И Цзин» покоится как раз не на каузальном принципе, а на до сих пор еще не имеющем названия — поскольку у нас он отсутствует — принципе, который я для начала обозначил как *синхронический принцип*. Мои занятия психологией бессознательных процессов уже много лет тому назад побудили меня обратиться к иному объяснительному принципу, поскольку каузальный принцип я счел недостаточным, чтобы объяснять некоторые особые явления психологии бессознательного. Прежде всего я обнаружил, что есть параллельные психологические явления, между которыми просто невозможно установить каузальные отношения, но которые должны быть поставлены в иную событийную связь. Эта связь, как мне показалось, состоит главным образом в факте соотносительной одновременности [...] Вероятно, время — вовсе не абстрактная величина, а скорее, конкретный континуум, содержащий в себе качества, или определяющие условия,

нередко организованные определенными формальными приемами (ср. обращение к числовому принципу), разрешаются в мудрых ответах, составляющих в сумме суть конфуцианского учения. Во втором тексте, отличающемся особой глубиной мысли, многое представлено в виде парадоксальных заключений, в которых оба члена утверждений абсолютно противоположны друг другу (типа "Кривое — значит прямое", "Малое — значит большое", "Высшая добродетель — недобродетель" и т.п.), но противоположность может быть снята при потенциальном доведении реконструируемой вопросо-ответной цепи до некоего предела, где снимается абсолютная "непроходимость" между обеими частями утверждения. Иначе говоря, можно представить себе такую цепь загадок или вопросо-ответов, в которой ответ на каждое

которые могут проявляться с соотносительной одновременностью в различных местах при почти не объяснимом каузально параллелизме, как, например, в случае одновременного появления идентичных мыслей, символов или психических состояний. Другой пример дает установленное Вильхельмом хронологическое совпадение китайских и европейских эпох стиля, которые не могут соотноситься друг с другом каузально. [...]

[...] Вильхельм по моей просьбе продемонстрировал практику «И Цзин», сделав при этом предсказание, которое менее чем через два года сбылось буквально и со всей желаемой недвусмысленностью. Этот факт [правильности данного предсказания. — *В.Т.*] можно было бы подтвердить многими того же рода опытами. В мои намерения здесь, однако, не входит объективно засвидетельствовать реальную силу текстов «И Цзин», и тем не менее я предполагаю таковую в трактовке моего покойного друга, а потому занят исключительно тем поразительным фактом, что qualitas occulta момента времени, выраженная через гексаграмму в «И Цзин», предстала как на ладони. Речь идет о взаимосвязи событий, не просто аналогичной, но в корне родственной той, что устанавливает астрология. Рождение можно сопоставить с сочетанием упавших палочек, констелляцию — с гексаграммой, а выводимое из констелляции астрологическое толкование — с соответствующим гексаграмме текстом.

Строящееся на синхроническом принципе мышление, достигающее своей вершины в «И Цзин», есть чистейшее выражение китайского мышления вообще. У нас это мышление исчезло из истории философии со времени Гераклита, пока мы вновь не услышали его дальнее эхо у Лейбница. [...] *Вот здесь «И Цзин» и затрагивает в нас то, что нуждается в развитии.* [...] Что́ нам мудрость «Упанишад», что́ — откровения китайской йоги, если мы бросаем наши собственные основы как пережитые заблуждения и, словно бездомные пираты, воровски пускаемся к чужим берегам? Откровения Востока, и прежде всего мудрость «И Цзин», не имеют смысла, если закрывать глаза на собственные проблемы, если жить жизнью, искусственно устроенной при помощи привозных предрассудков, если свою подлинную человеческую природу заслонять от себя пеленой ее рискованных оборотных сторон и темнот. Свет этой мудрости светит лишь в темноте, но не в электрическом неверном свете европейского театра сознания и воли. У мудрости «И Цзин» есть задний план, об ужасе которого мы немного догадываемся [...] Вильхельм переводит центральное понятие «дао» словом *смысл*. Переводить этот смысл в жизнь, а это и значит проявлять дао в реальности — вот, видимо, задание ученика. Но дао не возникнет от слов и хороших теорий. Разве мы знаем наверное, как в нас или вокруг нас появляется дао?" (Юнг 1992, 82—87).

Там, где нечто искомое не может быть представлено как насквозь логизированное и включенное в обязательную причинно-следственную связь, для ищущего и рассчитывающего на обретение остается единственная надежда — дать пути вовлечь себя в него, и тогда путь (*дао*) и смысл (*дао*) станут почти неразличимы. Но для этого необходимо усвоить и иную мудрость. Великие загадки бытия, как и "загадочное" в целом, в предельном обнаружении им своей сути, всегда содержат в себе ту темноту, в которой может зажечься свет мудрости, преодолевающий темноту.

звено цепи минимализирует абсолютность расхождения до полного устранения его (сама же абсолютность в этом контексте не что иное как зримый и при этом ложно образ неабсолютности). Некоторые из парадоксальных утверждений сократовских диалогов хотя бы отчасти намекают на сходную картину, но нигде они не достигают уровня, на котором в "Лао-цзы" делается вызов "здравому смыслу"[58].

Относительно загадки в древнеиндийской традиции, где она играла весьма важную роль и принадлежала сфере священного и ритуального и как таковое использовалась и в неритуальных текстах (или текстах, не являющихся непосредственно ритуальными, но использующихся в ритуалах, ср. "Ригведу"), говорится в части II этой работы (*брахмодья*). Стóит подчеркнуть, что загадка относится уже к ведийскому периоду, к числу ранних текстов (во-первых), и что она сложилась как жанровое образование, хорошо известное и широко употребляемое и в поздней санскритской литературе, во-вторых. Информация древнеиранских текстов о загадке и сродных ей явлениях более скудна, но едва ли можно сомневаться, что исходная ситуация была близка к ведийской. Во всяком случае использование длинных вопросительных цепей в текстах, трактующих вопросы творения, смысла жизни и ее высших ценностей, как и по сути дела "загадочные" цепи, институализированные в жестких жанровых формах и имеющие своим содержанием "порядок" творения и его состав (ср. *брахмодья*), как, например, в более поздних "Бундахишне", "Риваяте" или "Затспраме" (ср. Molé 1963, 113 и сл.; Топоров 1971 и др.), подтверждает это предположение.

В отношении загадки древнееврейская традиция занимает особое место. Загадка как жанровая форма устной словесности, возникшая в долитературный период, нашла в Библии весьма емкую содержательно, тематически, жанрово и стилистически форму, которую она и усвоила себе, что и предопределило новый статус ее бытия (это относится не только к загадке, но и к ряду других фольклорных форм). Ветхозаветные тексты не только знают явление загадки, но и соответствующим образом называют ее и операции, с нею связываемые — разгадывание-отгадывание и загадывание (около полутора десятков примеров). При этом с помощью загадки организуются не только некие микро-контексты или во всяком случае небольшие контексты, но, что, пожалуй, еще важнее, каждое введение загадки отсылает к некоему существенному аспекту, отсылающему или к прошлому состоянию загадки, или к ее функциям; загадка практически никогда не выглядит цитатой, но обладает определенной композиционно-тематической задачей. Загадка связывается с мудростью и знанием ("Уста мои изрекут премудрость, и размышления сердца моего — знание. Приклоню ухо мое к притче; на гуслях открою загадку мою". Псалт. 48, 4—5 [ритмическая стиховая форма загадки подтверждается и реальной формой загадки, ср. Суд. 14, 12—18]; ср. Притчи Солом. 1, 2—6: "Чтобы познать мудрость и наставление, понять изречения

[58] Вопросо-ответные диалоги, организующие целые главы, характеризуют и еще одно известное произведение той эпохи — "Гуань-цзы".

разума; | Усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты; | Простым дать смышленость, юноше — знание и рассудительность; | Послушает мудрый и умножит познания, и разумный найдет мудрые советы, | Чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и з а г а д к и их"), с испытанием в мудрости (царица Савская, услышав о славе Соломона, "пришла испытать его з а г а д к а м и" /3 Цар. 10, 1/, "И объяснил ей Соломон все слова ее, и не было ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснил ей. | И увидела царица Савская всю мудрость Соломона..." /10, 3—4/). Наконец, в двух случаях загадки вырастают в своего рода картину, которая включена в композиционную и смысловую структуру текста. Таковы, в частности, загадка, которой посвящена по сути дела вся глава 17 "Книги пророка Иезекииля" (17, 1—24): "И было ко мне слово Господне: | Сын человеческий! предложи з а г а д к у и скажи притчу к дому Израилеву" (17,1—2), после чего следует развернутая загадка-"картинка" (орел, кедр и виноградная лоза, и как бы объединяющий эти образы "сюжет", смысл чего объяснил Господь своему пророку в виде своего рода пророческого истолкования). Еще более известна загадка, предполагающая некий сюжет, связанный с фигурой Самсона (ср. Суд. 14, 12—19). Именно в этом фрагменте отмечается наибольшее сгущение слов, относящихся к загадке и соответствующим операциям: "И сказал им Самсон: З а г а д а ю я вам з а г а д к у; если вы о т г а д а е т е [...] и отгадаете верно, то я дам вам [...] Если же не сможете о т г а д а т ь мне, то вы дайте мне [...]. | И сказал им: *из ядущего вышло ядомое, и из сильного вышло сладкое.* И не могли о т г а д а т ь з а г а д к и в три дня. | В седьмой день сказали они жене Самсоновой: уговори мужа твоего, чтобы он р а з г а д а л нам з а г а д к у; иначе сожжем огнем тебя и дом отца твоего [...]. | И плакала жена Самсонова пред ним: [...] ты з а г а д а л з а г а д к у сынам народа моего, а мне не р а з г а д а е ш ь ее. Он сказал ей: отцу моему и матери моей не р а з г а д а л ее; и тебе ли р а з г а д а ю? | И плакала она пред ним [...]. Наконец, в седьмый день р а з г а д а л ей [...] А она р а з г а д а л а з а г а д к у сынам народа своего. | И в седьмый день [...] сказали ему: *что̀ слаще меда и что̀ сильнее льва!* [...] | И сошел на него Дух Господень [...] и отдал перемены *платья* их р а з г а д а в ш и м з а г а д к у. И воспылал гнев его, и ушел он в дом отца своего"[59] (характерно, что сама разгадка загадки /ответ/ облечена в загадочную форму, нуждающуюся в свою очередь в изъяснении). Разумеется, что эти примеры лишь вершина айсберга, открываемая читателю Ветхого Завета. Впрочем, видим в очень значительной степени и сам "загадочный" контекст: вопросо-ответные диалоги-прения Иова с Господом, страстно-напряженные и ищущие истину-справедливость, определяют существеннейшую часть "Книги Иова" (не приходится говорить, что подобная же структура отражена в разных местах этого текста, с меной участников диалога)[60]. Несом-

[59] В связи с мотивом свадебных загадок весьма любопытно введение в следующем стихе мотива бракосочетания жены Самсона (после его ухода из дома) с брачным другом его (14, 20).

[60] Ср. диалог-"прение" Бога и Сатаны в начале "Книги Иова" и др.

ненно, что этот способ нахождения истины был усвоен и в теологических рефлексиях и в религиозных текстах с "воспитательной" направленностью (где он нередко опускается до чисто технического приема). Однако во многих наиболее драматических и патетических текстах вопросо-ответный диалог обнаруживает все многообразие, изощренность и оригинальность своих возможностей, свидетельствуя свою связь с высокой поэзией и высокой риторикой.

Особое место занимает и а н т и ч н а я (прежде всего древнегреческая) "загадочная" традиция, полнее всего отражающая состав загадок, построившая "загадочные" конструкции высокого философского и художественного смысла и описавшая их в первых "загадочных" таксономиях. Значительная информация о том, в какой круг входила загадка в древнегреческой традиции и какие функции и операции с ней связывались, может быть уже извлечена из довольно представительного набора слов, которыми, в частности, обозначалась и загадка, ср. αἴνιγμα (но и 'туманная речь'; 'иносказание', 'басня'), αἶνος (но и 'повествование', 'повесть', 'рассказ', 'речь'; 'басня', 'притча'; 'изречение', 'поговорка'; 'похвальное слово' и т.п.), γρῖφος (но и 'сеть'; 'запутанная речь'), ζητήματα (но и 'искание', 'отыскивание', 'розыск'; 'расследование', 'исследование', 'предмет исследования', 'вопрос'), απορiαι (но и 'непроходимость', 'трудность'; 'недостаток', 'отсутствие'; 'нужда', 'бедность' и т.п., ср. ἀπορία), ἄπορα ἐρωτήματα (букв. — 'трудный', 'непреодолимый вопрос', ср. ἐρώτημα 'вопрос'), προβληματα (ср. πρόβλημα 'выступ', 'мыс'; 'защита', 'преграда', 'оплот', 'прикрытие'; 'предприятие', 'начинание'; 'задача', 'вопрос', 'проблема'; 'трудность'), ὁμοιώμαια (ср. ὁμοίωμα 'подобие', 'изображение', 'образ'; 'сходство'). Как антоним загадки рассматривалось простое ("незагадочное", ясное при прямом, как бы не требующем каких-то дополнительных интеллектуальных усилий), незамысловатое речение — ἁπλοῦς λόγος.

Очень рано загадка соединилась в древнегреческой традиции с м и ф о м и с а г о н а л ь н ы м началом, полнее всего воплощенным в институализированной состязательной форме. Наиболее знаменитый пример загадки в мифе — два ключевых момента в истории Эдипа — отгаданная им своевременно загадка, заданная ему Сфингой (языковая форма этой загадки позволяет со всей ответственностью говорить о том, что здесь речь идет об архаическом индоевропейском наследии, подтверждающемся и следами его отражения в других древних традициях), и загадка, разгаданная слишком поздно и относящаяся по сути дела к проблеме верной самоидентификации — Кто я? (Топоров 1977, 181—213; Иванов 1994 и др., см. ниже). Другой известный пример загадки в мифе интересен тем, что введен в контекст состязания загадками. Речь идет о сюжете, отмеченном в ряде источников (Appolod. epit. VI, 3—4; Strab. XIV, 1, 27, со ссылкой на Гесиода). Знаменитому ясновидцу Калханту, получившему дар прорицания от своего деда Аполлона (Hom. Il. I, 69—74) и успешно использовавшему его (истолкование знамения со змеей, уничтожившей восемь птенцов и их мать /Il. II, 300—332/ и др.), было предсказано, что он умрет, когда найдется ясновидец с еще бóльшей, чем у него, силой. Так это и случилось,

когда в состязании в загадках Мопс, сын ясновидящей Манто и внук прорицателя Тиресия (ср. μάντις 'прорицатель'), победил Калханта, скончавшегося от огорчения или, как иногда предполагают, покончившего жизнь самоубийством (мотив роковой загадки, цена которой — жизнь или смерть)[61]. Продолжение этой традиции состязаний в загадках нашло для себя удобную форму в идиллическом жанре[62], лучшие образцы которого можно выделить в феокритовской идиллии V (в центре ее — состязание в амебейном пении между Коматом и Лаконом, обменивающимися короткими двустишиями, скоординированными по содержанию и форме; ср. призыв к спору, борьбе, состязанию в αὐτόδε μοι ποτέρισδε αυτόδε βουκολιάσδευ. V, 60) и позже в эклоге III из вергилиевых "Буколик", образцом для которой послужили IV и V идиллии Феокрита. В ней также участники (Меналк и Дамет) обмениваются репликами в амебейном состязании. Нередко этот диалог направляется вопросо-ответными узлами или вариантностью парных реплик, сохраняющих в обеих своих особенностях черты формального сходства ключевых элементов при расходящихся в разные стороны смыслах или содержательных элементах, фиксирующих иную позицию каждого из участников (ср.: Дамет. *Первый Юпитеру стих — все полно Юпитером, Музы* [...] Меналк. *Я же — Фебом любим* ... и т.п.). Особенно характерна пара двустиший 104—105 и 106—107, где перед нами две, хотя и различные (при одинаковом зачине — *Dic, quibus in terris.* Bucol. III. 104, 106), загадки: Дамет. *В землях каких, скажи, — и признáю тебя Аполлоном!* — | *Неба пространство всего шириною в три локтя открыто?* — Меналк. *В землях каких, скажи, родятся цветы, на которых* | *Писано имя царей? — и будет Филлида твоею* в сопровождении заключения арбитра состязания Палемона (*Нет, такое не мне меж вас разрешать состязанье.* | *Оба телицы равно вы достойны...* III, 108—109), имя которого тоже составляет загадку анаграмматического типа, легко, впрочем, разгадываемую при знании реалий (за Палемоном стоит Азиний Поллион,

[61] Ослабленная форма "роковой" загадки предполагается в сообщаемой Плутархом истории встречи Александра Великого с индийскими гимнософистами, которые советовали воевать против него, защищать город, теперь им взятый. Александр призывает десять мудрецов и задает им "апории". Условия этой игры загадками таковы: ответившему хуже всех — смерть; тому, кто будет выносить правильное суждение об ответах — жизнь. Большинство вопросов, задаваемых Александром (игра идет в одни ворота), в преобразованном виде сохраняют следы "космологических" загадок и, очень вероятно, могут предполагать в виде источника нечто продолжающее традицию ведийских *брахмодья* (Что больше — море или земля?; Что было прежде — день или ночь? и т.п.). Ответы на эти вопросы не столько испытание в мудрости, сколько искусство софистифицирования и упражнения в логических фокусах, смысл которых в придании неразрешимому формы решения (квази-решения) вопроса. Несмотря на поздний характер этого текста, он очень интересен в культурно-исторической перспективе, поскольку позволяет думать о встрече на "индо-греческой" почве Кушанского царства индийской "брахмодической" мудрости с софистической логикой. См. Wilken 1923; Хейзинга 1992, 131—132 и др. Ср. вопросы Милинды (< Менандр), обращенные к Нагасене и составляющие основу (вместе с ответами) знаменитой "Милиндапаньхи".

[62] Др.-греч. *εἰδύλλιον*, существительное с уменьшительным суффиксом, обозначающее картину, образ (но и, конечно, идиллию), ср. *εἶδος* 'вид', 'внешность', 'образ', 'характер', 'род', 'форма', см. выше о "картиночных" загадках, "загадках-картинках".

которому Вергилий отдает на суд свою эклогу, как вручают Палемону право суда Дамет и Меналк; ср. *Palaemon : Pollio, -onis*). Разгадка первой загадки дается Сервием: небо кажется шириной в три локтя, когда оно отражено в водоеме. Разгадка второй загадки более сложна, поскольку она требует включения языкового уровня: речь идет о гиацинтах, в рисунке на лепестках которых греки усматривали буквы AI или Y, соответствующие именам Аякса и Гиацинта; из крови их вырос, согласно мифу, этот цветок. О разгадке третьей загадки — загадки имени Палемона — уже сказано.

Введение загадки в литературу или в то, чему суждено было стать вскоре литературой, фиксируемой письменно, стало достижением греческой словесной культуры: эпос (Гомер, Гесиод), лирика (Феогнид), трагедия (Софокл), комедия (Аристофан), не говоря уж об относительно поздних явлениях эллинистической литературы, как греческий роман или полная загадок монодрама Ликофрона "Александра", где нагнетение метафор, перифраз, уводящих от прямого смысла ходов образует мощное "загадочное" поле, узлы которого образуются теми "необычными словами", о которых говорил Аристотель в "Поэтике", в частности, в связи с загадкой ("всё уклоняющееся от общеупотребительного"). Весьма важным завоеванием древнегреческой науки было исследование загадки, ее свойств и ее связей со смежными жанрами и речевыми типами (варваризм, глосса и т.п.). Вклад Аристотеля в изучение загадки весóм, при этом его несомненной заслугой была не только первая известная попытка поставить загадку как проблему поэтики, но и открытие этой проблемы как я з ы к о в о й (см. выше), где в центре оказывается сам тип "загадочного" речения и — шире — "загадочной" речи. Инициатива Аристотеля была подхвачена его учеником Клеархом, определившим, что γρῖφος πρόβλημα ἐστι παιστικόν, προστακτικὸν τοῦ διὰ ζητήσεως ἐυρεῖν διανοία τὸ προβλητόν ("Περὶ γρίφων"), выдвинувшим некую теорию загадки и предложившим различение семи видов загадки (существенно, что Клеарх свидетельствует о былой связи загадки с философией и с некоторыми интеллектуальными амбициями: разгадывание загадок как философское упражнение, позволяющее показать образованность — παιδεία (о связи загадки с философией см. выше). Параллельно развертывается работа в двух направлениях — собирательство (сборники загадок Пифагора и Клеарха) и классификация (ср. "Περὶ τρόπων" Трифона /Rhet. Gr. 3, 193/: членение загадок на шесть родов и др.). Позже продолжаются разыскания и в области теории загадок, где ведущая роль принадлежит риторике (любопытно, что различались числовые, буквенные, рисуночные и другие загадки, что свидетельствует не только о разнообразии форм загадки, но и о возможности распространения пространства загадки за пределы "словесного"). Более скудны данные о загадке в д р е в н е - и т а л и й с к о й культуре, хотя нет сомнения ни в наличии этого жанра и игр-загадок, ни в последовательном возрастании роли загадки в литературе (изредка в римской комедии, у Вергилия, у Петрония и далее вплоть до Авсония [ср. такие упражнения, как "Технопегнии", особенно "Вопросы и ответы", "О частях тела", "О разных предметах",

а также отчасти и "Гриф о числе три"]), ни в интересе теоретического характера, проявляемом к загадке (ср. Quint. Inst. or. 7, 9, 8 и др.). Особо следует отметить, что на рубеже IV и V вв. н.э. Симфосием были сочинены 100 загадок-стихотворений, что предвещало новые пути загадки в последующие столетия, уже в эпоху Средневековья[63].

Разумеется, что и в древности существовали традиции, данные которых могли отчасти пополнить "историческую" панораму загадки. Так же, как и в существенно более поздних традициях (романских, германских, славянских, финно-угорских и т.п., если говорить о Европе) отмечается много оригинального и существенного, имеющего отношение и к выяснению или уточнению природы загадки, и к ее функциям, и к вопросу о ее происхождении, однако этот материал слишком обилен и разнороден, а иногда и избыточен (воспроизводство сходных типов), чтобы быть здесь изложенным[64].

---

[63] Из исследований об античной загадке ср. Ohlert 1912; Schultz 1909—1912; Schultz RE I A, 162—125; Luyten 1936, 174 ff.; Huizinga 1938; Хейзинга 1992, 124 сл.; Porzig 1955, 236 ff.; Jolles 1956; Kleine Pauly 1979 и др.

[64] В самом общем виде можно напомнить о том, что известно о загадке по свидетельствам старой русской традиции. Показательны языковые данные о слове *загадка, загадывать, загануть* и под. Указывают, что слово *загадка* как обозначение жанра загадки употребляется начиная с текстов XV в., а более ранние примеры неизвестны (Слов. русск. яз. XI—XVII, 5, 1978, 163), хотя в другом источнике приводится пример из текста до XV в., правда, в приписке: *загодъка заюць пробѣже а ловець оута.* Парем. XIV (1) 69 об. (Слов. др.-русск. яз. XI—XIV, 1990, т. III, 293). Нужно признать, что такая поздняя фиксация слова *загадка* в письменности несколько неожиданна, поскольку сами загадки фиксируются в текстах и существенно более раннего времени. Существенно также, что слово *загадка* обозначало не только загадку в узком смысле, но и гадание, хотя примеры этого значения фиксируются лишь в XVII в., ср.: *И многие человѣцы, неразумьемъ, вѣроуютъ въ сонъ, и в встрѣчю* [...] *и загадки загадываютъ.* АИ IV, 125 (1649 г.); *У Андрюшки де Безобразова ворожилъ онъ костми, по его, Андрюшкинѣ, загадкѣ: возмутъ ли его, Андрюшку, къ Москвѣ* [...]. Шакловит. II, 395 (1690); *жонка, татарка, по его, Андрюшкинѣ, загадкѣ ворожила ему на денгахъ: гадала про здоровье великого государя царя.* Там же, 395 (Слов. русск. яз. XI—XVII, 5, 1978, 163). Также важно подчеркнуть, что примеры употребления слова *загадка* в узком смысле в старорусской письменности ограничиваются сугубо литературными текстами и имеют в виду "книжную" загадку, как правило, с почтенной традицией. Чаще всего речь идет в этом случае о Соломоновых загадках, ср.: *Се же бы<сть> загадка ... ко цр҃ю Соломону* (Суд Солом.). Сб. Кир.-Б. мон. 23, XV в. или: *И царь Давидъ на своей потѣхѣ тѣшится и ... гостямъ великую загадку загану: гости замореня! по конец моего царьства стоить древо златовѣтвие, у того древа самоцвѣтное камение ... отгоните тому древу цѣну, и вы въ моемъ царствѣ торгуйте без пошлины, аще не отганете тому древу цѣны, и мнѣ съ васъ головы поснимать* (О ц. Солом.). Лож. и отреч. кн., 64 (XVII в.); но и: *Царь же пове(лѣ) имъ три загатки отгадат(ь).* Пов. о Басарге, 295 (XVII в.). Такая же нижняя хронологическая граница фиксации и те же литературные источники у соответствующего глагола. Ср. свидетельство, относящееся к характерной загадке "идентификации" в родстве, стоявшей и перед Эдипом: *И зачаша обѣ дщери Лотове от бц҃а своег<о> ... Загону ж<е> старѣишая сну своему глщи: твои бц҃ь мнѣ бц҃ь, твои дѣд мнѣ муж, ты мнѣ брат и аз тобѣ мт҃и.* Палея Толк.[2] 86 (1477 ∞ XIII в.). Исключением нужно считать текст новгородской берестяной грамоты № 10: *загадка: есть град между нобом и землею, а к ному еде посол без пути | сам ним везе грамоту непсану* (Янин, Зализняк 1986, № 10). Эта надпись, сделанная на ободке берестяной чашечки, представляет собой известный и по рукописям и по устной традиции тип загадки, заимствованный из апокрифи-

ческой литературы (указано В.П. Адриановой-Перетц). Ответы загадки: град — Ноев ковчег, посол — голубь, грамота — масличная ветвь, оповещающая о прекращении потопа. Грамота датируется тоже XV в. О *загадке, загадать* в XVIII в. см. Слов. русск. яз. XVIII, 7, 1992, 191—192.

Тем не менее было бы ошибочно на основании поздней хронологически фиксации слова *загадка* в русском языке делать непосредственные выводы относительно степени знакомства с самой загадкой и распространения этого явления в древнерусской культуре. Вместе с тем признать эту позднюю фиксацию чистой случайностью тоже едва ли можно: сам этот факт нуждается в объяснении, и, видимо, наиболее осторожное и вместе с тем реальное состоит в предположении у этого слова некиих нежелательных коннотаций, отсылающих к сфере языческого или, по меньшей мере, неофициального, внехристианского. Во всяком случае нельзя пройти мимо того факта, что в новозаветных текстах не встречаются совсем такие слова, как *загадка, гадать, гадание, гадатель,* тогда как они достаточно употребительны в ветхозаветных текстах. Христос говорит притчами, в которых многое безусловно заслуживает быть названным загадкой с разгадкой, но никогда слово *загадка* не появляется в этом контексте. Загадками говорят Соломон и царица Савская, Давид и Тарсис, языческие цари, жрецы, волхвы, и в этом случае слова *загадка, загадывать, гадать* вполне на месте. Когда же загадками говорят христиане, слово *загадка*, как правило, не появляется или заменяется чем-то более "приличным" (*притча* и т.п.). Впрочем, и само загадывание часто носит на себе отпечаток своей принадлежности к некоей маргинальной сфере, обращение к которой требует особой осторожности, даже если загадки задают будущие святые — княгиня Ольга или Феврония. И когда в XVII в. началась последовательная борьба с остáтками язычества, то "загадка" была рассекречена, и ей, по сути дела, был вынесен приговор. Но, может быть, особенно важно, что именно в текстах этого времени она впервые так ярко обрела свой "народно-языческий" контекст. Ср. документ от 13 декабря 1650 г.: "В Сибири [...] умножилось [...] глумление и скоморошество со всякими бѣсовскими играми [...] и медвѣди водять и с собаками [...] о Рожествѣ Христовѣ и до Богоявленьева дня сходятся мужеского и женского полу многие люди и бѣсовское сонмище [...] играют во всякие бѣсовские игры, а в навечерие Рождества Христова и Васильева дни и Богоявления Господня клички бѣсовские кличут, каледу и таусень и плуту [плуту. — *В.Т.*] [...] вѣроуют в сон, и в встрѣчю и в полаз, и в птичий грай и загадки загадывают, и сказки сказывают [...] и накладывают на себя личины и платье скоморожское, меж себя нарядя бѣсовскую кобылку водят" (Акты Историч. IV, 124—125).

Если говорить о загадках в старой русской письменности, то существенно различие между "своими" и "чужими" источниками — и не только потому, что вопрос происхождения сам по себе достаточно важен. Когда речь идет о загадках в оригинальных русских текстах, то создается впечатление, что перед нами нечто более расплывчатое и не вполне "жанровое" по сравнению с "канонической" формой загадки, с которой русские люди познакомились по переводам "чужих" источников достаточно рано и которую они, несомненно, полюбили и сделали "своей" (во всяком случае мы с достоверностью можем судить о популярности именно этих типов загадки). В русских источниках данных о загадке очень мало, и они ориентируют на более широкое понимание того, что исследователи квалифицируют как загадку. Речь идет скорее не о загадке, а о загадочном "языке", то есть скорее о стиле, нежели о жанре. Именно так, видимо, нужно понимать "загадки" Ольги древлянам-сватам: это — трехчастная ритуализованная речь, имитирующая традиционную свадебную обрядность, в которой говорится о ладье, бане и пире и вовсе не требуется от сватов, чтобы они поняли смысл иносказания. Скорее это — трехкратная иносказательная фиксация в слове совершающегося акта мести, возмездия, где и ладья, и баня, и пир подчеркивают одно и то же и неотвратимость его совершения — смерть. Во всяком случае в "загадках" Ольги нет двух равноправных сторон, и ладья — есть реальная вещественная ладья, баня — баня, а пир — пир, и именно для самой Ольги была важна эта двусмысленность употребляемых ею слов. Загадка без ответного отклика — не загадка: ожидать же от древлян ответа и тем более желать его Ольга не могла, так как ответ ставил бы под сомнение осуществление ее мести. Ее "загадочная" речь — типичный образец "посольской" речи — тем бо-

лее, что древлянские мужи пришли к Ольге именно как послы (*Посла ны Дерьвьска земля...*). Конечно, Ольга могла совершить свою месть не хитростью, а силой, но это уже не было бы ритуалом возмездия и имело бы другой ранг. "Посольский" язык, разумеется, суггестивен и таит в себе возможность разной интерпретации. Более того, он может быть не словесным, но "вещным", "поведенческим".

Такая ситуация возникла, когда поляне на требование хазар дани дали им "от дыма мечь", и мудрые хазарские старцы поняли: "Не добра дань". "Посольский" язык для того и нужен, чтобы сохранить некоторую двусмысленность, оставляющую в дальнейшем возможность разных выборов. Пока поляне не были готовы поднять мечи на хазар, но намекнуть на такую возможность они хотели, и этот намек был понят хазарскими мудрецами. Но если бы хазары слишком всерьез приняли этот намек и увидели бы в нем угрозу себе, требующую жесткого ответа, то поляне все-таки имели бы возможность отступить: мечи, мол, тоже ценность (кстати, бóльшая, чем хазарские сабли, что понимают и сами хазары), и вполне могут быть предметом дани. Собственно говоря, так же надо понимать "загадку" князя Ярослава, заданную им через п о с л а, тайно посланного к своему стороннику Святославу, с тем, чтобы узнать о возможности сражения. "Что ты тому велишь творити: меду мало варено, а дружины много", — спрашивал Ярослав, на что ему через посла было отвечено: "да аще меду мало, а дружине много, да к вечеру дати". Получив ответ, Ярослав понял, "яко в нощь велить сещися" (Новгор. летоп., запись под 1016 г.).

Особое место в отношении загадок в старой русской литературе занимает знаменитая "Повесть о Петре и Февронии" (XV или, как иногда предполагают, XVI в.), богатая фольклорно-языческой топикой, несомненно, еще не иссякшей к тому времени в глухой Муромской земле. Строго говоря, в повести нет загадок: ни Феврония, ни кто-либо другой загадок не задают, ситуация состязательности отсутствует, выбора мудрейшего через испытание загадками или хотя бы "умными" вопросами не происходит: преимущество девы Февронии в мудрости очевидно и без того (впрочем, исцеленный от тяжкой болезни Петр одно время задумывался, не отказаться ли ему от данного им своей исцелительнице обещания жениться на ней. ["Како князя сущу древолазца дщи пояти себе жену!"], и подослал — в поисках предлога для отказа — к ней слугу "девицю же хотя во ответех искусити, аще мудра есть"). Если же кому что-то неясно, он спрашивает о смысле сказанного, и ему тут же разъясняют непонятное. Именно так и случилось, когда юноша, посланный Петром в поисках врача, "вниде в дом и не бе, кто бы его чюл" и увидел "видение чюдно: сидяше бо едина девица, ткаше красна, пред нею же скача заец". Приход был неожидан для Февронии, отчасти смутил ее и вызвал восклицание — "Нелепо есть быти дому безо ушию и храму без очию!" Юноша, не поняв, спросил деву, где хозяин дома (вопрос отнюдь не "загадочный"), и она ответила: "Отец и мати моя поидоша взаем плакати. Брат же мой иде чрез ноги в нави зрети". Собственно, в этих двух высказываниях обычно и видят загадки, хотя ситуация в данном случае отнюдь не загадочная. Юноша не понял и этого ответа на его вопрос, и Феврония терпеливо и довольно подробно разъяснила ему все разом — что уши дома — пес, который услышал бы подходящего к дому человека и залаял бы, а глаза храма — дитя, который увидел бы незнакомца и сообщил бы о его приходе; что отец и мать ее ушли на похороны и там плачут и, когда они умрут, по ним будут плакать другие (отсюда — "заимованный плач"); что, наконец, брат ее — древолазец и пошел сегодня на дело: надо лезть на дерево вверх, глядя через ноги на землю, чтобы не сорваться с высоты и не погибнуть. И в этом случае перед нами не столько загадка (хотя на том же материале легко могла бы быть построена загадка), сколько характерный иносказательный язык, особый стиль и, можно думать, особая манера речи, так свойственная иным мудрым людям из народа, которые, будучи немного не от мира сего и видя мир иначе, чем другие, тем не менее прочно стоят на земле и нередко весьма практичны. Во всяком случае и ряд других речевых партий Февронии свидетельствуют, что тип ви́дения и такой тип схватывания увиденного словом для нее естествен: от сказочных дураков и житийных юродивых вроде Михаила Клопского до Марьи Тимофеевны Лебядкиной тянется вереница носителей такого языка и такой речи. Назвать их загадочными вполне можно, но не в терми-

нологическом, а в некоем ином, более широком смысле (тем более, что "загадочное" представлено в повести и в других местах, начиная с таинственного речения Змея в ответ на вопрос, отчего он умрет: "Смерть моя есть от Петрова плеча, от Агрипова же меча"), ср. Повесть 1979; Скрипиль 1949, 131—167; 1946, 35—39; Росовецкий 1973, 83—87 и др. Представляется, что сама фиксация этого типа речи, столь богатого "потенциальными", но чаще всего не эксплицированными загадками, и составляет как раз то основное из связанного с жанром загадки, что было сохранено в оригинальных памятниках старой русской письменности.

Совсем иным с точки зрения загадки оказалось наследие той части старой русской литературы, которая имела своим источником заимствованные тексты, восходящие к восточной, реже античной, а позже и западноевропейской традициям и усвоенные русской литературой непосредственно через Византию или через посредство южных славян. Особое место в этом отношении занимает знаменитая "Беседа трех святителей", хотя она и является лишь ядром того более обширного контекста, куда входят и "Пчелы", "Цветники", "Синодики", "Азбуковники", отчасти связанные с "Беседой", соответствующие фрагменты Псалтыри, загадки из повествовательной литературы типа "Повести об Акире Премудром", "Повести об Аполлонии Тирском", повестей Соломонова цикла, жития Езопа и т.п., из многочисленных рукописных сборников и др. "Беседа трех святителей", апокрифическое сочинение, в основе которого лежит топика книги "Бытия" и ее пересказ в "Толковой Палее", была известна по славянскому переводу уже с XI в. "Беседа" происходит между Иоанном Златоустом, Василием Великим и Григорием Богословом, чей высочайший авторитет придает особое значение этому тексту. Вопросо-ответная форма реализует в тексте "Беседы" и собственно "притчевые", и "притчево-загадочные", и, наконец, исключительно "загадочные" структуры. Два последних типа, различение которых в значительной степени зависит от объема текста и соотношения первой (вопросной) и второй (ответной) части, имеют непосредственное отношение к теме загадки в древиерусской литературе. Примерами "загадочного" текста могут быть "короткие" тексты из "Беседы" типа: "*Григорий рече*: Кая мати дети своя съесть? — *Иоанн рече*: Море реки (ср. загадки о море как матери, пожирающей своих детей — Перетц 1932, 173) или "Что есть: два стоят, два идут, два минуются? — Два стоять — небо и земля, а два идут — солнце и луна, а два минуются — день и нощь", или "Что есть: четыре орлы яйцо снесли? — Четыре евангелисты написали Святое Евангелие" и т.п. Примером "притчево-загадочной" структуры может служить текст о Моисее: "*Василий рече*: Водян замок, древян ключь, заяц убегл, а ловец утопл? — *Иоанн рече*: Моисей удари жезлом и проведе люди своя сквозе Чермное море. Тогда начаша пещи опресноки на главах от солнца, Господеви на службу". К числу излюбленных "притч-загадок" принадлежали тексты о годе (ср. "О царе-годе", в составе "Месяцеслова" и "Пасхалии", "О годе" в "Повести о Акире Премудром" и в "Житии Езопа" и др., ср. Перетц 1932, 176 и след.; Aarve 1918—1920, 74—178), о человеке, о теле человеческом, о душе и теле, о мире и т.п., вплоть до весьма конкретных тем — о горшке, о жернове, о печи, о стреле, о пчелах и т.п., см. Др.-русск. притча 1991, 381—415 и др. Сама теснота связи загадки с притчей, как бы образующей "загадочный" локус, с апологом, даже "анекдотом", очень существенна для определения статуса "литературной" загадки в древнерусской литературе, но точно так же характерна близость загадки с пословицей и поговоркой, границы между которыми часто или расплывчаты, или достаточно условны. Уже указывалось, что целому ряду пословиц из сборника Симони соответствуют в более поздних источниках загадки. Ср. *Бочка стонетъ бояря пьютъ* (Симони 1899, 79) — *Бочка стонет, бояре пьют — Свинья и поросята* (Загадки 1968 №1138, ср. 1139) или *Не всякъ то таковъ что Иванъ Толмаковъ, и едчи на конь, да поѣхалъ в огонь* (Симони 1899, 126) — *Ах, каков Иван Поляков: сел на конь и поехал в огонь — Горшок на ухвате* (Загадки 1968, №3752, ср. 3748—3755) и др.

Но среди всех старых источников, так или иначе связанных с загадкой, совершенно уникальное место занимает "Голубиная (Глубинная) книга" (ср. "Стих о Голубиной книге"), представляющая собой подлинную "загадочную энциклопедию", построенную sub specie состава мира и высших его ценностей и соединяющая в себе старое и новое, литературное и фольклорное, свое и чужое, миф и ритуал, фи-

логенетическое и онтогенетическое (*Откуда...*? и *Что есть...*?). Об этом тексте в связи с загадкой будет сказано особо. Ср. также Веселовский 1872, 179—188; 1881; Мочульский 1887; Архипов 1990, 68—98; ряд статей автора этих строк и др. Из изданий разных вариантов текста "Голубиной книги" ср. Бессонов 1861, 269—378; Варенцов 1860, 11—39; Романов 1891, 288 и сл.; Ляцкий 1912, 7—16; ср. Стихи духовные 1991, 27—37. Основные апокрифические тексты, близкие к "Голубиной книге" — Тихонравов 1863, т.II. В связи с темой "загадка и ритуал" существенны данные некоторых обрядовых фольклорных текстов (колядки, "авсеневы" песни и др., о последних см. Топоров 1993, 15 и сл.).

Общий обзор свидетельств о загадках в древнерусской литературе см. Русск. нар. поэт. творч. 1953, т. I, 163—166, 214—215, 244; Митрофанова 1978, 6 и сл. и др.

(продолжение следует)

Литература

Абрамян 1983 — *Абрамян Л.А.* Первобытный праздник и мифология. Ереван, 1983.

Архипов 1990 — *Архипов А.А.* Голубиная книга: Wort und Sachen// Механизмы культуры. М., 1990.

Афанасьев 1957 — *Афанасьев А.Н.* Народные русские сказки. Т. 1—3. М., 1957.

Байбурин 1993 — *Байбурин А.К.* Ритуал в традиционной культуре. СПб., 1993.

Бахтин 1929 — *Бахтин М.М.* Проблемы творчества Достоевского. Л., 1929.

Бахтин 1965 — *Бахтин М.М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965.

Бахтин 1979 — *Бахтин М.М.* Эстетика словесного творчества. М., 1979.

Белоусов и др. 1992 — *Белоусов А.Ф., Левинтон Г.А., Осповат А.Л., Тименчик Р.Д.* Яков Гин (29 мая 1958 — 18 февраля 1991)// НЛО 1992, № 1.

Бессонов 1861 — *Бессонов П.* Калеки перехожие. Сборник стихов. Т. 1. М., 1861.

Варенцов 1860 — *Варенцов В.* Сборник русских духовных стихов. СПб., 1860.

Веселовский 1872 — *Веселовский А.Н.* Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе .. СПб., 1872.

Веселовский 1881 — *Веселовский А.Н.* Разыскания в области русского духовного стиха. IV (=Сб. ОРЯС XXVIII, 1881).

Витгенштейн 1958 — *Витгенштейн Л.* Логико-философский трактат. М., 1958.

Дерунов 1868 — *Дерунов С.Я.* Описание свадебного обряда // Труды Ярославского статистического комитета. Вып. V. Ярославль, 1868.

Дикарев 1896 — *Дикарев М.А.* О царских загадках // Этнографическое обозрение. Год 8-ой, кн. XXXI. М., 1896.

Др.-русск. притча 1991 — Древнерусская притча. М., 1991.

Елеонская 1907 — *Елеонская Е.Н.* Некоторые замечания о роли загадки в сказке // Этнографическое обозрение 1907, № 4.

Елизаренкова, Топоров 1984 — *Елизаренкова Т.Я., Топоров В.Н.* О ведийской загадке типа *brahmodya* // Паремиологические исследования. Сборник статей. М., 1984.

Загадки 1968 — Загадки. Издание подготовила В.В. Митрофанова. Л., 1968.

Иванов 1993 — *Иванов В.В.* "Память жанра" в текстах "прений" или споров // Славянское и балканское языкознание. Структура малых фольклорных текстов. М., 1993.

Иванов 1994 — *Иванов В.В.*, см. настоящий сборник.

Кёнгэс-Маранда 1978 — *Кёнгэс-Маранда Э.* Логика загадки // Паремиологический сборник. Пословица. Загадка (Структура, смысл, текст). М., 1978.

Колесницкая 1941 — *Колесницкая И.М.* Загадка в сказке // Ученые записки ЛГУ. Серия филологических наук, вып. 12. Л., 1941.

Крамер 1965 — *Крамер С.* История начинается в Шумере. М., 1965.

Кьеркегор 1993 — *Кьеркегор С.* Страх и трепет. М., 1993.

Левин 1978 — *Левин Ю.И.* Семантическая структура русской загадки // Труды по знаковым системам. 6. Тарту, 1978.

Левин 1981 — *Левин Ю.И.* Тезисы к проблеме непонимания текста // Труды по знаковым системам. 12. Тарту, 1981.

Ляцкий 1912 — *Ляцкий Е.А.* Стихи духовные. СПб., 1912.

Мид 1988 — *Мид М.* Культура и мир детства. Избранные произведения. М., 1988.

Митрофанова 1978 — *Митрофанова В.В.* Русские народные загадки. Л., 1978.

Мочульский 1887 — *Мочульский В.* Историко-литературный анализ стиха о Голубиной книге. Исследование. Варшава, 1887.

Нейман 1956 — *Нейман Дж. фон.* Вероятностная логика и синтез надежных организмов из ненадежных элементов // Автоматы. М., 1956.

Нейман 1960 — *Нейман Дж. фон.* Вычислительные машины и мозг // Кибернетический сборник, вып. 1. М., 1960.

Нейман 1960а — *Нейман Дж. фон.* Общая и логическая теория автоматов // см. Тьюринг 1960.

Перетц 1932 — *Перетц В.М.* Студії над загадками // Етнографічний вісник. Кн. 10. У Київі, 1932.

Песков 1990 — *Песков А.М.* Боратынский. Истинная повесть. М., 1990.

Пиаже 1932 — *Пиаже Ж.* Речь и мышление ребенка. М.-Л., 1932.

Пиаже, Инельдер 1963 — *Пиаже Ж., Инельдер Б.* Генезис элементарных логических структур. Классификации и сериации. М., 1963.

Повесть 1979 — Повесть о Петре и Февронии. Подготовка текстов и исследование Р.П. Дмитриевой. Л., 1979.

Поппер 1992 — *Поппер К.* Открытое общество и его враги. Т. I—II. М., 1992.

Романов 1891 — *Романов Е.Р.* Белорусский сборник. Вып. V. Витебск, 1891.

Росовецкий 1973 — *Росовецкий С.К.* К изучению фольклорных источников "Повести о Петре и Февронии" // Вопросы русской литературы, вып. 1 (21). Львов, 1973.

Симони 1899 — Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. XVII—XIX столетий. Собрал и приготовил к печати Павел Симони. Вып. I. СПб., 1899.

Скрипиль 1946 — *Скрипиль М.О.* Повесть о Петре и Февронии и эпические песни южных славян об огненном змее // Научный бюллетень ЛГУ 1946, № 11—12.

Скрипиль 1949 — *Скрипиль М.О.* Повесть о Петре и Февронии Муромских в ее отношении к русской сказке // ТОДРЛ VII. М.-Л., 1949.

Слов. др.-русск. яз. XI—XIV — Словарь древнерусского языка XI—XIV вв. М., 1990, Т.III.

Слов. русск. яз. XI—XVII — Словарь русского языка XI—XVII вв. М., 1978, вып.5.

Слов. русск. яз. XVIII — Словарь русского языка XVIII в. СПб., 1992, вып.7.

Тихонравов 1863 — *Тихонравов Н.С.* Памятники отреченной русской литературы. Т. II. М., 1863.

Топоров 1971 — *Топоров В.Н.* О структуре некоторых архаических текстов, соотносимых с концепцией "мирового дерева" // Труды по знаковым системам. 5. Тарту, 1971.

Топоров 1973 — *Топоров В.Н.* О космологических источниках раннеисторических описаний // Труды по знаковым системам. 6. Тарту, 1973.

Топоров 1977 — *Топоров В.Н.* О структуре "Царя Эдипа" Софокла // Славянское и балканское языкознание М., 1977.

Топоров 1987 — *Топоров В.Н.* Анаграмма в загадках // Исследования по структуре текста. М., 1987.

Топоров 1988 — *Топоров В.Н.* О ритуале. Введение в проблематику // Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. М., 1988.

Топоров 1992 — *Топоров В.Н.* Из индоевропейской этимологии IV(1). 1. И.-евр. **eg'h-om* (**He-g'h-om*) : **men-*. 1. Sg. Pron. pers. // Этимология 1988—1990. М., 1992.

Топоров 1993 — *Топоров В.Н.* Авсень и "авсеневы" тексты в свете реконструкции // Славянское и балканское языкознание. Структура малых фольклорных текстов. М., 1993.

Топоров 1994 — *Топоров В.Н.* Из индоевропейской этимологии V(1). Еще раз о знаке, знаковом пространстве и мотивировках обозначения знака // Этимология 1991—1992. М., 1994.

Тьюринг 1960 — *Тьюринг А.* Может ли машина мыслить? М., 1960.

Фрагменты 1989 — Фрагменты ранних греческих философов. Часть I. От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики. М., 1989.

Фрейденберг 1936 — *Фрейденберг О.М.* Поэтика сюжета и жанра. Период античной литературы. Л., 1936.

Фрейденберг 1978 — *Фрейденберг О.М.* Миф и литература древности. М., 1978.

Фромм 1992 — *Фромм Э.* Душа человека. М., 1992.

Хайдеггер 1993 — *Хайдеггер М.* Время и бытие. Статьи и выступления. М., 1993.

Хайдеггер 1986 — *Хайдеггер М.* Что такое метафизика // Новая технократическая волна на Западе. М., 1986.

Хейзинга 1992 — *Хейзинга Й.* Homo ludens. В сени завтрашнего дня. М., 1992.

Шейн 1898 — *Шейн П.В.* Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, сказках, легендах и т.п. Т. I. вып. 2. СПб., 1898.

Юнг 1991 — *Юнг К.Г.* Архетип и символ. М., 1991.

Юнг 1992 — *Юнг К.Г.* Собрание сочинений. Т. 15. Феномен духа в искусстве и науке. М., 1992.

Buytendijk 1932 — *Buytendijk F.J.J.* Het Speel van Mensch en Dier als openbaring van levensdriften. Amsterdam, 1932.

Buytendijk 1934 — *Buytendijk F.J.J.* Wesen und Sinn des Spiels. Berlin, 1934.

Durkheim 1912 — *Durkheim E.* Les formes élémentaires de la vie religieuse. Paris, 1912.

Eliade 1954 — *Eliade M.* The Myth of the Eternal Return. Prienceton, 1954.

Eliade 1965 — *Eliade M.* Rites and Symbols of Initiation. New York, 1965.

Freeman 1983 — *Freeman D.* Margaret Mead and Samoa: the Making and Unmaking of an Anthropological Myth. Cambridge. Massachusetts, 1983.

Frobenius 1932 — *Frobenius L.* Schicksalskunde im Sinne des Kulturwerdens. Leipzig. 1932.

Frobenius 1933 — *Frobenius L.* Kulturgeschichte Afrikas. Prolegomena zu einer historischen Gestaltlehre. Phaidon Verlag, 1933.

Fromm 1948 — *Fromm E.* Oedipus Complex and the Oedipus Myth // *Anshen R.N.* The Family: Its Functions and Destiny. New York, 1948.

Goldstein — *Goldstein K.* Language and Language Disturbances. New York, 1948.

Goldstein, Scheerer — *Goldstein K., Scheerer M.* Abstract and Concrete Behavior, an Experimental Study with Special Tests // Psychol. Monogr. 53, 1941.

Guardini 1922 — *Guardini R.* Vom Geist der Liturgie // Ecclesia orans, hrsg. von I.Herwegen. I. Freiburg, 1922.

Held 1961 — *Held M.* // Journal of Cuneiform Studies. XV-XVI. 1961.

Hocart 1936 — *Hocart A.M.* Kings and Councillors. Cairo, 1936. (2nd ed.— 1970).

Hubert, Mauss 1964 — *Hubert H., Mauss M.* Sacrifice: Its Nature and Functions. Chicago, 1964.

Huizinga 1938 — *Huizinga J.* Homo Ludens. Amsterdam, 1938. (2nd ed.— Haarlen, 1958).

Jakobson 1970 — *Jakobson R.* Subliminal Verbal Patterning in Poetry // *Jakobson R.* Studies in General and Oriental Linguistics. Tokyo, 1970.

Jensen 1963 — *Jensen A.E.* Myth and Cult among Primitive Peoples. Chicago, 1963.

Jolles 1925 — *Jolles A.* Rätsel und Mythos // Germanica. Eduard Sievers zum 75. Geburtstage. Halle, 1925.

Jung 1964 — *Jung C.G.* (ed.) Man and his Symbols. New York, 1964.

Karulis 1992 — *Karulis K.* Latviešu etimolog'ijas vārdnīca. I-II. Rīga, 1992.

Kerényi 1938 — *Kerényi K.* Vom Wesen des Festes // Paideuma. Mitteilungen zur Kulturkunde. Hf. 3. 1938.

Kerényi 1940 — *Kerényi K.* La religione antica nelle sue linee fondamentali. Bologna, 1940.

Kleine Pauly 1979 — Der Kleine Pauly. Lexicon der Antike in fünf Bänden. Bd. 4. München, 1979.

Köngäs-Maranda 1971 — *Köngäs-Maranda E.* The Logic of Riddles // Structural Analysis of Oral Tradition, edites by P.Mar and E.Köngäs-Maranda. Philadelphia, 1971.

Landsberg 1984 — *Landsberg B.* Jahreszeiten im Sumerisch-akkadischen // Journal of Near Eastern Studies 8, 1984.

Laser — *Laser S.* Sport and Spiel. Göttingen, 1987.

Leach — *Leach E.* Ritual // International Encyclopedia of the Social Sciences. New York, 1968.

Lévi-Strauss — *Lévi-Strauss C.* La pensée sauvage. Paris, 1964.

Lungman — *Lungman W.* Der Kampf zwischen Sommer und Winter. Helsinki, 1941.

Luyten 1936 — *Luyten van L.* Het klassische aenigma // Philol. Stud. 8, 1936.

Luyten 1938 — *Luyten van L.* Het latinsde aenigma. Louvain, 1938.

Molé — *Molé M.* Culte, mythe et cosmologie dans l'Iran ancien. Paris, 1963.

Newmann — *Newmann von J.* The General and Logical Theory Automata // Cerebral Mechanisms in Behavior. New York, London, 1951.

Ohlert — *Ohlert K.* Rätsel und Geselschaftsspiele der alten Griechen. 1912 (2te Aufl.)

Piaget 1930 — *Piaget J.* Le langage et la pensée chez l'enfant. Neuchâtel-Paris, 1930.

Piaget 1962 — *Piaget J.* Comments on Vygotsky's Critical Remarks. Cambrige. Mass. 1962.

Porzig 1925 — *Porzig W.* Das Rätsel im Rigveda // Germanica. Eduard Sievers zum 75. Geburtstage 25. November 1925. Halle, 1925.

Porzig 1955 — *Porzig W.* // Lexis 3, 1955.

Reichard, Schneider, Rapaport 1944 — *Reichard S., Schneider M., Rapaport D.* The Development of Concept Formation in Children // American Journal of Orthopsychiatry 14, 1944.

Schultz 1909—1912 — *Schultz W.* Rätsel aus dem hellenistischen Kulturkreise. Bd. 1—2, 1909—1912.

Schultz RE — *Schultz W.* // Realenzyklopädie IA.

Turing 1950 — *Turing A.* Computing Machinery and Intelligence // Mind 19, 1950.

Turing 1956 — *Turing A.* Can the Machine Think? // The World of Mathematics. New York, 1956 (=Turing 1950).

Vanstiphout 1984 — *Vanstiphout H.L.J.* On the Sumerian Disputation between the Hoe and Plough // Aula Orientalis. Vol. II. Barcelona, 1984.

Vries 1928 — *Vries de J.* Die Märchen von klugen Rätsellösern // FFC № 73. Helsinki, 1928.

Vries 1934 — *Vries de J.* Om Eddaens Visdomsdigtnig // Arkiv för nordisk filologi 50, 1934.

Wilken 1923 — *Wilken U.* Alexander der Grosse und die indischen Gimnosophisten // SBPAW Bd. 33, 1923.

Zondervan 1928 — *Zondervan H.* Het Spel bej Dieren, Kinderen en Volwassen Menschen. Amsterdam, 1928.

Вяч. Вс. Иванов

Структура индоевропейских загадок-кеннингов и их роль в мифопоэтической традиции

Благодаря более чем полуторастолетним разысканиям в области восстановления индоевропейского поэтического языка начинает проясняться и роль в нем загадок. Они оказываются наименьшими речениями, которые использовались позднее в свернутом виде в составе кеннингов. В настоящем сообщении этот тип индоевропейских речевых единиц изучается на классическом примере загадки Эдипа и некоторых других аналогичных текстов, отраженных, в частности, у Гомера и Гесиода. В духе новейших представлений индоевропейской диалектологии материал для сравнивания с греческим ищется в традициях, предположительно возводимых к греческо-праарийскому (греко-индо-ирано-армянскому) единству. Но далее предполагаются и связи на более древнем (общеиндоевропейском) уровне.

I

Загадке Эдипа одновременно посчастливилось и не повезло в науке нашего века. Структурный целостный подход предполагает понимание части текста на основании сопоставления со всем текстом (в данном случае всем мифом, который является фоном загадки и проясняет условия ее функционирования). Но именно подход к мифу, ставший наиболее распространенным в нашем веке, не всегда прояснял его связь с загадкой Эдипа.

С одной стороны, в работах Фрейда и его последователей, а также Юнга (ср. Аверинцев 1972), были предположены далеко идущие универсальные свойства мифа об Эдипе. Основатель психоанализа полагал, что лежащий в основе этого мифа комплекс носит общечеловеческий характер. Из критических замечаний, давно уже высказанных по этому поводу, более всего заслуживают внимания возражения А.М. Хокарта. Этот блестящий этнолог, по праву недавно признанный одним из предвестников нынешнего преобразования гуманитарных наук по образу и подобию лингвистики (Леви-Строс 1985; Иванов 1968; 1985а; Ivanov 1974; Lévi-Strauss 1984, 263; Ginzburg 1990, 290), ставил в упрек психоаналитикам то, что они занялись универсальными свойствами мифа, не выяснив предварительно этнологических условий его функционирования (Hocart 1972).

Главным образом можно усомниться в повсеместности того конфликта между отцом и сыном, который согласно психоаналитической интерпретации комплекса Эдипа лежит в его основе. Хокарт в качестве альтернативы приводил отношения между дядей по матери (братом матери) и его племянником. В тех обществах, для которых характерен институт авункулата, можно было бы ждать, что конфликт будет иметь место между племянником по материнской линии и его

дядей, а не между отцом и сыном. В древних индоевропейских традициях, преимущественно рассматриваемых в настоящем сообщении, пример такого конфликта представлен в одном из самых ранних хеттских текстов — завещании Хаттусилиса 1-ого. Царь отстраняет от наследования своего племянника по материнской линии (сына своей сестры) и издает указ, по которому никто впредь не должен назначать наследником племянника-сына сестры (Иванов 1957—1958). Сравнительно-историческое индоевропейское языкознание подтверждает гипотезу Хокарта о такой дуально-экзогамной структуре, при которой для индоевропейского периода вероятен авункулат (Гамкрелидзе, Иванов 1984). Соответственно и представленные в фольклоре многих народов, говорящих на индоевропейских языках (в том числе славянских), сюжеты, основанные на бое отца с сыном, вслед за Веселовским можно рассматривать как пережиток времени, когда отец и сын входили в разные экзогамные части (половины) племени (Веселовский 1940, 546; 1989; Жирмунский 1979, 29). С этими архаическими мотивами связан и мотив убийства и поедания собственных детей — "пир Атрея" (Жирмунский 1979, 375—396), где возможны различные типы конфликтов между родственниками, входящими в отличные друг от друга (и в известных случаях враждующие между собой) племенные группы. Таким образом, вырисовываются контуры более емкой теории, в которой психоаналитическое рассмотрение комплекса Эдипа соединилось бы с историческим изучением этнологических характеристик соответствующих обществ. Однако при подходе, сосредоточенном прежде всего на мифе о кровосмешении, едва ли связь с загадкой может пойти дальше предположения Леви-Строса, давшего вероятно наиболее интересный пример постпсихоаналитического структурного этнологического разбора мифа (Леви-Строс 1985). По Леви-Стросу загадка соединяет два несоединимых предмета так же, как кровосмешение соединяет двух несоединимых людей. Анатолий Либерман, подвергший разбор Эдипова мифа у Леви-Строса придирчивой критике, замечает по этому поводу, что если Леви-Строс и прав, то это — скорее правда поэта, а не ученого (Liberman 1984, XLI, ср. там же критическую литературу об этом анализе Леви-Строса). Однако поэтическое прозрение по отношению к загадке может оказаться уместным.

С другой стороны, новейшие и в высокой степени новаторские исследования мифа об Эдипе, его загадки и трагедии Софокла, на этой древней традиции основанной (Топоров 1977), продолжают линию трудов, начатых больше 60 лет назад, но тогда оставленных без должного внимания. Первым из них была статья С.Я. Лурье, напечатанная по-немецки в итальянском сборнике (Luria 1927) и недостаточно оцененная не только на родине ученого, где признание в должной мере до сих пор к нему еще не пришло, но и в других центрах научной мысли. Как недавно заметил Карло Гинзбург, "хотя статью Лурье часто упоминают, она имела очень ограниченное влияние" (Ginzburg 1990, 269; Edmunds 1981, 22—23). Одной из причин этого могло послужить то, что Лурье, намного опередив свое время, решительно отказался от привлечения данных психоанализа, этнологии и истории религии, желая выйти из того порочного круга, о котором недавно вновь заговорил

по тому же поводу Вернан (Vernant, Vidal-Naquet 1972). В этом смысле работа Лурье шла в направлении, казалось бы противоположном предыдущим опытам истолкования мифа и загадки Эдипа. Уклоняясь от психоаналитических разборов, грешивших, как и этнологические и историко-религиозные интерпретации, излишним универсализмом, С.Я. Лурье стремился к собственно мифологическому подходу. Этим он и проложил путь к такому лишь теперь намечающемуся объединению разных наук, когда каждая из них остается независимой, но именно поэтому может внести свой вклад в будущий синтез.

Современного исследователя в этой работе, написанной 65 лет назад, но полностью сохраняющей характер пионерской, подкупают черты той эпохи — времени бури и натиска российского феноменологического формализма, сказавшегося и в строгом ограничении рассматриваемого материала, и в методах формальной записи, его представляющего. Для С.Я. Лурье (как и для В.Я. Проппа в его труде о морфологии волшебной сказки, вышедшем почти в то же время, ср. о сравнении двух петербургских ученых с этой точки зрения Ginzburg 1990, 269) главной задачей было восстановление "праформы" мифа об Эдипе (в духе гетевской морфологии с ее идеей Urform, ср. Иванов, Топоров 1975). Для этого привлекались сходные черты других аналогичных мифов — как греческих, так и ареалов, соседних с греческим и простирающихся на юг до Мадагаскара и на восток до Океании (Luria 1927, 292; Lessa 1961, 49—51, 172—214; Mitchell 1968; Edmunds, Dundes 1981; Ginzburg 1990, 229, 270).

С точки зрения Лурье, в недавнее время принятой и развитой Гинзбургом, для изучения мифа об Эдипе существенно наличие нескольких параллельных версий, где герой умышленно или неумышленно убивает либо своего отца (как Эдип), либо дядю (в том числе дядю по матери, как Телеф: хотя Лурье в этой работе не сопоставляет своих выводов с этнологическими, такая возможность открывается, потому что в подобных греческих мифах можно было бы искать символический аналог отношений авункулата), либо деда, либо, наконец, будущего тестя. К числу общих структурных признаков всей группы мифов принадлежит деформация конечности — ноги или обуви героя, как это теперь детально показал в своем исследовании, развивающем идеи Лурье и Проппа, Гинзбург (Ginzburg 1990, 228—231 и след.): неожиданным образом оказываются друг с другом связаны миф Эдипа и другой широко распространенный сюжет — Золушки. Эта сторона современных исследований мифа об Эдипе приводит вплотную к Эдиповой загадке.

Хотя загадки типа разбираемой ниже Эдиповой (чаще всего в форме загадки о животном: "Какое животное ходит на четырех ногах утром, на двух в полдень, на трех вечером?", но ср. ниже об особом типе животного в индоевропейском прототипе загадки) очень широко распространены с Старом Свете (Aarne 1919, 1 и след.) и отчасти в Новом (Lévi-Strauss 1984, 129 и след.), особенно существенной становится эта загадка по отношению к Эдипу, который свое имя (Οἰδί-πους) получил от распухших ног (Höfer 1965, 740—743; Vernant, Vidal-Naquet 1972; Maxwell-Stuart 1975) и в старости не мог не опираться на палку (ср. Edmunds 1981, 18—19). Тема ног (в аспекте гротескного тела) соеди-

няет имя Эдипа, его биографию и загадку Эдипа. В том же смысле оказывается возможным и сближение с предсказателем и целителем из Фессалии Мелампом — "черноногим" (Kretschmer 1923; Ginzburg 1990, 227, 268; там же литература о Мелампе и других мифологических персонажах, со структурно-типологической точки зрения сопоставимых с Эдипом, в частности, по признаку деформации конечности или обуви). Как показал в своем исследовании, завершающем целый цикл работ об Эдипе, начатых еще Компаретти (Comparetti 1867) и продолженных Лурье и Проппом, Карло Гинзбург, три признака оказываются объединенными в мифах типа Эдипова: деформация ноги и хромота (в том же плане любопытны мысли Фрейденберг 1990, 75—76, о хромоте Гефеста как черте хтонической и объединяющей его типологически с чертом), конфликт с главным родственником типа отца и особенности детства героя. Развивая мысли, намеченные Проппом (ср. Пропп 1946), Гинзбург предполагает след инициационных обрядов в мифе, который явственно соотносится с представлениями о загробном мире.

Входящий в тот же набор основных признаков праформы мифа, что и отцеубийство и поврежденные ноги, рассказ о необычном детстве героя был использован для его сравнения с Саргоном 1-ым Аккадским (ок. XXIII в. до н.э.). Наиболее смелую попытку этого рода предпринял В.К. Шилейко в статье о тексте предсказания у Саргона Аккадского и его отголосках у римских поэтов (Šileiko 1929; мне посчастливилось также найти наброски русского текста статьи в архиве Музея изобразительных искусств им А.С. Пушкина, фонд V, коллекция 20). Шилейко использовал сравнение древнемесопотамских и древнемалоазиатских (из Богазкея) текстов гадания по печени (гепатоскопии) с продолжающими их (через предполагаемое греческое или этрусское посредничество) римскими поэтическими текстами. Целью Шилейко было воссоздание "пратекста" ("Urtext") мифа о царе Саргоне (Шаррумкине), в чем нельзя не видеть разительного сходства с подходом, выраженным в напечатанных в те же годы работах Лурье и Проппа, где сказался тот же дух времени. В статье Шилейко, в частности, говорится: «Шаррумкин был втайне рожден своей матерью. Не зная тайны своего происхождения, он был взращен пастухами среди скота и позднее приведен в дом Ур-Забабы в Киш. Его восхождение на престол было сопряжено с невольным преступлением. На протяжении долгого времени потом его страна была наказана чумой и засухой. Чтобы узнать причину этих бед, Шаррумкин приступает к гаданию на печени, и оно открывает ему его вину. О грехе, который совершил Шаррумкин, повествует летопись...: "из-за греха, который совершил Шаррумкин, разгневался великий повелитель Мардук и голодом заставил его подданных с востока до запада восстать на него, и определил ему не быть погребенным".

Вокруг этого предания соткан в высшей степени своеобразный гепатоскопический эпос, от которого дошло много версий с разным выбором эпизодов» (в этом переводе с немецкого печатного текста статьи я использовал некоторые части найденных мной в архиве русских черновиков). Шилейко полагал, что предания о Саргоне потом «были

переняты в Эдипово предание», но для него оставалась неясной дата этого перенятия. Согласно Шилейко, месопотамское гадание по печени, связанное с Саргоном Аккадским, позднее в недошедшем до нас греческом эпическом звене было перенесено на Эдипа, обстоятельства детства которого внешне сходны с детством Саргона. Противоборство сыновей Эдипа — Этеокла и Полиника — и "Семеро против Фив" предсказываются гадателем по печени у римских поэтов так, что предложенное Шилейко сравнение с месопотамским текстом гаданий кажется возможным. Текст Лукана почти буквально совпадает с вавилонским, хотя нумерологические сходства могут оказаться чисто типологическими. Особенно занимательны предположения об отражении того же эпоса в позднейших сочинениях о потомках Эдипа, отчасти согласующиеся и с выводами Фрейденберг (Фрейденберг 1978, ср. Иванов 1988).

Следующим ученым, в духе той же формалистической традиции сопоставившим рассказы о детстве Эдипа и Саргона, был Пропп, в статье которого обнаруживаются и ссылки на работу Лурье (в частности, на наблюдение Лурье об исполнении предсказаний в мифе). Пропп отмечает, что Саргона и Эдипа объединяют не только предания о начале их жизни, но и значимость стихии воды: «на воду спускаются будущие вожди своих народов... так начинает свой путь и ... Саргон 1, так на путь вождя, царя и полубога вступает ввергнутый в воду Эдип... Особенно интересен для нас царь Саргон. В клинописной надписи он перечисляет все свои подвиги, все сооружения и походы, но начинает историю своего царствования с того, как мать положила его в корзину из камыша, обложила ее глиной и спустила ее на реку. Это — такое же доказательство его величия, как и его сооружения и походы. Это доказывает подлинность и сакральную правомочность его царской власти» (Пропп 1976, 274). Уже после смерти Проппа были найдены такие древневосточные тексты, как миф о сыновьях царицы Каниша (Иванов 1977), подтверждающий верность мысли о том, что пребывание в корзине или в горшке, опущенном в воду, может быть переосмыслено как примета будущего правителя, миф о котором связан с кровосмешением. В этом плане стоит снова обратиться к мифу о Телефе (самое имя которого наводит на предположение об отражении древней малоазиатской традиции). Рассказ о его детстве напоминает миф об Эдипе: когда мать Телефа родила сына, опасного для своего отца, его сперва спрятали в храме, а потом бросили в море в скорлупе или ящике (см. об этом мотиве Cosquin 1908, Holley 1949).

Помимо культурно-исторических и собственно мифологических этюдов об Эдипе, представленных в трудах С.Я. Лурье, В.Я. Проппа, В.К. Шилейко, К. Леви-Строса, Ж.П. Вернана, В.Н. Топорова, К. Гинзбурга, в последние десятилетия продолжалось в известной мере ставшее традиционным для сравнительно-исторического языкознания восстановление индоевропейских основ загадки, которую Сфинга (Сфинкс) загадывает Эдипу. В настоящее время оказывается возможным начать совмещение результатов этих разных направлений исследования. По меньшей мере в двух отношениях выводы языковедов и историков культуры оказываются сопоставимыми. Это касается, во-первых, "ноги" как доминанты — основного образа "гротескного тела"

(в смысле Бахтина), проходящего через весь текст загадки и мифа, во-вторых, нумерологии, отраженной в последовательности чисел (1-2-3-4 с чтением в обратном порядке от больших четных чисел к нечетным 4-2-3-1).

Загадка Эдипа основана на обыгрывании индоевропейского противопоставления "двуногих" (**dwi-pod-*) — людей и "четвероногих" (**k^{w}etur-pod-*) — домашних животных. Эти два метонимических обозначения в индоиранской и италийской традициях встречаются вместе как названия основного "движимого имущества", в хеттской клинописи передаваемого соответственно шумерограммами (или логограммами), ср. Watkins 1979; 1988; 1989: вед. *dvipade catuspade ca* (сочетание встречается в "Ригведе" более 20 раз) = умбр. *dupursus peturpursus* 'двуногие и четвероногие', "люди и домашние животные (скот)" (ср. лат. *bi-pes, quadru-pes*). Отождествление этих древнеиндийского и италийского сочетаний было осуществлено еще в прошлом веке (ср. Weber 1873; Schmitt 1968, 4), но потребовалась проницательность Шульце для того, чтобы сделать следующий нетривиальный вывод — увидеть в загадке сфинкса "не нашу дичь, не домыслы втупик поставленного грека" (из раннего стихотворения Пастернака "Тема" в цикле "Темы и вариации"). Шульце, а следом за ним Порциг поняли, что "перед нами загадка о беременной женщине, которая широко распространена во множестве вариантов, в большинстве случаев в виде загадки о беременном животном или загадки о всаднике и лошади или же в виде соединения двух последних" (Porzig 1953, 238; Schulze 1933, 640 и след.). В качестве германских примеров первого типа приводится загадка о домашнем животном с восемью ногами, переходящем через мост (*Koemmt e stoeck veih oever de bryegg, heft acht fet, op ver geiy er* = Беремéнная корова). В качестве германских примеров второго типа цитируется загадка о всаднике: *Wat het soess been un geit doch man up vier?* (Schulze 1933, 643; Porzig 1953, 238). В психоаналитическом и эйдолологическом планах оба типа легко соединяются благодаря сексуальной интерпретации второго из них. В древнейшем индоевропейском прототипе загадки (ср. Porzig 1968; Schmitt 1967) предполагается в качестве основной строка типа греческой исходной: ἔστι δίπουν ἐπὶ γῆς καὶ τετράπουν οὗ μία φωνή 'Есть на земле двуногое и четвероногое, у которого (только) один голос...' (Porzig 1953, 238). Ее истолкование предполагает, что две ноги находятся на земле, а две другие земли не касаются. Следовательно, этот дифференциальный признак числа ног мог быть отнесен не только к младенцу, который не может ходить и ползает на всех четырех конечностях (как в более распространенных позднейших истолкованиях загадки Эдипа), но и к беременной женщине, внутри которой (во чреве) находится существо с двумя ногами. Основная схема индоевропейской загадки, в которой обычное число ног (2 для взрослого человека) противоположно вдвое большему числу ног (2n), объединяет реконструируемый Шульце и Порцигом индоевропейский прототип загадки Эдипа и сходную древнеримскую загадку, согласно Овидию ("Fasti", IV, 671—672), загаданную царю Нуме. В загадке царя Нумы описывается жертвоприношение восьминогой стельной коровы (*forda boue*) с эмбрионом внутри нее (*fordicidia*). Как

показал Дюмезиль, не связывавший разбиравшихся им фактов с загадкой Эдипа, этот архаический римский обряд тождествен древнеиндийскому обряду приношения в жертву коровы — "восьминогой" (*Asta-pad-i* = **okto-pod-iH*, формально основа совпадает с названием "осьминога" в греческом, но в этом последнем значении микенское *po-ru-po-de* удостоверяет древность исходного **polHu-pod-* 'многоногий'), (Dumezil 1964, там же указаны типологические параллели в африканских ритуалах). По существу римский обряд и его древнеиндийское соответствие дают точное доказательство правильности реконструкции, предложенной Шульце и Порцигом. Представляется, что вся история изучения указанных загадок и формул чрезвычайно поучительна с точки зрения методологии восстановления подобных минимальных текстов. В особенности замечательно то, что предложенное Дюмезилем на основании совпадения римского обряда с древнеиндийским восстановление общеиндоевропейского обряда принесения в жертву беременной (**okto-pod-* 'восьминогой') коровы согласуется с идеей Шульце, возводившего загадку об этой корове к древнейшему обряду жертвоприношения (Schulze 1933, 646; Porzig 1953, 239).

На общеиндоевропейский характер этого обряда указывает также его метафорическое упоминание в выше описанном тексте древнехеттского царя Хаттусилиса 1-ого. Мать отстраненного наследника — племянника царя по материнской линии сравнивает себя с приносимой в жертву коровой, у которой вырывают чрево (Иванов 1963; 1969; ср. комментированный русский перевод всего "Завещания" Хаттусилиса 1-го: Иванов 1980). В свете сказанного можно предложить структурную аналогию загадки Эдипа в контексте мифа и этого древнехеттского текста. В обоих случаях обнаруживается конфликт между царем и его наследником (сыном или племянником по материнской линии), а в символическом плане — противопоставление существа с аномально большим числом ног норме. Значимость противопоставления "двуногий" человек — "четвероногая" корова иллюстрируется также хеттским мифом о корове, родившей двуногого сына Богу Солнца (выступающему в антропоморфном виде) и ужаснувшейся аномальности своего ребенка (Иванов 1977; Гамкрелидзе, Иванов 1984, т. 2, 774). В древнехеттских рассказах из придворной жизни и в других индоевропейских традициях, в том числе римской и древнеиндийской, обычно хорошо сохраняющих архаичные обряды, говорится об использовании провинившихся людей или пленных воинов в роли тягловых животных; воина, впряженного в упряжку, по-гречески называют ἀνδραποδον 'человеконогий' (Scharfe 1978), что свидетельствует о живучести признака ноги как социального знака отличия человека от домашних животных.

Поскольку у Овидия загадка Нуме загадывается во сне, ее можно сравнить и с тохарским Б (кучанским) текстом толкования снов — сонников (Sieg, Siegling 1953, 314, 513 a, b; 512 b2), где обнаруживаются тохарские формы *wipewam* 'двуногие', *swerpewa* 'четвероногие' (**stwer-pod-went-*, Winter 1962, 29; 1984; Windekens 1976, 37); они вместе с германскими формами типа др.-англ. *twi-fete* 'двуногий' окончательно удостоверяют древний общеиндоевропейский характер этих

сложений (М. Хулд указал и на возможность возведения к индоевропейской основе со значением "четвероногий" албан. *shtaze*). Что же касается их использования в индоевропейском поэтическом языке, следует иметь ввиду возможную метаязыковую поэтическую функцию, отмеченную Уэстом. Индоевропейское название "ноги" **pod-* в нескольких традициях (как до сих пор в английском, в этом смысле исключительно архаичном) использовалось как обозначение единицы измерения длины и одновременно единицы метрической — стопы стиха. Сопоставляя греческую (и германскую) древнюю метрическую терминологию с древнеиндийской, Уэст высказывает догадку, что "πους возможно означало целую гликоническую строку, а соответствующее санскритское слово *pada* обозначает стих, четырехстрочная строфа рассматривалась как четвероногое животное" (West 1984, 6; 190). Не может ли это значить, что у загадки Эдипа для посвященных в метаязыковое употребление могла быть и отгадка, касающаяся различий между стихотворными формами? В этом случае загадочное упоминание "одного голоса" стало бы более уместным. В этой связи стоит заметить, что в связи с поэтикой Гефестовой хромоты Фрейденберг говорит о хромающем стихотворном размере (Фрейденберг 1990).

Если вероятно прочтение загадки на метаязыковом уровне, то, учитывая связи индоевропейской терминологии поэтики и ремесел или искусств (Schmitt 1967), стоит обратить внимание и на наличие сходных форм в качестве обозначения сосудов с определенным числом ножек и ушей в микенском греческом и позднейших диалектах. Кажется возможным, что языковое совпадение может говорить о воздействии мифопоэтических и нумерологических представлений на древнейшие керамические формы. Иначе говоря, сакральный треножник мог иметь ту же магическую функцию, которую следует приписать обозначению **tri-pod-* в прототипе греческой загадки Эдипа. Возможность же интерпретации сосуда с четырьмя ножками как изображающего четвероногое существо согласуется с большим числом примеров таких сосудов, например, в архаическом хеттском искусстве, где их истолкование как скульптурных (трехмерных) изображений животных очевидно. Сравнение именно с микенским кажется важным и в силу семантики других рассматриваемых ниже греческих кеннингов, относящихся к морским животным, столь существенным для микенской Греции (ср. уже Cook 1894a).

Порциг полагал, что функция индоевропейского прототипа загадки Эдипа может быть восстановлена на основании сравнения с ведийскими и древнеиталийскими молитвенными формулами типа ведийской *dvipác cátuṣpad asmā́kaṃ sárvam astv anāturám* (RV X 97, 20) 'наше двуногое и четвероногое все да будет благополучно'; *ditu...totar Iovinar dupursus peturpursus fato fito* (Iguv. VI b, 10/11) 'да будет дана благая судьба двуногим и четвероногим Игувинской общины'. По Порцигу, отражение в загадке молитвенной формулы связывается с предположенным Шульце (и подтвержденным другими приведенными фактами) обрядом жертвоприношения.

При несомненной удаче объяснения четных чисел (8=4x2, 4=2x2,2) в упомянутых лингвистических работах значительно менее прояснены

нечетные числа и их функции. На основании выводов трудов по сравнительной мифологии признак "одноногий", хотя он и отсутствует в загадке, можно было бы включить в гипотетический прототекст мифа: хромота царя совместима с его символической одноногостью (ср. книгу Гинзбурга и многочисленные данные о символе одноногого царя как знака плодородия в восточноазиатских традициях). Но индоевропейской праформы в ясном виде нет. В качестве архаического синонима употребляется отличное от греческого древнеиндийское **aika-pad-* = *eka-pad-* — название козла, стоящего у мирового дерева, в "Ригведе". Но даже в древних индо-иранских диалектах нет единой формы этого числительного. В греческом тексте загадки Эдипа выступает основа μία из формы, служащей для обозначения "одного, единого" кроме греческого в анатолийском, тохарском и италийском, а в общеиндоевропейском употреблявшейся, по-видимому, атрибутивно (Sihler 1973). Следовательно, уже по языковым причинам реконструкция затруднена.

Если часть загадки, позднее гласившая οὗ μία φωνή 'у которого (только) один голос' понимать как указание на один язык (Segal 1981), то можно было бы сравнить ее со строками шумерского эпоса об Энмеркаре, где говорится о времени, когда Шумер (Юг) был созвучноязыким (*eme-ha-mun*) и весь мир, все люди славили Энлиля одним языком (*eme-as-am*, Kramer 1961, 107; Иванов 1981; 1988).

"Треногость" встречается и в разбираемых ниже кеннингах-загадках Гесиода. Формально прилагательное *tri-pod-* 'треногий' может быть восстановлено на основании сравнения с латинским и древнеиндийским. Но его функция остается неясной, несмотря на наличие ряда интересных работ последнего времени о сакральной роли числительного 3 в индоевропейских традициях (Топоров 1977а, 1979, 1982, 1982а с литературой; Елизаренкова, Топоров 1973). Часть этих работ сосредоточена на социальном аспекте троичных функций и соответствующих им обрядов в духе Дюмезиля (Nagy 1987; 1990а, 369). Но при этом троичные символы и ритуалы, привлекаемые для прояснения таких форм, как слав. **tri-zna* (Топоров 1979), могут иметь отношение к погребальному культу и загробному миру. Это делало бы возможной связь с той интерпретацией пратекста мифа об Эдипе, которую, следуя Проппу, предлагает Гинзбург. Число "три" в загадке, как и в приводимом ниже сходном тексте Гесиода, символизирует старость, что можно было бы соотнести с тем же кругом значений. Предлагаемое толкование согласуется с символикой треногости в языке трагедии: Эсхил использует образ загадки Эдипа — τρίποδας μὲν ὁδοὺς /στείχει (Ag. 80) 'Он идет треногими путями' (о старике, ковыляющем на трех ногах) (Waern 1951, 89, 129, 33: хор, состоящий из пожилых людей, «описывает свою участь, намекая насмешливо на поддерживающую каждого из них палку, служащую третьей ногой»); это место сопоставляют с аналогичным образом у Еврипида, Tro. 275 и след. (τριτοβάμονος βακτρου, Hays 1918, 161; Waern 1951, 119). Об умершей у Софокла в Trach. 874 след. сказано: βέβηκε τὴν πανυστάτην ὁδὸν ἁπάσων ἐκ ἀκινήτου ποδός, '...прошла по последней дороге всех нешевелящейся ногой' (Waern 1951, 33, 57, 92, 132). Нельзя ли в этом софокловском словоупотреблении увидеть ключ к роли третьей ноги и

хромоты в загадке: речь идет об уходе в загробный мир. Если ходьба — вещь обычная (на чем настаивает Уэрн, считая приведенные кеннинги разговорными), то здесь она осложнена единственностью последнего пути. В языке трагедии соединение названия земли со словосложением, первая часть которого τρι- 'три-', как в загадке Эдипа, есть у Эсхила в кеннинге: χθονός τρίμοιρον χλαῖναν λαβεῖν (Ag. 872) 'одеть на себя трехскладчатый плащ земли' = "быть трижды погребенным" (Waern 1951, 89).

Включение хромоты в первоначальный текст мифа делает вероятной значимость нечетных чисел (1 и 3) в словосложениях типа "одноногий", "трех-ногий", но многие детали еще нужно уточнить. Одноглазость (например, у мифологических существ, упоминаемых в этой связи Гинзбургом, ср. о славянской сказочной Одноглазке Иванов, Топоров 1965) и одноногость означают отклонение от нормы в сторону недостачи (лишительность или каритативность, в качестве лингвистической категории противополагающаяся посессивности, Иванов 1989, и, как и эта последняя, имеющая корреляты в знаковой системе мифа), тогда как экзотические трехногие персонажи (как герой романа английского писателя Стивена Тимерсона) характеризуются аномальным избытком. Возможно, что аномальные признаки хуже сохранились по сравнению с нормой. В этом смысле реконструкция основного текста загадки Эдипа у Порцига противоречива: он сохранил наименьшее нечетное числительное "один", не включив в текст названия "трех", для восстановления которого есть больше оснований.

В первом предложении, составляющем основу текста по Порцигу, представляет интерес его грамматическая структура: это именное предложение со связкой того типа, который выражал общие утверждения и законы (Бенвенист 1974). Такая связка реконструируется для индоевропейского пратекста. Обозначение "на земле" в нем скорее всего выражалось не предложной конструкцией, как в греческом, а нулевой формой, которая была переосмыслена как локатив, ср. хет. *dagan* с тохарским соответствием.

Наиболее спорным в работе Порцига представляется допущение о позднем включении загадки в миф Эдипа. Это противоречит всему ходу современных исследований и мифа, и загадки. Лингвист замечателен не там, где он посягает на выводы других наук (Порцига ввел в заблуждение Роберт). Поскольку все современное направление исследований мифа об Эдипе, начиная с Лурье и кончая Гинзбургом, удостоверяет значимость доминанты ноги, предположение о позднем включении в миф загадки отпадает. Существенны также наблюдения В.Н. Топорова о вопросно-ответной (диалогической) структуре трагедии Софокла (Топоров 1977, 243—250, ср. Gorun 1977, 201), в этом смысле в самом строении пьесы воспроизводящей архетип загадки (эта черта текста Софокла при всех преобразованиях сохранена и в таких его новых трансформациях, как оратория Стравинского на слова Кокто и фильм Пазолини).

По общему мнению, мотив ноги присутствует и в самом имени Эдипа, объясняемой историей его детства (тогда как имена его сыновей пророчат их будущую вражду, см. Nagy 1986, 130, 262, 319). Следовательно,

объединение языкового и метаязыкового кода загадки с мифологическим подсказывается самим материалом. Некоторые дополнительные данные можно извлечь из других греческих текстов, отражающих ту же древнюю мифопоэтическую традицию, в частности, из загадок-кеннингов Гесиода.

II

Первым на значимость для сравнительного литературоведения кеннингов у Гесиода обратил внимание еще Весловский, и здесь (как и во многих других отношениях) выступающий как предтеча новейших исследований, чьи авторы не знают его трудов. Предлагая общее сравнение "гомерической речи и северного поэтического языка", он замечает: "разница та, что северная поэзия последовательно разработала то, что в греческой осталось частным явлением" (Веселовский 1989, 70—71); среди примеров он приводит и кеннинг "полип-бескостный (Гесиод)" (там же, 71), который и послужил исходной точкой описываемых ниже современных работ.

Эти глубокие наблюдения Веселовского долгое время оставались без развития, хотя отдельные замечания о возможности обнаружить кеннинги и в греческой поэзии делались не раз (см. общий обзор в диссертации, целиком посвященной этой теме, решаемой в плане типологического сравнения: Waern 1951, 1—15). Для задачи настоящего очерка наибольший интерес представляет книга В. Шульца (Schultz 1909—1912), где кеннинги в древнегреческом рассматриваются «как одно из важнейших выразительных средств в поэзии загадок» (Schultz 1912, 95). Ему, в частности, удалось обнаружить показательные примеры кеннингов в сочинениях пифагорейцев, что весьма любопытно в свете выявления ранних мифопоэтических истоков их языка и образов. Кеннинги как способ построения загадок изучал на примере языка Эсхила В. Порциг. По его гипотезе, загадка в форме кеннинга (обычно скрывающего страшную действительность) служит испытанием: с ее помощью проверяется, посвящен ли отгадывающий ее в тайный язык. Так истолковывается, в частности, загадка-кеннинг, которую хор Данаид обращает к царю Пеласгу, говоря ему, что они ~~товы «покрыть эти образы новыми вотивными дощечками» (νεοῖσι πίνακσι βρέτεα κοσμῆσαι τάδε, Ais. Hik. 463). Они угрожают ему, что повесятся на статуях богов. Посредством этой загадки Данаиды проверяют, принадлежит ли испытываемый ими царь к числу знающих их особый язык (Porzig 1926, 69—70). Развивая мысль Порцига, Уэрн говорит по этому поводу: «кеннинг загадывает загадку, а отгадка следует» (Waern 1951, 30, но см. критику гипотезы Порцига там же, 31—32, 70—72). По типологическим соображениям эта теория Порцига кажется весьма вероятной.

В. Краузе в своем известном исследовании древнеисландских и древнеирландских кеннингов также признает кеннинги в греческом принадлежностью языка загадки (Krause 1930, 15). Эта идея была подробно развита (с опорой на некоторые конкретные выводы диссертации Уэрн) в особом разделе «Слова-загадки в форме кеннингов» в книге

Трокслера о языке Гесиода. Но Трокслер сосредоточился на названиях животных, представленных в таких кеннингах-загадках (Troxler 1964, 21—28) и давно изучавшихся в связи с проблемой табу (о чем писали не только филологи, Cook 1894, 1894a; Sinclair 1932, 56—57, но и великий биолог d'Arcy Thompson 1945) и влияния сакрального языка на подобные кеннинги у Гесиода (см. критический разбор литературы: Waern, 1951, 60—78).

Предположение о наличии очень древних индоевропейских истоков техники сочинения загадок-кеннингов у Гесиода в недавнее время было вновь высказано в сравнительно-исторических лингвистических работах. Спустя три четверти века после забытого Веселовского начало новому этапу изучения кеннингов-загадок Гесиода положила работа Уоткинса, посвященная 524-ой строке "Трудов и дней" (Watkins 1978). Одновременно с ней появился комментарий к "Трудам и дням" выдающегося английского филолога-классика М. Уэста. В нем некоторые образы того же фрагмента прояснены благодаря сравнению его с другими греческими же текстами. Уэст также обсудил и значение "распухшей ноги" в контексте строки 497, где речь может идти о нищете и голоде. Это сопоставление вскоре привело к появлению двух новых истолкований текста Гесиода. Г. Надь отмечает, что тема "распухшей ноги" напоминает об имени Эдипа, который ребенком был брошен (см. выше о двух этих мотивах в загадке Эдипа) (Nagy 1990, 82). По греческому обычаю, о котором напомнил Уэст, бросать могли ребенка, у отца которого ноги распухли от голода (West 1978, 284). В этой связи можно вспомнить использованные Леви-Стросом и Гинзбургом этимологии имен в мифе об Эдипе: имя деда Эдипа Лабдака толкуется как "хромой" (Леви-Строс 1985; Ginzburg 1990, 227, 268).

Уэст также обратил внимание на то, что зачин ἀλλ' ὁπότε 'но когда бы ни' кеннинга характерен для формул оракулов [проблема связи кеннингов-загадок с формулами оракулов, давно уже сформулированная (Goettling 1831, Guentern 1921), решалась в отрицательном плане ранее в обзоре Уэрн (Waern 1951, 60—70; теперь Delgado 1986)]. Надь связывает это с наличием в первом кеннинге, относящемся к осьминогу, отличительного способа добывания истины, свойственного индоевропейским текстам оракулов (Nagy 1990, 82).

После этого увлекательного ряда интерпретаций Надь все же делает оговорку, что мы еще далеки от понимания всех подтекстов гесиодовского фрагмента.

Значительно дальше пошла по пути расшифровывания этих и других близких к ним или им подобных мест поэмы Гесиода французская специалистка в области сравнительно-исторического языкознания Ф. Бадер, развившая (независимо от Надя и почти одновременно с ним) идеи Уоткинса и Уэста в недавней книге (Bader 1989) и несколько позднее вышедшей статье (Bader 1990). Бадер пользуется более широким пониманием кеннинга, чем Уэрн, что делает часть ее выводов менее четкими.

Бадер предположила, что в тексте Гесиода можно выделить басню (ее определение жанра несколько туманно; может быть, лучше было бы говорить об иносказательном повествовании), образуемую после-

довательностью не подряд идущих строк, где ей видится наложение друг на друга нескольких кеннингов. Согласно ее истолкованию, в этой части поэмы Гесиода можно выделить 3 загадки, в которых встречаются характерные для индоевропейского поэтического языка двойные наименования одних и тех же предметов. Эти три загадки относятся соответственно к старику, молодому человеку и девушке. Это три персонажа всего повествования (басни, как ее называет Бадер).

Загадка, относящаяся к юноше, в свою очередь двойная, потому что в ней содержится и кеннинг, описывающий моллюска как осьминога "в звериной басне" (может быть, в духе леви-стросовской терминологии точнее было бы говорить о двух или более кодах, налагающихся друг на друга). Рассмотрим последовательно те строки, где по Бадер содержатся эти загадки и кеннинги.

(497) σὺν πενίῃ λεπτῇ δὲ παχὺν πόδα χειρὶ πιέξῃς

(здесь и далее по изданию: Solmsen, Merkelbach, West 1990) "[Чтобы в злую зиму тебя не осилила Недостача — 496: μή σε κακοῦ χειμῶνος ἀμηχανίη καταμάρψει] с Нищетой, чтобы не держал в исхудалой руке распухшую ногу" (вслед за Уэстом, West 1978, 283; 1988, 52, предполагается наличие олицетворений Недостачи и Нищеты, часто встречающихся рядом в парных комбинациях, к переводу ср. также Wilamowitz-Moellendorf 1928, 101: 'damit du nicht im Winter im Armut geraetst, aus der du dir nicht helfen kann'; иначе понимает конструкцию Зельшопп: Sellschopp 1934, 95—96; оба толкования — "зимой" как обозначение времени или "зимы" как субъекта действия — уже отмечены Хейзом, Hays 1918, 156). Бадер полагает, что παχὺν πόδα в этой строке является кеннингом, относящимся к молодому человеку-холостяку: 'юноша метонимически обозначен своей ногой'. Это толкование, во-первых, позволяет еще раз обратиться к загадке Эдипа с ее символикой, во-вторых, подводит естественным образом к психоаналитическому описанию образа ноги как метонимического знака плодородия и священного царя как средоточия плодородия в целом ряде традиций (ср. о японской культуре в широкой антропологической перспективе Yamaguchi 1990). Упоминание руки в древней индоевропейской форме (греч. χείρ из и.-е. **ghes-r*, хет. *kessar*, тох. *A tsār* с палатализацией начального смычного при возможном исчезновении суффиксального гетероклитического **-r* в др.-инд. *has-ta-* из **ghes-r̥-t-*?) рядом со столь же древним названием ноги **pod-* заставляет вспомнить о структуре древних индоевропейских магических медицинских текстов типа русских заговоров и их эквивалентов в других традициях, в частности, хеттской и лувийской, перечисляющих (как и соответствующие кельтские тексты, ср. Гамкрелидзе, Иванов 1984) основные части тела (хет. *happessar* 'часть тела', лув. *happessa*, тох. A *aps-a*, ср. Witczak 1989). Для греч. παχὺν πόδα может быть предложено индоевропейское исходное сочетание **bhn̥gh-(e)u-m̥ *pod-m̥* (к этимологии первого элемента в греческом см. Иванов 1957—1958). Поскольку речь идет о сочетаниях, усвоенных из индоевропейского мифопоэтичес-

кого языка, следует иметь ввиду отмеченную выше вслед за Уэстом особую металингвистическую значимость этого названия ноги как единицы измерения расстояния и обозначения стихотворной меры, сохраненного в индийской и германских традициях (поэтому слово могло входить и в тайный табуируемый словарь, с чем, в конечном счете могло быть связано и его исчезновение в таких языках, как славянские)

(524) ...ὅτ' ἀνόστεος ὃν πόδα τένδει

(525) ἐν τ'ἀπύρῳ οἴκῳ καὶ ἤθεσι λευγαλέοισιν.

У начала фрагмента два возможных понимания: либо 'когда бескостный грызет свою ногу' (об осьминоге), либо 'когда бескостный сворачивает свою ногу' (о моллюске). Бадер предлагает соединить оба толкования. Привативную форму ἀνόστεος 'бескостный' (о моллюске отождествляемом с осьминогом) Бадер рассматривает как загадку, а сочетание πόδα τένδει 'ногу вытягивает' как кеннинг. Для полутора этих строк в сочетании с теми, которые им предшествуют, предполагается, что отгадкой для них может быть 'брак, супружество'. Следующая строка менее многозначна, хотя и она относится либо к осьминогу или моллюску, либо обоим (в соответствии с интерпретацией начала фрагмента): 'в его доме, лишенном огня, и в его горестных пределах' (ἦθος у Гомера обозначает берлогу, нору, место обитания животного, у Гесиода же относится и к жилищам людей, Hays 1978, 84—85, 95, 109; Sinclair 1932, 10).

Как уже говорилось, именно первая часть этого фрагмента и дала основание для начала всего рассматриваемого круга гипотетических истолкований и реконструкций. Лингвистические сравнения показали явно сексуальный характер метафор. Первое слово греческой формулы находит соответствие в др.-инд. *an-astha-* 'бескостный'. Как и родственное др.-греч. ἀνόστεος, слово возводится к греческо-индо-иранскому кеннингу — поэтическому названию фаллоса **n̥-Host-* 'без костей, не имеющий костей' (ср. семантически сходные славянские речения и загадки). Последнее же слово греческой формулы τένδει объясняется сравнением с равнозначным др.-ирл. *teinm* 'глодающий (кость, добывая костный мозг)', описывающим магический способ получения знания посредством гадания. На основании этих сопоставлений с другими индоевропейскими традициями можно предположить, что мужской персонаж этого фрагмента по своему знанию противопоставляется женскому. О последнем сказано: οὔπω ἔργα εἰδυῖα πολυχρύσου Ἀφροδίτης 'еще не знающая дел разнозолотой Афродиты' (521). Последующие ожесточенные возражения М. Хофингера (Hofinger 1981, 131—138; Hofinger, Pinte 1985, 23) против первой из упомянутых работ, принадлежащей перу Уоткинса, едва ли меняют правильность вывода до Уоткинса и Надя сделанного еще Уэстом (у которого, в свою очередь, были предшественники). Уэст сравнил фрагмент с другими греческими текстами, предположив, что посредством привативного (каритативного) обозначения "бескостный" описывается осьминог. Следовательно, правильность реконструкции всей этой группы кеннингов доказывается их внутренней замкнутой связью: осьминог

называется тем же индоевропейским сложением **okto-pod-*, которое лежит в основе наименования "восьминогой" коровы, несущей в себе четвероногий плод; вместе с тем осьминог назван тем кеннингом, который в других контекстах относится к фаллосу. Согласно греческим фольклорным представлениям осьминог грызет собственную ногу от голода. По Уэсту, Уоткинсу и Надю весь фрагмент и открывающая его формула близки к текстам оракулов. Если, как полагает Хофингер в своем специальном полемическом этюде, направленном против Уоткинса (Hofinger 1981, 131—138), и в своем гесиодовском словаре (Hofinger, Pinte 1985, 57), τένδει относится к ноге, которую убирает моллюск (что, впрочем, согласуется и с сексуальной символикой, предположенной для этого места Уоткинсом и подтверждаемой другими рассматриваемыми контекстами), то среди близких эквивалентов можно было бы найти и лат. *tendo* 'протянуть' (значение противоположно греческому, но относится к той же семантической сфере), *pro-tendo* 'предсказать' (из 'протянуть вперед'), технический термин оракулов (о чем писал в другой работе тот же Уоткинс: Watkins 1985, 90). Но наилучшим сравнением, позволяющим восстановить для греческо-арийского поэтического языка фрагмент **n̥-Host-(ei)-os *tend-(o)-(t)o* 'бескостный сворачивается', представляется сопоставление с вед. *tand-a-* (RV 1, 138, 1: *mahitvám asya taváso ná tandate, stotrám asya ná tandate* 'его, сильного, мощь не убавляется, его хвала не убавляется', см. о семантике глагола в связи с этой этимологией Toxler 1964, 23; Hofinger, Pinte 1985, 57).

К сказанному выше о привативном (каритативном) образовании ἀνόστεος 'бескостный' следует добавить, что явная параллель ему обнаруживается в следующей (525-ой) строке в точно таком же (с исторической, а не синхронной) точки зрения привативном образовании ἀπύρῳ (οἴκῳ) 'в доме без огня' (о структурной роли бинарного противопоставления, кодируемого в тексте этим словом, ср. Nicolai 1964, 112). Более того, это сходство, проясняемое при реконструкции (соответственно **n-Host-* для ἀν-όστ-εος, **n-p(e/o) H-u-r* для ἄ-πυρ-ος), делает возможным и даже необходимым возведение всего фрагмента, включающего эти привативные образования, к такому "пратексту" (диалектному праиндо-ирано-греческо-армянскому или же еще более древнему общеиндоевропейскому), в котором отчетливее видны лежащие в основе его структуры формальные соотношения. Ранее к точно такому же выводу применительно к комбинации нескольких индоевропейских кеннингов подвело изучение другого архаического текста — раннедревнеармянского гимна Вахагну, возводимого к той же диалектной индоевропейской традиции (Иванов 1983). Все сочетание **n̥-p(e/0)Hur-(i) *woik-o-i* можно реконструировать для общеиндоевропейского.

Привативные кеннинги этого типа (Waern 1951, 55; West 1978, 290) можно с большим вероятием признать следом индоевропейского (или диалектного индо-ирано-греческо-армянского) мифопоэтического языка, сказавшегося в той традиции, из которой черпал Гесиод. С этой точки зрения особого внимания заслуживает употребление в загадках

и мифопоэтических текстах приватив ного кеннинга с внутренней формой "без-ногий". Для общеиндоевропейского поэтического языка может быть реконструирован в этом значении приватив ный кеннинг *ṇ-pod-, входящий в ряд *dwi-pod-, *tri-pod, *kʷetur-pod-, *okto-pod-, восстановленный для прототекста загадки Эдипа (Иванов 1985). Архаическое употребление этого приватив ного кеннинга обнаруживается при описании расправы с драконом Вритрой в "Ригведе": *apā́d ahastó... purutrā́ vṛtro' aśayad vyàstaḥ* 'безногий, без-рукий...Вритра лежал разбросанный по разным местам' (RV, 1, 32, 5; Benveniste, Renou 1934; ведийский контекст может служить косвенным доводом в пользу отнесения гесиодова приватив ного кеннинга ἄ-τριχος 'безволосый' к змею, а не ко львице, ср. Troxler 1964, 24; Hofinger 1975, 94; Waern 1951, 120—121, ср. также о волосе в связи со славянским соответствием Вритре: Иванов, Топоров 1974). На вопрос, недавно заданный (отчасти в развитие предшествующих работ автора и В.Н. Топорова) К. Уоткинсом, — "Как по-индоевропейски убивать дракона?" (Watkins 1987) — один из ответов может быть связан именно с приватив ными кеннингами: убить — значит заменить все обороты, обозначающие обладание частями тела, на приватив ные. Ряду индоевропейских обозначений частей тела, использующихся, например, в магических медицинских текстах, соответствует ряд приватив ных кеннингов типа "бес-кост-ный", "без-ног-ий", "без-рук-ий" (*ṇ-Host-, *ṇ-pod-, *ṇ-ghes-r).

Для исследования древней мифологической роли приватив ных кеннингов в славянском и индоевропейском значительный интерес представляет недавно обнаруженное древненовгородское (XII в.) имя *Не-видъ* (ср. кроме уже ранее указанных параллелей рус. *невидаль*), вероятно соотносимое с греческим наименованием Аида — мира мертвых, невидимых и невидящих *ṇ-wid- (Зализняк 1991, 507—508), ср. о категории невидимого и ее связи с миром мертвых, предположенной еще Потебней и Проппом (Пропп 1946; Иванов, Топоров 1974, 126—130). К медицинской (в древности — и магической) терминологии, семантически примыкающей к названию мира мертвых, принадлежит также общеславянское название "задыхания" из *ṇ-dux- (Иванов 1989). Древние параллели обнаруживаются для названия "убогого", "богом обиженного", "нищего", возводимого к *ṇ-bog- из еще более древнего *ṇ-dei-w- (*a-siw-ant-* 'нищий' в хеттском, сохраняющем индоевропейское название "бога ясного неба", в праславянском замененное иранским заимствованием, ср. Иванов, Топоров 1974), ср. также *ṇ-Hordh- (хет. *hardu-*), откуда рус. *урод-* и т.п.

В группе западно-индоевропейских (кельто-италийских) диалектов и тохарском архаический общеиндоевропейский способ выражения каритативного (лишительного) значения посредством приватив ного словосложения (исторически с отрицанием *ne в нулевой ступени огласовки) был заменен конструкциями со служебным словом типа лат. *sine*. В тохарском Б индоевропейскому ряду *kʷetur-pod-, *dwi-pod-, *ṇ-pod- отвечают *śwer-pe-, wi-pe-, snai-pe-*, где первая часть последнего слова представляет собой новообразование (сочетание с

превербом-предлогом: тох. Б *snai,* А sne 'без', ср. *sne-miyaslune* 'a-vihimsa 'без причиненного ущерба', *sne-yḳorne* 'a-pramada, без небрежности'). Как в приведенном отрывке из ведийского гимна, описывающего поражение Вритры, лишительные обороты этого типа используются в качестве ключевых в пределах одного фрагмента текста: тох. А *sne wawlesu sne psal* 'без наработанного, без шелухи', повторяется в Punyavantajataka, 2a 3—5 (Lane 1947, 37). В славянском под вероятным иранским влиянием в той же функции стал использоваться элемент типа рус. *без-, бес-* (ср. Иванов 1989). С ним образованы загадки об огне и змее, по внутренней форме совпадающие с цитированным ведийским отрывком: *Без рук, без ног, а в гору ползет* (см. Иванов, Топоров 1965, 143; 1974, 100). Соответственно и древняя функция славянских речений типа рус. *язык без костей* может быть той же, что и у равнозначного кеннинга в тексте Гесиода.

(571) Ἀλλ' ὁπότ' ἄν φερέοικος ἀπὸ χθονὸς ἅμ φυτὰ βαίνῃ

'Когда домонос с земли влезает на растения (чтобы убежать от Плеяд)' (Πλειαδας φευγον, 572, Плеяды как обозначение жаркого времени: Sinclair 1932, 41—42, 61; Hays 1918, 139—140; вызвавший интерес ряда современных исследователей "астрономический код" — в терминах Леви-Строса — этой части поэмы Гесиода может оказаться полезным и для прояснения типологии греческого обозначения Плеяд, ср. Puhvel 1991). Бадер видит в сложном слове φερέ-οικος загадку с отгадкой "мужское оплодотворение", "зачатие мужчиной". Речь идет об описании моллюска или улитки кеннингом "носящий свой дом" (с собой — имеется в виду раковина): φερέ-οικος, буквально 'домонос', с архаическим сочетанием тематической основы глагола φερ-'нести' с существительным (F)οἶκος 'дом'. Если первые два фрагмента объединялись доминантным метонимическим образом ноги (с сексуальными коннотациями мужского символа), то два следующих объединяются повторением индоевропейского названия дома **woiko-:* οἶκοι-φερέοικος. Представляется, что и при сравнении 525-ой строки с 571-ой необходима достаточно глубокая реконструкция, позволяющая связать пары:

(525) *n-p(e/o)H-u-r *woik-o-

и

(571) *bher-e- *woik-o-.

Фонетическая связь двух первых элементов этих пар кажется достаточно очевидной, если рассматривать их восстановленные формы с учетом вероятной близости сочетания глухого смычного с ларингальным (откуда по Соссюру и произошли глухие придыхательные в древнеиндийском) и индоевропейского звонкого придыхательного (давшего глухой придыхательный в том диалекте, из которого происходит древнегреческий, ср. ситуацию в италийском). Иначе говоря, для этого фрагмента звуковая структура может быть восстановлена для времени до падения ларингальных. Реальность же поиска подобных звуковых соотношений между начальными группами фонем удостоверивается для строки 571-ой регулярностью созвучия φερέοικος-φυτά (вся строка и за ней следующая в целом строятся на аллитерациях губных и древних звонких придыхательных).

Как и в загадке Эдипа, с которой разбираемые гесиодовские фрагменты обнаруживают значительное формальное и семантическое сходство, с образом юного возраста соотнесен противостоящий ему образ старика (греческое его обозначение γεροντ-| возводится к греческо-индо-иранскому на основании точных морфологических параллелей с тем же суффиксом в индо-иранском). К кеннингам и загадкам, его описывающим, по Бадер относятся следующие:

(518) ἴσ ἀνέμου βορέω· τροχαλὸν δὲ γέροντα τίθησιν

'...(не дует) сила Северного Ветра. Он заставляет старика поторапливаться' (другое толкование: 'быть согнутым'). Согласно Бадер, τροχαλόν может рассматриваться как загадка с отгадкой "старик". Странность этого места с точки зрения синхронной интерпретации давно обратила на себя внимание комментаторов, ср. Wilamowitz-Moellendorf 1928, 103—104 "Seltsam ist der Greis hier eingeschoben, nicht einmal im Gegensatz dem Maedchen trokhalos kann rund (gebeugt) und hurtig sein, daher schwankt die antike Erklaerung. Da der gebeugte Greis 533 zu einer Vergleichung dient, muss er hier laufen, um nicht zu erstarren", ср. Hays 1918, 159; Sinclair 1932, 55).

(533) ...τότε δὴ τρίποδι βροτῷ ἶσοι

(534) οὗ τ' ἐπὶ νῶτα ἔαγε, κάρη δ' εἰς οὖδας ὁρᾶται

'Тогда они подобны треногому смертному, чья спина согнута (ἔαγε, глагол ἄγνυμι, Hofinger 1975, 7) и чья голова смотрит в землю'. Бадер, видящая в "трехногом" в строке 533-й загадку с отгадкой "старик" (что опять же дает возможность отождествить текст с загадкой Эдипа, ср. об этом Hays 1918, 161; Sinclair 1932, 58), полагает, что кеннинг в последней из приведенных строк разъясняет предыдущую: "подобен колесу тот, чья третья нога — палка, без которой, при его сломанном позвоночнике, его голова смотрела бы в землю" (Bader 1990, 9). Заслуживает внимания созвучие начал двух загадок с одинаковыми отгадками: τροχαλόν-τρίποδι. Много раз повторявшееся сравнение этого места с загадкой Эдипа (о чем см. выше) дает надежду, что прояснение функции признака "треногий" в последней объяснит и истоки этого достаточно темного места у Гесиода. Упоминание земли (хотя и не совпадающее с загадкой Эдипа по языковой форме) может быть соотнесено с хтоническим заупокойным культом.

Третий персонаж — молодая женщина — характерна для гесиодовского текста в отличие от загадки Эдипа. К ней относятся следующие строки:

(520) ἥ τε δόμων ἔντοσθε φίλῃ παρὰ μητέρι μίμνει

(521) οὔπω ἔργ' εἰδυῖα πολυχρύσου Ἀφροδίτης

(522) εὖ τε λοεσσαμένη τέρενα χρόα καὶ λίπ' ἐλαίῳ

(523) χρισαμένη μυχίῃ καταλέξεται ἔνδοθι οἴκου

(524) ἤματι χειμερίῳ

'Она остается внутри дома со своей дорогой матерью, еще не знавшая дел разнозолотой Афродиты. Она хорошенько моет свою тонкую кожу, натирает ее маслом и ложится во внутренней части жилья в зимний день'. Любопытной особенностью текста является большое число слов

общеиндоевропейского словаря, включая и два разных названия жилья (**dom-o-* 'дом', сохраняющее в гесиодовом греческом δομος свое индоевропейское значение, отраженное и в славянском, и **woik-o-* 'жилье, селение', в греческом сблизившееся со значением первого слова, от которого раньше отличалось как обозначение большей социальной единицы, см. Гамкрелидзе, Иванов 1984; Watkins 1985, XXI); второе из них — οἶκοσ- проходит через три фрагмента. В (F)εἰδυία Бадер видит относящуюся к девушке загадку. Ее продолжение обнаруживается в строках:

(776) ἡ δὲ δυωδεκάτη τῆσ ἐνδεκάτης μέγ' ἀμείνων
(777) τῇ γάρ τοι νῆ νήματ' ἀερσιπότητος ἀράχνης,
(778) ἥματοσ ἐκ πλείου, ὅτε τ' ἴδρις σωρὸν ἀμᾶται
(779) τῇ δ' ἱστὸν στήσαιτο γυνὴ προβάλοιτό τε ἔργον.

'На двенадцатый (день) гораздо лучше, чем одиннадцатый, потому что в этот день высоко взлетающий паук плетет свою паутину в полдень, когда мудрый собирает свою груду. В этот день женщина должна поставить свой ткацкий станок и заняться пряжей'. В первой из строк этого ряда по Бадер можно видеть кеннинг-загадку с отгадкой: беременность, зачатие женщиной. Три последующие строки, в последней из которых упоминаются Парки или скорее связанные с ними мифологические мотивы, у восточных славян перенесенные на Мокошь (Иванов, Топоров 1983), продолжают тему молодой женщины: "la jeune fille «encore ignorante des travaux d'Aphrodite» deviendra idris, a la fois «fourmi» designée par son savoir technique, et «qui sait», nom d'initiation" (Bader 1990). Это название муравья *(w)idri-* (кеннинг, ставший названием животного, созвучие с др.-инд. *Indra* 'бог Индра-муравей', ср. Топоров 1982б, может быть и неслучайным, но тогда нужно предположить длинный ряд изменений в обоих языках) содержит архаический индоевропейский суффикс как в хеттских отглагольных производных *et-ri, es-ri* от глагольных основ **ed-*, **es-*. Обращает на себя внимание фонетическое созвучие начал обоих слов, где Бадер видит кеннинги, относящиеся к девушке: (F)εἰδυῖα- (F)ἴδρις (ср. аналогичные начальные анаграммы в загадках-кеннингах, относящихся к старику: τροχαλόν-τρίποδι).

Предложенный разбор (как и некоторые другие современные анализы языка и образов Гесиода, в частности, находящие у него много следов древневосточных влияний, см. Иванов 1988 с библиографией) требует изучения того, в какой мере древняя традиция, изъясняющаяся загадками-кеннингами, была для него живой. Он мог пользоваться обломками старой системы как готовыми клише. В этом случае текстуальные совпадения, например, с загадкой Эдипа, стали бы более понятными.

Напомним, что в архаических современных сибирских шаманских традициях, таких как изучавшаяся нами кетская (Иванов 1976, Крейнович 1969), загадки не создаются снова. Их не больше 20, они известны всем членам коллектива. Их нельзя отгадать, не зная заранее ключа к ним, т.е. не будучи посвященным в шаманские тайны (ср. выше о гипотезе Порцига). Судя по одной из загадок, для которой

удалось найти тибетскую языковую параллель (Иванов 1985), возраст некоторых кетских загадок исчисляется несколькими тысячелетиями. Если можно предполагать аналогичное функционирование архаических загадок-кеннингов в древних индоевропейских традициях, то в них можно было бы видеть след значительно более раннего времени. В пользу этого предположения говорят и ведийские загадки (Johnson 1976), связанные с ведийскими словесными состязаниями (Кейпер 1986, 46—100).

Изучение структуры индоевропейских загадок-кеннингов может оказаться поучительным и для исследования такой традиционной проблемы исторической поэтики, как происхождение эпитета. Когда Веселовский начал исследовать эту проблему, он и сопоставил гомеровские эпитеты с древнеисландскими кеннингами (ср. Веселовский 1940; 1989). Его идеи на основе соединения лингвистического и сравнительно-литературоведческого анализа древнеанглийских и древнеисландских эпитетов продолжил (сперва в своей блестящей диссертации, потом в ряде других работ) М.И. Стеблин-Каменский (Стеблин-Каменский 1978, 1979). Завидная ясность изложения в этих трудах объясняет, например, то, что на их основе математик Ю.И. Манин позднее предложил достаточно строгую формальную модель кеннинга. Хотя многие особенности строения эпитетов выяснены в лингвистических работах (Кацнельсон 1949), а семантика их прояснена исследованиями по сравнительной мифологии (ср. о греческом Фрейденберг 1936, 1978, 1990 и др.), именно новые труды по индоевропейскому поэтическому языку позволяют выяснить зависимость первоначальных форм эпитетов (Durante 1968; Toporov 1982; Campanile 1977; Watkins 1982; 1989) от древних загадок-кеннингов. Изучение загадок как целостных речений позволяет подойти к последующей их трансформации.

В относительно простых случаях поэтические эпитеты варьируют темы старых мифологических кеннингов. У Эсхила кеннинг δίπους ὄφις 'двуногий змей' (Hik., 895), заключающий в себе противоречие (Waern 1951, 55, 127), нередко присущее загадке (Waern 1951, 57; Noreen 1926, 27), предполагает знание по меньшей мере двух традиционных индоевропейских кеннингов, рассмотренных выше: "двуногого" в том смысле, как в загадке Эдипа, и "безногого" змея. Сходным образом у Эсхила (Ag. 1258) построен и кеннинг δίπους λέαινα 'двуногая львица', относящийся к Клитемнестре — жене Агамемнона, именуемого львом (ср. Waern 1951, 53, 55, 130) в духе традиционной (древне)восточной образности (в том числе хеттской и хаттской, которые могли непосредственно повлиять на микенскую греческую). Лев как дикое животное не входил, правда, в число первоначальных денотатов индоевропейского кеннинга, обозначавшего домашних животных. Но по природе вещей, естественно, было возможно и такое расширительное его употребление (ср., например, сочетание *stwar pe* 'четыре ноги' из **k^{w}etw(e/o)r *pod-*, восстанавливаемое в контексте описания льва в тохарской А "Punyavantajataka", 12 b3; Lane 1947, 48). Очень отчетливо связь с тем же индоевропейским эпитетом и образом "быстрых коней-птиц" (Schmitt 1967) видна у того же Эсхила в

кеннинге τετραοκελὴς οἰωνός 'четвероногая птица' (Prom. 395; Waern 1951, 128).

Некоторые индоевропейские образы продолжают жить и в позднейшей поэзии, причем влияние греческих образов возможно, но не обязательно. К числу кеннингов греческо-арийского поэтического языка, находящих параллель (возможно, чисто типологическую) в древнеисландском, принадлежит обозначение руки как "имеющей пять ветвей" (Schmitt 1967; Waern 1951, 38—120). Когда этот же образ встречается у Иннокентия Анненского в стихотворении, где рука обозначена "Пять роз, обрученных стеблю", разумеется, можно гадать о вероятных античных ассоциациях, возникавших у этого переводчика Еврипида и знатока греческой поэзии. Но все его стихотворение построено как цепь загадок-кеннингов. Из современных ему поэтов-символистов, на Анненского повлиявших, такой техникой охотно пользовался Малларме. Но типологические параллели отыщутся и у позднейших постсимволистов (особенно у Лорки), и у задолго их предвосхитивших поэтов барокко (сам Лорка нашел много себе близкого у Гонгоры). В этом плане интересны кончетти итальянских маньеристов, повлиявшие на Донна и других поэтов-метафизиков. Бадер может преувеличивать, говоря по поводу кеннингов-загадок о герметизме индоевропейской поэзии. Но несомненно, что речь идет о явлении, в поэзии постоянно вновь возникающем.

К числу едва ли не наиболее наглядных примеров можно привести повторяющийся в двух ранних книгах Пастернака образ моллюска и полипа как обозначений любви, близких к предыстории рассмотренных гесиодовских кеннингов-загадок. В стихах Пастернака эти образы расшифрованы:

Казалось, не люблю, молюсь.
И не целую, — мимо
Не век, не час плывет моллюск,
Свеченьем счастья тмимый.
...Плыла, не прорываясь в ах,
Коралловая мякоть.
...Того, чем боль любви свежа,
Того счастливейшего всхлипа,
Что хлынул вон и создал риф,
Кораллу губы обагрив
И замер на устах полипа...

Литература

Аверинцев 1972 — *Аверинцев С.С.* К истолкованию символики мифа об Эдипе // Античность и современность. М., 1972.

Бенвенист 1940 — *Бенвенист Э.* Историческая поэтика. Л., 1940.

Веселовский 1989 — *Веселовский А.Н.* Историческая поэтика. М., 1989.

Гамкрелидзе, Иванов 1984 — *Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси, 1984. Т. 1—2.

Елизаренкова, Топоров 1973 — *Елизаренкова Т.Я., Топоров В.Н.* Трита в колодце: ведийский вариант архаичной схемы // *Σημειωτική*. Сборник статей по вторичным семиотическим системам. Тарту, 1973.

Жирмунский 1979 — *Жирмунский В.М.* Сравнительное литературоведение. Восток и Запад. Л., 1979.

Зализняк 1991 — *Зализняк А.А.* Об одной берестяной грамоте XII века // Words are Physicians for an ailing Mind. Ὀργῆσ νοσούνησ εἰσὶν ἰατροὶ λόγοι. For A. Boguslawski on the Occasion of his 60th Birtday, ed. M. Grochowski, D. Weiss (Sagners Slavistische Sammlung, hrsg. P. Rehder, Bd.17). München, 1991.

Иванов 1957-1958 — *Иванов Вяч.Вс.* Происхождение и история хеттского термина *panku-* 'собрание' // Вестник древней истории, №4; №1. М., 1957—1958.

Иванов 1963 — *Иванов Вяч.Вс.* Хеттский язык. М., 1963.

Иванов 1968 — *Иванов Вяч.Вс.* Лингвистика и гуманитарные проблемы семиотики // Известия АН СССР, Серия лит-ры и языка, т.27, 1968.

Иванов 1969 — *Иванов Вяч.Вс.* Заметки о типологическом и сравнительно-историческом исследовании римской и индоевропейской мифологии // Ученые записки Тартуского Гос. ун-та, Труды по знаковым системам, IV. Тарту, 1969.

Иванов 1976 — *Иванов Вяч.Вс.* Очерки по истории семиотики в СССР. М., 1976.

Иванов 1977 — *Иванов Вяч.Вс.* Луна, упавшая с неба. Древняя литература Малой Азии. М., 1977.

Иванов 1980 — *Иванов Вяч.Вс.* Внешняя политика и социально-политическая борьба в Древнехеттском царстве (XVIII-XVI вв. до н.э.) // Хрестоматия по истории Древнего Востока, т.1, М., 1980.

Иванов 1981 — *Иванов Вяч.Вс.* Об одной древневосточной параллели к загадке Эдипа-Сфинкса // Структура текста-81. Тезисы симпозиума. М., 1981.

Иванов 1983 — *Иванов Вяч.Вс.* Выделение хронологических слоев в древнеармянском и структура мифологической песни о Вахагне // Историко-филологический журнал АН Армянской ССР, №4. Ереван, 1983.

Иванов 1985 — *Иванов Вяч.Вс.* Индоевропейские этимологии. 4. Индоевропейские сложения типа числительное + **pod-* 'нога' // Этимология 1983. М., 1985.

Иванов 1985а — *Иванов Вяч.Вс.* Артур Хокарт и сравнительный метод в этнографии // Природа, №12. М., 1985.

Иванов 1986 — *Иванов Вяч.Вс.* О соотношении этимологии и реконструкции текста // Этимология 1984. М., 1986.

Иванов 1988 — *Иванов Вяч.Вс.* Античное переосмысление архаических мифов // Жизнь мифа в античности. М., 1988.

Иванов 1989 — *Иванов Вяч.Вс., Головачева А.В., Молошная Т.Н., Николаева Т.М., Свешникова Т.Н.* Категория посессивности в славянских и балканских языках. М., 1989.

Иванов, Топоров 1965 — *Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н.* Славянские языковые моделирующие семиотические системы. М., 1965.

Иванов, Топоров 1974 — *Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н.* Разыскания в области славянских древностей, М., 1974.

Иванов, Топоров 1975 — *Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н.* Инвариант и трансформации в мифологических фольклорных текстах // Типологические исследования по фольклору. Сб. статей памяти В.Я. Проппа (1895—1970). М., 1975.

Иванов, Топоров 1983 — *Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н.* К реконструкции Мокоши как женского персонажа в славянской версии основного мифа // Балто-славянские исследования. 1982. М., 1983.

Кацнельсон 1949 — *Кацнельсон С.Д.* Историко-грамматические исследования. М., 1949.

Кейпер 1986 — *Кейпер Ф.Б.Я.* Труды по ведийской мифологии. М., 1986.

Крейнович 1969 — *Крейнович Е.А.* Кетские загадки // Кетский сборник: Мифология. Этнография. Тексты. М., 1969.

Леви-Строс 1985 — *Леви-Строс К.* Структурная антропология. М., 1985.

Пропп 1946 — *Пропп В.Я.* Исторические корни волшебной сказки. Л., 1946.

Пропп 1976 — *Пропп В.Я.* Эдип в свете фольклора // Фольклор и действительность. М., 1976.

Стеблин-Каменский 1978 — *Стеблин-Каменский М.И.* Историческая поэтика. М., 1978.

Стеблин-Каменский 1979 — *Стеблин-Каменский М.И.* Скальдическая поэзия // Поэзия скальдов, Изд. подготовили С.В. Петров, М.И. Стеблин-Каменский (Литературные памятники). Л., 1979.

Топоров 1977 — *Топоров В.Н.* О структуре "Царя Эдипа" Софокла // Славянское и балканское языкознание: Карпато-восточнославянские параллели. Структура балканского текста. М., 1977.

Топоров 1977а — *Топоров В.Н.* Авест. *Θrita-*, *Θraetaona*, др.-инд. *Trita* и др. и их индоевропейские источники // Annali della Facolta di lingue e letterature straniere di Ca Foscari. Paideia XVI.3 (Serie Orientale).

Топоров 1979 — *Топоров В.Н.* К семантике троичности (слав. **trizna* и др.) // Этимология 1977. М., 1979.

Топоров 1982 — *Топоров В.Н.* Marginalia к семантике троичности // Этимология 1980. М., 1982.

Топоров 1982а — *Топоров В.Н.* Числа // Мифы народов мира. Т. 2. М., 1982.

Топоров 1982б — *Топоров В.Н.* Сравнительный комментарий к одному мотиву древнеиндийской мифологии: Индра-муравей // Древняя Индия. Историко-культурные связи. М., 1982.

Фрейденберг 1936 — *Фрейденберг О.М.* Поэтика сюжета и жанра. М.-Л., 1936.

Фрейденберг 1976 — *Фрейденберг О.М.* Миф и литература древности. М., 1978.

Фрейденберг 1980 — *Фрейденберг О.М.* Миф и театр. М., 1980.

Aarne 1919 — *Aarne A.* Vergeleichende Raetselforschungen, II // FF Communications, 27. Helsinki, 1919.

Bader 1989 — Bader F. La langue des dieux ou l'hermetisme des poetes indoeuropeens. Pise, 1989.

Bader 1990 — *Bader F.* La Langue des dieux: hermetisme et autobiographie // Les études classiques. 1990. V. LVIII. № 1.

Benveniste, Renou 1934 — *Benveniste E., Renou L.* Vrtra et Vrθragna. Paris, 1934.

Campanile 1977 — *Campanile E.* Ricerche di cultura poetica indoeuropea. Pisa, 1977.

Comparetti 1867 — *Comparetti D.* Edipo e la mitologia comparata. Pisa, 1867.

Cook 1984 — *Cook A.B.* Descriptive animal Names in Greek // The Classical Review, V. 8. 1984.

Cook 1984a — *Cook A.B.* Animal Worship in the Mycenaean age // the Journal of Hellenic Studies. V. 14. 1984.

Cosquin 1908 — *Cosquin M.E.* La lait de la Mère et le coffre flottant // Revue des questions historiques. 1908.

D'Arcy Thompson 1945 — *D'Arcy Thompson W.* The Greek for a Dormouse // Classical Philology. V. 40. 1945.

Delgado 1986 — *Delgado F.* Los oraculos y Hesiodo: poesia oral mantica y gnomica grieca. Caceres. Universidad de Extremadura. 1986.

Dumezil 1968 — *Dumezil G.* La religion romaine archaïque. Paris, 1964.

Durante 1968 — *Durante M.* Untersuchungen zur Vorgeschichte der Griechischen Dichtersprache. Das Epitheton (In: Schmitt 1968, 291—323).

Edmunds 1981 — *Edmunds L.* The Sphinx in the Oedipus Legend (In: Edmunds, Dundes 1981).

Edmunds, Dundes 1931 — *Edmunds L., Dundes A.* (ed.) Oedipus: a Folklore Casebook. New Jork, London, 1981.

Ginzburg 1990 — *Ginzburg C.* Ecstasies. Deciphering the Witches Sabbath. London-Sydney-Auckland-Johannesburg. 1990.

Goettling 1881 — *Goettling C.* (ed.) Hesiodi Carmina // Gotha. Erfurt, 1831.

Gorun 1977 — *Gorun I.* On recurrent dramatic Structures // Poetics, 6: The Formal Structure of Drama. 1977.

Guentert 1921 — *Guentert H.* Von der Sprache der Gotter und Geister. Bedeutungsgeschichtliche Untersuchungen zur homerischen und eddischen Göttersprache. Halle, 1921.

Hays 1918 — *Hays H.M.* Notes in The Work and Days of Hesiod. With Introduction and Appendix. A Dissertation. Chicago, 1918.

Hocart 1972 — *Hocart A.M.* The Life-giving Myth and other Essays. London, 1972.

Hoefer 1965 — *Hoefer O.* Oidipus // *Roscher W.* Ausfürhliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie. III. 1. Hildesheim, 1965.

Hofinger 1975 — *Hofinger M.* Lexicon Hesiodeum cum indice inverso. Avec la collaboration de M. Mund-Dopchie. T. 1, Leiden: Brill, 1975.

Hofinger 1981 — *Hofinger M.* Etudes sur le vocabulaire du grec archaïque. Leiden: E.J. Brill, 1981.

Hofinger, Pinte 1985 — *Hofinger M., Pinte D.* Lexicon Hesiodeum cum indice inverso. Supplementum Leiden: E.J. Bill, 1985.

Holley 1949 — *Holley H.M.* The Floating Chest // Journal of Hellenic Studies. V. LXIX, 1949.

Ivanov 1974 — *Ivanov V.V.* Growth of the Theoretical Framework of Modern Poetics // Current Trends in Linguistics. V. 12. Linguistics and Adjacent Arts and Sciences. The Hague-Paris, 1974.

Johnson 1976 — *Johnson W.* On the Rgvedic Riddle of Two Birds in the Fig Tree (RV I. 164. 20-22) and the Discovery of the Vedic speculative symposium // Journal of the American Oriental Society. 1976. V. 96, № 2.

Kramer 1961 — *Kramer S.N.* Sumerian Mythology. A Study of spiritual and literary achievement in the third millenium B.C. New-York, 1961.

Krause — *Krause W.* Die Kenning als typische Stilfigur der germanischen und keltischen Dichtersprache (Schriften der Koenigsberger Gelehrten Gesellschaft, 7, 1). Halle.

Kretschmer 1923 — *Kretschmer P.* Oidipus und Melapus // Glotta, 1923. V. XII.

Lane 1947 — *Lane G.S.* The Tocharian Punyavantajataka: Text and Translation // Journal of the American Oriental Society, 1947. V. 67, № 1.

Lessa 1961 — *Lessa W.A.* Tales from Ulithi Atoll: A Comparative Study in Oceanic. Folklore. Berkley-Los Angeles, 1961.

Lévi-Strauss — *Lévi-Strauss C.* Le Graal en Amérique // Paroles données. Paris, 1984.

Liberman 1984 — *Liberman A.* Introduction // *Propp V.* Theory and History of Folklore (Theory and History of Literature. V. 5). Minneapolis, 1984.

Luria 1927 — *Luria S.* "Ton sou huion phrixon" (Die Oidipussage und Verwandtes) // Raccolta discritti in onore di F.Ramorino. Milano.

Maxwell-Stuart 1975 — *Maxwell-Stuart P.G.* Interpretatios of the Name Oidipus // Maia. 1975. V. 27.

Mitchell 1968 — *Mitchell R.E.* The Oedipus Myth and Complex in Oceania with Special Reference to Truk // Asian Folklore Studies. 1968. V. 27.

Nagy 1986 — *Nagy G.* The Best of Achaeans. Concepts of the Hero in Archaic Greek Poetry. Baltimore and London, 1986.

Nagy 1987 — *Nagy G.* The Indo-European Heritage of Tribal Organization: Evidence from the Greek Polis // Proto-Indo-European: The Archaeology of a Linguistic Problem. Studies in Honor of M.Gimbutas. 1987.

Nagy 1990 — *Nagy G.* Greek Mythology and Poetics. Ithaca and London, 1990.

Nagy 1990a — *Nagy G.* Pindar's Homer. The Lyrical Possession of the Epic Past. Baltimore and London, 1990.

Nicolai 1964 — *Nicolai W.* Hesiods Erga. Beobachtungen zum Aufbau. Heidelberg, 1964.

Noreen 1926 — *Noreen E.* Den norsk-islaendska poesien. Stockholm, 1926.

Porzig 1926 — *Porzig W.* Aischylos. Die attische Tragödie (Staat und Geist, 3). Leipzig, 1926.

Porzig 1953 — *Porzig W.* Das Rätsel der Spinx // Lexis. 1953. V. 3.

Puhvel 1991 — *Puhvel J.* Names and Numbers of the Pleiad // Semitic Studies. In Honor of W. Leslau. On the Occasion of the eighty-fifth Birthday, November 19th, 1991. V. 2. Vestbaden, 1991.

Scharfe 1978 — *Scharfe H.* Oxen with men's feet // The Journal of Indo-European Studies. 1978. V. 6, № 3/4.

Schmitt 1967 — *Schmitt R.* Dichtung und Dichtersprache in indogermanischer Zeit. Wiesbaden. 1967.

Schmitt 1968 — *Schmitt R.* (hrsg.) Indogermanische Dichtersprache. Darmstadt, 1968.

Schultz 1909-1912 — Schultz W. Rätzel aus dem hellenischen Kulturkreise. Bd. 1,2 (Mythologische Bibliothek, 3:1; 4:1). Leipzig, 1909—1912.

Schultze 1933 — *Schultz W.* Kleine Schriften. Gottingen, 1933.

Sellschopp — *Sellschopp I.* Stilistische Untersuchungen zu Hesiod. Dissertation. Hamburg, 1934.

Sieg, Siegling 1953 — *Sieg E., Siegling E.* Tocharische Sprachreste. Sprache B. Hft. 2. Fragmente № 71-633. Aus dem Nachlass. Hrsg. von W.Thomas. Gottingen, 1953.

Sihler 1973 — *Sihler A.* Proto-Indo-European **smH- 'pair'-* //The Journal Of Indo-European Studies. 1973. V. 1. № 1.

Sileiko 1929 — *Sileiko W.K.* Ein Omentext Sargons von Akkad und sein Nachklang bei semischen Dichtern // Archiv für Orientforschung. Bd. V. Hft. 5—6. Berlin, 1929.

Sinclair 1932 — *Sinclar T.A.* (ed.) Hesiod. Works and Days. London, 1932.

Solmsen, Mercelbach, West — *Solmsen F., Mercelbach R., West M.L.* (ed.) Hesiodi Theogonia Opera et Dies Scutum Fragmenta Selecta. Oxonii e typographeo Clarendoniano. 1990.

Toporov 1982 — *Toporov V.N.* Die Ursprünge der indoeuropaeischen Poetik // Poetica. 1982. Bd. 13.

Troxler 1964 — *Troxler H.* Sprache und Wortschatz Hesiods. Zürich, 1964.

Vernant, Vidal-Naquet — *Vernant J.-P., Vidal-Naquet P.* Mythe et tragédie en Grèce ancienne. Paris, 1972.

Waern 1951 — *Waern I.* GES OSTEA. The Kenning in Pre-Christian Greek Poetry. Inaugural Dissertation. Uppsala, 1951.

Watkins 1978 — *Watkins C.* Anosteos hon poda // Etrennes septemtaine. Melanges M.Lejeune. Paris, 1978.

Watkins 1979 — *Watkins C.* NAM.RA GUD UDU in Hittite: Indo-European Poetic Language and the Folk Taxonomy of Wealth // Hethitisch und Indogermanisch. Innsbruck, 1979.

Watkins 1982 — *Watkins C.* Aspects of Indo-European Poetics // The Indo-Europeans in the Fourth and Third Millenia. Ann Arbor, 1982.

Watkins 1985 — *Watkins C.* The American Heritage Dictionary of Indo-European Roots. Boston, 1985.

Watkins 1987 — *Watkins C.* How to kill a Dragon in Indo-European // Studies in Memory of Warren Cowgill (1929—1984). Berlin, 1987.

Watkins 1988 — *Watkins C.* Stylistic Reconstruction (to appear in Oxford International Encyclopedia of Linguistics / ed. *W.Bright.* Oxford University Press, 1988).

Watkins 1989 — *Watkins C.* The Comparison of formulaic Sequences // Proceedings of the IREX Conference on Comparative Linguistics, 1989.

Weber 1873 — *Weber A.* Zweites Buch der Atharva-Samhita // Indische Studien. 1873. Bd. 13.

West 1978 — *West M.L.* (ed.) Hesiod. Works and Days. Oxford University Press, 1978.

West 1984 — *West M.L.* Greek Meter. Oxford, 1984. At the Clarendon Press (reprint).

West 1988 — *West M.L.* Theogony and Works and Days. Translated with an Introduction and Notes. Oxford-New York, 1988.

Wilamowitz-Möllendorf 1928 — *Wilamowitz-Möllendorf V.U.* Hesiodos Erga erklaert von. Berlin, 1928.

Windekens 1976 — *Windekens van A.J.* Le tokharien confronté avec les autres langues indo-européennes. V. 1. Louvain, 1976.

Winter 1982 — *Winter W.* Die Vertretung indogermanischer Dentale im Tocharischen // Indogermanische Forschuhgen. 1962. Bd. 67, Hft. 1.

Winter 1984 — *Winter W.* Studia Tocharica. Poznań, 1984.

Witczak 1989 — *Witczak K.T.* Tocharian apsa (pl.)" + (Minor) Limbs" and its Cognates // Tocharian and Indo-European Studies. 1989. V. 3.

Yamaguchi 1990 — *Yamaguchi M.* The Foot in Japanese Culture // Culture Embodied/ eds. Moerman A. and Nomura M. Osaka: National Museum of Ethnology, 1990.

Часть II

Т. М. Николаева

Загадка и пословица: социальные функции и грамматика

I

1. Основной паремиологической параллелью загадки безусловно является пословица. Будучи в равной степени излюбленным хранилищем народного сознания, равным свидетельством накопленного веками мировоззрения, каждая из этих паремий выполняет какую-то свою социальную коммуникативную нагрузку в общих рамках коммуникативно активного фольклора, ибо, вероятно, ничто не обладает большей перлокутивной силой, чем традиция.

Современная лингвистика не только описывает структуры речевых актов, но и рассматривает их как действия прежде всего целенаправленные. Обратимся же в этом свете к какому-нибудь определению пословицы, например, известного паремиолога Н. Барли: "Пословицу можно охарактеризовать как общепринятое стандартное высказывание относительно моральных или категориальных императивов в клишированной метафоричной парадигматической форме, анализирующей фундаментальные логические отношения"[1]. Высказанное всего двадцать лет назад, это определение кажется плоским: не хватает главного — ответа на вопрос, зачем вообще этот коммуникативный жанр нужен и нужен именно в такой структурной форме?

Между тем для паремических единиц квалификация их лексико-грамматического наполнения меняется от того, признаем ли мы эту формулу загадкой или пословицей. Иначе говоря, перцептивная сторона коммуникативного акта неотделима от функциональной стороны. В качестве примера рассмотрим русские эквиваленты японских загадко-пословиц:

У тощего мужика зычный голос (загадка) = Ружье,
У тощего мужика зычный голос (пословица);
Отправится барином, вернется слугой (загадка) = Ставни,
Отправится барином, вернется нищим (пословица)[2].

В первом примере (загадка) сообщается о каком-то реальном объекте, издающем не ожидаемый для своего облика звук. Характеристику

[1] *Барли Н.* Структурный подход к пословице и максиме // Паремиологические исследования. М., 1984. С. 133.

[2] *Мазурик В. П.* Японская загадка: общее и специфическое // Паремиологические исследования. М., 1984. С. 75.

эту нужно соотнести с каким-то реальным Нечто действительности. Во втором примере (пословица) сообщается о частотных регулярных случаях, когда невзрачный тщедушный человек умеет командовать или— шире — что люди нередко обнаруживают непредсказуемые качества.

Вербальный статус предиката загадки, первого примера, дуративный. А второго — итеративный. Имя обладателя в первом случае имеет семантику специфической неопределенности, а во втором — кванторную семантику всеобщности. Таким образом грамматика диктуется интерпретацией. Задача же нашей работы — обратная: посмотреть, до какой степени коммуникативная задача паремии соответствует ее грамматической структуре, насколько грамматика ответственна за иллокутивную силу сентенции.

Описанию семантической структуры паремий в последние десятилетия посвящено много серьезных работ, уже имеющих исследовательские продолжения. Так, основные смысловые оппозиции окружающего мира, отраженные в пословицах, описаны во многих трудах Г.Л. Пермякова[3]. В качестве подлинной темы пословицы он считает демонстрацию некоей инвариантной пары противопоставленных сущностей. Например, у пословицы *Гора родила мышь* темой является инвариантная пара Большое — Малое. Эти инвариантные пары представлены в работах Г.Л. Пермякова в виде укрупненных тематических групп. Приведем на выбор по одному противопоставлению из каждой группы: Вещь — Признак; Близкое — Далекое; Здоровый — Больной; Слово — Молчание; Акция — Реакция; Ум — Рост; Перед — Зад; Дорогое — Дешевое; Храбрый — Трус; Память — Забвение; Вещь — Условие; Благодарность — Неблагодарность; и т.д. Однако в его работах, известных далеко за отечественными пределами, также не ставится вопрос, быть может, самый увлекательный: зачем существуют пословицы и когда и с какой целью они употребляются. Это отрицание функционального подхода уже в эксплицитной форме формулируется А. Дандисом: "Главный вопрос состоит не в том, какую роль играет пословица, а в том, что она из себя представляет"[4]. А. Дандис замечает далее о простоте пословичной структуры по сравнению с народными сказками, мифами или песнями: поэтому описание фольклора целесообразно начинать с пословицы из-за ее сравнительной простоты.

А между тем функциональный подход может не только объединить фольклор как некое "народное" целое, но и разъединить. Два простых вопроса: почему возникло? и с какой целью? могут дать социально-коммуникативные интерпретации совершенно непредсказуемые.

Семантическая структура загадки в синхронном плане и в некоторой методологической параллели с идеями Г.Л. Пермякова в последние годы исследовалась А.Н. Журинским[5]. Оригинальна в его работах идея ситуативности — как в загадке, так и в отгадке. Например, *Под*

[3] *Пермяков Г.Л.* От поговорки до сказки. М., 1970; *Пермяков Г.Л.* О смысловой структуре и соответствующей классификации пословичных речений // Паремиологический сборник. М., 1978 и др.

[4] *Дандис А.* О структуре пословицы // Паремиологический сборник. М., 1978. С. 15.

[5] *Журинский А.Н.* Семантическая структура загадки. М., 1989.

колодой лето и зиму снег лежит и не тает = Белка < Мех на брюшке белки всегда светлый и т.д. Таким образом разгадка даже в виде одного слова есть некий субститут свернутой ситуации; А.Н. Журинский подробно описывает возможные способы преобразования исходной ситуации (ИС), ее сегментирование, свертывание, нарушение семантического веса элементов ИС, дополнение эпитетами и т.д., приводящие к созданию загадываемой ситуации, преобразованной (ПС); то есть акт загадывания обычно связан с обманутым ожиданием — загаданная ситуация неидентична преобразованной.

Существенным для стратификации форм фольклора и — у́же — форм его паремий является и тот наукографический факт, что генезисом пословиц по сути занимались мало, обычно ограничиваясь сообщением о зафиксированной древности пословичных речений, тогда как таинственная суть загадки и ее генезис во многом были исследовательски более привлекательны.

П. Гжибек в статье об исследовании загадки с семиотической точки зрения[6] подробно излагает теории возникновения загадки. Это: загадка и сновидения, грезы, загадка и миф, загадка и табу, загадка и анаграмма[7]. В занятия эволюцией загадки несомненно входит еще и анализ семантической эволюции самих паремиологических металексем. Так например, слово ἄινιγμα > *энигма,* 'загадка' в античной традиции означало не "загадку", а некое непрямое, часто трагическое иносказание, пророчество о непроизносимом, которое может быть понято правильно или неправильно[8].

Паремиология последнего десятилетия во многом ориентируется на многократно переводившуюся и издавшуюся работу Т.Я. Елизаренковой и В.Н. Топорова о ведийской загадке типа brahmodya. Для ведийской и других архаичных традиций верно, "...что загадка предполагает не любой вопрос, а лишь вполне определенный, ограничиваемый сферой сакрально значимого; что загадка существует в том смысле, что ее итог — открытие нового"[9]. Ведийская загадка связана с диалогом на космогонические темы и — что важно — с установкой на то, что "смысл мира — в нем самом, внутри него". Ответы загадки, как показывают Т.Я. Елизаренкова и В.Н. Топоров "отсылают к алфавиту мира (набор сакрализованных объектов, описывающих мир в его настоящем составе и в его становлении в рамках космогенеза), а последовательность ответов (соответственно и вопросов, в конечном счете тех же объектов) — к иерархическому устройству мира" [С. 23]. Эти идеи очень быстро вошли в основной фонд современной паремиологии, но, как представляется, стали применяться другими исследователями несколько упрощенно, в том смысле, что всякая загадка стала тракто-

[6] *Grzybek P.* Überlegungen zur semiotischen Rätselforschung (Einleitung) // Semiotische Studien zum Rätsel. Simple forms reconsidered II. Bochum, 1987.

[7] *Grzybek P.* Op. cit. P. 12—24.

[8] *Ковалева И.И.* Ainigma в греческой традиции: семантика и функции // Слово в контексте литературной эволюции: античность — Средние века — Возрождение. М., 1989.

[9] *Елизаренкова Т.Я., Топоров В.Н.* О ведийской загадке типа brahmodya // Паремиологические исследования. М., 1984. С. 15. Далее в тексте указываются страницы.

ваться как средство передачи сакрального знания, как часть культового ритуала. Между тем в той же работе сами авторы как бы призывают внимательного читателя обратить внимание на два существенных обстоятельства. А именно — в продолжении только что приведенной цитаты мы узнаем, что "атрибуты и предикаты, кодирующие объект, подлежащий разгадке, отсылают к той Zwischenwelt, состоящей из набора свойств и действий, которые равно относятся и к миру исключительного, космологически отмеченного, сакрального, и к миру повседневного, бытового, профанического" [С. 24]. На этой Zwischenwelt мы и хотим впоследствии остановиться в связи с проблемами референтности имени в паремии. Во-вторых, в начале работы обоих авторов говорится о "вырожденных вариантах" загадки и о загадках, включавшихся в иные традиции и иные контексты и получавших тем самым новое развитие [С. 14]. Итак, уже, видимо, загадки типа: *Что находится в центре Парижа? — Буква Р* вряд ли можно отнести к постижению космогонической сути. Впрочем, П. Гжибек говорит о древности многих "детских" загадок, восходящих еще к Средним векам[10].

Таким образом, знание об онтогенезе явления безусловно раскрывает суть функционирования паремий, но ее не исчерпывает, иначе необходимо было бы предположить отсутствие динамики в человеческом менталитете или, что с этим связано, отсутствие динамики коммуникативных установок в человеческом речевом общении. В этом отношении нельзя не согласиться с утверждением В. Мидера о том, что "Паремиология не должна оставаться наукой, смотрящей только назад и работающей только с текстами далеких времен"[11].

Разведение для современной паремии генезиса и функции, как представляется, может помочь понять и генезис, и функцию. Наконец, небезынтересным для исследователя будет проследить в синхронии и диахронии соотношение: бытование/значимость двух основных паремий. С некоторой осторожностью можно высказать гипотезу, что коммуникативная значимость загадок и пословиц в эволюции общества среднеевропейского типа дает константную величину: чем больше места в общении занимают загадки, тем меньше пословицы и наоборот.

В человеческом обществе паремии неотделимы не только от контекста поведенческого, но и от контекста вербального. Между тем, даже и в самых современных трудах по текстовым функциям генерических высказываний (в том числе и о паремиях) часто как общее место сообщается об их "свободе от контекста", "не включенности в контекст" и под. Обычно это мотивируется минимальностью анафорических связей и редуцированностью местоименного пласта в таких структурах. А ведь подобные высказывания просто неверны. Напротив, можно сказать, что нет структур, более глубоко вписанных в контекст, чем паремиологические. Для этого они и существуют, потому они и живучи. В самом деле, дескриптивное высказывание типа *Сегодня очень сильно потеплело,* сказанное изолированно, не вызовет недоуменных вопро-

[10] *Grzybek P.* Zur Ontogenes des Rätselratens // Semiotische Studien zum Rätsel. Simple forms reconsidered II. Bochum, 1987. P. 265.

[11] *Mieder W.* Prolegomena to perspective paremiography // Proverbium 7. Vermont, 1990. P. 142.

сов, тогда как сказанное вне контекста речение типа *Цыплят по осени считают* или *С волками жить — по-волчьи выть* эти вопросы вызовет или произнесшего сочтут по меньшей мере странным. Рассматривая язык как самоорганизующуюся социально активную систему, можно сказать, что подобная мимикрия под внеконтекстную сущность входит в коммуникативную установку паремий. Так, сложную игру загадки с текстом отметил Ц. Тодоров: "Загадка — это редкий случай диссоциации перцепции дискурса и его интерпретации"[12]. То есть, по Тодорову, "Загадка не есть некий связный контекст, но, скорее всего, его речевая маска" (La devinette n'est jamais un récit, seul son masque verbal peut être[13]).

Выше говорилось о последних направлениях в изучении паремий. Последние десятилетия были выбраны неслучайно. Дело в том, что за эти же годы произошел большой сдвиг в лингвистике, пройти мимо которого для паремиологических штудий по существу невозможно. Речь идет о двух ветвях языковедения.

Первое — направление, изучающее целевую установку при речевом поведении. При этом речь рассматривается как сознательный поведенческий акт, внушение чего-то собеседнику, что-то сообщающее ему и понуждающее его к неким ответным действиям. Направление это прежде всего связано с именем Дж. Остина, различавшего локуцию, иллокуцию и перлокуцию. Эволюция теории Дж. Остина привела к классификации речевых актов по коммуникативным установкам, иначе говоря, к теории речевых актов. В то же время речевое поведение, интегрирующее речевые акты, должно включать в качестве своего онтологического составляющего и волевой момент, установку коммуникантов на сотрудничество. Тем самым лингвистические идеи связались с Кооперацией, были выявлены основные принципы речевой кооперации. Установка на кооперацию для участников общения неотъемлемо связана с восприятием речевых единиц, с перцептивным фактором. В этом плане речевая активность есть факт Когнитивной лингвистики.

В свою очередь нельзя уйти и от того феномена, что и осуществление речевых функций, по Остину, и установка на Кооперацию/Не-кооперацию в общении не могут быть отделены от социального начала и социальной принадлежности актантов. Язык описывается тогда как социализированное пространство.

Вторым перспективным направлением современной лингвистики является новый подход к трактовке грамматических категорий. Прежнее разделение грамматического описания на два слоя: парадигматическое описание с таксономией форм и так называемые "правила употребления" оказалось недостаточным: перемещение научных интересов в сторону человека потребовало антропоцентрического подхода к категориальной грамматике. С этим направлением связан круг работ, посвященных так называемой "картине мира", которая в грамматике каждого языка отображает как универсальные, так и национально-

[12] *Todorov T.* La devinette // Todorov T. Les genres du discours. Paris, 1978. P. 227.
[13] *Todorov T.* Op. cit. P. 240.

специфические черты. То есть мы предполагаем проделать содержательную интерпретацию грамматических категорий, типичных для структуры загадки и пословицы. Совпадение этой интерпретации с гипотетически реконструируемыми функциями паремий верифицирует реконструкцию. Именно в этом аспекте сопоставление загадки и пословицы явится эвристически новым.

Вообще типология грамматики паремий еще не исследовалась. Между тем еще А.Н. Гвоздев социальную направленность, в частности, неопределенно-личных предложений, связывал с намерением коммуниканта, который употребляет их "для выражения личных заявлений, маскируя их тем, будто они высказываются от какой-то точно не указываемой группы"[14].

Лингвистический аспект пословиц в основном включал сопоставление лексико-грамматического пласта. Например, ср.:

(1) Alle Wege führen nach Rom; Alle wegen leiden naar Rome; Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.

(2) Wie die Mutter, so die Tochter; Zo moeder, zo dochter; Jaka matka, taka córka, etc.[15]

Или, например, подробное сопоставление объема русских и венгерских пословиц свидетельствует о том, что в русском языке их средняя длина равна 4—5 словам, а в венгерском — 4—6 словам, при доминировании четырехсловных конструкций[16]. А в содержательном плане, по данным того же автора, из 317 венгерских пословиц 291 совпали с русскими.

Создается впечатление, что национальная специфика загадки выражена в большей степени. Судя по примерам А.Н. Журинского, можно предположить, что восточному типу загадки присуща ориентация на глобальную ситуацию как в загадке, так и в отгадке. Например, *'Верблюдица, которую я держу за хвост, слизывает кусты'* = Мотыга во время работы (сомал.)[17], тогда как в славянской загадке, скорее, загадывается объект: *Собачка лает да в лом не пускает* = Замок и т.д. Именно ситуативная разгадка часто характеризует так называемые "армянские" загадки с ответами типа: "Это баран бегает вокруг аптеки", "Это два одноногих негра" и т.д.

Современная лингвистика располагает между тем, помимо сказанного, еще рядом пока не востребованных паремиологией коннептуальных подходов. И здесь прежде всего необходимо сказать о системе национально-языковых классификаторов Дж. Лакоффа[18]. Она предполагает наличие в языке прототипических стереотипов, типичных примеров. Например, яблоки и апельсины — типичные фрукты, пилы и

[14] *Гвоздев А.Н.* Современный русский литературный язык: II. Синтаксис. М., 1968. С. 90.

[15] *Frackiewicz I.* Zu allgemeinen Kriterien für eine konfrontative Sprichworteranalyse: am Beispiel der Sprichworter im Deutchen, Niederländischen und Polnischen // Proverbium 5. Vermont, 1988.

[16] *Tóthné Litovkina A.* Hungarian and Russian proverbs: a comparative analysis // Proverbium 7. Vermont, 1990.

[17] *Журинский А.Н.* Указ. соч. С. 55.

[18] *Лакофф Дж.* Мышление в зеркале классификаторов // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXIII. М., 1988.

молотки — типичные инструменты. Использование типичных членов категориального ряда обычно присуще всем носителям языка, они употребляются автоматически и неосознанно. Стереотипы же социальные осознаются, могут меняться со временем, могут вызывать разногласия, например, типичная мать — домохозяйка, типичный японец трудолюбив, вежлив и умен[19]. Несомненно, что анализ прототипических категорий в паремиях был бы перспективным средством дальнейшего сближения паремиологии и современной лингвистики.

Такое сближение намечено в интересной работе С.М. Толстой[20], где автор использует теорию речевых актов и их классификацию для анализа обряда и обрядового фольклора. С.М. Толстая исследует и неравнозначность фольклорных жанров по коммуникативным возможностям. На ряде ее положений мы остановимся ниже. Итак, используя слова Ч. Филлмора о механизме интерпретации вербальных фреймов, мы можем вслед за ним повторить, что исследуя языковую форму текста, интерпретатор должен получить для каждой языковой формы ответ на следующие вопросы: "Почему в языке существует категория, которую представляет данная форма? Почему говорящий выбрал данную форму в данном контексте?"[21].

Таким образом в следующем разделе пословица и загадка будут интерпретироваться с позиций коммуникативной лингвистики с целью выявить их социально-коммуникативные установки. В третьем разделе анализу будет подвергнута содержательно-категориальная структура грамматики паремий.

Однако в заключение этого вводного раздела мы считаем необходимым эксплицировать некоторые исходные позиции, которые, как представляется, обычно входят в ментальный комплекс подхода к фольклорным текстам и определяют традиционную аксиологию фольклористических исследований. Примерно это можно сформулировать так:

1. Детство всегда прекрасно (или должно быть прекрасно). Детство человечества тем самым тем более прекрасно.
2. Мир традиционный, неизменяющийся, стабильный (стагнированный) прекрасен.
3. Прошлое как правило лучше настоящего, а в будущем нужно стремиться к устранению неожиданностей.
4. Окружающая нас современная толпа с ее массовой психологией никак ментально не связана с прекрасными традициями народа.
5. Индивидуальной личности рекомендуется поступать по канонам прошлого (предков) и современного ей группового социума; минимум инициативы обеспечит ей минимум неприятностей.

Оспаривать данные положения в настоящей работе мы не будем. Однако несколько примеров о силе воздействия внушаемых моделей можно привести и для нашего времени. Например, как бы общепринятым является положение с том, что молодые — это бунтари, а

[19] *Лакофф.* Указ. соч. С. 34.

[20] *Толстая С.М.* К прагматической интерпретации обряда и обрядового фольклора // Образ мира в слове и ритуале. Балканские чтения — I. М., 1992.

[21] *Филлмор Ч.* Фреймы и семантика понимания // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXIII.М., 1988. С. 67.

старшее поколение традиционно и стабильно (см. ставший почти общим местом пример студенческих волнений конца 60-х). Между тем очевидно, что наиболее нетерпимы свободные по выбору проявления личности, именно у молодых есть потребность в культах, в "идолах", в лидере, именно в этом возрасте существенна "единообразность" одежды (см. детские мучения с "не той одеждой" хотя бы в деталях) и регламентированность поведения. Слова о "юноше, обдумывающем жизнь "с кого", отнюдь неслучайны. Вспомним Аркадия Кирсанова, старающегося вести себя под Базарова, тогда как его отец и дядя вполне толерантны к своим индивидуальным различиям. По существу - доминантой классической английской литературы является тема друга — демона — идола — Божества (см. хотя бы отношения: Копперфильд — Стирфорт у Ч. Диккенса). Характерно, что в творчестве писателей-интеллектуалов часто творчески необходимым бывает явно автобиографическое выражение страданий мальчика из вполне благополучной семьи, мучительно страдающего из-за того, что он как-то не вписывается в соответствующую социальную группу. Такова совершенно трагическая глава "Comme il faut" в "Отрочестве" Л.Н. Толстого, таковы рассказы о мальчике Путе у В. Набокова. Самым сильным разоблачением мифа о детском нон-конформизме является, на наш взгляд, роман У. Голдинга с далеко уводящим названием "Повелитель мух". Респектабельные английские дети, оставшись по воле случая одни на острове, мгновенно превращаются в законопослушное лидеру озверелое стадо; героя в конце стремятся убить не потому даже, что он бунтарь, а потому что просто не совсем раб. Итак, протест против "других" не есть бунтарство, им может быть только вызов своему собственному социальному кругу.

Возвращаясь к исходной теме, как кажется, имеем право предположить, что язык играет далеко не последнюю роль в создании и укреплении указанных выше мировоззренческих и аксиологических постулатов.

II

1. Историю лингвистики XX века можно свести к трансформации знаменитого тезиса Ч. де Соссюра: язык существует действительно в себе, но не для себя. Значение всегда является значением для кого-либо. Нет такой сущности, как значение предложения само по себе, вне зависимости от каких бы то ни было людей. Когда мы говорим о значении предложения, это всегда значение для кого-либо, для реального лица или гипотетического типичного представителя языкового сообщества[22]. Ничто не может удачнее характеризовать паремию. Они создаются обществом для себя и с тремя целями: 1) сообщить нечто о мире и о человеке; 2) помочь обществу в его гомеостатическом существовании; 3) воздействовать на одиночку, потенциального "блудного сына" с тем, чтобы вернуть его в лоно Коллективного разума. Несомненно, что эти три функции характеризуют обе паремии

[22] *Лакофф Дж., Джонсон М.* Метафоры, которыми мы живем // Язык и моделирование социального взаимодействия. М., 1987. С. 170.

по-разному, причем по-разному в отдельные эпохи существования и развития общества.

Основным механизмом существования паремийной перлокутивной силы является изначальный страх человека перед социальным одиночеством. Трудно сказать, до какой степени этот страх заложен в программу человеческого менталитета или он непрестанно поддерживается социумом. Современный язык непаремийных текстов располагает множеством достаточно тонких средств воздействия на личность с созданием эффекта единодушия мнения коллектива, по отношению к которому данная личность рискует оказаться аутсайдером. Такими средствами являются, в частности,: 1) формирование некоторого неясного по объему, но единомыслящего социума (*В классе считают...; На работе думают...* и т.д.); 2) создание фантомообразного противника (*Некоторые полагают...; В отличие от тех, кто считает...* и т.д.); 3) мультипликация единократного поступка адресата с целью усилить его "вину" (*Вот Вы все по ресторанам ходите...* и под.); 4) мена синтаксических позиций пресуппозиции и ассерции, когда собственно утверждаемся часть "прячется" в периферийную синтаксическую структуру, например: *Как это они написали вместе, при их-то отношениях?* Цель — сообщить, что у "них" плохие отношения. *Она неплохо выглядит. — Да, для ее возраста.* Цель — сообщить, что она стара[23]. Эти приемы базируются на переплетении в одном и том же высказывании нейтральных и демагогических, перлокутивных компонентов. Существуют, разумеется, и лексические средства демагогии. Так, Д. Болинджер[24] приводит пример современного языка реальных американских учреждений, когда Военное министерство становится Министерством обороны, воинская повинность — призывом, плата наличными — первоначальным вкладом, повторный заклад — дополнительными возможностями финансирования.

Общие структурные свойства системы убеждения — это четыре характерных черты: 1) структурная репрезентация; 2) содержательное наполнение структур; 3) ценности; 4) экземплификация[25]. Первое — это система каузальных связей, второе — приписывание значимых весов отдельным актантам (объектам) предлагаемых структур, третье — аксиологическая характеризация сообщаемой ситуации, четвертое — представление данной структуры как единичного примера множественных аналогичных ситуаций. Собственно для семантики убеждения характерны именно две последних черты.

Но в рамках этой системы паремии обладают своей спецификой. Во-первых, будучи действенными только на макроконтекстном уровне, паремии не могут быть встроены в нейтральные высказывания, подобно лингводемагогическим средствам, указанным выше. Поэтому их перлокутивная структура должна быть особой. Во-вторых, во многих

[23] См. об этих средствах "лингвистической демагогии": *Николаева Т.М.* "Лингвистическая демагогия" // Прагматика и проблемы интенсиональности. М., 1988.

[24] *Болинджер Д.* Истина — проблема лингвистическая // Язык и моделирование социального взаимодействия. М., 1987. С. 35.

[25] *Абельсон Р.* Структуры убеждений // Язык и моделирование социального взаимодействия. М., 1987. С. 369.

системах убеждений мир моделируется как потенциально преобразуемая система. Мир моделируется как набор суждений, которые представляют наши знания о его статических характеристиках. Этот мир изменяется посредством действий, которые могут рассматриваться как "параметрированные процедуры"[26]. Паремийное воздействие ориентировано на типизированное поведение, целью которого является мир не преобразованный, а стабилизированный. Как определяет А.А. Крикман, пословицы не гносеологические, а прагматические орудия[27]. Поэтому и пословицы, сообщающие о явлениях природы, о растениях, о животных, суть на самом деле сообщения о поведении человека и его проблемах. Но прескрипционная семантика пословицы на самом деле дуалистична: сообщаемое не универсально и не конкретно, оно соединено с промежуточным звеном — социальным. "Каждое пословичное речение служит как акт выражения идентичности, т.е. членства разнообразных по составу групп"[28].

Причину психологической готовности к применению пословиц видят не только в том, что это структура убеждения, но и в их свойстве способствовать установлению общих связей у членов сообщества. В этом отношении весьма интересны данные о применении псевдопаремийного материала в психотерапии[29]. Сначала квазипословицы сплачивают людей, а потом служат как ностальгические реминесценции, как нечто, связанное с началом выздоровления и — тем самым — уже как вторичное средство стабилизации. Разумеется, психологической базой такого лечения является свойство аналогического мышления, коррелятом которого служит параллельность самой пословичной структуры. При этом параллелизм и создает "истину", хотя бы каждая из посылок была бы спорной. См., например, *No Tuesday without sun / No love without pain*[30]. Естественно, что пословичная структура легко находит свое продолжение в политических лозунгах и призывах тоталитарных (унитарных) систем. Примечательно и то, что силы оппозиции в борьбе с тоталитарными лозунгами опираются на них же, создавая антивариант (Antisprichwort), как, например, это было перед объединением Германий. См. Lieber klare Bäche als einen Schwarzen Kanal; Die Demokratie in ihrem Lauf hält weder Ochs' noch Esel auf; Es geht nicht mehr um die Banane, es geht um die Wurst etc.[31].

Таким образом, пословичная структура всегда обращена к массе, как аппелируя к ней, так и создавая ее.

---

[26] *Аллен Дж.Ф., Перро Р.* Выявление коммуникативного намерения, содержащегося в высказывании // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. М., 1986. С.320.

[27] *Крикман А.А.* Опыт объяснения некоторых семантических механизмов пословицы // Паремиологические исследования. М., 1984. С. 165.

[28] *Alexander T., Hasan-Rokem G.* Games of identity in proverb usage: proverbs of a Sephardic-Jewish woman // Proverbium 5. Vermont, 1988. P. 2.

[29] *Rogers T.B.* The use of slogans, colloquialisms and proverbs in the treatment of substance addiction: a psychological application of proverbs // Proverbium 6. Vermont, 1989.

[30] *Rogers.* Op. cit. P. 108.

[31] *Militz H.-M.* Das Antisprichwort als semantische Variante eines sprichworten Textes // Proverbium 8. Vermont, 1991.

Может казаться, что в отличие от пословицы загадка в ее современном виде социально нейтральна. Это вовсе не так, и если пословицы в своем крайнем продолжении ведут к лозунгам, то загадки имеют иное социальное продолжение. Они трансформируются в особые вопросо-ответные структуры официального толка, цель которых — обеспечить однозначные по единодушию ответы, не требующие размышления коммуниканта. Именно эта вопросо-ответная структура была представлена, например, в ритуальных пионерских текстах типа *Кто шагает дружно в ряд? — Это первый наш отряд* и т.д. Данные о репрессивных следствиях также свидетельствуют о трансформациях вопросо-ответной структуры по модели загадки как текста в допросы, при которых от допрашиваемого добивались не ответа по сути, а механического воспроизведения подсказанной ему реплики.

Таким образом, и загадка, и пословица являются тем, что Аристотель назвал энтимемами, средствами убеждения. См. о загадке как энтимеме у Ц. Тодорова[32]. Энтимемическое воздействие есть особый вид риторической стратегии, которая не стоится по правилам логики и развития силлогизма, а основывается на общем фонде знаний (shared knowledge) слушающего и говорящего. См. об общности пословицы и загадки в этом плане: Green, Pepicello[33].

Итак, можно предположить, что аналогия, принцип аналогического соотнесения ситуации, является основным фактором, объединяющим загадку и пословицу. В случае пословицы речь идет о поведенческой аналогии, в случае загадки выстраивается аналогия между исходной ситуацией и загадываемой, аналогия эта часто строится на неожиданности, нарушении ожидания.

Этими путями фольклорные тексты, направленные на стагнацию, аннулируют выбор, т.е. именно то, что порождает личность. Может казаться, что такая свобода выбора есть в сказке. И это можно оспорить, в очередной раз опираясь на классические работы В.Я. Проппа. Именно поэтому, что действия и события в сказке предсказуемы, ему и удалось так классификационно блестяще создать ее унитарную "морфологию". Вероятно, это и имел в виду К. Бремон[34], обсуждая какие-то иные исходы: герой не входит в лес, лягушка молчит, падчерица грубит Морозу и т.д. Но в сказке такого выбора нет. Поэтому в сказке есть только квазикультурный герой. Этим сказка отличается от мифа, где культурный герой свободен, что во многих древних текстах приводит к трагедийной ситуации, поскольку Рок параллелен свободе действия. Этим же сказка отличается и от беллетризованной литературы, отражающей действительность, если принять нашу свободу действий хотя бы на каком-то ином, чем фольклорные тексты, уровне. Таким образом безупречной характеристикой паремиологического компонента сказки служат слова о том, что "сказка — ложь, да в ней намек: добрым молодцам — урок".

---

[32] *Todorov*. Op.cit. P. 236.

[33] *Green Th., Pepicello W.* The proverb and riddle as folk enthymemes // Proverbium 3. Ohio, 1986.

[34] *Bremon Cl.* Le message narratif // Communications, 4, 1964.

2. Рассмотрим раздельно функциональную нагрузку каждой из двух паремий. Уже говорилось выше об антропоцентричной направленности пословицы, хотя, как мы постараемся показать, загадка по-своему столь же антропоцентрична. Трудно сказать при этом, что́ в большей степени антропоцентрично: ориентированное на человека Познание или ориентированное на человека же Поведение. Известно также, что пословицы и загадки легко трансформируются друг в друга. Например, *Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше.* Ср. *Где ищет* /быть/ *рыба? — Где лучше.* Когнитивная лингвистика обратила внимание на социальную и индивидуальную обусловленность восприятия окружающего мира. См. определение связи категоризации мира и истины в работе Дж. Лакоффа и М. Джонсон: "понимание всегда предполагает категоризацию, присущую человеку, которая является функцией интерактивных (а не естественных) свойств вещей и возникающих из нашего опыта "измерений"[35]. В другой своей работе Дж. Лакофф подробно разбирает систему современных классификаторов, определяющих релятивную концептуальную структуру человеческого миропонимания. Культурологи сегодняшнего дня обнаружили, что категоризация базовых отношений зависит от повседневных человеческих контактов и ими определяется. Здесь важны такие показатели как система образного восприятия, система физических взаимодействий, ментальные образы и роль реалий в культуре. "Эти наблюдения опровергают классическую точку зрения, согласно которой понятия абстрактны и не связаны с опытом человека"[36].

Для каждой из двух паремий очевидно можно выделить доминантную проблематику. Если для загадки эти проблемы связаны в первую очередь с ее генезисом, то́ для пословиц ключевой проблемой представляется проблема их истинности. Обращаясь к различаемому в славянском пространстве полю правды (человек говорит правду, она в нем) и полю истины (истина вне нас), можно заметить, что при употреблении пословиц проблема правды снимается: человек говорит не "от себя", а ссылаясь на чужой и тем самым объективируемый опыт. Правда здесь оставляет за собой этический момент. Верным же по отношению к пословице могут быть две вещи, 1) верно ли то, что сообщает пословица в исходной части; т.е. действительно ли рыба ищет, где глубже, действительно ли сытое брюхо глухо и т.д., 2) верно ли данная пословица употреблена, т.е. существует ли аналогия между пословичной ситуацией и обсуждаемой.

Проблема истинности пословиц связана с тем фактом, что в каждой народной культуре известны ряды пословичных пар, утверждающих противоположное. Например, английские: *Good counsel never comes too late — When a thihg is done, advice comes too late; Of one ill come many — Lightning never strikes twice in the same place*[37]. Проблема соответствия пословицы и действительности обсуждается в интересной статье Д. Крэма о народных заблуждениях, "folk fallacies"[38]. По

[35] *Лакофф, Джонсон.* Указ. соч. С. 153.

[36] *Лакофф.* Указ. соч. С. 48.

[37] Dictionary of proverbs // The Penguin dictionary of proverbs. L., 1983.

[38] *Cram D.* "Argumentum ad lunam": on the folk fallacy and the nature of the proverb // Proverbium 3. Ohio, 1986.

его мнению, в ментальном слое, к которому аппеллирует пословица, нет противоречий в научно-логическом значении этого слова. Поэтому пословицы типа *Out of sight, out of mind и Absence makes the heart grow together* могут спокойно сосуществовать в пределах одной и той же провербиальной системы. По остроумному делению Д. Крэма, народными заблуждениями, folk fallacies, являются несоответствующими действительности положения, которые разделяются не всеми членами коллектива, те же заблуждения, которые разделяются всеми, это и есть "народная мудрость" (folk wisdom)[39].

На основании ряда этнолингвистических исследований можно предположить, что система дуальных оппозиций характеризует лишь архаическое мышление и древнее мышление до какого-то переходного этапа, когда объекты, напротив, сближаются и создается единое пространство соприкасающихся по характеристикам объектов, так что возникает некая структура, близкая к понятию лексико-семантического поля или к сетевой системе в современном понимании.

Именно такое представление пословичного мира было предложено Ю.И. Левиным, которому принадлежит удачный термин "провербиальное пространство"[40]. Распределение пословиц в пределах провербиального пространства по сути снимает с рассмотрения вопрос о противоречивости пословиц, так как в провербиальном пространстве они включаются в систему шкалированных отношений. См. ряд *За чужой щекой зуб не болит.* → *На чужой спине легко* → *Чужая ноша не тянет* и антонимичное *Своя ноша не тянет.* Таким образом, разделение пословиц на истинные и ложные видимо действительно лишено смысла для носителей провербиального менталитета, поскольку каждый активный носитель языка владеет всеми связями внутри провербиального пространства в целом.

Эта перцептивная готовность относиться некритически к любым компонентам провербиального пространства используется для целей психотерапевтического воздействия. См. пословицы-лозунги у терапевтов, истинности которых как бы и не рассчитана на обсуждение: No rewards for bad behavior; No pain, no gain; You alone can do it, but you cannot do it alone; It's better to give than to receive; Water seeks its own level etc.[41]. Таким образом сама функция пословицы — быть вне категории истинности/ложности. "Будучи обобщением, пословица сама по себе не может быть определена как "истинная" или "ложная". Люди выбирают пословицу в соответствии с ситуационными потребностями — а не в соответствии с их общим абстрактным смыслом, и всякая ситуация может быть оценена неединообразно"[42].

Итак, пословицы как бы гасят а приори вопрос о том, действительно ли нужно по-волчьи выть, если живешь с волками, может быть, нужно накинуть платок на чужой роток и исключено ли, что человек, разевающий рот на чужой каравай, добьется и собственного успеха.

---

[39] *Cram.* Op. cit. P. 17.

[40] *Левин Ю.И.* Провербиальное пространство // Паремиологические исследования. М., 1984.

[41] *Rogers.* Op. cit.

[42] *Tóthné Litovkina.* Op. cit. C. 247.

Несомненно и то, что многие пословицы верны и справедливы как для универсально-человеческого, так и для национально-специфических сообществ. Именно комбинации справедливого и коварного, ложного и истинного и лежат в основе столь мощного иллокутивного воздействия пословицы. Такая ценностная эклектичность воздействует больше, чем единообразный поток трюизмов, поскольку гипнотическая сила любой подтасовки сильнее, если в нее подмешаны зерна истины.

3. В.Н. Топоров и Т.Н. Елизаренкова в указанной выше работе о ведийской загадке типа brahmodya[43] показывают, что при разгадывании ведийской загадки "найденный смысл всегда нов и единствен", "открытие, обретение смысла всегда нечто сверхестественное, всегда чудо, доступное лишь для носителя высокой мудрости". Эти высшие ценности должны быть принципиально скрыты, " т.е. находиться как бы вне мира".

Анализ этой работы приводит к мысли, что при таком понимании Вселенной на самом деле не Макромир описывается через реалии Микромира (можно считать и наоборот), а Макромир равен Микромиру, и Микромир и Макромир не сходны, а тождественны. Именно в этой связи таким важным становится образ первочеловека-первожертвы Пуруши, разъятого на члены при творении Космоса. Очевидно, что основным ментальным средством познания в н е н а с находящейся, но и в н а с находящейся Вселенной является Сопоставление. Мы познаем мир через сопоставление, т.е. через тождество. В этом смысле очевидно можно считать, что архаичное мышление не знало ни индукции, ни дедукции, т.е. позитивного подхода, всегда предполагающего укрупнение одного и того же в родовые и видовые понятия без субстанциального перерыва в мышлении. То есть отгадывание мировой структуры по архаической модели есть Отображение (мимесис), т.е. нечто, гомогенное искусству. Однако очевидно и на этом древнем этапе не все владели тайным знанием Отображения. Поэтому подобные знания становятся уже и социальной характеристикой приобщенности к некоей эзотерической группе. Как отмечает Э. Кёнгэс-Маранда[44], "процесс отгадывания ближе к академическому испытанию, чем к творческому поиску". Отгадывающие следующего этапа заучивают с детства подобающие ответы и тем самым страхуют себя от подозрений в социальном аустайдерстве, уже не постигая индивидуально высокие смыслы.

В этой связи с появлением письменных культур с их ярко выраженным логоцентризмом загадка безусловно должна была сменить свою одежду и войти в письменную культуру, не меняя при этом установки на социальное единодушие и сдвиг "горизонта ожидания". Появляются так называемые автонимические загадки. См. *От /чего/ утка плавает?* = От берега; *А и Б сидели на трубе, А упало, Б пропало, что осталось на трубе?* = Союз И; *Что находится в центре Парижа?* = Буква Р; *Чем кончается все?* = Буквой Ё. Автонимические загадки

[43] *Елизаренкова, Топоров.* Указ. соч.

[44] *Кёнгэс-Маранда Э.* Логика загадок // Паремиологический сборник. М., 1978. С. 256.

широко распространяются. См. пример А.К. Оглоблина яванской автонимической загадки: *'Какую часть тела можно написать одной буквой?* = Peh (желудок)', где есть как центральный элемент одна буква, а по краям два диакритических знака[45]. Разумеется, никаким озарением ответ на автонимическую загадку быть получен не может. Его можно только знать, поскольку базирующиеся на графике автонимические загадки есть продукт Микромира и к Микромиру и обращены. Они в еще большей степени выполняют задачу проверки на социальную включенность и в еще большей степени мучительны для потенциального аутсайдера, каким обычно оказывается ребенок младшего школьного возраста, уже умеющий читать и писать.

Особым видом загадок, близким к автонимическим, являются загадки "неправильного прочтения", когда оказывается, что интонационный центр вопроса можно понять иначе. *Почему Робин Гуд грабил богатых? — Потому, что у бедных не было денег; Why do birds fly south? — Because it's too far to walk; Why did the dog go into the sun? — He wanted to be a hot dog.*

Игрой является и навязываемый слишком трюистичный ответ, который испытуемый отбрасывает как очевидный: *Кем ты станешь в 20 лет? — Двадцатилетним человеком; What has head of a cat, the tail of a cat, and the fur of a cat but is not a cat? — A kitten.*

Горизонт обманутого ожидания в еще большей степени проступает в особом типе автонимических загадок, когда артефактичность пронизывает и загадку, и отгадку, т.е. связь с Макромиром полностью исчезает: *What fruit is on a penny? — A date; What's black and white and red (read) all over? — Newspaper.* Итак, в своем историческом развитии загадка разделяет судьбу многих изобретений человечества: из серьезного занятия она превращается в игру, при том что и в игре имеется своя серьезная сторона.

Г.Л. Пермяков в предисловии к работе Н.В. Барабановой пишет, что загадки, "вооружая человека знанием разных логических приемов, учат его думать"[46]. Позволим себе именно с этим не согласиться. Думать да еще с помощью логических приемов загадки не учат, поскольку, если так можно выразиться, они зародились до того, как человек стал думать с помощью логических приемов. На раннем этапе загадки могли учить постигать.

По мере развития европоцентрической цивилизации для включенного в нее лица факт потенциального незнания ответа на загадку уже не становился столь социально угрожающим. И теперь для взрослого современного человека загадка оборачивается в основном своей второй стороной — обманутым ожиданием. Загадка становится забавным загадко-анекдотом. *Что такое: зеленое, висит и пищит?* = Селедка. *Армянское радио спрашивают...* В коммуникативно-социальном плане интересно, что анекдот как бы противоположен загадке: его знать

[45] *Оглоблин А.К.* Типы яванских загадок (к вопросу о соотношении формы и значения) // Паремиологические исследования. М., 1984. С. 86.

[46] *Пермяков Г.Л.* Вступительный текст к статье Н.В. Барабановой "О логической структуре некоторых русских загадок" // Паремиологические исследования. М., 1984.

вовсе необязательно, напротив, незнание даст возможность собеседнику рассказать и еще раз позабавиться. Загадко-анекдоты также сплачивают общество, но другими коммуникативными методами, чем, например, автонимические загадки, где незнание ответа унижает адресата.

Если взять за образец среднего достаточно образованного горожанина, то кратко намеченная эволюция истории загадки вертикальным образом отражается в истории одной личности. В детском раннем состоянии человек знакомится с народными загадками, загадываемыми ему кем-нибудь из старших, потом с автонимическими загадкам, сообщаемыми обычно сверстниками. Во взрослых фазах загадка предстает в виде загадко-анекдота.

III

1. Как указывалось выше, грамматикой паремий занимались мало, но интересно, что во многих грамматических описаниях примерами на ряд категорий служат часто только паремии, но авторы грамматик не выделяют при этом паремии особо.

Проанализируем на грамматическом уровне два феномена паремийного высказывания: 1) квалификационный статус предиката в пословице и загадке; 2) референционный статус имен в обеих паремиях.

Постараемся сопоставить эти показатели с функциями пословицы и загадки, о которых говорилось выше.

Грамматика пословицы

Предикат

Предварительные исследования показали, что существенно различие предикатных форм в пословицах, включающих компонент "условие" и пословицах без него.

Пословицы без семантического компонента "условие"

1. Наиболее характерной формой глагольного сказуемого в пословицах является форма 3 лица, числа — единственное и множественное; время — настоящее неактуальное; в семантику глагольной фазы входит показатель 'обычно', 'вообще'.

Примеры: *Дыма без огня не бывает; Аппетит приходит во время еды; В тихом омуте черти водятся; Где тонко, там и рвется; Бодливой корове Бог рог не дает; Дареному коню в зубы не смотрят; За одного битого двух небитых дают; Лежачего не бьют; Всяк кулик свое болото хвалит; На ловца и зверь бежит; Новая метла чисто метет* (русск.). *Одна ластівка не робить весни; Всяка птичка носиком живе; Хто що знає, тим і хліб заробляє; Бачить кіт сало, та сили мало; Не сам гвіздок лізе в стіну — його молотком забивають; Вода камінь довбає; Правда очі коле; Одна мати рожає, та не одну долю дає; Біда за бідою ходить* и т.д. (укр.). *Поп карае, а сам грахт мае; Добры квас добра п'ецца; Зяць любіць ўзяць, а цесць любіць чэсць; Ціхая свіння глыбока рые; Назад толькі ракі лазяць; Язык без касцей, што хоча, то і пляце.* (бел.). *Брат за брат не печели, ама*

се го жели; Бежан скача, а Стоян плаче; Всека циганка своите времена хвали; Всеко куче на двора лае; Гарван гарвану око не вади; Гладна мечка не играе; Жабата не крека на сухо; Жаден бивол мутна вода не гледа; Затлъстела кокошка яйца не носи (болг.). *Člověk míní, Pán Buh mění; K samému svítaní i mladí kohouti pějí; Ohne olejem nehasí; Co z nebe prší, to žadnému neškodí; Železo železem se ostří; Moc železo láme; Jablko nedaleko stromu padne; Každý ptáček svým se nosem živí* (чешск.).

Дискуссии о настоящем времени обычно связывают его функционирование с моментом речи, с "беспризнаковым" его существованием, с действительностью ситуации как ранее, так и в настоящий момент. Функции настоящего времени принято обсуждать с опорой на говорящего и его включенность в происходящее событие — сейчас или в обозримый промежуток, соотносимый с сиюминутностью. В пословичных речениях говорящего в принятом смысле усматривать нельзя. А.В. Бондарко[47], приводя пословичный пример *Рыбак рыбака видит издалека,* говорит, что "настоящее время, в котором представлена "вневременная ситуация", не имеет актуальной соотнесенности с моментом речи. К этому моменту относится лишь пресуппозиция: я сообщаю эту истину сейчас, следовательно, в момент речи считаю действительным, имеющим актуальную значимость тот смысл, который заключается в известной пословице". Поскольку эта пословица применяется в указанной форме обычно к актуальным ситуациям, можно, по нашему мнению, считать, что *видит* в контексте — это настоящее актуальное, симонимичное: *Они понимают друг друга.* Но на контекстное значение *видит* накладывается и семантика *видит* из изолированного существования пословицы — *Рыбак рыбака видит издалека* 'всегда, всякий', т.е. это уже настоящее повторяющейся ситуации (о таком термине см. АГ-80 I). Таким образом настоящее пословичное — это наложение двух временны́х статусов: актуальной ситуации и повторяющейся.

Столь же двойственной представляется в пословичных структурах с 3 л. мн. настоящего категория персональности. Неслучайно *Цыплят по осени считают* одни исследователи трактуют как обобщенно-личные, другие — как неопределенно-личные, третьи — как неопределенно-обобщающие структуры. А.В. Бондарко видит знаковую функцию отсутствия субъекта в таких предложениях "в выражении идеи несущественности субъекта действия и тем самым существенности проявления самого действия — акцентировки действия, а не "неопределенности лица"[48]. Однако можно считать, что для пословичных предикатов существенное различие в статус глагола вносит его число. Ср. *Смотрите, как он обращается к продавцу! — Рыбак рыбака видит издалека.* Здесь актанты пословицы приравниваются к актантам сопоставляемой ситуации и потому настоящее пословичного глагола приобретает дополнительный статус актуальности. Но нет ситуации,

[47] *Бондарко А.В.* Темпоральность // Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность. Л., 1990. С. 22.

[48] *Бондарко А.В.* Персональность // Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость. Л., 1991. С. 66.

аналогичной *По одежке встречают, по уму провожают* или *Цыплят по осени считают.* Это может быть только острота с нарочитым буквальным прочтением. Поэтому настоящее время здесь — это время повторяющейся ситуации без статуса актуальности.

2. Второй распространенной формой пословичного сказуемого является форма простого будущего во 2 лице единственного числа; в этих структурах присутствует семантический показатель 'должно', 'надлежит': *Кашу маслом не испортишь; Из "спасиба" шубу не сошьешь; Лбом стенку не прошибешь; Перед смертью не надышишься; Шила в мешке не утаишь* (русск.); *Не спарує голубки та півня, бо голубка півневи не рівня; Від сердитої жінки постарієш, а від доброї помолодієш; Згаяного часу і конем не доженеш; Дірявого мішка не наповниш* (укр.); *Жонка не бот, не скінеш; У чужи рот не уставіш варот; Сонейка рукавицай не заслоніш; Родную мать нікем не заменіш* (бел.); *Boha nepřevališ; Moře nevýpiješ* (чешск.).

В связи с формами простого будущего 2 лица единственного числа существенны для рассмотрения следующие формально-категориальные аспекты: 1) пословичные речения и проблема персональности; 2) некоторые специфические оттенки категории футуральности, отмеченные в грамматиках не на пословичном материале; 3) распространенность отрицания в этих структурах.

Т.В. Булыгина и А.Д. Шмелев, анализируя обобщение в формах Ø/*ты* в отличие от форм Ø/3 мн., определяют Ø/*ты* отношения как описание множества конкретных ситуаций, рассматриваемых изнутри, с конкретной точки зрения[49]. Важно, что они отмечают близость этих форм к наглядно-примерным описаниям. На наш взгляд, адресация у таких предложений двойная: и к слушающему, и к говорящему. *Взглянешь на здание, и сердце каждый раз вздрогнет.* Здесь есть и "Когда я взгляну", и "Когда ты взглянешь", и "Взглянешь вместе со мной", и, далее, "Ведь мы смотрим одинаково". Итак, по нашему мнению, персональность Ø/*ты* комбинированного свойства. Это отличает такие формы от *Горбатого могила исправит,* где такой двойной коммуникативной адресации нет.

В АГ-80 I представлены сообщения о некоторых субсмыслах простого будущего с интересующей нас точки зрения. Так, если формы будущего сложного ограничиваются сферой будущего, то формы будущего простого наряду с основным значением выявляют периферийное значение настоящего времени повторяющегося, в частности, обычного и типичного действия, нередко с дополнительными модальными оттенками (АГ-80 I, 629). Далее, говорится о периферийной функции у простого будущего — значении обычного повторяющегося действия. Свойственная же для формы простого будущего периферийная функция выражения настоящего неактуального чаще всего реализуется как настоящее абстрактное (наглядно-примерный тип): *Право, позавидуешь некоторым чиновникам!* (АГ-80 I, 634).

[49] *Булыгина Т.В., Шмелев А.Д.* Референциальные, коммуникативные и прагматические аспекты неопределенно-личности и обобщенно-личности // Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость. С.-П., 1991. С. 55.

Все эти оттенки, безусловно, входят в категориальные значения анализируемых форм пословичных предикатов. Небезынтересно и замечание авторов Грамматики об одной из функций будущего сложного времени, в пословицах как правило не встречающегося. Речь идет о том, что "обычное типичное действие непременно должно (или не должно) осуществляться" (АГ-80 I, 635).

В пословичных речениях с будущим несомненно есть оттенок долженствования, прескрипции. Это доказывается и возможностью трансформации глагола из личной формы в форму инфинитива. См. *Из "спасиба" шубы не сшить; Кашу маслом не испортить; Старого воробья на мякине не провести; Шила в мешке не утаить;* эта же трансформация применима и к формам 3 лица ед. числа — *Горбатого могиле исправить* и неприменима к формам настоящего времени: **Рыбаку рыбака видеть издалека.*

Наиболее сложен ответ на последний вопрос — о причинах столь активной негации в формах простого будущего с 2 лицом. Кажется, что здесь выражены значения, налагающиеся друг на друга: долженствования с отрицанием действия 'не делай' + презумпция адресата (слушающего) делать это, хотя бы это и относилось к третьему лицу. Представляется, что контекст определяет в этом случае степень референции к адресату. По нашему мнению, включенность говорящего в ситуацию в этом случае меньше, чем в конструкциях без *не* типа *Тише едешь, дальше будешь.*

3. Третьей распространенной глагольной формой пословичного предиката является императив в форме единственного числа: *На чужой каравай рот не разевай; Готовь сани летом, а телегу зимой; Наперед батьки в пекло не суйся; Не в свои сани не садись; По одежке протягивай ножки* (русск.); *Не роззявляй рота, бо сорока влетить; Мною хоч діл мий, та тільки мочалкою не называй; Мовчи так мовчи; Не скуби, пока не зловиш* (укр.); *Не кайся рана ўстаць, а кайся доўга спаць; Бойся не таго сабакі, што брэша, а таго што лашчыца; Не вер сабаку, бо ўкусиць* (бел.); *Бий го по краката, да се не бие по главата; Госта гощавай, врага прощавай; Заводи пручка, пий вино; Не гледай щото е минало, а щото ще дойде* (болг.).

Академическая грамматика специально выделяет "формы 2 л. ед. ч. в повелительном наклонении, употребленные в обобщенно-личном значении. Например, в пословицах: *Хлеб-соль ешь, а правду режь*" (АГ-80 I, 624). Авторы считают особенностью таких императивных конструкций "отрыв действия от его непосредственного производителя и возможность адресовать повеление любому лицу", это определяет широкое употребление форм 2 л. ед. ч. повелительного наклонения в целом ряде значений, далеких от собственно побуждения. "С побуждением их объединяет лишь значение ирреальности (возможности, желательности) действия".

И все же среди употреблений побуждения как категории мы находим одно из значений, соответствующих именно пословичным формам. Это: "побуждение с соединении со значением долженствования" (АГ-80 I, 624). Пример: *Всяк сверчок знай свой шесток.*

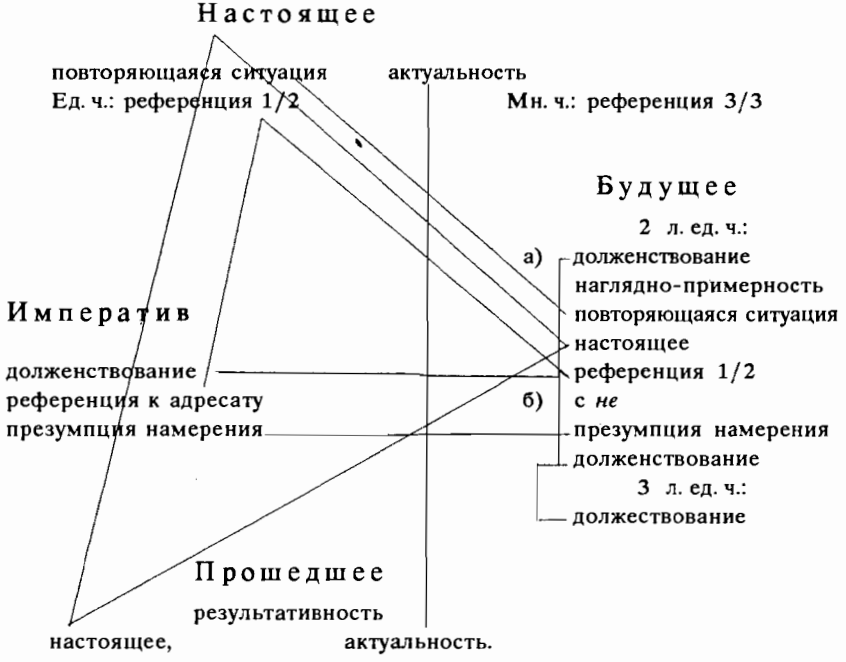
В нашем понимании пословичный императив близок к форме единственного числа 2 лица (т.е. это обобщение по лицу и числу) — *Из "спасиба" шубу не сошьешь* и под. Однако в императиве в еще большей степени усиливается референция к адресату одновременно с усилением неэксплицированной презумпции, что адресат поступает (или собирается поступить) вопреки прескрипции.

4. Прошедшее время представлено в пословицах минимально в примерах типа *Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить.* Несомненно также, что здесь уже есть некоторое значение условия. В других славянских языках эта форма более распространена: *Догадався цуцiл, як хвiст однав; Лiсом iшов, а дров не бачiв; Пiшла по масло, та й в печi погасло; Пiшов посол, та й упав росол* (укр.); *Вада — не бяда, пастаяла ды й пайшла; Не ўсе сталось, як жадалось; Пайшла па масла, а ў печы пагасла* (бел.); *Видела баба иглата на капата, а капата не видела; Биках, виках само дяволът ми се обажда; Две се риби пекли, една другу не верва* (болг.); *Vychoval psa na svou nohu; Snědl to co pes horký koblih; Vyšlo tele, vrátil se vůl; Usedlý co havran na topoli* (чешск.).

Прошедшее время употребляется в пословицах обычно в форме совершенного вида. Известно, что "прошедшее время глаголов совершенного вида отличается от прошедшего времени глаголов несовершенного вида способностью выражать прошедшее действие, тесно связанное по своему результату с планом настоящего времени, что для прошедшего времени глаголов несовершенного вида возможно лишь в исключительных случаях" (АГ-80 I, 629). Но в пословицах и в случае несовершенного вида глагольная форма обретает значение результативности, перфективной статальности. См. *Лiсом iшов, а дров не бачiв.* Именно эта статическая результативность сближает прошедшее пословичное время с настоящим временем (см. данные индоевропеистики о происхождении перфектных форм из одной из серий настоящего времени).

О четырех основных формах глагольных предикатов в пословицах можно сказать следующее:

1) в славянских пословицах неусловной структуры употребляются преимущественно непериферийные формы глагола — настоящее время, прошедшее, будущее, императив. То есть это ядро глагольной парадигмы;
2) формы числа и вида не равноправны и неравнозначны. Императив функционирует только в ед. числе; есть различия по персональности в сфере настоящего: *Рыбак рыбака видит издалека — Цыплят по осени считают;*
3) самым существенным является то, что при неперифериности форм глагола пословицы используют как правило разнообразные периферийные оттенки функциональной семантики этих форм, практически не используя неосложненную категориальность. Эти дополнительные для категории смысловые наложения сближаются, объединяя категории функционально. Это дает возможность представить наглядным образом смысловые корреляции глагольных форм пословичных структур (см: рисунок).



Таким образом непредставленность семантики возможных миров в семантики пословичных глагольных форм компенсируется обилием "суперсегментных" привходящих коннотаций.

В нашу задачу, как она сформулирована была выше, не входит анализ именных форм сказуемого, которые в пословичных структурах также достаточно распространены. Однако дополнительные смысловые наложения в них просматриваются с еще большей очевидностью. Это долженствование, деонтический оттенок: *Всякому овощу свое время; Большому кораблю — большое плавание; Собаке собачья смерть* и т.д. Это также — отрицание презумпции иного нормативного жизненного сценария: *Гусь свинье не товарищ; Первый блин комом; В семье не без урода* и т.д.

Интересно, что в формах предикативов-прилагательных представлены краткие формы: *Запретный плод сладок; Дорого яичко в Христов день; Мал золотник да дорог; Остатки сладки; У страха глаза велики* и т.д. Употребление кратких форм безусловно объясняется их большей древностью и архаичностью самого жанра, однако при этом существенна и дополнительная привязка к актуальности, результативной связи с настоящим, комбинируемая в то же время с непривязанностью к конкретному референту. См. "по значению краткие формы отличаются от полных форм: они обозначают признак как качественное состояние, т.е. такой, который может быть приурочен к определенному времени" (АГ-80 I, 556).

Пословичные предикаты в условных структурах

Пословица, обращенная практически к каждому во всех случаях и во все времена, все же не игнорирует возможности быть советчиком при некотором ограниченном числе ситуаций, т.е. при ситуациях потенциальных. Очевидно, что условность понимается нами широко, т.е. имеется в виду реализация некоторой ситуации только в качестве функции от переменной — другой ситуации. Таким образом вводится показатель в том случае, когда имеет место ситуация X. При таком подходе в группу высказываний в значении условия попадают и сложные предложения со значением причинности, уступительности, тождества, собственно условия, множество бессоюзных структур самой разнообразной семантики и т.д. Именно такое расширенное понимание условных высказываний представлено и в АГ-80 II, где все подобные высказывания именуются обусловленными. "В предложениях со значением обусловленности соотнесены две ситуации, из которых одна поставлена в зависимость от другой. Такие предложения выражают условные, причинные, уступительные отношения, а также отношения цели и следствия...

Обусловленность, или каузальность, т.е. причинность в широком смысле слова, объединяет в себе такие значения, как предпосылка, основание, обоснование, подтверждение, доказательство, аргумент, довод, предопределенность, посылка, повод, предлог, стимул, целевая мотивировка. Весь этот круг отношений предполагает такую связь ситуаций, при которой одна служит достаточным основанием для реализации другой" (АГ-80 II, 562). В таких структурах реализуются практически все возможные формы глагольных и именных предикатов. См. русск.: *Лес рубят — щепки летят* (наст.вр. 3 л. мн. ч.); *Гром не грянет — мужик не перекрестится; За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь* (буд. вр., 3 и 2 л. ед. ч.); *Волков бояться — в лес не ходить; С волками жить — по-волчьи выть* (инфинитив); *Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет* (императив); *Баба с возу — коню легче* (именные формы) и т.д.

Поскольку пословичная структура должна быть гибкой и учитывать все ситуационные ограничения, то представить все возможные формы классификационным образом сложно. Дело еще и в том, что при одном и том же союзе (если классифицировать по союзам) предикатные реализации могут сильно варьироваться: см. с болгарским *ако*: *Ако има наука, има и отука; Ако го е взял, не го е откраднал; Ако гониш два заека, не може хвана ни един; Ако дадеш тука, ще намериш тамо; Ако е захапано, не е отхапано; Ако сила силовита, не е вековита* и т.д. К подобному же результату приводит и классификация по другим основаниям, например, по значению условие-следствие у бессоюзных предложений: *Найнявся — продався; Служив у дуки — натерпівся муки* (укр.); *Свякруха ў дом — ўсе ўверх дном; Бацька за порог — дзеці за пірог; Смелым быць — перамогу дабыць; Заробиш — пане бере, не заробиш — пан дере* (бел.); *Верен слуга — здрав ключ; Има пари — Христос воскресе, нема пари — смертию смерть* (болг).

Таким образом разнообразие форм предикатов как бы создает разнообразие возможных миров, в которые может привести обусловлен-

ная ситуация. Однако такая свобода выбора предрешенным образом оказывается обреченной именно при наложении на онтологическую дидактичность пословицы. Совершенно очевидно, что "проработанность" предикатных форм в не-условных пословичных структурах значительно больше, чем в условных. Поэтому в них коммуникативная установка как таковая более тесно сплетена с категориальной семантикой предиката. "Условные" же пословичные речения в основном повернуты к адресату не сообщаемым, а дополнительной ситуацией, потенциальной или нереализованной. Эта "теневая" структура может быть истолкована тремя возможными способами:

1. 'Может (могло) быть и хуже': *Пакуль ёсць хлеб ды вада — усё не бяда* (бел.); *Поки хліб та вода, то ще не беда, Коли є хліба край, та й під вербою рай* (укр.); *Přijde čas, přijde rada* (чешск.).

2. 'А могло быть лучше': *За худым жыць, толькі век даўжыць Не замесіш густа, як у амбары пуста* (бел.); *Тягни, кобыло, хоч тобі не міло; Тягни лямку, поки не викопають ямку; Швідко іди — ти доженеш лихо, іди тихо — тебе дожене лихо* (укр.): *Изкопал яма за другиго, сам си паднал в нея* (болг.) *Кали муж з жонкай сварыцца, то гаршок не варыцца* (бел.). *Не замісиш густо, як у каморі пусто* (укр.) и т.д.

3. Пословичные высказывания, аксиологическая направленность которых может быть установлена только в контексте. Обычно они характеризуют некую ситуацию как результативную, стабилизировавшуюся, а хороша она или плоха — определяет реальная расстановка сил. См. *Як граюць, так і танцуюць* (бел.); *Що вільно панові, то не вільно Іванові* (укр.); *Як пасцеліш, так і спіш* (бел.); *Както си си постлал, така ще си легнеш* (болг.); *Каквото повыкнало, тавоз се откликнало* (болг.); *Назвался груздем — полезай в кузов* (русск.).

Специальное исследование по анализу форм глагольного сказуемого в славянской паремии принадлежит Н.В. Петрикевичу, описавшему глагол в белорусских пословицах[50]. Наблюдения его в целом совпадают с нашими. В белорусских пословицах 70% имеют в составе глагол. В основном представлено настоящее время, обычно 3 л. ед. ч., что дает возможность не только давать советы, но и высказывать свое мнение о лицах, явлениях и предметах. В настоящем времени 3 л. мн. ч. выступает редко, довольно редко и 2 л. ед. ч.: *Береш коровку, бери ж и веревку; Гадуеш дзяўч.ыну — шыкуй пярыну* и т.д. Широко распространено простое будущее (2 и 3 л. ед. ч.): *Праворны ўсюды паспее; Сава не уродзиць сакала; З гурту заўседы выбяреш курту* и т.д. Конструкции с *не* очень широко представлены и имеют значение неизбежности.

Менее часта, но довольно распространена форма прошедшего времени, которое, как замечает Н.В. Петрикевич, приобретает характер обобщения: *Купіў — не прапіў; Памёр — усё гора адпёр.* Автор считает, что подобный жанр, с семантикой обобщенности и вневременности, "одержал победу" над основным значением прошедшего времени: обозначать только действие в прошлом.

[50] *Петрикевич Н. В.* Грамматическая роль глагола в образовании белорусских пословиц. АДК. Минск, 1974.

Императив распространен. Среди условных структур в основном употребляются высказывания с союзами *каб* или *калі* (*б*): *Забіла бы баба лося, каб удалося; Калі б меў ніву, нашоў бы и сіву.* Как и в русском языке, два инфинитива в контакте обозначают неизбежную цепь условие — следствие: *Красці — прапасці, жабраваць — гараваць.* См. русск.: *Курить — здоровью вредить.*

Референциальный статус имени в пословицах

В большинстве исследований статус имени в пословицах как правило связывается с обобщенностью. К имени добавляется значение квантора всеобщности 'всякий', 'любой'. В языке это значение связано с денотативным референциальным статусом неопределенности. См. у А.А. Крикмана: "Пословичный текст оказывается неопределенным "потенциалом" не только по отношению к конкретным возможностям употребления, но и по отношению к своим возможным абстрактным семантическим описаниям"[51]. Очень хорошо сказано далее, что так как пословицы априори антропоцентричны, то они "в значительной мере отражают не свойства самого описываемого объекта, а особенности языка описания и сознания описываемого"[52]. Именно эта всеобращенность пословицы стала в последние годы привлекать все большее внимание, оттесняя прежнюю эвристическую задачу — описать стоящий за паремией денотат, компонент действительности. Именно это обязательное, явное или имплицитное, присутствие квантора всеобщности в именном фрагменте пословицы Ю.И. Левин считает основополагающей ее характеристикой[53]. По мнению Ю.И. Левина, трансформация подстановки квантора всеобщности практически необходима, т.е. *На воре шапка горит* всегда значит *На всяком воре шапка горит* и т.д. Об этом же кванторе всеобщности в пословичных именах пишет и И. Каньо[54].

Идея обязательности наличия квантора всеобщности в семантике пословичного имени требует обращения к современной трактовке квантора всеобщности и статуса имени, с одной стороны, и анализа имени в генерализованных непословичных высказываниях, с другой.

Говоря о нереферентных именных группах, т.е. о тех, которые не обозначают никаких индивидуализированных объектов, Е.В. Падучева[55] пишет, что у таких именных групп возможна индексация четырех денотативных статусов: 1) экзистенциальный, 2) универсальный, 3) атрибутивный, 4) родовой.

Относительно более важного для нас, универсального, Е.В. Падучева говорит об обязательности квантора общности ∀ для всякого по переменной, которая принимает значение из экзистенциала общего имени в составе именной группы: а) *Конец венчает дело;* б) *Тот, кто*

[51] *Крикман.* Указ. соч. 1984. С. 82

[52] *Крикман* Указ. соч. 1984. С. 86.

[53] *Левин.* Указ. соч. С. 121.

[54] *Каньо З.* Мыслительно-языковые условия отображения структуры пословицы // Паремиологические исследования. М., 1984. С. 192.

[55] *Падучева Е.В.* Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М., 1985. С. 94.

сеет ветер, пожнет бурю. Интересно замечание о том, что в практике представления предложений на логическом языке принято не усматривать различия в логической форме, например, между *Все сотрудники отдела выполнили свой годовой план* и *Все дети любят мороженое.* Дальнейший текст для нас очень важен: "...в первом предложении речь идет о конкретном перечислимом множестве, во втором — об абстрактном множестве, составляющем экстенсионал слова *дети*... Проверка истинности утверждений о конкретных множествах происходит вынужденным образом, иначе, чем для абстрактных множеств: конкретные множества можно перебирать по-элементно, а для абстрактных истинность утверждений не может быть установлена эмпирически, а только с помощью заключений — дедуктивных и индуктивных"[56]. Это интересное положение как бы с другой стороны проливает свет на обсуждавшийся ранее вопрос о проверяемости — непроверяемость пословиц: оказывается, что их именные структуры организуют принципиальную эмпирическую неверифицируемость.

О.Н. Селиверстова, занимаясь определением места *-то* и *-нибудь* структур в разных ситуациях, тоже на непословичном материале, выявляет нетривиальную коммуникативную установку при многократных обобщенных высказываниях с *-нибудь*[57]. "Местоимения с *-нибудь,* указывая на альтернативность заполнения актантной позиции, ставят в фокус сообщения только сам факт реализации события при соответствующих условиях. При этом несущественно, кто (что и т.д.) заполняют актантную позицию".

Таким образом, отталкиваясь от положений Е.В. Падучевой и О.Н. Селиверстовой, мы можем сказать, что именные обобщенные структуры с квантором всеобщности неверифицируемы и безразличны к конкретности действующего актанта.

Обратимся к специальным работам, в которых анализируется референция имени в обобщающих высказываниях. Е.Н. Гаврилова[58] признает основным признаком обобщающего значения имени наличие кванторного слова либо возможность его подстановки: *Всякое наблюдение универсально и неповторимо; Очеркист обычно выступает и как свидетель изображаемых событий* и т.д. Важным признаком генерализованного существительного Е.Н. Гаврилова считает синонимию форм единственного и множественного числа: *Наука (науки) открывает человеку (людям) новые горизонты (горизонт).* "Значение всеобщности поддерживается в тексте формой настоящего времени глагола-сказуемого". Интересно, что в генерализованных высказываниях возможно употребление только настоящего времени, а в пословицах, как мы показывали выше, категориальные формы глагола классификационно ограничены, но все же разнообразны. Е.Н. Гаврилова в конце приходит к выводу, что "формирование генерализации в тексте происходит за счет совмещения всех отмеченных признаков: лексико-семантических, структурно-грамматических, модально-предикативных

[56] *Падучева.* Указ. соч. С. 95, 96.

[57] *Селиверстова О.Н.* Местоимения в языке и речи. М., 1988. Р. 95.

[58] *Гаврилова Е.Н.* Универсальные высказывания как особая коммуникативная единица. АДК. М., 1983.

и функциональных"[59]. К этой проблеме мы еще вернемся в связи с книгой Ю.С. Степанова[60].

В докторской диссертации Л.Б. Лебедевой общие генерализованные высказывания связываются с двумя типами референции: интенсиональной (концептуальной) и экстенсиональной, а также с употреблением имен разных семантических типов и сложных синтаксических комплексов разнообразных структур, которым соответствуют концептуальные референты[61]. Существенно замечание о том, что экстенсиональные высказывания могут быть опровергнуты путем отсылки к конкретному факту, поддающемуся эмпирической проверке: *Все люди, живущие у моря, хорошо плавают. — Вовсе нет, я выросла у моря, а плавать не умею.* Интенсиональные высказывания, такие как *Люди, живущие у моря, хорошо плавают,* таким способом опровергнуты быть не могут[62].

Стараясь понять статус имени в пословицах, невозможно обойти его верификацию посредством типа артикля в артиклевых языках.

Поэтому далее будут рассмотрены: 1) способы перевода на артиклевые языки имен в славянских пословицах; 2) статус именной группы в оригинальных пословицах артиклевых языков.

Анализ начинается с перевода на артиклевые языки русских пословиц. (Переводы были взяты из статей по паремиологии разных авторов, пишущих на английском, немецком и французском языках). И здесь важно обратить внимание на следующее обстоятельство. О кванторе всеобщности в связи с пословицами обычно говорят вообще, создавая впечатление, что либо все имена в пословице семантически однотипны, либо как бы речь идет о каком-то одном имени. Между тем в пословицах обычно представлена цепочка имен, точнее, два имени как правило. Если в предложении есть локализатор ситуации, то квантор всеобщности как правило в основном связывается именно с локализующим именем, Например, *Из песни* (всякой) *слова не выкинешь; Бодливой корове* (всякой) *Бог рог не дает; В тихом омуте* (всяком) *черти водятся; И на солнце* (всяком) *бывают пятна; Дома* (т.е. во всяком доме) *и стены помогают; И на старуху* (любую) бывает проруха и т.д. То есть ситуацию, как правило, мультиплицирует п е р в о е имя. Что же касается выбора артикля, то при наличии двух имен возможны следующие комбинации артиклей при переводе (0 — определенный, Н — неопределенный, Ø — нулевой): 1) 0—Ø; 2) 0—0; 3) Ø—0; 4) 0—Н; 5) Ø—Н; 6) Н—Н; 7) Н—0; 8) Н—Ø; 9) Ø—Ø.

Приведем примеры, хотя не все случаи оказались представленными:

0—Ø: — не было.

0—0: *Яйца курицу учат — Die Eier lehren das Huhn.*
Игра не стоит свеч — Das Spiel lohn nicht die Kerzen.
Лес рубят — щепки летят — Fällt man den Wald, fliegen die Spane.

---

[59] *Гаврилова.* Указ. соч. С. 11.

[60] *Степанов Ю.С.* Индоевропейское предложение. М., 1989.

[61] *Лебедева Л.Б.* Референция и структурно-семантические аспекты высказывания. АДД. М., 1991. С. 44.

[62] *Лебедева.* Указ. соч.

На воре шапка горит — Auf dem Dieb brennt die Mütze.
Овчинка не стоит выделки — Das Schafsfell lohnt die Verarbeitung nicht.
Куда иголка, туда и нитка — Wohin die Nadel, dahin auch der Faden.
Яблоко от яблони недалеко падает — Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

Ø—0 — не было.

0—Н: *Из-за деревьев леса не видит — Er sieht den Wald vor Bäumen nicht.*
Нашла коса на камень — Die Sense stiess auf einen Stein.

0—Н: *У страха глаза велики — Furcht hat grosse Augen.*

Н—Н: *И на старуху бывает проруха — Auch eine Alte macht einen Fehler.*
С больной головы да на здоровую — Vom einem kranken Kopf auf einen Gesunden.

Н—0: *Будет свинка, будет и щетинка — Wird es ein Schweinchen geben, wird es auch Borsten geben.*
В чужой монастырь со своим уставом не ходят — In ein frem des Kloster geht man mit seinen Regeln nicht hinein.

Н—Ø — не было.

Ø—Ø: *Нет дыма без огня — Wo Feuer ist, da ist auch Rauch.*

При наличии только одного имени в пословице возможны три ситуации: Ø, Н, 0.

0: *Куй железо, пока горячо — Schmiede das Eisen, solange es heiss ist.*

Н: *Беда никогда не приходит одна — Ein Unglück kommt selten allein, Misfortunes never come alone; Un malheur n'arrive jamais seul.*
Чужой ломоть лаком — Eine fremde Schube Brot ist leker.

Ø: *Чужой мед горек — Fremder Hönig ist bitter.*

Судя по переводам, абстрактное имя (свойство, качество) передается как правило нулевым артиклем. Интересным исключением является "беда" с неопределенным артиклем в трех языках. Это вполне соотносится с нашими более ранними данными о сознательной "неосваимости" слова типа *беда, несчастье* и т.д., об их не-интимизации через посессив и под.[63].

Для других имен различаются две возможности:

1) описывается типовая ситуация со случайной выборкой, ситуация цельная: *Auch eine Alte macht einen Fehler.* Здесь ошибка по сути не связана по своему функционированию со старухой, тип ошибки может быть любым и случайным. Артикли неопределенные.
2) речь идет о ситуации-образе с неким конкретным центром этой ситуации. Тогда окружающие имена-актанты входят в сферу интересов (в широком смысле) этого центра. Артикли определенные. Например, *Wohin die Nadel, dahin auch der Faden; Der Apfel fallt nicht weit vom Stamm,* то есть нитка относится к этой иголке, яблоня — к этому яблоку.

[63] Категория посессивности в славянских и балканских языках. М., 1989.

Итак, квантор всеобщности есть маркер градуальной неопределенности. Создается впечатление, что в немецких эквивалентах сема всеобщности представлена несколько слабее, вспомним выше об оси: всеобщность — примерно-наглядность в пословичных предикатах.

Какова же ситуация в артиклевом болгарском языке?

1) Абстрактные имена передаются без артикля: *Ако има наука, има и отука; Ако е сила силовита, не е вековита; За вода ходил, а вода не пил; От мълчане глава не боли.*

2) Имена нарицательные, употребленные в родовом значении, также бывают без артикля (чаще всего это характеристики какого-либо человеческого свойства или рода животного): *Без жена куща — без кофа кладенец; Бивол от муха не взема; Вино от лоза, млеко от коза; Вълк на поруки месо не яде; В голема река голема и риба; В мутна вода лесно се лови риба; Върви напред като рак; Гарван гарвану око не вади; Голема риба в малка вода не седи; Гора очи има, поле уши носи; Грък циганин надлъгва.*

3) Если пословица представляет собой не характеризацию, а описание ситуативного целого, то в болгарском языке употребляется определенный артикль: *Докле е жив вълкът, опашката му не мери; Ако видиш мечката на комшия си в лозето, чакай я и в твоето; Ако медът е сладок, все не требва; Ако има в паницата, ще има и в лъжицата; Ако ти се свиди маслото, не става кашата хубава; Бащата гали снахата, а живее при дъщерята; Бий го по краката, да се не бие по главата; Била на хорото, не видела гайдата; Бързият не ходи за вода, а жадният; Виде парите готови, че се смее* и т.д.

Если в болгарском языке определенный артикль представлен достаточно часто, то в английском языке более широко представлена градуальность семантики неопределенного имени. Эксплицируется различие между классом и типом. Поэтому распространен безартиклевый статус имени, особенно в высказываниях с обобщенными именами: *Love begets love; Knowledge is power; Fear is stronger than love; Punctuality is the politeness of prince,* а также в коротких речениях без связки: *Far from court, far from care; Out of sight, out of mind; Next to love, quietness.* Этим английский язык не отличается от, например, болгарского. Но интересно то, что в пословичных речениях с двумя именами, из которых одно является предикативом, первое имя (идея, абстрактность) обычно бывает без артикля, а второе, предикатив, оформлено определенным артиклем, т.е. типизировано, обобщено как тип (русский эквивалент здесь не столь очевиден): *Love is the fruit of idleness; Adversity is the touchstone of virtue; Sin is the root of sorrow.* Важно то, что оба имени здесь абстрактные.

Конкретный типизированный представитель класса явлений обычно передается в английских пословицах через неопределенный артикль: *A just war is better than an unjust peace; Give a clown your finger, and he will take your hand; A good word costs no more than a bad one; A man's studies pass into his character; A handfull of good live is better than a bushel of learning; A lawer never goes to law himself.*

Однако и в английском языке выделяется не глобальная ситуация, которая в этом языке соответствует как правило двум единообразным артиклям, а ситуация с неким централизованным актантом. Тогда определенным артиклем оформляется слово-центр (см. выше это о немецком): *The gods send nuts to those who have no teeth.*

Однако в артиклевых европейских языках пословицы одной и той же семантики (во всяком случае, на первый взгляд) могут по-разному представлять референционный статус имени. Ср.: *Friends are thieves of time / Les amis sont des voleurs de temps.* Вообще французский язык в большей степени снабжает артиклем (определенным) абстрактные имена пословиц, чем другие артиклевые языки: *L'ignorance et l'incuriosité font un doux oreiller; Où est la liberté, là est la patrie; La théorie est opposée au principe du libre arbitre; Les arts libéraux ne peuvent donner la vertù, mais ils disposent l'ame á la recevoir*[64]. Возможно, это свидетельствует о более конкретном представлении ситуации во французской паремии.

Грамматика загадки

Предикат в загадке

Пословица относится ко всякому, загадка — ко всему. Пословица прескрибирует человеческое поведение в связи с причастностью к некоторому человеческому социуму. Загадка вводит человека в этот социум благодаря посвященности в Знание.

Предваряя дальнейшее изложение, можем сказать, что смысловым центром пословицы является глагол, предикат. Центр загадки — это имя. Именно имя обычно-то и отгадывается, т.е. явление, предмет, феномен. К нему и обращены предикаты, которые служат связующим звеном между ним и миром. В конце концов антропоцентричны и загадки, и пословицы, но пословица строится на интрачеловеческом, загадка обращает человека во вне. В загадке возникает некий стоп-кадр. В пределах этого кадра перемещение и движение возможно, но это кадр с семиотической рамкой, подобный тому, что мы видим в телескопе, микроскопе или планетарии. Макромир, как говорилось выше, здесь равен микромиру. Поэтому времена глагола в загадке просты: в кадре, даже стагнированном, что-то происходит и может быть названо по-разному: Яблоки рассыпались, Лежат рассыпанные яблоки, Кто-то рассыпал яблоки, но сам натюрморт соответствует своей сути — la nature morte. Поэтому в загадке много глагольных форм в их основном значении, но нет периферийных форм, описывающих альтернативные миры, тогда как пословица и в обусловленных ситуациях диктует modus vivendi.

Семантика предиката в загадке в основном двойственной природы:

1) результат, перфективность, то, что мы видим сейчас;

2) действие вечно длящееся, сегодня, вчера, завтра.

Поэтому все привычные понятия "момента речи" здесь вообще нерелеванты. Обилия дополнительной семантики, характеризующей

[64] Dictionary des proverbs, sentences et maximes. Paris, 1960.

каждую глагольную категорию пословицы, в загадке нет: она должна сообщать, но не убеждать.

1) Прежде всего в загадке представлено настоящее время. *Конь бежит, земля дрожит; Лежит кучка поросят, кто ни тронет — завизжат* (русск.); *Стоіть палка, на палиці галка, а в тій галці тисяча людей; Сидить панна під плотиком, накрилася хоботиком; Живе без тіла, говорить без язика, ніхто його не бачить, тількі чує* (укр.); *Стаяць вілы, на вілах бочка, на бочцы ківала, на ківале маргала; Паміж белых дубоў вісіць цяля без зубоў; Чорная курыца сядзіць на чырвоных яйках; Брат брата гоніць, ніколі не дагоніць* (бел.); *Очи имам — не виждам, уши имам — не чувам, уста имам — не думам; На стена виси и зло ти мисли; Две сестры преко един ряд се пулят и не могат да се видят; Червен вол църно теле лиже; Сиво прасе под бряг лежи* (болг.); *Stoi panna w morze w cyrwonym karturze; wele drogi stoi, rękoma ozkada i nic nie gada; Lezie, lezie — po żelezie, nima nog, a wylezie; Stoi panna w ganku w cyrwonym kaftanku, stoi przy drodze, na jedny nodze* (польск.).

2) В загадках распространено и будущее время, и периферийные глагольные формы вроде инфинитива, но особенно широко представлены формы совершенного вида прошедшего или сочетание (таксис) прошедшего несовершенного вида в комбинации с совершенным видом-результативом, как в виде финитной формы, так и в виде пассивного причастия. Таким образом этот вид загадки всегда прочитывается как некий текст, с исходом как "счастливым", так и с несчастливым. См.: *Рассыпался стакан по всем городам, всяк ему дивится; Сивка море перескочил, а копыта не смочил; Олена царевна по гроду ходила, ключи оборонила; Вырос лес, белый весь, пешком в него не войти* (русск.); *Червоне коромисло через річку повисло; Зоря-зірниця по землі ходила, ключи загубила, А сонце зійшло — ключі найшло; Летіло золото, а стало болото; На дворі цукром бувало, а приніс в хату — розтало; Лежав — лежав і в річку втік; Прийшов дід, зробив міст, прийшла дівка — красуха, по мосту тупа, міст розвалився, а дід аж на морі опинився; Часто літом надівала по новій сорочці, а на зиму поскидала й посолила в бочці* (укр.); *Раўнул вол на сем сёл, яго не відаць, толькі голас чуваць; Ішла Ганна ў начы ды загубіла ключы. Месяц бачыў, а сонца украла; Бела кабыла ўвесь лес паела; Ляцела — крычала, а села — здабыча ўпала; Без рук, без ног палез на батог* (бел.); *Валчеста тиква с трева обрасла; Гында-мында летеше, вампир из плет искочи, Гында-мында наскочи, кръвица ѝ да лочи* (болг.).

Итак, загадка демонстрирует две картинки. На одной изображено извечное действие (часто глагол типа *стоит, лежит, сидит* и под.), вместо глагола может быть именная характеризация: *С хвостом, а не мышь.*

Вторая картинка — результат, по которому мы можем догадываться о происшедших событиях: *Червоне коромісло через річку повисло.*

Таким образом основные действия — это результативное прошедшее и длящееся настоящее. Первое как бы свидетельствует о преобразованиях при Творении, второе — о сегодняшнем статусе элемента мира.

Поэтому в пределах этих двух картин возможна свободная замен категориальных форм: естественно, что постоянно длящееся настоя щее при этом корреспондирует имперфекту. Поэтому мы имеем вари анты загадок, отличающиеся формой глагола-предиката: *Сидел пта на белых горах, Сидит птах на белых горах* = Курица на яйцах; *Ле тит пан, на воду пал и воды не всколыхнул; По лесу летало, в вод упало, не булькнулось* = Пух или перо; *Ішла пані вночі, погубил ключі; їхала пані вночі, загубила ключі* = Роса.

Референциальный статус имени в загадках

Рассмотрение денотативного статуса имени в загадке лучше начать как и для пословицы, с перевода русских загадок на артиклевые языки Существенной при этом является корреляция артиклей в загадке и в имени — отгадке. Здесь предполагается три возможности:

1) имя-отгадка не сопровождается артиклем, артикль нулевой;
2) имя-отгадка представлено с неопределенным артиклем;
3) имя-отгадка вводится через определенный артикль.

Представим все три ситуации. (* обозначает утрату в переводе анаграмматической структуры, спрятанной в загадке[65]).

1) *Сидит девица в темной темнице, коса на улице* = Морковь.
Es sitzt ein Mädchen in einem Kerker, der Zopf ist draussen = Rübe.
**Вся мохнатенька, четыре лапки, сама усатенька* = Кошка.
Ist völlig zottelig, hat vier Pfötchen und einen Schnurrbart = Katze.
**Сам с локоток, а борода с веник* = Молоток.
Ist selbst nur eine Elle lang, aber hat einen Bart wie ein Besen = Hammer.
**Стоит копытце, полно водицы* = Колодец.
Es steht ein Trog, voll vom Wasser = Brunnen.
**Две снохи сидят, а свекровка пляшет* = Дверь.
Zwei Schwiegertöchter sitzen, und die Schwiegermutter tänzt = Tür.
**По горам, по долам ходит шуба да кафтан* = Баран (Овца).
Über die Berge, über die Berge geht ein Pelz und ein Kaftan = Schaf.
**Дядя Афанасий лыком подпоясан* = Веник.
Onkel Apanasij mit Bast umgürtelt = Besen.
**Лежит Доронья, никто не хоронит* = Дорога.
Es liegt Doronja, niemand verbirgt sie = Weg.
**Черен да не ворон, рогат да не бык* = Таракан.
Schwarz, aber keine Rabe, gehörnt aber kein Stier = Küchenschabe.
**Стоит изба безугольна, живут люди безумны* = Улей.
Es steht eine Hütte ohne Ecken, da wohnen wahsinnige Leute = Bienenstock.

2) *Скребется в углу, пузырчатый мышонок в брюхе* = Беременная женщина.
Es kratzt in der Ecke, ein blasenförmiges Mäuschen im Bauch = Eine schwangere Frau.
Хлеб на углу избы лежит, а в хлебе крыса сидит = Беременная женщина.

[65] См. об этом: *Топоров В.Н.* К исследованию анаграмматических структур (анализы) IV. Анаграмма в загадках // Исследования по структуре текста. М., 1987.

Ein Brot liegt in der Ecke der Hütte, und im Brot sitzt eine Ratte = Eine schwangere Frau.

**Что не корыстно?* = Коромысло.
Was ist uneigennützig? = Ein Tragejoch.

**Туша, и на ней уши, а головы нет?* = Ушат.
Ein Dickwanst, der Ohren, aber keinen Kopf hat = Ein Kübel.

**Стоит соха, ноги развела* = Соха.
Es steht eine Schwiegertochter, sie hat die Beine auseinandergestellt = Ein Hakenpflug.

**Маленький шарик под лавкой шарит* = Мышь.
Eine kleine Kugel sucht tastend unter dem Ladentisch = Eine Maus.

**Два Петра в избе* = Ведра.
Deux Pierres à la maison = Des seaux.

3) **Самсоница в избе* = Солоница.
Dame Samson à la maison = La salière.

**Нет ни окон, ни дверей, посередине архиерей* = Орех.
Pas de fenêtres, ni de portes. Au milieu un evêque = La noix.

**Что в избе бодро?* = Ведро.
Was ist in der Hütte Erfrischendes? = Der Eimer.

**Что в избе Фрол?* = Стол.
Was ist in der Hütte Frol? = Der Tisch.

**Что в избе лежит да не тонет?* = Тень.
Was liegt auf dem Wasser, aber geht nicht unter? = Der Schatten.

Необходимо ответить на два связанных между собой вопроса: 1) что определяет в приведенных выше примерах постановку артикля в отгадке; 2) что определяет артикли в тексте загадки?

В первой группе отгадка понимается как обобщение, как воплощение класса, а не как представитель класса: так сказать, таксономическая кошка или вообще дверь. Текст загадки в этом случае характеризующий. См. *Сам с локоток, а борода с веник; Стоит копытце, полно водицы* и т.д.

Во второй группе ответ представляет не общее родовое понятие, а любого произвольного представителя этого рода; в загадке тогда дается не характеристика, а описание некоей ситуации: *Скребется в углу, пузырчатый мышонок в брюхе* = (Всякая) беременная женщина.

В загадках третьей группы отгадывается единственно возможный предмет в конкретном описанном локусе. Определенный артикль в отгадке в этом случае предрешен.

Необходимо сказать однако, что расставить потенциальные артикли в русской загадке, особенно архаической структуры, сложно. Так, по горам по долам гуляют и единичные бараны, это и отгадка — общий концепт, наконец, это и Первобаран, компонент расчлененного при творении мира. Достаточно сказать, что именно эта загадка была нами предложена для перевода на французский язык двум известным лингвистам, специалистам по синтаксической семантике, русскому и французу-русисту. Первый ответил: *le mouton,* второй — *un mouton.*

В тексте загадки первой группы употребляется неопределенный артикль, им маркируется протагонист вводимой ситуации (см. специальную работу Т.В. Цивьян о функции неопределенного артикля в

балканской сказке[66]). Например, *Стоит девица...*, *Стоит копытце...*, *Стоит изба безугольна...* Отгадка — без артикля.

Во второй группе описывается типизи́рованный представитель класса и ответ этому соответствует. Неопределенный артикль здесь представлен и в отгадке, и в загадке.

В третьей группе демонстрируется картина как бы уже знакомая, локализованная; чаще всего — это изба, но изба как знакомый локус. Изба актуализируется через определенный артикль, определенный артикль и в ответе: это ведь известная часть избы: *Что в избе Фрол?*= Стол.

В целом же высказывалась точка зрения[67] о том, что в каждой загадке представлен антропоморфный процесс безотносительно к определенности-неопределенности имени.

Продемонстрированное выше соотношение артиклей подтверждает (правда, до известной степени) известный тезис Э. Кёнгэс-Маранда о том, что основное противопоставление в загадке не природа — культура, а одушевленное — неодушевленное. Наиболее распространено противопоставление: человек — предмет культуры[68]. В этом смысле антропоморфны и все живые существа и подтверждается введенный выше тезис о тождестве Макро- и Микромира в архаическом сознании.

Интересно, что в артиклевом болгарском языке ответ обычно единообразен: отгадки — это имена без артикля: вино, време, воденичне камене, глава, день и нощ, желва, зима, змия, икона, име, капка, колела на кола, люлка с дете, метла, овца и агне, огънь, орех, пари, паяк и муха, петел, печли, река, ръж, сито и брашно и под.

* * *

Подводя итог, можно сказать, что сказуемое обеих паремий (если не считать условных структур в пословице) тяготеют к настоящему, как длящемуся, так и результативному. Темпоральный дейксис можно представить как "теперь + всегда". Судя по последним работам о русском языке, настоящее время сейчас никак нельзя считать немаркированным: напротив, по своей содержательной структуре оно намного сложнее прошедшего и будущего, от него отталкиваются и на него ориентируются[69]. В представляемой здесь работе нам не удалось однако найти конструктивные интерпретируемые корреляции между статусом имени в пословице и категориальными характеристиками предиката. Различие артиклевых воплощений при переводе славянского имени в артиклевых языках говорит не об иной структуре паремий, а о разном прочтении ситуаций, особенно в пословице, которая, как уже

[66] См. специальную работу Т.В. Цивьян о функции неопределенного артикля в балканской сказке: *Цивьян Т.В.* Категория определенности-неопределенности в структуре волшебной сказки // Категория определенности-неопределенности в славянских и балканских языках. М., 1979.

[67] *Гак В.Г.* Неопределенноличность в плане содержания и в плане выражения // Теория функциональной грамматики. Персональность. Залоговость. С.-П., 1991.

[68] *Кёнгэс-Маранда.* Указ. соч. С. 270.

[69] См. об этом в нашей рецензии на книгу о русской грамматике: *Николаева Т.М.* (рец.) Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность. Л., 1990 // Известия АН. Серия 57. Языка и литературы. Т. 50, 1991, № 6.

отмечалось, крайне гибкое и потому активное средство коммуникативного воздействия.

Именно в пословице не удалось вычленить семантическую обусловленность пропозициональных структур. Актанты пословицы подобны героям басен: это может быть слон, бочка, мартышка, стареющая красавица — морализаторская значимость при этом не изменится.

Иную картину представляет загадка.

Соотношение имени загадываемого и имени отгадываемого для загадок архаической структуры в большой степени предсказуемы. Это корреляции трех компонентов: первый — феномен Природы (1); второй — одушевленное живое существо (2); третий — Артефакт, продукт цивилизации (3).

Возможны отношения: 1/2; 2/1; 1/3; 3/1; 2/3; 3/2; 1/1; 2/2; 3/3. Например: *Выше сараю две куклы играют* = Солнце и месяц (3/1); *Над бабушкиной избушкой висит хлеба краюшка* = Месяц (3/1); *Без крыльев летит, без кореньев растет* (2/1) = Месяц и камень; *Погляжу я за окошко: стоит долгий Антошка* (2/1); *Белы хоромы, красны подпоры* = Гусь (3/2); *Нога костяная, пожня деревянная* = Дятел (3/2); *Лежит холм, а за холмом две ямы* = Глаза (1/2); *Пал дуб в море, море плачет, а дуб нет* = Пыль в глазу (1/2); *Месяц-новец днем на поле блестел, к ночи на небо слетел* = Серп (1/3) и т.д.

Синтактико-грамматическая структура загадки обращает на себя внимание не только категориальной стабильностью, но и частой заданностью словаря предикатов. Это глагольные лексемы состояния покоя: *сидит, висит, лежит* и т.д. Такие корреляции рассматриваются в книге Ю.С. Степанова "Индоевропейское предложение", ориентированной на лексические вхождения в структурные схемы предложения.

Первым среди основных типов индоевропейского предложения Ю.С. Степанов описывает Тип I: Неактивный субъект + глагол, вторым— Тип II: Активный субъект + глагол.

Важно положение Ю.С. Степанова о включении в группу неактивных предикатов глаголов perfecta tantum, к которым, видимо, можно отнести и медиальные формы, связанные и с перфектом и с ḫi-спряжением. Создается впечатление, что в славянской загадке широко представлен тип I, по Ю.С. Степанову, хитроумным образом построенный на базе перечисленных выше оппозиций. А именно — неактивный глагол комбинируется с неактивным субъектом, но субъект этот может выступать как в отгадке, так и в загадке: *За окошком стоит Антошка* = Месяц; *На поляне синей пасется конь сивый* = Месяц; *Над двором, двором стоит чаша с молоком* = Месяц; *Над поповой клетью коврига висит* = Месяц; *По синему небу тарелка плывет* = Месяц; *На воротах, воротах лежит чурка золота* = Месяц; *Золотое корытце по льду катится* = Месяц.

Возьмем другие тексты, где отгадкой является такое активное животное как змея (но при первом взгляде малоподвижное): *Среди леса лежит кусок железа; Среди леса, леса лежит шмат железа; В чистом поле на воле стоит конь вороной, ни проехать, ни пройти, ни рукой провести; Под мостом, мостом лежит гиря с хвостом.*

Возьмем животное не только активное, но и подвижное, собака: *На сене лежит, сама не ест и другим не дает; Лежит — молчит, подойдешь — заворчит; Зимой калачом, днем пирогом; На щепинке, на вязанке висит кусок говядинки.*

Таким образом, тип I, не будучи единственным, как бы определяет суть загадки: это слепок с расчлененного мира. Индоевропейский синтаксис именно этот тип считает древнейшим.

* * *

Рассмотренные параллельно, социальные функции пословицы и загадки, во-первых, и содержательные категории пропозициональной грамматики этих же видов паремий, во-вторых, обнаруживают ряд изначально не предрешенных схождений.

Обе паремии не только антропоцентричны по глубинной семантике, но и ориентированы социально. Традиционная перлокутивная установка этих жанров обнаруживается и в гибкости их социальных трансформаций: от отражения Макромира в Микромире в их сопоставлении загадка модифицируется, сохраняя социальную эзотеричность, в автономические загадки-испытания и далее — в загадко-анекдоты, также лишенные социальной открытости. Пословица, сохраняя универсальную структуру экстенсиональной открытости, легко трансформируется в лозунги социального подавления.

В соответствии с этим категориально-содержательное наполнение пропозиции паремий демонстрирует (при анализе исключительно грамматического, а не лексического состава пропозиции, что в данной работе и делалось), что для пословиц не-условного значения характерно актуальное время с дополнительными смысловыми наложениями прескрипции, долженствования и намерения, а также неопределенно-генерализованный статус имени. Загадка характеризуется двумя содержательными добавлениями к основному презентному значению предиката: перфективностью и/или дуративностью при статусе имени, колеблющемся между уникальностью и генерализованностью.

Несомненная содержательная синкретичность грамматики паремий, невыявляемость во многих случаях референциального статуса у имени, сочлененность тех смысловых компонентов, которые вне паремий текстов грамматикализуются в сепаратные ряды, приводит к выводу об архаичности грамматики паремий, в особенности, грамматики загадки, которая на первый взгляд не отделена от современных славянских грамматических систем. По своему категориальному строю грамматика славянской загадки оказывается наиболее близкой к древнейшим реконструируемым типам индоевропейского предложения.

Принятые сокращения

АГ-80 I — *Русская грамматика I. М., 1980*
АГ-80 II — *Русская грамматика II. М., 1980*

Т. В. Цивьян

Отгадка в загадке: разгадка загадки?

Загадка сама по себе явление загадочное. Она задумана (сконструирована) так, что втягивает в свою орбиту каждого, кто с ней соприкасается. Будь то "загадыватели и отгадыватели", которые помещают себя *внутрь* пространства загадки, или ее "изучатели", полагающие, что они заведомо находятся *вне* ее пространства, — и те, и другие так или иначе занимаются одним и тем же: отгадыванием загадки и разгадыванием ее сути. Процесс бесконечный: у одной загадки может быть несколько отгадок и у одной отгадки несколько загадок; есть загадки без отгадок (не рассчитанные на отгадку?) и т.п. Эти случаи хорошо известны и многократно описаны, и, подытоживая их, можно сказать, что в загадку изначально и принципиально заложена неоднозначность, ср. об этом в давней работе, посвященной античной загадке: "В древнейшие времена мы встречаемся почти исключительно с простыми вопросами загадок, т. е. с неопределенными вопросами, которые, на первый взгляд, имеют различные, а на самом деле только один точный ответ. В большинстве этих загадок признаки или свойства предмета описаны отнюдь не так, что, объединяя их и дополняя недостающее, можно найти искомое слово или предмет; напротив, задание обозначено лишь неопределенными чертами, одно единственное правильное направление указывается лишь иногда, так что только счастливый случай, а никак не осознанное обдумывание может привести к разгадке"[1].

Оставляя в стороне уверенность автора в единственности отгадки, подчеркнем ту главную мысль, которая является постоянной темой работ по загадке и индуцируется самой загадкой: можно ли "додуматься" до отгадки или ее надо выучить. Эта проблема выделяет загадку в особый тип текстов с вопросо-ответной структурой, вообще представляющих собой древнейший пласт текстов, в которых некий сюжет (прежде всего — космогонический) представлен в виде иерархизованного списка вопросов и ответов; предполагается при этом эксплицитная связь между ними. Случаи же типа ответов оракула, ставящие спрашивающего втупик, предполагают в качестве обязательного компонента объяснение/истолкование, которое в конце концов приводит вопрос и ответ в соответствие. Конструкция *вопрос-ответ* включается нередко в цепные тексты, и тем самым подчеркивается связность и протяженность этого типа текстов, их, так сказать "сюжетность", соотнесенность с конкретной ситуацией.

Иное дело, как представляется, *вопрос-ответ* в загадке. Здесь связность и протяженность может быть приписана всему корпусу загадок (реально — корпусу загадок определенной традиции), рассматриваемому тогда как единый текст, описывающий картину мира; словник

[1] *Ohlert K.* Rätsel und Rätselspiele der alten Griechen. Berlin, 1912 (Reprint. Hildesheim: N.Y., 1979). P. 105.

корпуса загадок соответствует алфавиту модели мира (ММ). Однако основное свойство этого макро-текста, отличающее его от других вопросо-ответных текстов, состоит в том, что можно назвать "осколочностью": каждая его единица, т.е. каждая загадка самодостаточна, независима. Загадка автономна: она представляет самое себя, она представляет весь корпус в целом, но при этом может быть отъединена от других загадок, т.е. от других элементов текста. Поэтому, когда речь идет о корпусе загадок как о едином тексте, нужны, как кажется, оговорки: этот текст объединен общим содержанием (ММ), набором конструктивных принципов, дающих частные разбиения, тематические, формальные и т.п., но это не текст единой структуры. Вернее, если постулировать структуру этого текста, то в ее основе будут именно автономные элементы, объединяемые в некие плавающие, пересекающиеся группы. Размеры этих групп могут приближаться к размерам всего корпуса, но никогда с ним не совпадают: какая-то часть, и при этом значительная и/или значимая выпадает в осадок.

Действительно, имеем ли мы дело с тематической классификацией загадок (явления природы, флора, фауна, человек и круг его занятий и т.п.) или с классификацией формальной (фонетическая, морфосинтаксическая и т. п. структура загадок), мы не можем обойтись без раздела "разное", и нередко как раз этот раздел меняет общую тональность всей классификации в целом. Ср. в качестве примера: в сборнике Митрофановой[2], на материале которого и построена эта работа, в раздел "Разные" включены загадки о загадке и среди них — *Без лица в личине* — motto едва ли не к любому исследованию загадки.

В нашем случае это motto, пусть достаточно произвольно, интерпретируется так: если у загадки нет лица (т.е. некоего однозначного и "объективного" соответствия), а есть только маска, то почему бы не считать, что переход от вопроса к ответу, от левой части к правой, от загадки к отгадке есть переход от одной маски к другой? Тогда существенным становится сам механизм переодевания масок и он соответственно должен быть предельно общим, "анти-эмпиричным". Таким образом мы возвращаемся к сакраментальной проблеме связи вопроса-ответа в загадке, к принципу поиска отгадки и выбора отгадки. Мы подходим к загадке как к логической структуре, имея теоретическую опору в двух работах, находящихся в русле современных паремиологических исследований: в "Логике загадок" Э. Кёнгэс-Маранда и в "Семантической структуре загадки" Ю.И. Левина[3] — для нас существенно, что поиски механизма связи между вопросом и ответом рассматриваются здесь на уровне логико-семантической структуры загадки.

Э. Кёнгэс-Маранда называет наиболее важной из предпосылок своего исследования изучение взаимоотношений "между обеими частями загадки — ее образной частью и отгадкой. Обе эти части устойчивы и

---

[2] *Митрофанова В.В.* Загадки. Л., 1968. Далее в скобках указываются страницы этого собрания.

[3] *Кёнгэс-Маранда Э.* Логика загадок // Паремиологический сборник. М., 1978; *Левин Ю.И.* Семантическая структура загадки // Там же.

кодированы. И тот факт, что одна и та же часть загадки может иметь несколько ответов, еще не значит, что загадка произвольна. Между собственно загадкой и отгадкой существует тесная связь, как и между альтернативными отгадками одной и той же загадки. Можно показать, что отгадка участвует даже в формировании стилистических черт, определяющих описательную часть загадки, — таких, как аллитерация, рифма или отбор согласных в словах... Образная часть ее есть вопрос, который уже содержит в себе ответ" (с. 252). В другой своей работе Э. Кёнгэс-Маранда развивает эту свою мысль: в загадке «в образной части всегда содержится термин, составляющий пару с термином в ответе. Соположение этих двух сравниваемых и соотнесенных компонентов образует метафору. В принципе эти два сравниваемых компонента резко контрастны по отношению к имеющимся в данном языке классификационным категориям. Они могут относиться к разным классам, таким, например, как одушевленное — неодушевленное, естественные объекты — культурные объекты, предметы — лица, растения — люди. В загадке постулируется тождество противопоставляемых классов, тем самым загадка как бы напоминает носителям данного языка о том, что все эти классификации не являются раз и навсегда заданными; ...отгадка не является ни постоянной, ни произвольной. Она имплицитно содержится в образной части загадки, так сказать, "вмонтирована" в нее»[4].

Ю.И. Левин предостерегает от стремления к "алгоритмизации" семантической процедуры отгадывания загадок, показывая, что "именно на примере загадки можно явственно усмотреть все своеволие человеческого мышления, в частности языкового, и его нежелание укладываться в определенные рамки и рубрики... попытки же более или менее адекватно описать семантику достаточно широкого класса загадок сразу же становятся неформальными. По видимости простой объект оказывается при ближайшем рассмотрении весьма сложно устроенным и с трудом поддается не только углубленному изучению, но даже и простой классификации " (с. 284).

Первый вывод из цитированных работ тот, что несомненно существующую семантическую связь между вопросом и ответом в загадке следует искать прежде всего на уровне ментальных (логических) структур, в отвлечении, как об этом пишет Ю.И. Левин "от всех прагматических (бытование загадки) и диахронических моментов" (с. 284), оставляя в стороне, по крайней мере на первом этапе и "субстанцию содержания загадок". Тогда загадка может быть представлена как семантическая схема, а ее синтез "как случайный процесс — в том смысле, что отдельные элементы описания преобразуются практически независимо друг от друга и притом случайным образом"(с. 289). Преобразования, которые в работе Левина сводятся к тождественному, к аннулированию, к замене произвольным и замене сходным (переход от вида к виду, от вида к роду и обратно), могут быть представлены в виде риторических фигур, как это делается в работах Э. Кёнгэс-

[4] *Кёнгэс-Маранда Э.* Теория и практика анализа загадок // Паремиологические исследования. М., 1984. С. 51, 52.

Маранда, где в конце концов все сводится к метафоре[5], так что в итоге мы возвращаемся к классическому определению связи между вопросом и ответом в загадке, т.е. к тому, что можно было бы обозначить как оператор *сходства/различия*.

Конечно, это обращение к тропам есть возвращение на круги своя, которое в большой степени делает избыточным формализованное описание, превращая его в усложненное представление уже известных и традиционных положений. При этом упускается из виду та произвольность, которую подчеркивает Ю.И. Левин и которая, как об этом говорилось выше, описывает не частные случаи, но является краеугольным камнем в определении механизма связи между вопросом и ответом.

Говоря о том, как может быть представлен загадочный объект в левой части загадки, Ю.И. Левин выделяет случаи, когда он никак не назван (*Два брюшка, четыре рожка* = Подушка) или заменен произвольным, безразличным (*Сидит дева, как береза бела* = Редька; *Варвара выше амбара* = Скворечня), считая наиболее "безразличными" замены собственным именем и местоимением (с. 286). У Э. Кёнгэс-Маранда с этим соприкасается характеристика множеств, объединяемых в загадках на основе "неожиданности" (*A* оказывается не равным *A*). Установив, что в загадках "сочетается несочетаемое", автор приводит список сопоставляемых в загадках множеств. Он выглядит так[6]:

Образная часть загадок	Ответ
человек	предмет культуры
человек	дикое растение
дикое растение	человек
человек	домашнее животное
цвет	предмет культуры
предмет культуры	предмет культуры
естественный предмет	предмет культуры
человек	явление природы
явление природы	предмет культуры
число	явление природы
дикое животное	человек
предмет культуры	домашнее животное
домашнее животное	предмет культуры
предмет культуры	человек
предмет культуры	явление природы
число	Бог

И замена загадываемого объекта "произвольным и безразличным", в том числе именем собственным, и список замен, приведенный выше, настойчиво направляют к тому, чтобы искать некий общий оператор семантической связи вопроса и ответа, более общий, чем оператор

---

[5] См. раздел "Загадка" в работе: *Маранда П., Кёнгэс-Маранда Э.* Структурные модели в фольклоре // Зарубежные исследования по семиотике фольклора. М., 1985.

[6] *Кёнгэс-Маранда Э.* Логика загадок. — Выборка сделана на материале 75 финских загадок. С. 273.

сходства/различия (но, разумеется, не только не опровергающий, но учитывающий его). В самом деле, как объяснить такие замены, как *Просватали Машу в деревню не нашу* = Яблоня (с. 67), *Летят ягоды-лимоны, | подбирают Харитоны* = Яблоки или желуди и свиньи (с. 67) или такие русские соответствия "финскому списку" Э. Кёнгэс-Маранда: *Маленький мужичок, костяная ручка* = Нож (с. 120, человек — предмет культуры); *Дед против солнца стоит* = Подсолнечник (с. 89, человек — растение); *Идет детина, несет выше себя дубину* = Кот (с. 48, человек — животное); *Три года — яйцо, тридцать лет — медведь, шестьдесят лет — курица* = Человек (с. 53, животное — человек); *Золот хозяин — на поле, серебрян пастух — с поля* = Солнце и месяц (с. 21, человек — элементы космоса); *Сивые кабаны все поле облегли* = Туман (с. 23, животное — атмосферное явление); *Маленький горшочек, да кашка вкусна* = Орех (с. 66, предмет культуры — растение) и т.д.?

Представляется, что механизм связи вопроса и ответа, или самой загадки и отгадки приводится в действие оператором превращения, и тогда структура корпуса загадок может быть описана с помощью трансформационной грамматики. То есть – по приведенным примерам: *Маша* превращается в *яблоню*, маленький *мужичок* — в *нож, дед* в *подсолнечник, детина* в *кота, медведь* в *человека, горшочек с кашей* в *орех* т.д. Конструкции взаимообратимы: *яблоня* превращается в *Машу, нож* в *мужичка, подсолнечник* в *деда* и т.п.

Пока мы не говорим о содержательной интерпретации (или мифологической и др. обоснованности) своего предложения. Как кажется, его преимущество состоит именно в универсальности: допускается, что *превращаться* может всё во всё (в то время как не всё на всё *похоже*). Конечно, это автоматически влечет за собой признание невозможности отгадать загадку, но, во-первых, это лишь первый шаг, и он принципиально конвенционален, а, во-вторых, не в противоречие первому, это вопрос дискуссионный (см. выше).

Универсальность, конечно, не может служить единственным и достаточным обоснованием выбора оператора превращения. В убедительных обоснованиях, как кажется, недостатка нет, и первое из них заключено в лингвистической структуре загадок, а именно, в конструкциях следующих типов:

Летом — девушка, зимой — молодушка = Пень (с. 69); *Сухой — клин, мокрый — блин* = Зонт (с. 124); *Идет в воду красный, а выходит черный* = Головешка, уголь (с. 105), *Возьмет черно, нальет красно* = Чай (с. 130) — здесь легко подставляется предикат **становиться= превращаться;**

Кину катком, оборотится клубком под зеленым дубком = Брюква (с. 88); *Травою я расту, в пыль обращаюсь, в темноте сохраняюсь* = Табак (с. 157) — здесь оператор **превращения** эксплицирован;

В избу мужиком, из избы клабуком = Возят снопы к овину (с. 80); *Старик кружком, а старуха батожком* = Жернов (с. 94); *В избе — доской, в сенях — трубой; ночью — ломтем, а днем — калачом; днем — бревном, а ночью — плотом* = Постель (с. 108—109); *В избу*

вороном, из избы лебедем = Вехоть (с.119) — здесь творительный падеж подразумевает конструкцию **становиться кем/чем.**

Это — наиболее явные случаи указания на превращение, ср. еще загадки, рассмотренные Ю.И. Левиным в разделе "Условия" (с. 314): «Речь идет о загадках типа "в таких-то условиях то-то, а в таких-то — то-то"...: *Поутру в сажень, в полдень в пядень* = Тень; *Кину с блошку, вырастет с лутошку* = Репа; *Встану, так выше коня, а лягу, так ниже кота* = Дуга» и др. На этом мы и остановимся, поскольку сейчас нет смысла использовать более сложные трансформационные приемы для того, чтобы привести как можно большее число конструкций загадок к предикату *становиться=превращаться:* оператор *превращения* был введен как универсальный, перекрывающий и формальные, и содержательные структуры.

Гораздо более значительную поддержку оператор *превращения* получает за пределами корпуса загадок в широком контексте ММ, где он реализован не только в механизме, приводящем в движение самые разные сюжеты — в широком смысле — но и в механизме менталитета человека. Человек воспринимает мир в его единстве: мир целен, вечен и равен самому себе; жизнь мира — в его движении. Это движение не может быть линейным, поступательным (иначе мир вышел бы за свои пределы); тогда напрашивается представление о нем как о круговом, вращательном. Такого рода движение предполагает и вечные изменения, и вечное возвращение, т.е. содержит возможность многократного изменения облика; это, в свою очередь, обеспечивает вариативность выбора начала и конца. Так возникает концепт изменения формы — метаморфозы, трансформации. И греч. μετα-, и лат. *trans-* содержат в себе идею перехода через границу, т.е. движения. Еще более четко идея изменений при вращательном движении выражена в обозначении этого концепта через термины *пре-вращение, con-versio,* даже *Ver-wandlung.*

Обратимся к другим примерам, оставаясь в кругу европейских традиций (т.е. не касаясь традиций восточных и прежде всего буддизма). На уровне ли фольклорно-мифологических представлений или на уровне секуляризованной культуры, но актуальность и употребительность мотива *превращения* производит весьма большое впечатление, если не поражает: от космогоний, описывающих превращение хаоса в космос, до театральных и кинематографических эффектов, комбинированных съемок и прочих фокусов, цель которых — осуществить превращение на глазах у зрителя. Мы не будем говорить здесь о разных видах превращения — материальных и духовных (обращение *из Савла в Павла*), и о расширительном его понимании, когда в терминах *превращения* могут быть, например, описаны временны́е оппозиции (*молодой/старый* и даже *жизнь/смерть* — временны́е по отношению прежде всего к человеку), пространственные (*внутренний/внешний*, "выворачивание наизнанку") и т.п.

Однако большее, как кажется, впечатление производит отработанность техники **превращений**, алфавита **превращений** и то, насколько экономными средствами это решается. В этом смысле "Метаморфозы" Овидия действительно можно назвать не только теоретическим руководством, но и энциклопедией **превращений**:

Ныне хочу рассказать про тела, превращенные в формы
Новые. Боги, — ведь вы превращения эти вершили —
Дайте ж замыслу ход и мою от начала вселенной
До наступивших времен непрерывную песнь доведите. (I,1—4)[7].

Обилие метаморфоз, представленных в 15-ти книгах, по сути сводится к двум типам: превращение окончательное, без возвращения к первоначальному облику, и превращение не окончательное; в этом случае речь может идти либо о цепи последовательных превращений, либо о возвращении к первоначальному облику. Случай Протея — теоретико-множественная сумма этих возможностей, а посвященный ему фрагмент — теоретико-множественное произведение всей поэмы:

...Бывают предметы:
Если их вид изменен, — остаются при новом обличье;
Есть же, которым дано обращаться в различные виды, —
Ты, например, о Протей, обитатель обнявшего землю
Моря! То юношей ты, то львом на глаза появлялся,
Вепрем свирепым бывал, змеей, прикоснуться к которой
Боязно, а иногда ты рогатым быком становился.
Камнем порою ты был, порою и деревом был ты.
А иногда, текучей воды подражая обличью,
Был ты рекой; иногда же огнем, для воды ненавистным (VIII, 729—738)

Божественный персонаж может превращаться в стихии (вода, огонь), элементы ландшафта (река) и неживой природы (камень), в растение (дерево), животных (лев, вепрь, змея, бык), в человека (юноша) и возвращаться в прежний облик. Это — почти исчерпывающий набор объектов, во всяком случае на уровне рода. За его пределами — атмосферные явления (Юпитер, являющийся Семеле в виде молнии); превращение человека в человека, обычно с изменением пола; так Тиресий

...из мужчины вдруг став — удивительно — женщиной, целых
Семь так прожил он лет; на восьмое же . . . . . .
. . . . . .
. . . .прежний
Вид возвращен был ему, и принял он образ врожденный (III, 326—331),

ср. VIII, 853—870, превращение девушки (Триопеиды, дочери Эрисихтона) в мужчину, возвращение ей прежнего облика, а далее (872—873)

. . . дева
То кобылицей была, то оленем, коровой и птицей.

Ср. еще: от Эхо остается лишь голос, а кости ее превращаются в камни — к этому представление о камнях как о костях земли

Наша праматерь — земля. В телесах ее скрытые кости,
Думаю — камни. Кидать их на спину нам повелелось (I, 393—394)

и следующее затем превращение камней в людей (как особый случай — превращение в человека мраморной статуи в сюжете "Пигмалион и Галатея").

От рода Овидий переходит к виду: Ио превращается в телку, Арахна в паука, ликийцы в лягушек, тирренские пираты в дельфинов (судя

[7] Цитаты даются по изданию: *Овидий.* Метаморфозы. Пер. С.Шервинского. М., 1977.

по известному изображению) и т.п. Наибольшая конкретность характеризует особый раздел превращений, которые можно определить как этиологические легенды: превращение человека в лавр, кипарис, гиацинт, нарцисс, адонис, соловья, лебедя, удода и т.п.

Обращение от литературного произведения к фольклорной традиции, хотя бы к списку сказочных сюжетов, расширит этот список не столько за счет видов, сколько за счет некоторых новых сочетаний объекта и результата превращения: растение превращается в предмет культуры (тыква в карету для Золушки), предмет превращается в другой предмет (золото в мусор и обратно) и др. Кроме того, вводится оператор *заколдованности* — указание на то, что персонаж предстает в измененном облике и при определенных условиях может вернуться к своему истинному виду (царевна-лягушка); возможны и изменения в обратном направлении.

К частным случаям превращения или к частичным превращениям можно в определенном смысле отнести приобретение персонажем (или предметом) чудесных, необычных свойств — человек понимает язык животных; неодушевленные предметы, растения, животные говорят; печь ходит, ковер летает и т.п. К этому же относятся необыкновенные — большие или маленькие — размеры (великаны и карлики), необычное строение (Одноглазка, Трехглазка) и другие "необычности", вроде хрустальных туфелек или железных башмаков и т.д. и т.п.

Возвращаясь к Овидию, следует указать, что нередко он описывает превращение чрезвычайно подробно: это не мгновенное событие, а постепенный, поэтапный переход из одного состояния в другое, притом что едва ли не до последнего момента сохраняется амбивалентность, сочетание и прежнего, и нового облика; см. эпизод с Дафной:

Только скончала мольбу, — цепенеют тягостно члены,
Нежная девичья грудь корой окружается тонкой,
Волосы — в зелень листвы превращаются, руки же — в ветви;
Резвая раньше нога становится медленным корнем,
Скрыто листвою лицо, — красота лишь одна остается.
Фебу мила и такой, он, к стволу прикасаясь рукою,
Чувствует: все еще грудь под свежей корою трепещет... (I, 548—554),

ср. еще превращение Кадма в змея:

...и вот уже — змей — простирается долгим он чревом,
Чувствует: кожа его, затвердев, чешуей обрастает,
А почерневшая плоть голубым расцвечивается крапом.
Он припадает на грудь; меж тем, воедино сливаясь,
В круглый и острый хвост понемногу сужаются ноги.
Руки остались одни; и поскольку лишь руки остались,
Их протянул он в слезах, по лицу человечьему текших, —
"Ты подойди, о жена, подойди, о несчастная! — молвил, —
Тронь мою руку, пока от меня хоть часть сохранилась,
Это — рука моя, тронь же ее, покамест не весь я
Змей"... (IV, 575—585)

Если остановить это движение и выделить промежуточные этапы, то мы получим некий гибрид, сверхъестественное существо. Без таких персонажей не обходится ни одна традиция, ни одна эпоха, ни одна культура. Средневековые "Физиологи", "Бестиарии", "Книги чудовищ"

выработали особый жанр: на первый взгляд, это не более, чем каталогизирование, по сути, трансформационная грамматика, эксплицитно или имплицитно формулирующая правила порождения этого "теневого населения" мира. Примечательно современное восприятие этого явления как смеси мифологического и реального, ср, «Средневековье, счастливая эпоха, в которую Смысл еще имел смысл, "эпоха семиотическая по преимуществу"... умеет "читать" и по ту сторону текста природы, который для нас стал лишь книгой причитаний по поводу тех ...издевательств, которым подвергается Природа (Хиросима и экология — кровоточащее резюме, описывающее скорее уродство, чем вариативность форм)» и далее: «"conmixtio naturarum" порождает, как сон [сновидение — *Т.Ц.*] разума, не-естественное, анти-естественное»[8]. Эта "смесь естественных свойств, признаков" предстает в виде "четок, состоящих из нанизанных друг на друга апеллятивов: собака конь человек море крылья лапы голова ноги большой безобразный смертный ужасный чудовищный" (с. 30) — иными словами, перед нами свободное сочетание "всего со всем", которое и образует (порождает) новые существа.

Анализ примеров позволяет, тем не менее, уже на самом поверхностном уровне вывести некоторые правила или хотя бы закономерности. *Чудовище* получается из: 1) *деформации* естественного (изменение размеров, числа, формы, цвета и т.п. исходных субстанций) и 2) *неестественных* сочетаний (нередко, с четким "территориальным делением" — выше/ниже пояса, до пупа, до середины, до плеч и т.п.). Эти простые операции и приводят к созданию таких персонажей, как волосатые (т.е. покрытые звериной шерстью) люди (с. 50), люди, рождающиеся без головы: глаза у них на плечах, остальные атрибуты головы — на груди (с. 54), люди, имеющие ладони и ступни в виде полумесяца, и на каждой только по два пальца (с. 54) и трехголовые, живущие в болотах (с. 60); говорящие на всех языках (с. 62), с глазами, горящими, как фонари (с. 60), со ступнями, повернутыми в обратную сторону (с. 60), и т.д. и т.п. Ср. также гибриды: Сцилла — до пояса женщина, живот, как у волка, и дельфиний хвост (с. 48), гиппоцентавры, имеющие "смешанную природу (человеческую и лошадиную)" (с. 44), животное с двумя головами, одна в виде полумесяца, другая, как у крокодила (с. 114) и др. "Физиолог" говорит об источающем ароматы голосе пантеры: звери сбегаются на запах ее голоса (sic!)[9]. И в заключение — еще одно настойчивое утверждение реальности этих гибридных чудовищ: "в последние годы можно было видеть гигантов и карликов, бородатых женщин и безногих и безруких мужчин, женщин-лошадей и женщин-улиток, женщин-медведиц и мужчин-пантер (негры-альбиносы), людей с двумя лицами..." — словом

---

[8] Liber monstrorum de diversis generibus. A cura di Corrado Bologna. Milano, 1977. Далее в тексте указываются страницы этого издания.

[9] Il Fisiologo. A cura di Francesco Zambon. Milano, 1990. P. 54. — Ср. типологически сходную (обратную) перекодировку — *свет в запах* — в болгарских загадках о солнечных лучах: *В Стамбуле плов варят, а здесь пахнет* и под. (*Стойкова Ст.* Български народни гатанки. София, 1970. С. 120).

существа, сконструированные по тем же правилам деформации естественного и соединения несоединимого[10].

Это пространное отступление, от Овидия до средневековых монстров, на деле не только не уводит от темы загадки, но, напротив, как кажется, является, пусть очень частной, на уровне выхваченных примеров, но экспликацией той экономно и четко сконструированной системы, которая скрыта в загадке — и в корпусе загадок, понимаемом как единый текст, и в каждой отдельно взятой загадке. В самом деле, список конкретных превращений, так же как и отбор объектов, которые могут превращаться друг в друга, совпадают (в принципе) с приведенным в начале списком Э. Кёнгэс-Маранда, иллюстрирующим соотношение между образной частью загадки и отгадкой. Указание на это совпадение имеет смысл (в частности, операционный) лишь при признании оператора *превращения*.

В самом деле, если Аретуза превращается в реку, Дафна в лавр, Филомела в соловья, камень в человека, крыса в "Золушке" в кучера, лягушка в царевну, братец Иванушка в козленка и т.д. и т.п., почему бы не видеть тот же механизм и в загадке? К приведенным выше см. еще: *Два брата через мать друг на друга глядят* = Река и берега (с. 29); *Долга, долга Олена одной шубой покрылась* = Река подо льдом (с. 32); *Крыса в яму лезет, две торбы на шее* = Баба, прорубь, ведра (с. 30); *Старик метет по горнице, метлы стоят по околице* = Паук (с. 36); *Мальчишка в сером армячишке* = Воробей (с. 43); *Шуба наша в поле паслася* = Овца (с. 47); *Под полом, под полом ходит барыня с колом, ищет барыню с хвостом* = Кошка и мышь (с. 48); *Стоит Егорка в красной ермолке* = Малина (с. 68); *Синяя корова поле лижет* = Коса (с. 76); *Щука ныряет, трава прилегает* = Коса и сенокос (с. 77); *Полно корыто людей намыто* = Огурец (с. 83); *Стоит дуб полон круп* = Мак (с. 86); *Одна мать, к к каждому дому ребенок* = Дорога и тропка к каждому дому (с. 91); *Отец не успел родиться, а сын пошел в солдаты* = Огонь и дым (с. 101) и др.

Возможно, без "содержательной" (мифологической) поддержки эти примеры выглядят недостаточно убедительно и не выходят за пределы традиционных риторических фигур, т.е. той же метафоры. Не напоминая еще раз о конвенциональности оператора *превращения*, приведем другую группу примеров, в которых весь очевидно реализованы показанные выше способы монтировки сверхъестественных существ из вполне естественных элементов, своего рода "промежуточные превращения": *Одна нога и шапка, а головы нет* = Гриб (с. 69); *Три тулова, три головы, восемь ног, железный хвост* = Соха, лошадь, человек (с. 72); *Сам жиляный, ножки глиняны, голова масляна* = Лен (с. 75); *Я, Петров, имею восемь углов, четыре уха и два брюха* = Плетеная из лыка корзина для хлеба, сена (с. 82, 96); *Стоит дед с милю длины, с версту толщины* = Печь (с. 104); *Что за урод: нога и рот...* = Ложка (с. 128); *Две головы и шесть ног, четыре ходят, а две смирно лежат* = Всадник (с. 131); *Кто имеет желудок в голове?* = Рак (с. 32);

[10] Il Meraviglioso. Misteri e simboli dell'immaginario occidentale. A cura di Michel Meslin. Milano, 1988. P. 113.

Глаза на рогах, домик на спине = Улитка (с. 32); *Мотовило-роговило по-татарски говорило, по-немецки лепетало* = Журавль (с. 44); особенно эффектна загадка про комара (с. 37):

В мае месяце летели птицы:
Крылья у них орловы, груди слоновы,
Ноги львовы, носы железны.
Мы их бить, а они нашу кровь пить,
Мы их стрелять, только порох терять.

Надо сказать, что эта сторона загадок хорошо изучена и описана в качестве "загадочной универсалии" — как с точки зрения логической структуры загадки, так и с точки зрения ее метафоричности. Мы же в данном случае предлагаем выход не только в область другой универсалии и соответственно абстракции, но и в область содержания, подводящую к реальному семантическому наполнению загадки в кругу ММ. В самом деле, в уже цитированной работе о структурных моделях в фольклоре, авторы, разбирая загадки, построенные по типу "орган, нормальный по типу, аномальный по функции" — ноги, которые не ходят (стол, скамья), уши, которые не слышат (у лохани), ходьба или бег без ног (часы) и т.д., постулируют "метафорический орган", с отрицанием той функции, которая является необходимым критерием[11].

Однако эта "игра ума", направленная, казалось бы, исключительно на развитие техники мышления, как оказывается, имеет совершенно конкретные воплощения, причем не только на уровне фольклорно-мифологических персонажей, но и в реальной жизни (см. выше). Тогда, если рассматривать ситуацию с противоположной стороны (а что здесь "лицо", что "изнанка" определить трудно, да, может быть, и принципиально несущественно), загадка дает формализацию того обильного материала, который поставляет сама жизнь; это — высшая, абстрактная ступень анализа, надстроенная над текстами разных жанров, прежде всего нарративами, описывающими соответствующих персонажей и явления. Особенно очевидно применение такого рода приемов в художественной литературе и в других видах авторского искусства, когда при создании фантастических персонажей или фантастических сюжетов пользуются не только соответствующими клише, но применяют правила трансформационной грамматики, заложенные, в частности, в загадках.

Конечно, было бы совершенно неверным, или, по меньшей мере, односторонним видеть в загадке только логическую структуру: целый список сюжетов, мотивов, персонажный набор, формульное кодирование мифологем соответствующей ММ и т.п., — все это широко представлено в загадках. В самом деле, разве нет общей основы в изображении неких людей, говорящих на всех языках и попавших в список средневековых чудовищ, в почти традиционном образе инопланетянина, понимающего все земные языки, в фантастических романах (еще и добавляющих себе эпитет "научный" — для большей достоверности) и в персонажах "загадочной" фауны (птицы, лягушки), говорящих на иностранных языках? То же можно сказать о великанах и карликах,

[11] *Маранда П., Кёнгэс-Маранда Э.* Указ. соч. С. 240, 260 сн. 71.

многоголовых и безголовых существах, о чудесных полетах или путешествиях в иные миры и т.п., которые мы с легкостью обнаружим в загадках.

Приведем и некоторые примеры не только структурных, но и текстуальных соответствий. Это прежде всего кросс-жанровое использование ряда текстов, попадающих и в загадку. В русской традиции среди таких текстов можно назвать страдания — зерна, ржи, хлеба, льна, глиняного горшка и даже кофе (*Мучат меня горящими угольями, колесуют, льют воду на мой прах и, удовольствовав оною свое чрево, оставляют в презрении,* (с. 131). Ср. еще клише *Сам с вершок, голова с горшок* = Ковшик (с. 118), *Сам с ноготь, а борода с локоть*= Веник (с. 112), указывающие не только на соответствующего персонажа, но и на соответствующий сюжет. О загадках типа *Маленький, удаленький, сквозь землю прошел, красну шапочку нашел* = Гриб, мак, и их мифологической основе говорилось в другом месте, в связи с анализом фрагмента "основного мифа", посвященного наказанию/испытанию детей Громовержца, которых он низвергает на землю. Младший сын выдерживает испытание и воскресает в новой ипостаси, *превращаясь* в божество, связанное с растительным циклом, т.е. с обновлением/превращением в природе.

Список фольклорно-мифологических сюжетов, сжатых в загадке до размеров формулы, может быть продолжен. Ср., например, "Мыши и кот": «Выходила княгиня из града Подполея, спрашивала княгиня царя Кукурея: "Скажи мне, царь Кукурей, где наш царь Котарей?". Отвечает ей царь Кукурей: "Се ваш царь Котарей в каменных горах почивает, силы свои собирает, поутру будет ваш град воевати". — "О горе нам горевати! Куда нам милых деток подевати? Разве живых в землю закопати"» (с. 50). "Мальчик-с-пальчик" (и его братья): «Четыре брата идут навстречу старшему: "Здравствуй, большак!" — говорят. "Здорово! — отвечает он, — Васька-указка, Миша-середка, Гриша-сиротка, да крошка Тимошка!"» (с. 59). Рождение чудесного (необыкновенного ребенка): *Родила Оленка ребенка, без рук, без ног, одна головенка* = Яйцо (с. 41). Крайне распространенное клише для загадывания корнеплодов (но и не только их) *Девица в темнице, коса на улице* раскрывается в сказке братьев Гримм о девушке, запертой в башне без дверей; взбираются туда по ее волосам: она свешивает их из окна в ответ на призыв "Рапунцель, Рапунцель, свесь свои косыньки вниз!" *Rapunzel* 'Feldsalat': здесь, таким образом, мы видим прямое указание на превращение, поддержанное именем, что было так мастерски использовано Гофманом в "Королевской невесте", где сама по себе "овощная насыщенность" текста указывает на амбивалентность как основу для превращения[12].

Ориентированность на наименование/имя, значимость собственного имени (о мифологическом реестре имен ММ говорилось не раз), заставляет по-иному взглянуть на те обозначения загадываемого объекта, которые Ю.И. Левин относит к произвольным в том смысле, что

[12] См. об этом в книге: *Цивьян Т.В.* Лингвистические основы балканской модели мира. М., 1990. С. 45.

их связь с отгадкой кажется немотивированной. Это прежде всего аппелятивы, обозначающие человека. Приведем в более или менее развернутом виде список, составленный по загадкам сборника Митрофановой. Аппелятивы легко разбиваются на рубрики, отражающие структуру человеческого общества: *Я*, человек: как *меня* именуют по признакам пола, возраста, степени родства, профессии, социального положения, национальности и т.д.; список открывают (или замыкают) персонажи высшего и низшего пантеона:

Бог, Христос, Спас, Микола;
Бес, Баба Яга, Кащей;
Мужик, баба, парень, девка, мальчик;[13]
Старик, старуха, дед, бабка, девица;
Отец, мать, сын, дочь, брат, сестра, дедушка, бабушка, внук, муж, жена, дядя, племянник, вдова, сноха, невестка, зять, деверь, шурин;
Мастер, пастух, охотник, сапожник, портной, повар, кузнец, плотник, пахарь, сторож;
Царь, царица, князь, княгиня, бояре, воевода, барин, барыня, начальник, староста;
Поп, попадья, дьячок, пономарь, монах;
Воин, солдат, казак, гусар;
Друг, сосед, разбойник;
Татарин, немец, арап, цыган, цыганка;
Великан, богатырь, молодец; и др.

Дело в данном случае не столько в их соответствии реальной стратификации общества, сколько в том, что они выступают как персонажи в разных фольклорных жанрах. Это — герои корпуса текстов ММ, и мы специально привели здесь такой подробный список, чтобы дать читателю возможность вспомнить, кто из этих героев участвует в сюжетах, связанных с превращением. Здесь и боги, путешествующие по земле в образе нищих стариков; царевна-лягушка; муж-уж; сын-еж; Покати-Горошек; тростник, выдающий тайну царя Мидаса; бес, выступающий в разных обличьях — также как ученик чародея; разбойник, который оказывается пропавшим сыном; персонажи этиологических легенд, о которых уже говорилось, и т.п. Можно составить список растений, животных, предметов, элементов ландшафта и использовать их как точку отсчета (ср., например, сюжет погони: колдунья преследует беглецов, они превращаются в реку — она в утку, они в лес — она в топор и т.п.). Смысл наших примеров не в том, чтобы свести персонажный набор загадки к однозначности, к регулярным соответствиям сюжетам с превращениями, а в том, чтобы лишний раз подчеркнуть актуальность оператора *превращения* в более широком контексте, в конце концов — в контексте ММ.

Под несколько иным углом зрения можно рассматривать и то нагнетение имен собственных, которое так характерно для загадки. На первый взгляд, имя собственное, которое должно выражать пре-

[13] Одно и то же наименование может входить в разные классы.

дельную индивидуализацию, здесь приводит к максимально отвлеченному значению, как бы к полной случайности. Эта случайность опровергается как мифологичностью имени (*Мария, Сидор, Семен, Матрена, Елесиха, Хам* и т.п.), так и их участием в звуковой организации загадки, прежде всего в анаграммировании[14],— но опровергается лишь отчасти. Остается значительная часть загадок, где появление собственного имени выглядит так же, как появление немотивированно-бессмысленных звукосочетаний, вроде *дулейка, улейка, помбра, декоська, волога* и т.п., см.: *Василий поезжает, Василиста плачет...*= Ледоплав (с. 30); *Красненький Никитка в щелку глядит* = Таракан (с. 39); *Два-ста бодаста, четыре-ста рогаста, Куприян-пастух* = Корова (с. 45); *Что в избе за белая Марья?* = Соль (с. 128) и др.

Однако при всем этом разнообразии и непоследовательности отчетливо выделяется особое отношение к имени как к самодостаточной ценности, ср. хотя бы, как загадывается имя: *На воде не тонет, на огне не горит и в земле не гниет; Мала малышка, золота кубышка,* | *На воде не тонет, на огне не горит и в земле не гниет; Без чего не может жить человек?* (с. 60). Ср. еще примечательную формулировку в ряде анаграмматических загадок, где персонаж "по имени..." заменен именем как таковым: может быть *Что в избе за Филаты?* = Полати, но может быть и *У нас в избушке Паланьино имя* = Полати (с. 98); *У нас в избушке Фетиньино имя* = Светильня (с. 102) т.е. тезка Паланьи, Фетиньи. См. еще случаи, когда загадывается не "объект по имени", а само имя: *Мудрено имя Ерема,* | *Узловат Кузьма,* | *Развязать нельзя; Узелок Кузьма, развязать нельзя,* | *Имечко хорошо, Алексеем зовут* = Замок (с. 101). И наряду с этим существуют загадки, где имя обозначает единственного в своем роде персонажа: *Взят от земли, как Адам,* | *Посажен на колесницу, как Илия,* | *Вывезен на торг, как Иосиф...* = Глиняный горшок (с. 113). На этом фоне вполне естественно выглядят загадки, состоящие из одних имен: *Два Анисима, четыре Максима, седьмая Софья* = Стул (с. 109). И снова повторим, хотя это утверждение может показаться чересчур эллиптичным, что собственное имя в загадке — в широком смысле — играет роль сигнатуры того объекта, который подлежит превращению; "случайность" выбора указывает на универсальность оператора превращения.

* * *

До сих пор наше рассуждение об универсальности оператора *превращения* шло как бы в направлении отказа от метафоричности загадки и содержательного обоснования связи между вопросом и ответом. Теперь наступил момент вернуться к этой стороне, но рассматривать метафору в более широком контексте, отвлекаясь от определения *похожести* в соответствии с собственным опытом и вкусом. Для определения механизма загадки, скорее, подходит то определение метафоры, которое предложено группой μ: "С формальной точки зрения метафора

[14] *Топоров В.Н.* К исследованию анаграмматических структур (Анализы). IV. Анаграммы в загадках // Исследования по структуре текста. М., 1987.

представляет собой синтагму, где сосуществуют в противоречивом единстве тождество двух означающих и несовпадение соответствующих им означаемых"[15]. Семантическое же обоснование таких конструкций в аспекте архетипической ММ содержится в интерпретации античной метафоры О.М. Фрейденберг, использующей и идеи Потебни: "Конкретное мышление, вызывавшее мифологическое восприятие мира, было таково, что человек мог представлять себе предметы и явления только в их единичности, без обобщения, и в их внешнем, физичном наличии, без проникновения в их качества... В прежнем мифологическом мышлении "свойство" предмета мыслилось живым существом, двойником этого предмета (говоря словами Потебни, признак мыслился вместе с субстанцией). Мифологический мир представлялся раздвоенным на тождественных двойников, из которых один обладал "свойством", а другой не обладал. Эти образы служили выражением самых основных, но и самых суммарных представлений человека о смене жизни и смерти ‹...› Как только "я" отделилось от "не-я", предметы потеряли прежнее, якобы субстанционально присущее им "свойство", и двойники оказались разобщены ‹...› Двойники — вещи, стихии и существа получили отдельное отвлеченное качество и раздельное бытие, распавшись и между собой и внутри себя"[16]. Не отражено ли это разобщение двойников в левой и правой части загадки? Тогда оператор **превращения** приобретает функцию оператора **отождествления**, а смысловое тождество левой и правой части постулируется на более общем уровне, аппелируя к имплицитному единству.

Действительно, механизм соединения "несоединимых в природе" понятий, на уровне ли смыслов или в аспекте формирования поэтического языка[17] является вечной темой, развиваемой в сторону универсальности: иными словами, предполагается, что любая метафора оправдана. Р. Нидхам, в частности, ссылается при этом на Борхеса: «Борхес утверждает, что ошибкой было бы считать, что метафоры — т.е. имплицитные аналогии — выдумываются: "Реальные основания, определяющие глубинные связи между одним и другим образом, существуют всегда"»[18]. Такое утверждение универсализма метафоры, как будто, делает избыточным наше предложение о введении оператора **превращения**: тогда он выглядит не более чем еще одним термином, не вносящим ничего нового в суть проблемы. Кажется, тем не менее, что **превращение** — не только новый термин, синонимичный метафоре, но что оно в ММ представляет собой самостоятельный концепт, нагруженный глубокими смыслами.

Может быть, это покажется несколько парадоксальным, но одним из доказательств "осмысленности" **превращений** служат накладывае-

---

[15] *Дюбуа Ж., Эделин Ф., Клинкенберг Ж.-М., Мэнге Ф., Пир Ф., Тринон А.* Общая риторика. М., 1986. С. 195.

[16] *Фрейденберг О.М.* Миф и литература древности. М., 1978. С. 182—183.

[17] См., например, идеи Брюсова: *Гиндин С.И.* Программа поэтики нового века // Серебряный век в России. М., 1993.

[18] *Needham R.* Reconnaissances. Toronto, Buffalo, London. 1980. P. 9.

мые на них ограничения (не опровергающие их универсальность),— точно так же, как условность, "художественная изобретательность" метафоры подтверждается постоянством реальных сходств сопоставляемых предметов. Ср., например, румынские поверья о том, в кого может, а в кого не может превращаться черт: "Черт может превращаться в любого зверя или скотину, кроме овцы и пчелы... Нечистый не может превращаться в овцу..."; к этому же относятся и условия превращения (напоминающие тот же прием в загадке, см. выше): "Покойник становится стригоем, оборотнем, вурдалаком, если по нему пробежала мышь или собака"[19] и т.п. — Список существ и предметов, в которые может и не может превращаться черт румынской традиции (списки отчасти пересекаются), очень напоминает соответствующие списки в загадках: черт может превращаться в собаку, кошку, козу, лошадь, зайца, буйвола, свинью, быка, барана, человека (женщина, парень, ребенок, старик, старуха, монах, поп, помещик, турок, арап, немец), птицу, лису, волка, медведя, обезьяну, осла, улитку, змею, лягушку, рыбу, муху, боб, крышку, камень, стог сена, дым, огонь, колесо, клубок, повозку, тень и т.д. (не может в овцу, ягненка, голубя, пчелу, корову, быка, петуха, осла, птицу)[20].

И наконец, цитата из Ремизова, примечательным образом перекликающаяся с Борхесом: "...мне открылась тайна превращения. Оказывается, не всякого во все можно: превращение это только обнаружение скрытого"[21].

Есть, однако, еще одна реальность, поддерживающая концепт превращения, и на этот раз реальность, данная в опыте. Если признавать антропоцентричность ММ и ее ориентированность на человека, то в ней должна быть учтена и сновидческая деятельность человека. Сон (сновидение) оставляет отпечаток своей структуры в разных фрагментах ММ и в разных жанрах ее текстов. В последнее время мысли о сновидении как формообразующем начале в сказке, о метафорах, одинаковых для толкования снов (разгадка сна), загадок, поговорок и т.п. высказаны в работе О.Б. Волозовой "Сон и сказка"[22]. Аналогии между загадкой и сном так или иначе уже проскальзывали, и действительно структуры сонника и корпуса загадок в принципе совпадают. Но в данном случае нас интересует — из всего неисчерпаемого круга проблем, связанных со сном, — только одно из свойств его структуры, которое, впрочем, можно считать основой его механизма: это тот же оператор превращения.

Теоретиком и практиком сновидческой деятельности в русской литературе XX-го века был Ремизов[23]. Из его произведений мы и заимствуем примеры для иллюстрации "техники превращений" в снах. Это

---

[19] *Gorovei A.* Credinţi şi superstiţii ale poporului român. Bucureşti, 1915. №№ 1160, 1161, 3603.

[20] *Muşlea I., Bîrlea O.* Tipologia folclorului. Bucureşti, 1970. P. 163—165.

[21] *Ремизов А.М.* Иверень. Berkeley, 1986. С. 163.

[22] *Волозова О.Б.* Сон и сказка // Образ мира в слове и ритуале. М., 1992.

[23] См. работу автора "О ремизовской гипнологии и гипнографии" // Серебряный век в России. 1993.

прежде всего неограниченные возможности, превращение "всего во всё": "Много раз мне снились полеты человеческие, не птичьи... Но сегодня в первый раз я превращался в рыбу... О таком превращении я читал только в Шехерезаде"[24]; "И я невольно верчусь с ними и чувствую как весь я переменился: мое лицо перелистывается как ноты"[25]; "Блок, обратившись в лягушку, нырнул в воду" (с. 28); "И на моих глазах Лифарь превратился в жасмин" (с. 32). Далее, в этих "сонных превращениях" появляется зыбкость, амбивалентность, т.е. в конце концов — многовариантность толкования (одна загадка и несколько отгадок, одна отгадка и несколько загадок); нередко, это аналоги конструкциям "Черный, да не ворон": "От кишащего серого камня отделяется... или на дыбы стал камень? Но это был не камень, а серая медведица" (с. 20); "...сказал он и подал мне тонкую шпагу. Но это была не шпага, а складной стул острый как бритва. А один из священников оказался переодетый черт" (с. 39). И, наконец, превращения, в наибольшей степени соответствующие предельной разъединенности загадки и отгадки, когда отождествление "декретируется" отгадкой: «Вышел из воды "гуттаперчевый мальчик", но это была не игрушка, что детям в ванну кладут, а гуттаперчевое живое существо. И я понимаю, что это Шаляпин...» (с. 57); "Я лежу навзничь на своей кровати и странно, в то же самое время вижу себя на той же кровати, но как он не похож на меня" (с. 76); "Я покорно стою, только я не такой, как я, а как я себя представлю... голова под потолок, а руки до стен"[26]

Важно не только то, что такие сны известны и переживаются практически каждым человеком; более важно, что структура сна в его динамике о с о з н а е т с я человеком как **превращение.** Более того, при сложных взаимоотношениях между сном и явью, "переплесках сна в явь" (Ремизов), признания за сном большей значимости, большей степени реальности, чем явь, возникает стремление перенести в явь и структурные свойства сна и едва ли не прежде всего — оператор **превращения.** Этот оператор действует и в толкованиях снов, когда весь текст сна должен превратиться в некий жизненный текст, не имеющий сходства или даже контрастирующий со своим "двойником".

Загадка, как первый дидактический текст, в формульном виде кодирующий и важные смыслы, и важные структуры ММ, может прикровенно свидетельствовать и об этих неопределенных, амбивалентных связях, которые пронизывают мир и скрепляют его в его целостности. И если мы далеко не всегда можем понять цельность столь разного мира, то, может быть это потому, что *здесь прошелся загадки таинственный ноготь.*

---

[24] *Кодрянская Н.* Ремизов в своих письмах. Paris, 1977. С. 136.

[25] *Ремизов А.М.* Мартын Задека. Сонник. Париж, 1954. С. 26. Далее в скобках указываются страницы.

[26] *Кодрянская Н.* Указ. соч. С.132.

А. В. Головачева

К вопросу о прагматике загадки

Загадка, как и другие паремиологические тексты, может служить ценным источником изучения особенностей менталитета архаического человека и человеческого менталитета вообще, источником реконструкции архаичной картины мира. При этом картина мира (КМ) трактуется в настоящей работе как систематизированный фонд общих знаний носителей языка, как система знаний о мире, отражаемая в языке как нечто априорно известное, как некое "универсальное знание", фрагменты которого не могут стать содержанием коммуникации. Помимо отражения картины мира, в паремиологических текстах, восходящих к менталитету древних социумов, используется система концептов-символов, которая может трактоваться как результат творческого, поэтического осмысления этих знаний о мире и человеке как центре этого мира и может быть названа моделью мира (ММ); КМ и ММ — системы концептов ("стереотипов") в которых предметам и действиям (процессам) присваивается некоторые стереотипные ("неотчуждаемые"[1]) свойства: $C^x \ni \Sigma P_{КМ}$ & $\Sigma P_{ММ}$ (концепт C^x содержит сумму свойств в системе КМ и сумму свойств в системе ММ). Эти концептуальные свойства имплицируются концептом ($\Sigma P \leftarrow C$), и потому нерелевантны для прагматики обычного текста, всегда ориентированного на индивидуальное, содержащего информацию об индивидуальных свойствах реальных денотатов, ср. *Перед зданием обкома красовались синие ели* (свойство денотата) / (**зеленые* ←) *ели* (свойство концепта); *Пьяный заговорил заплетающимся языком* [свойство "денотата" (действия)] / заговорил (←**языком*) [свойство "концепта" (действия)]. Особенность прагматики паремиологических текстов в том, что они ориентированы на "универсальное знание", на концептуальные свойства объектов, на стереотип, вне зависимости от того, включен ли данный паремиологический текст в конкретную ситуацию (как заговоры и причеты), в контекст (как пословицы и поговорки) или этот текст семиотически не связан с контекстом или ситуацией (как это имеет место в загадке).

Прагматической задачей загадки является идентификация загаданного концепта C^x посредством репрезентации его через сумму его неотчуждаемых, концептуальных, стереотипных свойств ΣP^x, включающих в себя признаки $M(C^x)$, функции $F(C^x)$, объекты обладания $R(C^x)$ и их неотчуждаемые, стереотипные свойства $P(R(C^x))$: качественные $M(R(C^x))$ и количественные $N(R(C^x))$ признаки и функции $F(R(C^x))$; иными словами, загадку можно сравнить с общим высказыванием, содержащим только рему, тема — это отгадка, которую мы находим в системе стереотипов (КМ или ММ). Таким образом, простейшая семиотическая схема загадки получает следующий вид:

[1] *Головачева А.В.* Категория посессивности в плане содержания // Категория посессивности в славянских и балканских языках. М., 1989.

Схема 1

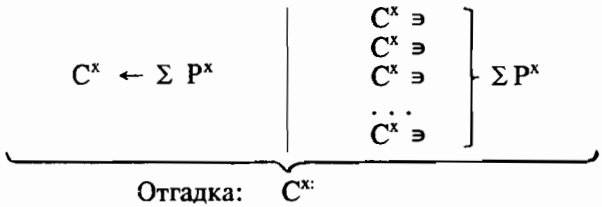
'C^x отгадывается по совокупности свойств ΣP^x, при этом известно, что в системе КМ (ММ) C^x содержит совокупность свойств ΣP^x'. Для отгадывания необходима, как правило, именно совокупность свойств, поскольку в системе стереотипов каждому свойству соответствует множество C^x и искомый C^x находится на пересечении этих множеств (т.е. свойство играют роль своего рода дастинктивных признаков (ДП), способствующих однозначной идентификации искомого C^x), ср. две русские загадки: ***Шапочка алая***, *жилеточка нетканая, кафтанчик рябенький* = Курица [966] — ***Шапочка серенькая***, *жилеточка нетканая, кафтанчик рябенький, а ходит босиком* = Ворона [1019].

Приведенная выше схема 1 в известной мере условна, поскольку суммой свойства ΣP^x может обладать не один концепт, а несколько, и в этом случае одной загадке может соответствовать несколько отгадок, ср.:

Загадка	Отгадка
Красна, в землю вросла	Морковь [2572]
Красна, в землю вросла	Свекла [2638]
Что слаще на свете?	Вода [445]
Что всего слаще?	Сон [1600]
Что сильнее всех на свете?	Вода [447]
Что сильнее всего?	Сон [1601]

В этом случае схема 1 должна быть преобразована в следующем виде:

Схема 2



Иными словами, в отгадке заложены элементы как логического, так и конвенционального. В настоящей работе предметом исследования является именно логический аспект отгадывания концепта по его свойствам (на материале русских и чешских загадок), поэтому при анализе отдельных типов загадок мы сделаем допущение, что сумма свойств ΣP^x соответствует только одному концепту в системе КМ (ММ), т.е. мы будем ориентироваться на схему 1.

Отгадка (загаданный концепт) C^x часто обозначается в текст загадки другим наименованием, представляющим явный (кодовый денотат[2] D^k, имеющий с загаданным концептом общие свойства ΣP^x *В лесу на поляне стоит* ***кудрявый Ваня*** *в зеленом кафтане; Бога не велик, а орешками наделит* = Орешник [1797]; *Přišel k nám bíl kůň, zalehl nám celý dvůr* = Снег [C.d.š. 58]. Введение кодового денотат облегчает отгадывание, поскольку само называние D^k в тексте загадк исключает соответствующий концепт C^k из множества потенциальны C^x, обладающих свойствами ΣP^x, и в этом смысле он может бы определен как "антиденотат". Это свойство носит также конвенцио нальный характер (оно как бы входит в правила игры между загады вающим и отгадывающим), а в некоторых загадках оно находит экс плицитное выражение в самом тексте: *Сидит* ***кошка:*** *и хвост,* ***как кошки,*** *и нос,* ***как у кошки,*** *и уши,* ***как у кошки,*** *а* ***не кошка*** = Ко [1180]. Приведенная загадка интересна тем что в ней представлен все возможные способы введения кодового наименования: прямая но минация (*кошка*), сравнение (*как у кошки*) и негация (*не кошка*).

Итак, называние кодового детоната служит дополнительным клю чом к отгадыванию. В то же время введение кодового детоната затруд няет отгадывание, поскольку свойства P^x (свойства загаданного кон цепта) часто метафорически обозначаются через P^k (свойства кодово детоната D^k): *Бычок рогат, в руках зажат, еду хватает, а са голодает* = Ухват [3456]; *Mosazné zvíře v kamenném chlívě, když з zařehce, slyšet je na čtyři míle* = Колокол [Č.r. 340]. В ряде случаев D может быть назван эксплицитно, однако он легко реконструируетс на основании ряда свойств D^k, упоминающихся в тексте загадки представляющих собой метафорическое обозначение свойств P^x: *Ма ленький, горбатенький в щель глядит, головой вер тит* = Рукомойник [3499]; *Без рук, без ног Богу молится* = Лам пада [5112]; *Nemá duše, nemá těla, a každý den k Bohu volá* = Ко локол [Č.r. 340]; *Není křtěno ani se nemodlí, a přece spaseno bývá* Трава [Č.r. 347]; *U kostela je to, do kostela to nechodí, a spasení t dojde* = Газон у костела [Č.r. 347]. Как видно из примеров, импли цитно содержащийся в тексте загадки D^k — человек, а загаданны концепт C^k является неодушевленным предметом; свойства P^k (соот ветствующие как подразумеваемому, так и эксплицитно выраженном D^k) могут входить в противоречия с друг другом (как, например, в при веденной чешской загадке 'Нет души, нет тела, а каждый день взывае к Богу' последнее свойство 'взывает к Богу' соответствует представ лению о человеке, а первые два свидетельствуют о том, что имеется в виду неодушевленный предмет, что и является ключом к отгадке: ка кой неодушевленный предмет каждый день взывает к Богу?), однако этого противоречия может и не быть, как, например, в вышеприведен ной русской загадке *Маленький, горбатенький в щель глядит, голо вой вертит*, где упомянутые свойства могут в принципе быть присущ

[2] *Кёнгэс-Маранда Э.* Логика загадок // Паремиологический сборник. М., 1978 *Волоцкая З.М.* Некоторые замечания о структуре славянский загадок (на материале болгарских и польских загадок) // Сов. славяноведение. 1982, № 1.

конкретному человеку, однако это индивидуальные, а не концептуальные свойства, что является одним из ключей к отгадке; вторая подсказка заключается в семиотических свойствах загадки — названный или подразумеваемый денотат не может являться отгадкой, и отгадка сводится к решению вопроса — какой неодушевленный предмет обладает вышеперечисленными свойствами?). Итак, репрезентантами загаданного концепта служат в загадке его концептуальные свойства. Репрезентация концепта через концептуальные ("неотчуждаемые", стереотипные) свойства характерна и для других паремий, а также для других типов фольклорных текстов — ср., например, сказки о животных, в которых "действуют" по сути не "денотаты", а "концепты" (Лиса, Заяц, Петух — а не лиса, заяц, петух), репрезентирующие в тексте сказки свои стереотипные свойства (хитрость, трусость. задиристость и т.п.), или народные песни, в которых все эпитеты суть концептуальные (в системе ММ) свойства: *реченька широкая, девица красная, молодец удалой, месяц светлый* и т.п. В различных типах фольклорных текстов использование концептуальных свойств служит различным прагматическим задачам. Так, прагматической задачей загадки является идентификация загаданного концепта; поэтому в пресуппозиции загадки содержится, как правило, фрагмент КМ (т.е. системы знаний о мире), а не ММ, являющейся результатом поэтизации и мифологизации знаний о мире и содержащей вследствие этого свойства концептов, менее пригодные для их идентификации. Использование свойств в системе ММ возможно в загадке только на уровне кодового денотата (концепта) и его свойств, ср.: ***Красна, да не девка,*** *зелена, да не дубрава* = Морковь [2574]. В выделенном фрагменте текста свойство 'красный' на уровне Dk (и в системе ММ) означает 'красивый' ('красивая девушка'), а на уровне C^x (и в системе КМ) — 'красный' ('красная морковь').

Описание семиотического механизма репрезентации C^x через его стереотипные свойства целесообразно, по-видимому, проводить для каждого класса свойств в отдельности. При этом в настоящей работе делается попытка сопоставления механизмов репрезентации концепта в загадке и в другом виде паремий — в заговоре.

В заговорах главным орудием магического воздействия являются повторы. Повтор может осуществляться эксплицитно (анафоры, тавтологии) — что можно схематически обозначить как C & C (повтор концепта), и имплицитно, т.е. посредством репрезентации упомянутого концепта через его свойства, содержащиеся в системах КМ или ММ [C & P(C)]: *...есть на святой Руси красна дѣвица..., полетай ей въ ретивое сердце, въ черную печень, въ горячую кровь, въ становую жилу, въ сахарные уста, въ ясныя очи, въ черныя брови...* [ВЗ 6]. Заговорный текст, как и любой другой паремиологический текст, является каноническим, и хотя он применяется в конкретной ситуации, однако не содержит указания на индивидуальные свойства реальных денотатов, например, адресатов любовных заговоров или заговоров от болезней. Названные концепты репрезентируются в заговоре через свои концептуальные свойства в системах КМ или ММ.

Структурно-семиотические типы загадок

А. Репрезентация C^x через его свойства

Это наиболее распространенный структурный тип загадок, построенных по модели $C^x \leftarrow \Sigma P^x$. Следует отметить, что свойства определенного класса (M^x, R^x, F^x и т.д.) далеко не всегда выступают в загадке изолированно, однако в подавляющем большинстве случаев один из классов является доминирующим, поэтому структурно-семантические типы загадок условно разделяются в зависимости от доминирующего класса свойств.

1. Репрезентация C^x через признак ($C^x \leftarrow M^x$)

Репрезентация C^x может осуществляться по постоянному или временному признаку. Постоянный признак может выступать в качестве единственного репрезентирующего класса, если указывается не один признак, а несколько: *Тонок, долог, в траве не видать* = Волос [1466] или в том случае, когда в тексте загадки каждый признак характеризует один из нескольких взаимосвязанных C^x: *Dvanáct šťastných, třicet silných, padesát moudrých, sto nemoudrých* = Годы человеческой жизни [Č.r. 10]; *Táta vysoký, máma široká, syn divoký, dcera hluboká* = Воздух, Земля, Вода [Č.r. 10].

Указание на постоянный признак (или признаки) M^x дополняются, как правило, указанием на свойства другого класса: R^x или F^x (особенно для одушевленного C^x, для которого именно эти свойства являются определяющими): *Маленько, зелененько все поле покрыло* = Молодая трава [1895]; *Železné hříbě v kostěném chlívě po kožené louce trávu štibře* = Бритва [Č.r. 305]; *Hliněná zahrádka, dřevěná pastýřka honí v ní prasátka* = Горшок, мешалка, шкварки [C.d.š. 97].

Если в загадке употребляются преимущественно признаки, входящие в систему КМ, как наиболее пригодные для идентификации C^x, то в заговоре в равной степени используются обе системы стереотипов. Признаки, неотчуждаемые в системе КМ, употребляются с целью повторной репрезентации концепта, т.к. никакой дополнительной информации о нем они не сообщают, ср.: *Благословясь, лягу я, рабъ Божій..., помолясь, встану, перекрестясь, умоюсь водою, росою, утруся платкомъ тканымъ...* [ВЗ 2]; *Приносили три заступа железных...* [ЛН 1]; *На желтомъ песку есть бѣлая рыбица...* [ВЗ 12]. Как видно из приведенных примеров, используемые здесь признаки — как раз те, которые могли быть применены для идентификации соответствующих концептов в загадке.

Признаки, неотчуждаемые в системе ММ, выполняют в заговоре двоякую функцию: повторной репрезентации и поэтизации образа: *...такъ бы я казался ей, рабѣ Божіей, краснѣе краснаго солнышка, свѣтлѣе свѣтлаго мѣсяца* [ВЗ 3]; *Встану я... и пойду изъ дверей въ двери, изъ воротъ въ вороты, въ чистое поле, въ широкое раздолье, къ синему морю-окіану...* [ВЗ 7]; *Подите вы, семь ветровъ буйныхъ, соберите тоски тоскучія со вдовъ, сиротъ и маленькихъ ребятъ, со всего свѣта бѣлаго, понесите къ красной дѣвицѣ въ ретивое сердце; просѣките*

булатнымъ топоромъ ретивое ея сердце, посадите въ него тоску тоскучую, сухоту сухотучую, въ ея кровь горячую, въ печень, въ составы... [ВЗ 3]. Подобные признаки, как уже было отмечено, в загадке употребляются ограниченно, т.е. никогда не употребляются для характеристики C^x (для его идентификации), а могут только выполнять роль признака, характеризующего кодовый денотат (концепт) $D^k(C^k)$: *Сидит красная девица в темной темнице, коса на улице* = Морковь [2564]. Такие признаки не являются неотчуждаемыми в системе КМ, т.к. они могут характеризовать отдельный денотат, а не концепт, ср. *черные очи, черные брови, белое лицо, красная девица* и т.п., однако в системе ММ они репрезентируют именно концепты и не соотносятся с конкретным денотатом — конкретным адресатом заговора.

Формальное сходство между загадкой и заговором обнаруживается в использовании тавтологических именных словосочетаний (существительное + атрибут) для обозначения соответствующего концепта. Однако с точки зрения семантико-словообразовательной структуры сочетаний имеются существенные различия, связанные с особенностями прагматики загадки и заговора. В загадке преследуется цель подчеркнуть признак, репрезентирующий загаданный концепт, поэтому в тавтологическом словосочетании направление словообразовательной мотивации идет от атрибута к существительному (от признака к предмету: М & (С ← М)): *Кругла кругляшка, ни кость, ни камень, никуда не канет* = Яйцо [922]; *Маленький малыш по кучам играт* = Пожар [3488]; *Маленький мальчик по избе скачет* = Веник [3654]; *Мал малышка по поднебесью пошел, против солнца стал, колпачишко снял* = Мак [2554]; *Белая беляна по полю гуляла, к нам пришла — по рукам пошла* = Соль [4269]; *Плеть плетена, кругом столба обведена* = Изгородь [2771 Аналогичная семантико-синтаксическая структура— М & (С ← М) — встречается и в заговорах, если основную семантическую нагрузку в словосочетании несет признак, по которому противопоставляются разнородные или противоположные понятия (оппозиции 'вверх-низ', 'старый-молодой', 'мужской-женский', 'белый-черный' и т.п., чем достигается расширение "пространства воздействия" заговора): *...такъ бы на раба Божія... глядѣли и смотрѣли старые старики, молодые мужики, старыя старухи, молодыя молодухи...* [ВЗ 9]; *Красная красавица, бѣлая бѣлавица, черная чернавица, не жги, не пали моего бѣлаго тѣла, краснаго мяса!* [ВЗ 96]; *Все вы четыре евангелиста, подите к рабу Михайлу, сымайте, срывайте с раба Михайла лихую лихоту, лихорадку-лихоманку, комуху-лапуху трясучу, ломучу, скорбучу, трясу-трясучу, трясу-ломучу, трясу-скорбучу...* [ЛН 11]. Однако в большинстве тавтологических словосочетаний в заговорах направление словообразовательной мотивации обратное, т.е. семантико-синтаксическая структура сочетания имеет вид: С & (М ← С), что указывает на то, что признак играет здесь вспомогательную роль, репрезентируя уже названный концепт, являясь его "повтором" и располагаясь всегда в постпозиции; таким образом, направление словообразовательной мотивации пред-

определяет семантико-синтаксическую структуру тавтологического словосочетания и, в частности, позицию атрибута, само же направление словообразовательной мотивации предопределяется, как мы видим, прагматическими задачами загадки и заговора: *...выньте изъ меня ... тоску тоскучую, и сухоту плакучую* [ВЗ 8];.. *а подъ тѣми досками три тоски тоскучія, три рыды рыдучія* [ВЗ 14]; *...и напущу на нее тоску тоскущую, кручину кручинскую; ...и разойдись, тоска тоскущая, кручина кручинская, ...запру я эту тоску тоскущую, кручину кручинскую ключами и замками* [ВЗ 25]; *От колотья колющего, от крови от кроущей, не ты меня колешь, а я тебя колю...* [ЛН 36]. Как видно из примеров, модель С & (М← С) применяется при перечислении имен-синонимов, снабженных образованными от них атрибутами; такое перечисление можно изобразить схемой: [С & (М ←С)] & [С & (М ← С)] & ... & [С & (М ← С)], из которой ясно, что благодаря сочетанию тавтологического и синонимического повторов одно и то же понятие — концепт повторяется в два раза больше раз, чем это имело бы место при простом синонимическом повторе (тоска, кручина), чем достигается основная прагматическая цель заговора — сила магического воздействия на ситуацию.

Постоянный признак загаданного концепта $М^x$ может отождествляться в загадке с соответствующими признаками кодовых концептов путем сравнения: *С голову велико, с перо легко* = Пузырь [1115]; *Бела, как снег, зелена, как лук, черна, как жук, роет, как бес, повертка в лес* = Сорока [1039]; *Roste, roste stromeček pichlavý jak bodláček, kulatý jak jablíčko, červený jako líčko* = Красная редька [Č.г. 324] или негации. *Кругла, да не дыня, зелена, да не дубрава, с хвостом, да не мышь* = Репа [2622]; *Вороно — не конь, черно — не медведь, крылато — не птица, шесть ног без копыт* = Таракан [819]; *Ворон, да не конь, счерна, да не медведь, рогат, да не бык, ноги есть, да без копыт, летит, так воет, сядет на землю — землю роет* = Жук [741]; *Zelená jsem — tráva nejsem, žlutá jsem — vosk nejsem, sladká jsem — med nejsem, ocas jsem — kost nejsem, ocas mám — pes nejsem* = Морковь [Č.г. 331]. Эти два типа в принципе могут легко трансформироваться друг в друга (Кругла, да не дыня ⇔ кругла, как дыня), что не удивительно, поскольку (ср. выше) любое обозначение $С^x$ через $С^k$ выполняет негативную функцию, каким бы способом $С^k$ ни вводилось — сравнением, негацией или прямой номинацией, ср.: *Hliněná zahrádka, dřevěná pastýřka honí vní prasátka* = Горшок, мешалка, шкварки [Č.г. 330]. Как видно из последнего примера, при прямой номинации дополнительным ключом к отгадке может служить несочетаемость признака $М^x$ с представлением о $С^k$. Однако такая "подсказка" на самом деле необязательна, ср. *Долгой мужик в траве лежит* = Межа [1947), поскольку любая номинация $С^x$ в тексте загадки обозначает "антиденотат", т.е. исключает $С^k$ (в нашем случае — любое одушевленное лицо) из числа возможных $С^x$.

Указание на вре́менный признак сопровождается обязательным указанием на пространственно-временны́е условия его проявления: *В избе пирогом, а на дворе калачом* = Собака [1176];

Гола Матрена для всех страшна, лубком же покрыта для всех ходка = Лед на реке [523]; *Зимой белый, летом серый* = Заяц [1282]; *Ráno je to zelené, v poledne bílé, navečer černé* = Дерево: листья, цветы и фрукты [Č.r. 324].

II. Репрезентация C^x через функцию (характерное действие) ($C^x \leftarrow F^x$)

Так же, как и в случае признака, для идентификации C^x может использоваться как его постоянная, так и временная функция. Постоянная функция может выступать в качестве единственного репрезентирующего класса при тех же условиях, что и постоянный признак (см. выше), т.е. если загадываются несколько взаимосвязанных C^x: *Два стоят, два ходят и два минуются* = Небо-земля, солнце-месяц, день-ночь [4] и если C^x репрезентируется несколькими функциями (характерными действиями): *Chodí to po dvoře, hned leží, hned oře* = Свинья [Č.r. 310]; *Šidlo bodidlo po světě chodilo, a domů nosilo* = Пчела [C.d.š. 53]; *Течет, течет — не вытечет, бежит, бежит — не выбежит* = Река [469]. Те же или аналогичные свойства — только в качестве признаков — могут служить репрезентантами соответствующих концептов в заговоре: *Идемъ в лѣса темные, на болота зыбучія, на рѣки текучія... лѣса зажигати, болота высушати, рѣки затворяти...* [ВЗ 2]. В загадке функция также может быть выражена не только глаголом, но и именем деятеля или действия (отождествляемого с деятелем): *Сперва блеск, за блеском треск, за треском плеск* = Молния, гром, дождь [295]; *Из куста шипуля, за ногу ипуля* = Змея [620]; *Из-под кустика хватыш* = Волк [1265]. Такие сопоставления наводят на мысль о том, что не всегда можно провести четкую грань между двумя типами свойств — функцией и признаком, между действием, качеством и предметом. На этом основано использование тавтологических словосочетаний 'глагол + имя' в загадке и заговоре. В загадке тавтологические словосочетания служат для выделения указанного свойства C^x — его функции, релевантной для идентификации загаданного концепта, ср.: *Рычка рычит, скачка скачет* = Волк и сорока [1264]; *Бежит бегун, ревет ревун, хочет миллион колоть* = Гром, град, побил хлеб [297]; *Ползун ползет, иглы везет* = Еж [1293]; *Бежит побегул, несет караул, хочет князя заколоть, да не сумеет* = Корова и собака [1248]. Семантико-синтаксическая структура глагольных тавтологических словосочетаний может быть изображена в виде: $(C \leftarrow F)$ & F. Сопоставление с глагольными тавтологическими словосочетаниями, употребляемыми в заговоре, позволяет сделать заключение о некоторых сходствах и различиях их семантико-синтаксических структур; сходство — в направлении словообразовательной мотивации (от глагола), различие — в синтаксической структуре словосочетаний, поскольку в загадке единственным актантом глагола может быть агенс, являющийся одновременно кодовым денотатом C^k, в заговоре глагол может сочетаться с любым тавтологичным ему актантом (кроме агенса), а также с любым другим тавтологичным ему словом, обозначающим "свойство" выраженного глаголом действия, например, глагол + пациенс: *...и не*

могла бы без меня, раба Божія ... не жить, не быть, не дни дневать, не часá часовать... [ВЗ 1]; *Такъ бы рабъ Божій ... съ рабой Божьей ... на одной бы лавке не сидѣли, въ одно окно бы не глядѣли, одной бы думы не думали, одного совѣта бы не совѣтовали...* [ВЗ 33]; глагол + инструмент: *...не ѣдой отъѣстись не могла бы отъ меня, не питьемъ отпиться, не дутьемъ отдуться, не гулянкой загулять, не въ бани отпариться...* [ВЗ 1]; глагол + обстоятельство места, выраженное тавтологичным глаголу именем с предлогом: *...въ гульбѣ бы она не загуливала, во снѣ бы она не засыпывала...* [ВЗ 3]; *...въ ѣдѣ бы тоски не заѣдала, въ пойлѣ не запивала...* [ВЗ 15]; глагол + пациенс + инструмент: *Замкну замки замками, заключу заключи ключами, твердейшими словами* [ВЗ 18] — вся эта заключительная фраза заговора представляет собой по сути восьмикратный повтор одной и той же идеи — нерушимости заклятья, что достигается одновременным использованием обычного, синонимического и тавтологического повторов. Повторы, рифмовки, перечисления связывают текст заклинания в единое целое, из которого нельзя опустить ни единого слова, нельзя ничего изменить или переставить, и поэтому в конце текст "запирается на замок", чтобы слова в нем дошли до цели в том же порядке, в каком были произнесены: *Будьте эти мои слова, которые я договорила и которые недоговорила, и которые переговорила, слово в слово, передние на переде, задние на заде и середнее в середке. В чистое поле, в синее море и ключ с замком. Аминь.* [ЛН 18]. Словосочетание 'агенс + глагол' встречается в заговоре, в отличие от загадки, очень редко и при этом оно имеет обратное направление словообразовательной мотивации (от имени к глаголу): *Как камень окаменел, уроки, призоры окаменели...* [ЛН 7].

В большинстве случаев функция указывается в загадке в сочетании с другими классами свойств C^x (M^x или R^x): *Dřevo bylo, list mělo, nosí duši i tělo* = Колыбель [Č.r. 265]; *Roztrhaná plachta na poli cachta, nač se vrhne, vše roztrhne* = Борона [Č.r. 40]. Кодовый денотат D^k может быть представлен тремя способами: прямым называнием: *Железный нос в землю врос, роет, копает, землю разрыхляет* = Плуг [1952]; *Ах, каков Иван Поляков, сел на конь и поехал в огонь* = Горшок на ухвате [3752]; сравнением: *По-блошьи прыгает, по-человечьи плавает* = Лягушка [611]; *Летит по-птичьи, говорит по-бычьи* = Жук [737] и негацией: *Летит, а не птица, воет, а не зверь* = Жук [743]; *Не птица, а летает* = Летучая мышь [1288]; *Не живой, а дышит* = тесто [4180]; *Не человек, а говорит* = Попугай [1018]; *Не море, а волнуется* = Нива [1288]; *Živo není, a zemi ryje* = Плуг [Č.r. 26]; *Chodím s chudým na robotu, nejím, nepiju, a přece nouze nemám* = Мотыга [Č.r. 85]; *Líta to, štípa to, krve to nemá* = Снег [C.d.š. 58]. Возможна в пределах одной загадки комбинация нескольких способов представления D^k, например, прямого называния и сравнения: *Летит птица втык, ревет как бык* = Жук [735]; прямого называния и негации: *Cínové hřibě v kamenném chlívě třikrát za den řehce, a žrát se mu nechce* = Колокол [Č.r. 305].

Релевантным для идентификации C^x может явиться "необладание" функцией или характерным действием F; C^x сопоставляется кодовому денотату D^k, имеющему с C^x некоторые общие свойства, при этом соответствующий C^k включает в себя функцию F^k, отсутствующую у C^x:

Текст загадки **Фрагмент КМ**

$$C^x \leftarrow \left\{ D^k \quad \begin{array}{l} \rceil \ni F^k \\ \ni P \end{array} \right\}$$

$$C^k \left\{ \begin{array}{l} \ni P \\ \ni F^k \end{array} \right.$$

$$C^x \left\{ \begin{array}{l} \ni P \\ \rceil \ni F^k \end{array} \right.$$

При этом D^k может быть назван эксплицитно, но может и имплицироваться наличием свойства или комплекса свойств P, ср. две чешские загадки, в которых таким свойством, характеризующим человека (D^k), является исполнение им религиозных обрядов: *Syn při každé mši, i otec jakživ v kostele nebyl* = Вино, виноград [Č,r. 347]; *Není křtěno ani je nemodlí, a přece spaseno bývá* = Трава [Č.r. 347]. В большинстве загадок идентификация C^x осуществляется по "необладанию" функцией F^k при наличии у него необходимого для выполнения этой функции орудия — части тела R^k:

$$C^x \leftarrow \left\{ \begin{array}{ll} D^k & \ni R^k \\ D^k & \rceil \ni F^k \end{array} \right.$$

$$C^k \left\{ \begin{array}{l} \ni F^k \\ \ni R^k \end{array} \right.$$

$$C^x \left\{ \begin{array}{l} \rceil \ni F^k \\ \ni R^k \end{array} \right.$$

Есть язык, да не говорит, крылья есть, а летать не может = Рыба [555]; *Зубасты, а не кусаются* = Грабли [2147]; возможна в пределах одной загадки идентификация C^x по необладанию функцией F^k при наличии соответствующей части тела R^x и необладанию частью тела R^k при наличии соответствующей функции F^x; *Есть крылья — не летаю, ног нет, а гуляю, по земле хожу, на небо гляжу, звезд не считаю, людей избегаю* = Рыба [553].

По-видимому, заслуживает внимания факт отсутствия или малочисленности загадок, в которых идентификация C^x осуществляется по отсутствию признака M^k; это неудивительно, поскольку отсутствие некоторого признака есть наличие противоположного признака, ср.: *Молодичка невеличка, а весь мир одеває* = Игла [4671]; *Živo není, a zemi ryje* = Плуг [Č.r. 26].

Указание на временную функцию C^x сопровождается в тексте загадки указанием на пространственно-временны́е (внешние) или внутренние (зависящие от C^x) условия ее проявления: *В печь положишь — вымочишь, в воду положишь — высохнет* = Воск [677]; *По избе пляшет, а в угол спать ходит* = Веник [3641]; *Летит — ворчит, сядет — молчит, а кто его убьет, тот свою кровь прольет* = Комар [779]; *Když to nechás, mlčí to, když to bereš, vrští to* = Цепь [C.d.š. 30]; *Днем молчит, ночью ворчит* = Собака [1171]; *Зимой спит, а летом шумит* = Река [472]; *Na vesno obveseluje, na podzim obšivuje, v zimě ohřívá* = Дерево [Č.r. 15].

III. Репрезентация C^x через его объекты обладания ($C^x \leftarrow R^x$)

К объектам обладания относятся здесь части тела живых существ, неотчуждаемые составные части неодушевленных предметов, предметы одежды и некоторые абстрактные понятия, неотчуждаемые по отношению к одушевленным и неодушевленным концептам.

Для идентификации неодушевленного C^x в загадке могут использоваться как его неоднородные составные части, так и однородные — что зависит от строения и внешнего вида загаданного C^x. Неоднородные части неодушевленного C^x уподобляются в загадке обычно частям тела человека или животного; при этом в качестве ключа к отгадке используется, как правило, квантитативный признак[3], соотносящийся не с подразумеваемым C^k (человек, животное), а с C^x: *Два рожка, одна ножка* = Ухват [3465]; *Два брюшка, четыре рожка* = Подушка [3465]; *Четыре ноги, два уха, один нос да брюхо* = Самовар [3889].

В качестве дополнительного может быть использован и пространственный признак, с помощью которого предмет может быть ориентирован в пространстве с помощью его неотчуждаемых составных частей ("лица" и "спины"): *Спиной к стене, лицом к избе* = Икона [5107]. Пространственный признак может быть использован также для идентификации C^x по иерархическому расположению его составных частей: *Stojí, stojí, kočáreček, má pod sebou tatáreček, na hlavě čapku, pověz mi tu hádku!* = Мак [Č.r. 57]; *Stojí sloupeček, na tom sloupečku hrneček, a v tom hrnečku na sta kroupeček* = Мак [C.d.š. 52]. В этих загадках неотчуждаемые части растения (стебель, коробочка, зернышки) метафорически обозначаются именами предметов домашнего обихода и частей одежды. Временны́е единицы отождествляются в загадке с образом дерева, его ветвей и побегов или с образом постройки — так отражается в загадках иерархическая зависимость между временны́ми единицами разного уровня: *Stojí, stojí strom, na tom stromě dvanáct větví, na každé větvi po čtyřech hnizdách, v každém hnizdě po sedmi vajíček* = Год, месяцы, недели, дни [Č.r. 7]; *Stojí buk prostřed luk, na tom buku dvanáct suku, v každém suků třicet ptáků, a každý pták jinak zpívá* = Год, месяцы, дни [Č.r. 7; *Stojí, stojí chrám, v tom chrámě sloup, na tom sloupě dvanáct domů, v každém domě třicet tramů, a dvě věci skrz to ustavičně chodí* = Мир, год, месяцы, дни, день и ночь [Č.r. 7] — в этой загадке временны́е единицы разного уровня соотносятся как вместилище и его содержимое. Реже встречаются загадки, в которых временны́е единицы, находящиеся на разных ступенях иерархии, обозначаются сравнительно равноценными понятиями: *Tři sta pětašedesát ptáků, dvaapadesát čápů, dvanáct koroptví, jen tři vejce snesli* = 365 дней, 52 недели, 12 месяцев, 3 храмовых праздника [Č.r. 7].

---

[3] *Волоцкая З.М.* Наблюдения над славянскими загадками с окказиональными номинациями // Сов. славяноведение. 1989, № 1; *Головачева А.В.* К вопросу о соотношении категорий неотчуждаемости и определенности // Славянское и балканское языкознание. М., 1986; *Крылов С.А.* Детерминация имени в русском языке: Теоретические проблемы // Семиотика и информатика. Вып. 23. М., 1984.

При загадывании неодушевленного концепта по его однородным составным частям также используется в качестве дополнительного квантитативный признак, однако здесь выбор числительного произволен, оно служит лишь символом большого количества однородных R^x, принадлежащих C^x: *Na našem dvoře leží staříček, má tolik ran, kolik je na světě vran* = Колода [Č.r. 310]. В большинстве случаев по однородным составляющим загадываются растения, сельскохозяйственные культуры, состоящие из большого числа покрывающих друг друга слоев листьев, лепестков и т.п. При этом называемые в тексте загадки C^k и R^k представляют собой соответственно человека и его предмет одежды (или животное и его шкуру): *Стоит Филат, на нем сто лат* = Капуста [2571]; *На одном быку семь шкур* = Лук [2488]; *Лежит дед семи шубами одет* = Лук [2513]. Если загадывается плод растения, полный зерен, то в тексте загадки он отождествляется с некоторым вместилищем (домом, хлевом), полным живых существ: *Без окошек, без дверей — полна горница людей* = Тыква [2148]; *Полно корыто народу намыто* = Огурец [2428]; *Je chléveček plný prasáteček, a nemá nikde dvéřeček* = Дыня [Č.r. 305]; *Plná škola dětí, a nemají kudy ven* = Мак [C.d.š. 15]; *Je chlíveček bez dvířeček, je v něm víc než sto oveček* = Мак [Č.r. 170]; аналогичную семиотическую структуру могут иметь загадки о временны́х единицах, ср. *Je chlíveček bez dvířeček, dvanáct ovcí v něm* = Год [Č.r. 7]. Поскольку растения представляют собой комбинации из однородных и неоднородных частей, то, как правило, в загадках о растениях для идентификации загаданного концепта наряду с квантитативными показателями релевантным оказывается иерархический признак,как в чешской загадке: *Je domeček, v tom domečku dvanáct kapliček, v každé kapličce na sta zrneček* = Мак [Č.r. 339].

В загадках о различного рода рукотворных предметах (постройках, предметах мебели и т.п.) однородность составных частей может быть подчеркнута их обозначением в тексте загадки через симметричные термины родства или другие термины, обозначающие симметричные социальные отношения (ср. *брат-брат, сосед-сосед* и т.п.); при этом в качестве ключа к отгадке указывается обычно R другого рода (часто — предмет одежды), объединяющий однородные части C^x (как правило — рукотворного предмета) в единое целое: *Три брата запанибрата одним кушаком связаны* = Изгородь [2774]; *Два братца под одной шляпой стоят* = Ворота [2913]; кроме предметов одежды, в качестве объединяющего элемента могут употребляться и термины родства с добавлением некоторых отличительных признаков, ср.: *Сто братьев за пятьсот сестер спрятались* = Бревна дома, обшитые тесом [2997]; *Четыре брата годами равны, один главный* = Углы дома [2981]; *Четыре брата под одной крышей стоят, у всех одно имя* = Стол [3560].

Термины родства употребляются также в загадках для обозначения однородных (в системе КМ или ММ), но разделенных (несоединимых) в пространстве или во времени предметных или абстрактных сущностей, осознаваемых менталитетом как единое целое, ср.: *Два брата всегда водятся, а вместе не сойдутся* = Пол и потолок [3018]; *Много соседей рядом век живут, а никогда не видятся* = Окна [3097]; *Сестра на сестру смотрит, а вместе не сходятся* = Река и берега

[477]; *Два братца в воду глядятся, век не сойдутся* = Река и берега [478]; *Два брата через мать друг на друга глядят* = Река и берега [479]; *Два быка бодутся — вместе не сойдутся* = Небо-земля [6]; *Две сестры: одна светлая, а другая темная* = День и ночь [4974]. Как следует из приведенных примеров, члены универсальных семиотических оппозиций воспринимаются менталитетом как крайние точки единого семиотического пространства (пространства дома, реки, суток, Вселенной); аналогичную трактовку можно обнаружить в заговоре, где указание крайних пределов единого пространства воздействия заговора, универсальность этого воздействия также достигается использованием универсальных семиотических оппозиций (верх-низ, мужской-женский, старый-молодой, день-ночь и т.п.): *Въ чистомъ полѣ бежитъ рѣка черна, по той рѣкѣ черной ѣздитъ чертъ съ чертовкой, а водяной съ водяновкой на одномъ челнѣ сидятъ* [ВЗ 33]; *...и стану отговариваться отъ колдуновъ, отъ колдуньи, отъ шептуна, отъ шептуньи, отъ старца и старицы, отъ всякаго злаго человѣка, отъ рабовъ и рабынь, отъ вѣрныхъ и невѣрныхъ ..* [ВЗ 43]; *...чтобъ никто не могъ прострѣлить его, отъ востока до запада, отъ сѣвера на лѣто, ни еретикъ, ни еретица, ни колдунъ, ни колдуница, годный и негодный, кто на свѣтѣ хлебъ ѣстъ* [ВЗ 42]; *Ключь моимъ словамъ въ небесной высотѣ, а замок въ морской глубинѣ на рыбѣ на китѣ...* [ВЗ 3]; *...чтобы она тосковала, горевала весь день при солнцѣ, на утренней зарѣ, при младомъ мѣсяцѣ, на вѣтрѣ-холодѣ, на прибылыхъ дняхъ и на убылыхъ дняхъ, отнынѣ и на вѣка* [ВЗ 6]; *Іоаннъ другъ, Іоаннъ зачатіе Христово, Іоаннъ Златоустъ, Іоаннъ постникъ и вся сила небесная, поставьте желѣзный тынъ около меня, раба Божія..., отъ земли и до небеси, отъ вѣку и до вѣку, чтобы меня, раба Божія..., не испорчивать, не исколдовывать, не взглядывать и не видѣть, не слышать при пиру, при бѣсѣдѣ, во всякой потѣхѣ и во вѣки по вѣки, отнынѣ и до вѣку, аминь, аминь, аминь, во вѣки аминь* [ВЗ 209].

Распространен тип загадок, в которых неодушевленный C^x (растение или рукотворный предмет) сопоставляется C^x (одушевленному) путем негации: *Не бык, а рогат* = Ухват [3461]; *С хвостом, а не мышь* = Клубок [4705]; *Четыре ноги, да не зверь, есть перья, да не птица* = Кровать с периной [3528]. Еще более частотны загадки, в которых релевантным для идентификации неодушевленного C^x свойством является необладание неотчуждаемым для C^k объектом R^k. Структура $C^x \rceil \ni R^k$ в чистом виде встречается крайне редко, поскольку трудно найти свойство, необладание которым могло бы служить единственным средством идентификации C^x, ср.: *Без начала, без конца* = Кольцо [4134]; понятие окружности как бесконечности встречается и в чешских загадках: *Jde stařecek cestou, a nic mu cesty neubývá* = Часы [Č.r. 360]; *Čtyři panny v kolébce, žádná na kraji* = Ядра ореха [Č.r. 265]. Обычно указание на необладание неотчуждаемым объектом R^K сопровождается в загадке сообщением о наличии у C^x некоторого

другого свойства, что служит дополнительным ключом к отгадке. Такое свойство, общее с C^x, может иметь кодовый денотат D^k: *Без окон, без дверей, полна хатина людей* = Улей [684]; *Пришли в лес без топоров, срубили дом без углов* = Улей [682]; *Бочечка без обручика, нет ни сучка, ни задоринки* = Яйцо [906]; *Двенадцать топоров рубят церковь без углов* = Осиное гнездо [696]; *Vím já domeček bez okéneček. Chce-li hospodář z něho ven, musí stěnu prolomit* = Яйцо [Č.r. 317]; использование кодовых денотатов 'дом', 'церковь', 'хатина' и т.п. указывает на то, что загаданный концепт C^x также является вместилищем (яйцо, улей, осиное гнездо). C^x и D^k могут иметь и другие общие свойства, как, например, способность "летать", которая присуща снежинкам и птицам: *Sletěl pták bezperák na náš strom bezlisták, přišlo na něj bezzubátko, sežralo to bezpeřátko* = Снег и солнце [C.d.š. 58]. Свойства, общие для C^x и D^k, могут быть названы эксплицитно, например, части тела или предметы одежды одушевленного D^k, соответствующие неотчуждаемым составным частям неодушевленного C^x: *С ногами — без рук, со спиной — без головы* = Стул [3548]; *Без рук, без ног, подпоясанный* = Сноп [2229]; *Родила Оленька ребенка, без рук, без ног, одна головенка* = Яйцо [918]; *Má to ctyřy rohy, žádné nohy. Očima to břinká* = Оконная форточка [Č.r. 317]; *Zádné nohy, čtyři rohy, vrty sem, vrty tam, s místa přece nikam* = Дверь [Č.r. 317]; *Čtyři nohy, dvě podešvi, duši nemá, duši nosí* = Колыбель [Č.r. 265]. В вышеприведенных чешских загадках в качестве дополнительного свойст- ва, кроме наличествующих "частей тела", называется еще функция, "принадлежащая" как D^k, так и C^x. Часто неодушевленный C^x идентифицируется по функции, для выполнения которой одушевленному D^k понадобилась бы "часть тела" R^K (концепт F^x "включает" в себя часть тела R^K):

$$C^x \leftarrow \begin{cases} D^k \rceil \ni R^k \\ D^k \ni F^x \end{cases} \qquad \left| \quad C^k \begin{cases} \ni F^x \\ \ni R^k \end{cases} \qquad F^x \ni R^k \right. \qquad C^x \begin{cases} \ni F^x \\ \rceil \ni R^k \end{cases}$$

Без рук, без ног, а на елку лезет = Огонь [3241]; *Без рук возьмет, выздымет, не уронит* = Журавль у колодца [2790]; *Без языка, а говорит, без ног, а бежит* = Ручей [499]; *Без рук, без ног все бежит* = Вода [451]; *Без рук, без ног на печь лезет* = тесто [4185]; *Без ног, без рук, без рог катится с бугра* = Камень [439]; *И языка нет, а правду скажет* = Зеркало [3580]; *Ни глаз, ни ушей, а слепцов водит* = Посошок [2761]; *Без глаз, а слезы проливает* = Оконное стекло [3110]; *Что растет без коренья?* = Камень [436]; *Без рук рисует, без зубов кусает* = Мороз [341]; *Běží posel beznohý, jest on šelma čtverrohý, žádnému nic nepoví, přece všecko vypoví* = Письмо [C.d.š. 16].

Для идентификации загаданного неодушевленного C^x может быть использовано также нарушение пресуппозиции о пространственном расположении частей тела кодового денотата D^k, например, нарушение принципа неотчуждаемости, неотторжимости частей тела от посессора D^k: *Хвост на дворе, нос в конуре* = Ключ в замке [3165];

Бык на дворе, а рога на реке = Дорога [2715]; *Стоит девица в избе, а коса на дворе* = Печь и труба [3384]; *Сидит девица в темнице, коса на улице* = Морковь [2563]; *Sedí panna ve světlici, vlasy má až na ulici* = Морковь [Č.r. 331]; *Máme volka, celý vejde do chléva, jen rohy nechá venku* = Сверло [Č.r. 307], а также нарушение квантитативного признака: *У одной головы одно ухо* = Гиря [3964] или пространственных оппозиций верх-низ, внутри-снаружи и т.п.: *Что вверх корнем растет?*= Сосулька [501]; *Что растет вверх ногами?* = Сосулька [503]; *Přišli páni bez pozvání, vzali z domu hospodáře, a dům vyběh oknem ven*= Рыбак, рыба, вода, сеть [Č.r. 317].

Для идентификации одушевленного C^x по его частям тела часто в качестве вспомогательного используется квантитативный признак, соотносящийся не с названным D^k, а с загаданным C^x: *Бежит корабль о двенадцати лап* = Рак [591]; *Четыре ноги, пятый хвост, шестая грива* = Лошадь [1122]; *Naše panenka čistá má sukničeк třista, a když jde do kopečka, ještě se jí kůže blejská* = Курица [Č.r. 289]; *Čtyři rohy, žádné nohy, chaloupkou to podne* = Улитка [Č.r. 324]. Квантитативный показатель используется также в загадках, отражающих преображение человека или животного во времени из одной ипостаси в другую: *Утром — на четырех ногах, в полдень — на двух , вечером — на трех* = Человек [1337]; *Ráno chodí po čtyřech, o poledni o dvou, večer o třech nohách* = Новорожденный, взрослый, старик с палкой [Č.r. 10]; *Když je malé — čtyřma vladne, když je velké — hory láme, a po smrti chodí do kostela* = Теленок, вол, башмаки [Č.r. 10].

В качестве дополнительного показателя может быть использована функция соответствующей части тела: *Na lopatách chodí a rohem to jí* = Гусь [Č.r. 236] или иерархический показатель, характеризующий расположение частей тела человека или животного: *Стоят вилы, на вилах короб, на коробе гора, на горе два стекла* = Человек [1344]; *Vyrostly dva duby, na dubech kadluby, na kadlubech háky, na hákách papáky, na papákách skálečka, na skálečkách hajíček, na hajíčku mnoho travičky* = Человеческое тело [Č.r. 175]; *Спереди шильце, сзади вильце, с испод — бело полотенце* = Ласточка [1029]; как видно из примеров, в загадках этого типа части тела метафорически (по признаку внешнего сходства) обозначаются именами неодушевленных предметов — растений, предметов домашней утвари, ср. также: *Na dvou ratolestech deset větviček drží jeden peň* = Руки, пальцы, тело [Č.r. 324].

Негативное сопоставление C^x и C^k имеет место обычно в загадках о животных, части тела которых сопоставляются с частями тела других животных или с частями тела или одеждой человека (а также с его орудиями труда): *Не портной, а с иголками не расстается* = Еж [1292]; *Не птичка, а с крыльями* = Бабочка [702]; *С хвостом, а не зверь, с перьями, а не птица* = Рыба [557]; *Nekřtěňátko nekřtěné, dvakrát na svět zplozené, pěkně zpívá, žák není, peříčko má, pták není* = Яйцо и цыпленок [Č.r. 291]; *Не король, а в короне, не гусар, а при шпорах, на часы не взглядывает, а время знает* = Петух [979]; *Chodí v koruně, král není, nosí ostruhy, rytíř není, má šavli, husar není, k ránu budívá, ponocný není* = Петух [Č.r. 286].

Для одушевленных C^x не характерны загадки, в которых идентификация C^x осуществляется по необладанию частью тела или другим неотчуждаемым объектом; изредка такие структуры встречаются в загадках о животных, где они сопоставляются другим животным или человеку: *Кто плачет, не имея слез?*= Сова [1017]; *Какой зверек не имеет крыльев, а летает?*= Белка [1319]; для идентификации животного или его части тела может быть использовано и другое нарушение пресуппозиции — пространственного расположения частей тела или их составных частей: *Кто имеет желудок в голове?* = рак [600]; *Кто на себе свой дом носит?* = Улитка [617]; *Глаза на рогах, домок на спине* = Улитка [618]; *Čtyři rohy, zádné nohy, chaloupkou to podne* = Улитка [Č.r. 324]. *Четыре деда назад бородами, четыре брата назад бородаты* = Ноги лошади [1131]. Характерно, что загадки о животных, основанные на нарушении пресуппозиции о наличии частей тела или о их взаимном расположении встречаются редко, а загадок такого рода о человеке, по-видимому, вообще не может быть, что связано с антропоцентричностью человеческого менталитета.

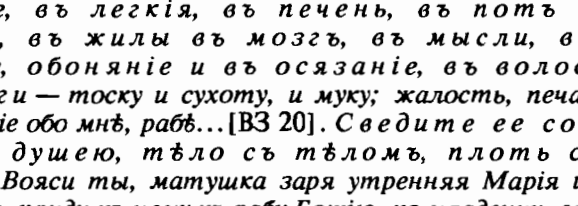
Достаточно многочисленны загадки, в которых идентификация одушевленного C^x осуществляется по свойствам его частей тела и других неотчуждаемых объектов обладания ($C^x \leftarrow PR^x$), т.е. по признакам и постоянным функциям объектов обладания одушевленного C^x. Модель $C^x \leftarrow MR^x$ характерна в основном для загадок о животных: *Голос тонок, нос долог, кто его убьет, тот свою кровь прольет* = Комар [771]; *Přiše! k nám vojáček, měl červený zobáček* = Гусь [Č.r. 236]; *Jede, jede lovec, má červený konec; kam konec strčí, všude voda crčí* = Селезень [Č.r. 236]. При этом R^x часто обозначается метафорически именами частей тела или предметов одежды человека: *Шапочка алая, жилеточка нетканая, кафтанчик рябенький* = Курица [966]; *Korunu na hlavě, andělský šat, zlodějský krok, d'abelský křik* = Павлин [Č.r. 57]; по такой же модели могут быть построены загадки о растениях: *Сидит на палочке в красной рубашечке, брюшко сыто — камнями набито* = Ягода шиповника [1833]. В загадках о насекомых их части тела и другие неотчуждаемые объекты обладания сопоставляются аналогичным свойствам животных или птиц: *Крылья орловы, хобота слоновы, груди конины, ноги львины, голос медный, ноги железны. Мы их бить, а они нашу кровь пить* = Комар [795]; *Letí, letí přez hory, sama sobě hovoří, má očička račí, a křidélka ptačí* = Пчела [C.d.š. 53].

В загадках типа $C^x \leftarrow FR^X$ в качестве дополнительного используется квантитативный признак, а сама постоянная функция может быть обозначена глаголом, именем деятеля или отглагольным прилагательным в сочетании с количественным признаком (если сама часть тела не называется), ср.: *Sedí panna v sítí, oči se jí svítí* = Лягушка [C.d.š. 145]; *Двое ходят, двое смотрят, двое болтаются, один видит и показывает* = Человек [1376]; *Две ходули, два махала, два смотрила, одно кивало* = Человек [1375]; *Два бодастых, четыре ходастых, пятый замахайка* = Корова [1059]. В качестве дополнительного может выступать и иерархический пространственный признак: *Стоят вилы, на вилах грабли, над граблями ревун, над ревуном сапун, над сапуном глядун, над глядуном поле, а за полем дремучий лес* = Человек [1338];

Стоят вилы, на вилах короб, на коробе махалы, на махалах хапало, на хапале нюхало, на нюхале мигало = Человек [1347].

В некоторых загадках в качестве загаданного концепта выступает не сам посессор, а его объекты обладания и в первую очередь его части тела, которые идентифицируются по своим свойствам — признакам, функциям, пространственному расположению составляющих их элементов, ср,: *Один говорит, двое глядят, да двое слушают* = Язык, глаза, уши [1382]; *За белыми березами тарара живет* = Язык [1538]; *Červený beránek po ovčině skáče* = Язык [Č.r. 170]; *My máme domeček, v tom domečku jsou dvě okna a jedny dveře* = Голова [Č.r. 317]; *Dvě kavky podle sebe sedí, jedna druhou nevidí* = Глаза [Č.r. 341]; *Mám kurníček, v tom kurníčku plno slepíček, při nich jen jednoho kohoutka zpěvného* = Губы, зубы, язык [Č.r. 285]; *Maličký sklípek, v něm dvě řady slípek, a červený kohoutek* = Губы, зубы, язык [Č.r. 285]; *Okolo porubu hejno bílých holubů* = Зубы во рту [Č.r. 297]. Особый интерес представляют загадки, в которых посессор может быть назван эксплицитно, а неотчуждаемый объект обладания должен быть идентифицирован лишь по одному его свойству — неотчуждаемости данного R для данного (названного или подразумеваемого) посессора: *Без чего не может жить человек?* = Имя [1626]; *Что с собой в гроб кладут?* = Рубашка [4008]; *Ведро утонуло, а дужка наверху* = Имя умершего [1628]; *Собой не однака, а нужна одинако младенцу и мертвецу и доброму молодцу* = Рубашка [4007]; *Что у всех есть?* = Имя [1627]; *И у тебя, и у меня, и у попа, и у кота, и у щуки в море, и у дуба в лесу* = Имя [1625]; *Никто его не минует, ни царь, ни царица, ни красная девица* = Намогильный знак [1676]; *У тебя есть, у меня есть, у дуба в поле, у рыбы в море* = Тень [433]. Как видно из примеров, неотчуждаемость как связь предметов и их концептуальных свойств эксплицитно раскрывается в загадках как необходимость свойства для каждого конкретного воплощения данного концепта, как его постоянство (в отличие от индивидуальных свойств, которые могут быть также и временными) и как универсальность свойства для всех конкретных воплощений данного концепта. Аналогичную трактовку неотчуждаемости находим в заговоре: *...и казался бы ей... милѣе отца и матери, милѣе всего роду племени, милѣе всего под луной Господней...* [ВЗ 3]; *Какъ всякой человѣкъ не можетъ жить безъ хлѣба, безъ соли, безъ платья, безъ ѣжи, такъ бы не можно жить рабѣ Божіей... безъ меня, раба Божія... Коль тошно младенцу безъ матери своей, а матери безъ дитяти, толь тошно рабѣ Божіей... безъ меня, раба Божія...* [ВЗ 3]. Итак, в качестве неотчуждаемых объектов в загадке и заговоре называются ближайшие родственные отношения, одежда, еда, питье, тень, имя, смерть. Характерно, что здесь не могут быть названы части тела, поскольку они составляют самого человека, однако имплицитно они содержатся в загадках на "необладание", на нарушение пространственного взаимного расположения частей тела, в пресуппозиции которых — обязательность, неотторжимость этих частей (многочисленные "без рук, без ног", "девица в темнице — коса на улице" и т.п.), в загадках, где человек или животное загадываются по своим метафо-

рически обозначенным и соответственно расположенным частям тела, являющимися "репрезентантами" живых существ. Такую же роль играют части тела в заговоре — они служат репрезентантами человека, что выражается в тексте заговора в "имплицитных" повторах, а также в том, что части тела трактуются в заговоре как локусы чувств и болезней: чувства с помощью заговора передаются от любящего к любимой, проникая в каждую часть ее тела; болезни изгоняются последовательно из всех частей тела, покидая тем самым их обладателя. Семиотическая схема имплицитного повтора может быть изображена в виде:



Нижняя строчка схемы дает семиотическую репрезентацию данного фрагмента текста: 'концепт в сочетании с его частью, имплицируемой данным концептом': *Снесите и донесите, вложите и положите въ рабицу Божію..., въ красную дѣвицу, въ бѣлое тѣло, въ хоть и въ плоть* [ВЗ 1]; *...полетай ей въ ретивое сердце, въ черную печень, въ горячую кровь, въ становую жилу, въ сахарные уста, въ ясные очи, въ черныя брови...*[ВЗ 4]; *Вложи ей, Господи, огненную искру въ сердце, въ легкія, въ печень, въ потъ и кровь, въ кости, въ жилы въ мозгъ, въ мысли, въ слухъ, въ зреніе, обоняніе и въ осязаніе, въ волосы, въ руки, въ ноги — тоску и сухоту, и муку; жалость, печаль и заботу, и попеченіе обо мнѣ, рабѣ...* [ВЗ 20]. *Сведите ее со мною — душа съ душею, тѣло съ тѣломъ, плоть съ плотію...* [ВЗ 1]; *Вояси ты, матушка заря утренняя Марія и вечерняя Маремьяна, приди къ нему къ рабу Божію, ко младенцу, возьми ты у него полунощника и щекотуна изъ бѣлаго тѣла, изъ горячей крови, изъ ретиваго сердца, изо всей плоти, изъ ясныхъ очей, изъ черных бровей, изо всего человеческаго составу, изъ каждой жилочки, изъ каждой косточки, изъ семидесяти-семи жилочекъ, изъ семидесяти-семи суставчиковъ...* [ВЗ 56]. Особенностью заклинаний, в которых упоминаются части человеческого тела и другие неотчуждаемые объекты обладания, является наличие при именах частей тела постоянных атрибутов, обозначающих неотчуждаемые признаки неотчуждаемых в системе ММ объектов обладания, не имеющие ничего общего с реальными признаками частей тела лиц, упоминаемых в заговоре.

IV. Репрезентация C^x через его связь с некоторым процессом

Загаданный концепт может быть включен в некоторый процесс как одно из его "свойств" (как один из его актантов, его результат, исходный материал) или как сам процесс. Все эти загадки построены на нарушении стереотипного представления о данном действии и его

свойствах. Так, например, C^x может загадываться как результат некоторого действия по отсутствию инструмента действия: *На потолке, в уголке висит сито не руками свито* = Паутина [755]; по отсутствию агенса действия: *Кто в избе родится без отца, без матери?* = Щели в стене [3035]; по отсутствию материала действия: *Не из ниток, а соткан* = Паутина [756]; по отсутствию самого действия: *Стоит посудина нерукотворена, налита в ней кашица неварена* = Соты и мед [674]

C^x может загадываться как агенс действия по отсутствию инструмента действия: *Кто ткет без рук, без стана и без челнока?* = Паук [754]; по отсутствию материала действия: *Возле печки греется, без водички моется* = Кот [1195]; по нарушению способа действия: *Co chodí na hlave do kostela?* = Гвозди в башмаке [Č.r. 340]; *Сидит девица в темной темнице, вяжет узор ни петлей, ни узлом* = Пчелы-соты [661].

C^x может загадываться как пациенс действия по отсутствию инструмента действия: *V pole domeček, bez klíče otevřeš jeho záměček* = Стручок [C.d.š. 52]; *Latané, pantané, jehlou netýkané* = Пестрая корова [Č.r. 356]; как само действие по отсутствию инструмента действия: *Заплачу заплатку без иглы, без нитки* = Замазка щели [3038] и т.д.

В заговоре такие "свойства" действия как его инструмент, способ, пациенс и т.п. включены в текст в качестве повтора (Ac & [P ← Ac]): *...умоюсь водою, росою, утруся платкомъ тканымъ* [ВЗ 2]; *...Бога бы не боялась, людей бы не стыдилась, во уста бы целовала, руками обнимала, блудъ сотворила...* [ВЗ 11]; *...Чтобы красная дѣвица... въ теплой парушѣ калиновымъ щелокомъ не смывала, шелковымъ веникомъ не спаривала, пошла, слезно плакала* [ВЗ 3].

Исследование показывает, что в заговоре, как и в загадке, и в любом другом паремиологическом тексте, семантика выполняет чисто прагматические задачи. Названные концепты репрезентируются в заговоре при повторе через свои концептуальные (стереотипные в системах КМ и ММ) свойства, не имеющие связи с конкретными денотатами. В загадке для идентификации загаданного концепта используются преимущественно свойства, содержащиеся в системе КМ. Эти концептуальные свойства, нерелевантные для прагматики обычного текста, т.е. не содержащие информации о конкретных денотатах, служат в загадке для выполнения чисто прагматической задачи — идентификации загаданных концептов. Исследование и сопоставление сфер неотчуждаемых и шире — стереотипных свойств концептов, заложенных в системах КМ и ММ, может способствовать реконструкции этих систем, послужить источником нетривиальных этногенетических выводов, а также некоторых выводов о свойствах человеческого менталитета.

Принятые сокращения

ВЗ — Майков Л.Н. Великорусские заклинания // Записки императорского русского географического общества по отделению этнографии. СПб., 1869.

ЛН — Лечебные "наговоры" Приангарского края. Из собрания сочинений А.А. Савельева. М., 1990.

М. И. Лекомцева

Семиотические аспекты "индексальной" загадки

Л. Витгенштейн в своих заметках о книге Д. Фрэзера "Золотая ветвь" обратил внимание на то, что описываемые Фрэзером культуры вовсе не предполагают каузальных связей, отличных от предполагающихся, скажем, современной европейской культурой. Что существенно отличает их от последних — так это иной способ символизации. Магия использует различные виды символизма и прежде всего символы, связанные с вербальным кодом. "Это, конечно, не объяснение, но это просто подставляет один символ вместо другого. Или: одну церемонию вместо другой"[1].

И определение, и анализ загадки переходят в область семиотики. П. Гжибек заметил, что уже у Дж. Дандиса "функциональный критерий можно однозначно идентифицировать как семиотическую функцию в узком смысле"[2]. В основополагающей работе Т.Я. Елизаренковой и В.Н. Топорова "О ведийской загадке типа brahmodya"[3] проанализирован один из древнейших типов загадок и установлены общесемиотические закономерности в соотношении загадки как обмена знаками и ритуала, определена структура денотативного пространства загадок как сакрально маркированного, выявлена последовательность в загадывании загадок — т. е. образование из минимальных вопросов и ответов супертекста, соответствующего иерархии устройства мира. В системе этих многочисленных соответствий особенно значима инверсия или обратное соответствие. Инверсия охватывает как роли загадывающего и отгадывающего, так и отношение знака и денотата, как роли субъекта и объекта, так и отношение означающего и означаемого. Анализ гимна богини Речи показывает, что «"онтологически первичным" является текст звукового уровня», который несет «сакральный смысл (в частности, ответы на загадки) в его звуковой форме»[4].

В настоящей статье делается попытка дать семиотический комментарий к самому элементарному, может быть, типу загадок — а именно таким загадкам, в которых используется — по крайней мере на первый взгляд — только прямая номинация. Метафоризация и другие способы косвенного обозначения, различные виды символизации в загадке остаются за пределами рассмотрения. Не включаются сюда и загадки — математические задачи и загадки, основанные на каламбурах.

---

[1] *Wittgenstein L.* Notes on Frazer's "The Golden Bough" // *Wittgenstein L.* Sources and Perspectives. Sussex, Hassocks, 1979. P. 64.

[2] *Grzybek P.* Überlegungen zur semiotischen Rätselforschung // *Eismann W., Grzybek P.* (eds.) Semiotischen Studien zum Rätsel. Simple Forms Reconsidered. II. Bochum, 1987. P. 20.

[3] *Елизаренкова Т.Я., Топоров В.Н.* О ведийской загадке типа brahmodya // Паремиологические исследования. М., 1984.

[4] *Елизаренкова Т.Я., Топоров В.Н.* Указ. соч. С. 34.

Естественно, загадка рассматривается как двухсоставная структура,— вопрос и ответ связаны не только по смыслу, но и по форме (анаграмматическая традиция в загадках была обнаружена давно[5].

Для рассмотрения семиозиса загадки с прямой номинацией рассмотрим известную загадку Самсона (Книга судей Израилевых, XIV). Здесь мы видим классическую иллюстрацию обмена знаками (=загадками), дарами и женщинами во время свадьбы — одного из главных "ритуалов перехода".

XIV. "И пошел Самсон в Фимнафу, и увидел в Фимнафе женщину из дочерей Филистимских.

2. Он пошел и объявил отцу своему и матери своей, и сказал: я видел в Фимнафе женщину из дочерей Филистимских; возьмите ее мне в жены.

3. Отец и мать его сказали ему: разве нет женщин между дочерями братьев твоих и во всем народе моем, что ты идешь взять жену у Филистимлян необрезанных? И сказал Самсон отцу своему: ее возьми мне, потому что она мне понравилась.

4. Отец его и мать его не знали, что это от Господа, и что он ищет случая *отмстить* Филистимлянам. А в то время Филистимляне господствовали над Израилем.

5. И пошел Самсон с отцом своим и с матерью своей в Фимнафу, и когда подходили к виноградникам Фимнафским, вот, *молодой лев, рыкая, идет на* встречу ему.

6. И сошел на него Дух Господень, и он растерзал *льва* как козленка; а в руке у него ничего не было. и не сказал отцу своему и матери своей, что̀ он сделал.

7. И пришел и поговорил с женщиною, и она понравилась Самсону.

8. Спустя несколько дней, опять пошел он, чтобы взять ее, и зашел посмотреть труп льва, и вот, рой пчел в трупе львином и мед.

9. Он взял его в руки свои, и пошел, и ел дорогою; и когда пришел к отцу своему и матери своей, дал и им, и они ели; но не сказал им, что из львиного трупа взял мед сей.

10. И пришел отец его к женщине, и сделал там Самсон пир, как обыкновенно делают женихи.

11. И как там увидели его, выбрали тридцать брачных друзей, которые были бы при нем.

12. И сказал им Самсон: загадаю я вам загадку; если вы отгадаете мне ее в семь дней пира, и отгадаете верно, то я дам вам тридцать синдонов[6] и тридцать перемен одежд;

13. Если же не сможете отгадать мне, то вы дайте мне тридцать синдонов и тридцать перемен одежд. Они сказали ему: загадай загадку твою, послушаем.

---

[5] *Елизаренкова Т.Я., Топоров В.Н.* Указ. соч.; *Eismann W.* Lautstruktur und Rätsellosung. Ein Beispiel des russischen Volksrätsel // Semiotische Studien zum Rätsel. Bochum, 1987.

[6] рубашек из тонкого полотна.

14. И сказал им: из ядущего вышло ядомое, и из сильного вышло сладкое. И не могли отгадать загадки в три дня.

15. В седьмой день сказали они жене Самсоновой: уговори мужа твоего, чтоб он разгадал нам загадку; иначе сожжем огнем тебя и дом отца твоего; разве вы призвали нас, чтоб обобрать нас?

16. И плакала жена Самсонова перед ним, и говорила: ты ненавидишь меня и не любишь; ты загадал загадку сынам народа моего, а мне не разгадаешь ее. Он сказал ей: отцу моему и матери моей не разгадал ее; и тебе ли разгадаю?

17. И плакала она перед ним семь дней, в которые продолжался у них пир. Наконец в седьмой день разгадал ей; ибо она усильно просила его. А она разгадала загадку сынам народа своего.

18. И в седьмой день до захождения солнечного сказали ему граждане: что̀ слаще меда, а что̀ сильнее льва! Он сказал им: если бы вы не орали на моей телице, то не отгадали бы моей загадки".

19. И сошел на него Дух Господень, и пошел он в Аскалон, и, убив там тридцать человек, снял с них одежды, и отдал перемены *платья* их разгадавшим загадку. И воспылал гнев его, и ушел он в дом отца своего.

20. А жена Самсонова вышла за брачного друга его, который был при нем другом".

Свадьба эта превращается в повод к войне с филистимлянами ("Самсон сказал им: теперь я буду прав перед Филистимлянами, если сделано им зло". XV, 3), обмен дарами оборачивается убийством, Самсон *не стал* разгадывать предложенную ему загадку о любви (Что слаще меда, и что сильнее льва?), которая перефразировала отгадку на *его* загадку — он уже был уязвлен вероломным коварством женщины и тридцати друзей из филистимлян.

Но почему они не смогли отгадать загадку Самсона? Если бы он загадал ее роботу, который знал, что "самый сильный — лев", "самое сладкое — мед", "лев — кто ест, ядущий", "мед — что едят, ядомое", то он мгновенно бы ответил: "лев превратился в мед". Но в *человеческом* опыте филистимлян такого быть не может. Это — исключительное переживание, особый опыт Самсона. Когда Самсон "растерзал льва как козленка; а в руке у него ничего не было", он понял, что стал "сильнее сильного"; — потому что "сошел на него Дух Господень". Но священный трепет не дал сказать ему отцу и матери, "что он сделал". Когда через несколько дней он зашел посмотреть, *есть* ли *труп* льва, он увидал труп, но вокруг его — не мухи и не птицы, как бывает, а "рой пчел в трупе львином и мед". Он проверяет, не галлюцинация, не видение ли это: он взял мед и "ел дорогою", "и дал отцу своему и матери своей — и они ели". Свое новое знание он выражает в загадке. Загадка как весть об этом знамении распространяется всюду, где Тора — священная книга. Ср. русскую загадку в собрании В.В. - Митрофановой[7]: *От ядущего ядомое изыде и от крепкого сладкое.*

[7] *Митрофанова В.В.* Русские народные загадки. Л., 1968. Далее указывается только номер загадки из этого сборника.

Характерный ответ: "Самсон, пчелы, лев, мед" [5184]. Английский вариант: *Out of the eater came something to eat; | Out of the strong came something sweet.*

С помощью этой загадки Самсон проверяет, знают ли филистимляне, как действуют, когда сходит Дух Господень, верят ли они во всемогущество Духа. Но филистимляне не только не знают этого, но и чтобы узнать это, не удерживаются на приличном для человека уровне, — они не хотят узнать разгадку даже за малую цену в тридцать синдонов и тридцать перемен одежд, как договорились, а начинают шантажировать жену Самсона.

С точки зрения семиотики особенно важно то, что мы здесь сталкиваемся с разными "постулатами веры и знания" у различных участников речевого акта. Развивая идеи позднего Л. Витгенштейна, К. Мудерсбах сформулировал теорию семантики, в которой исходной является система отдельного участника общения, однако это — система, которая включает гипотезы относительно систем других участников речевого акта[8].

Поэтому начало общения и обмена (дарами, женщинами, знаками (уважения...)) должно начинаться с проверки соответствующих гипотез и установления и поддержания "канала связи". Здесь актуализируется фатическая функция Р. Якобсона, однако в данном случае уместнее говорить о "фатическом общении" (phatic communion) в смысле Б. Малиновского[9]. О. Ханфлинг обратил внимание на то, что в естественном языке нет четкой границы между "правильным" и "неправильным" употреблением знаков. Употребление знака в индивидуальной системе имеет по отношению к его употреблению в других системах характер "семейного сходства", а не разрыва[10]. Нормативизация употребления знаков создает основу для согласия в межчеловеческом общении. Неточность, двусмысленность, неопределенность значения некоторых выражений навязывает ложные образы, создает обман. "На определенном уровне загадку можно рассматривать как своего рода метаязык, поскольку она определенно является средством анализа самых существенных черт того или иного языка"[11]. Загадка — "метаигра", которая ведет к пониманию мира не непосредственно, а через прояснение и "прозрачное представление" (übersichtliche Darstellung в смысле Л. Витгенштейна) переживаний и событий в их символической взаимосвязи.

Выделенная Р. Якобсоном поэтическая функция языка играет в загадках, как подчеркивалось многими исследователями — от Аристотеля до П.Г. Богатырева[12]— первообразующую роль. С семиотической

---

[8] *Mudersbach K.* Glaubens- und Wissensäußerungen in der Kommunikantensemantik. Heidelberg, 1981; *Mudersbach K.* The Theoretical Description of Speaker-Hearer Hypotheses // *Dietrich R.* aud *Graumamm C.F.* (eds.). Language Process in Social Context. North-Holland, 1989. P. 77—93.

[9] *Malinowski B.* The problem of meaning in primitive languages // *Ogden C.K.* and *Richards I.A.* The Meaning of Meaning. 2nd ed. London, 1930.

[10] *Hanfling O.* Language and the Privacy of Experience. Milton Keynes, 1976.

[11] *Кёнгэс-Маранда Э.* Теория и практика анализа загадок / Пер. с англ. Т. Погибенко // Паремиологические исследования. М., 1984. С. 55.

[12] *Богатырев П.Г.* Язык фольклора // ВЯ, 1973, № 5.

точки зрения особенно важно то, что ex paribus загадки характеризуются метаязыковой функцией. Действительно, эта функция, которую выделили Ч.С. Пирс и К. Бюлер и которая у Р. Якобсона получила классическое определение, целиком и полностью относится к любой загадке — поскольку первичной функцией загадки остается верифицировать, используют ли говорящие (загадывающий загадку и отгадывающий ее) один и тот же язык, употребляют ли они выражение языка в одном и том же смысле. Т.В. Цивьян отметила, что "особенно показательны загадки, где ответы представляют собой словарь или алфавит, модели мира, а текст (загадывание) соответствует словарной статье, т. е. дает полную формальную и семантическую информацию для данной лексемы, указывая к тому же и способы связи с другими лексемами или перехода от одной лексемы к другой (кодирование и перекодирование). Перетекание такого рода демонстрирует и взаимосвязанность всех составных элементов в модели мира"[13].

В этой связи понятна роль лексем, *значение которых определяется исключительно контекстом* — лексем, которые Дж. Райл называл индексалами[14] (правда, Райл имел в виду при этом знаки-индексы: *я, здесь, сейчас* и т.п., так как употреблял слова "контекст" и "значение" в более широком смысле). Однако это определение удивительно точно подходит к контекстно связанным или семантически рестрикционным лексемам, в связи с чем загадки на такие "индексалы" можно условно назвать "индексальными".

Собственно лексемы выступают здесь уже как представители семантического поля, которое организует определенное соотношение лексем *внутри* поля. Соотношение самих полей определяет специфику картины мира. Развивая идеи И.Г. Гердера и В. Гумбольдта, Й. Трир писал: "Каждый язык расчленяет бытие своим особым образом, создавая тем самым свою особую картину бытия (ihr besonderes Seinbild) и устанавливая свои, именно данному языку свойственные концепты"[15]. Работавший вместе с Й. Триром Л. Вайсгербер описал потом "картину мира немецкого языка" (характерно название книги "Vom Weltbild der Deutschen Sprache"[16]), в которой сформулировал параллельно с Э. Сэпиром и Б.Л. Уорфом теорию лингвистической относительности.

То, что значение лексемы определяется ее местом в структуре семантического поля ("поля Трира"[17]), особенно наглядно выступает в терминах родства. Здесь можно отвлечься от многочисленных исследований в этой области и обратить внимание на такие загадки, в которых задача состоит именно в оперировании лексемами как элементами поля. Так, в загадке *Шуринов племянник как зятю родня?* =

---

[13] *Цивьян Т.В.* Предисловие // Паремиологические исследования, М., 1984. С. 12

[14] *Ryle G.* The Theory of Meaning // *Mace C.A.* (ed.) British Philosophy in the Mid-Century. London, 1957.

[15] *Trier J.* Das sprachliche Feld. Eine Auseinandersetzung // Neue Jahrbücher für Wissenschaft und Jugendbildung. 1934, № 10. P. 428—449.

[16] *Weisgerber L.* Vom Weltbild der Deutschen Sprache. Düsseldorf, 1950.

[17] *Лекомцев Ю.К.* К вопросу о системности глаголов речи в английском языке // Проблемы структурной лингвистики. М., 1962; *Lekomcev Ju.K.* On the semantic structure of vocabulary. A deductive approach // Allgemeine Sprachwissenschaft, Sprachtypologie und Textlinguistik. Festschrift für Peter Hartmann. Tübingen, 1982. P. 187—196.

Сын [1690] охватывается четыре элемента поля и два направления идентификации. *Идут три человека: одного отца-матери дети, меж собой не братья* = Сестры [1691]. Здесь в фокусе оказывается пять элементов поля родства. Интересна загадка с четырьмя элементами и неожиданно рефлексивной идентификацией: *Сын моего отца, а мне не брат* = Я сам [1693].

Классификация явлений — предполагаемые языком отношения рода и вида проявляются, напр., в загадке о комаре: *В мае месяце четвертой тысячи Появился ни рак, ни рыба, ни зверь, ни птица, ни человек. Нос долог, голос тонок. Летит — кричит, сядет — молчит. Цари его боятся, короли страшатся. Кто его убьет, тот свою кровь прольет* [781]. (Ср.: *Ни корабль, ни лодка, ни весел ни паруса, а плывет, не тонет.* = Плот [4495]), где очевидна как минимум шестичленная классификация живых существ. В загадке о хмеле "играют" родо-видовые отношения: *Поднялась трава выше двора* [2670].

Однако несравненно больше загадок ориентировано на синтагматические лексико-семантические отношения, на "поле Порцига"[18]. Действительно, в словаре выделяется класс лексем, "значение которых определяется исключительно контекстом", как было сказано выше о словах-индексалах. "Чем кусаются? Зубами, конечно. Чем лижут? Языком, понятно. Кто это, что лает? Собака. Что валят? Деревья. Что это такое блондинистое? Волосы человека. Факт, который был здесь проиллюстрирован несколькими примерами, так обычен (alltäglich), что мы склонны не замечать его и — самое главное — недооценивать его важность"[19].

В структуре многих загадок именно определение недостающего элемента в поле Порцига является ключевым, определяющим. В классификации Т.Я. Елизаренковой, В.Н. Топорова эти загадки относятся к метаязыковым (хотя они далеко не исчерпывают класс метаязыковых загадок, разумеется).

Наиболее простой формой является здесь загадка с вопросительным местоимением в определяющем контексте, который при подстановке отгадки дает "монаду культурной памяти" и будет паролем для ее носителей. *Чего на свете нет буйнее?* = Ветер [230]. "Ветры буйные" буйнее "буйной головушки" и "буйного коня". *Что без огня горит?* = Солнце [169]; *Что видно только ночью?* = Звезды на небе [47]; *Что у нас выше леса стоячего, выше облака ходячего, краше мелких звезд?* = Месяц [124]; *Кто без кости?* = Язык [1552]; *Кто ткет без рук, без стола и без челнока?* = Паук [754]; *Что без голосу?* = Рыба [545]; *Что всегда маслено?* = Сковорода [3909].

Иногда такие элементарные загадки объединяются, создавая ложную пресуппозицию единой отгадки: *Что в лесу растет, у коня висит, а у девки колыбается?* = Дерево, хвост, коса [5375].

[18] *Porzig W.* Wesenhafte Bedeutungsbeziehungen // Beiträge zur deutschen Sprache und Literatur. 1934, 58.

[19] *Porzig W.* Das Wunder der Sprache. Bern, 1950. P. 68.

П. Гжибек, когда рассматривает загадки аналогичные, *Что в реке живет?* = Рыба[20], ставит вопрос, чем отличается такая загадка как образец особого жанра "от обычного вопроса".

Очевидно, что при загадывании загадки меняется коммуникативное a priori, вводятся особые условия в постулаты общения, в частности, система пресуппозиций расширяется до пределов дискурсивного универсума. Ср.: *В каком море нет воды?* = В житейском [5352], но: *В какой воде не водится рыба?* = В родниковой; *Где небо без звезд?* = Во рту [5361]; *Какой цветок имеет мужской род и женский?* = Иванда-Марья [5405]; *Когда человек бывает рыбой и когда рекой?* = Карп и Нил; *Когда человек бывает деревом?* = Когда он со сна; *Что на свете три дуги?* = У лошади, у ведра и на небе [5554]; *Человек родился, как ему имя?* = Человек [5561]; *Какой месяц короче всего?* = Май (три буквы) [5446]. Но: *В каком месяце бабы меньше всего сплетничают?* = В феврале [5367]; *В каком году люди едят более обыкновенного?* = В високосном [5351]; *На каком пути еще не бывало ни одного человека?* = На Млечном [5469]. Поэтому на загадку *Wha' live in de river?*[21] загадывающий может предполагать как ответ и-Ive, и I, но он обязан соблюдать правила игры в загадки — в том числе и то, что здесь исключены референциальные отношения[22], так что "эта река — не эта река", и никакой референциально соотнесенный обитатель реки не имеет права претендовать на роль отгадки.

Надо отметить и такой подтип загадок, контекст которых характеризуется некоторой неопределенностью, но это компенсирует ритмическая и "рифмическая" подсказка: *Что в избе за любо?* = Блюдо [3874]; *Что в избе бодро?* = Ведро [3865].

Близки к загадкам с вопросительным словом формы загадок, в которых отгадка должна быть подставлена на место местоимения, как, например, в загадке о ветре: *Фырчит, рычит, ветки ломает, I пыль поднимает, тебя с ног сбивает, I слышишь его, да не видишь его* [240]. "Ты" употребляется в обобщенно-личном значении, а "он", не имеющий референциального отношения, приобретает табуированный смысл (как у Л.Н. Толстого солдаты говорили о неприятеле "Он"). Про соль: *Одну меня не едят, а без меня мало едят* [4270] = Одну *соль* не едят, без *соли* мало едят.

Следующий тип загадок может быть представлен такими примерами: *Два бодастых, четыре ходастых, пятый замахайка* = Корова [1059].

Числительное должно быть дополнено в именной группе существительным: два рога бодастых — контекст "два бодастых" однозначно имплицирует "рога". Иногда числительные относятся к другому уровню — они образуют единство загадываемого: *Четыре ноги, пятый хвост, шестая грива* = Лошадь [1120]. Хвост и грива — признаки, уже достаточные для обозначения лошади, но "четыре ноги" — слиш-

[20] *Grzybek P.* Überlegungen zur semiotischen Rätselforschung. Op cit. P. 3.

[21] *Grzybek P.* Überlegungen zur semiotischen Rätselforschung. Op. cit. P. 3.

[22] *Tarnay L.* A game-theoretical analysis of riddles // *Kanyo Z.* (ed.). Simple Form. Einfache Forme. Studia Poetica. Szegen, 1982.

ком важный классифицирующий признак (Вяч.Вс. Иванов, наст. сб.), чтобы его не включить в контекст.

Числительные используются и в загадках о "составных объектах": *Что за зверь: две головы, шесть ног, один хвост* = Всадник [4374].

Бывает, что числительные играют роль места, куда должно быть подставлено искомое слово, и "единство счета" представляет собою "языковую иллюзию", которую стоит преодолеть: *Один льет, другой пьет, третий растет* [306] = Дождь льет, земля пьет, трава растет; *Один говорит, двое глядят да двое слушают* = Язык, глаза, уши [1382]. (Здесь видно сохранение качественного значения у числа в архаичной числовой модели мира)[23].

Третий тип индексальной загадки характеризуется тем, что искомый элемент представлен не словарной единицей, а семантически неопределенной последовательностью[24], ритмически, а часто и фонологически соответствующей загадываемому слову: *Рында роет, Скинда скачет, Турман едет — съест тебя* = Свинья, заяц, волк [1262]. Иногда образуется "figura etymologica": *Рычка рычит, скачка скачет* [1264]. Может использоваться знак какого-либо звукоизвлечения: *В лесу срублено, на базаре куплено, по краям липа, а посреди иго-го* = Сито или решето [3930].

Интересны виды измененной речи — полунеопределенной, когда, как в некоторых играх, какой-то слог регулярно заменяется на другой. В собрании В.В. Митрофановой можно отметить загадку, которая представляет просто игру в замену согласных второго слога на *-нд-*: *Брындя! Не лази в пенду, в пенде канда про хонда* = Кот, не лезь в печку, в печке каша для гостя [1204].

К "брысь!" (*брындя*), *иго-го* можно добавить и возможные подзывные слова, например, к курам — *тулики-батулики*: *Тулики-батулики из-под лавочки выглядывают* = Курицы в залавке [968].

Очень загадочными кажутся собственные имена в загадках. Собственные имена, как известно, имеют две функции: референциальную и вокативную. Референциальная функция в загадке невозможна как в языковой игре, а вокативная функция очевидно нелепа: *Что в избе за Филаты?* = Полати [3068]; *Самсоница в избе* = Солоница [3984].

На фоне предшествующего типа собственные имена, мне кажется, можно рассматривать как паронимы семантически неопределенных выражений или как перформативную номинацию. То, что собственные имена не имеют смысла (а в загадке — и референции), сближает их по значению с титулами и прозвищами в ситуациях, особенно характерных для rites de passage, когда сохраняется такая связь денотата с именем, что одно имя невозможно произвольно заменить на другое.

В загадке о березе *Стоит Федосья, распустив волосья* [1732] рифма, ритм и фонологическая структура "опорного" слова *волосья* определяют выбор имени *Федосья*, но в загадке *Зимой Фомой, а летом*

---

[23] *Елизаренкова Т.Я., Топоров В.Н.* Указ. соч.

[24] *Лекомцева М.И.* Особенности текста с неопределенно выраженной семантикой. // *Σημειωτική*. Труды по знаковым системам. Т. XXI. Тарту, 1987. С. 94—103.

Филаретом [1733] кроме этих условий видно, что имена сохраняют функцию различения, так что невозможно без изменения смысла заменить, например, "Фому" на "Филарета" — иначе получится смысл "зимою и летом одним цветом". Здесь обращает на себя внимание и то, что "собственные имена" употреблены предикативно. Обычно это свидетельствует об употреблении имени как символа ("Москва — третий Рим"), связанном с риторической фигурой синекдохи.

Принятие точки зрения, согласно которой эти собственные имена — паронимы и омонимы — синонимы (для семантически неопределенных выражений эти понятия сливаются) "бессмыслицы", дает возможность увидеть в этих загадках некоторое специфическое представление искомого элемента поля Порцига.

Обе эти загадки не входят, строго говоря, в корпус рассматриваемых загадок, так как для их анализа необходимо принять во внимание особенности метафорического расширения словаря (если, например, последняя загадка имеет в виду дескриптивный фон[25] **Зимой — лысый, летом — кудрявый*).

Последний тип рассматриваемых здесь "индексальных" загадок — это эллиптические загадки. Как и во всех предшествующих случаях, и здесь "исключительно контекст определяет значение" искомого слова, но вопросительное местоимение, порядковое или количественное числительное, личное местоимение, семантически-неопределенное (но часто строго определенное фонологически и просодически) выражение вместо искомого слово отсутствуют — они только подразумеваются. Выраженность вопроса (и иллокутивная сила, и перлокутивный эффект) отмечается редко — сам вопрос обычно тоже подразумевается. Здесь возникает область наибольшего сближения с пословицей (Т.М. Николаева, наст. сб.). Пример П. Гжибека[26] одной и той же паремии, трактуемой то как пословица *Ничего не болит, а все стонет*, то как загадка (отгадка: Свинья) особенно остро ставит вопрос о структурных характеристиках жанров, и прежде всего — о структуре их коммуникативного a priori[27].

Если текст: *В воде купался, сухим остался* [1006] — загадка о гусе, то в этом тексте должна быть восстановлена "полная форма": "Кто это...?"; *Под мостиком виляет хвостиком* [549]: "Кто под мостиком...?" = Рыба.

Но вот загадка *На печи горячо, на полатях скрипучо, | на лавке тесно, а под лавкой душно, | а на столе грешно, а под столом смешно, | на полу просто, на кровати хорошо* описывает контексты глагола "спать" [1607] (вопрос "что делать?"); *Били, лощили, на ногу надели:* "Кто?" или "Что?" Ответ — Валенки [4079]; *По морю идет, а до берега дойдет — тут и пропадет* = Волна [541]. Здесь возникает еще вопрос: "кто" или "что" идет? Загадка часто направляет по ложному следу: *Серовато, зубовато по полю рыщет, телят, ягнят*

[25] *Searle J.R.* Speech Acts. London and N.Y., 1969. P. 162.

[26] *Grzybek P.* Überlegungen zur semiotischen Rätselforschung. Op. cit. P. 8.

[27] *Georges R.A., Dundes A.* Toward a structural definition of the riddle // Journal of American Folklore, 76, 1963.

ищет, т. е. Серый волк описывается как не очень серый, да еще и как неопределенное существо среднего рода. Ср.: *Верст не считал, по дорогам не езжал, а за морем бывал* = Птица [885] или *Крупно, дробно зачастило, всю землю напоило* = Дождь [312]; *Поставлю, попарю, выну, поправлю, этот одеру, другой положу.* Может быть, в ответе ошибка, неразличение, неточность, — но отгадка дается во множественном числе — Блины [4256].

При персонификации возникает эквивалентность первого и третьего лица: в третьем лице соответствующее выражение будет эллиптическим, при первом же лице загадка переходит в местоименный тип: *Все ломаю, все срываю, ничему пощады нет* = Ветер [241], ср.: *Днем молчит, ночью кричит* = Филин [1015]. "Что бывает?" *Поутру в сажень, в полдень с пядень, а к вечеру через поле хватает* = Тень [425]. "Что?" *У тебя есть, у меня есть, | у дуба в поле, у рыбы в море* = Тень [433]; *Сидит — зеленеет, | летит — пожелтеет, | падет — почернеет* = Лист дерева [1710]; *Топили, сушили, колотили, рвали, крутили, ткали, на стол клали* = Лен [2105].

Особый подтип эллиптических загадок образуется с помощью ограничительно-исключающей конструкции (детальный анализ этого подтипа см. у Головачевой, наст. сб.): *Не огонь, а жжется* = Крапива [1915]; *Не море, а волнуется* = Нива [1941]; *Не шагает, а ходит* = Часы [3596]; *Не цветы, а цветет* = Человек [1335]; *Никто не пугает, а вся дрожит* = Осина [1768]; *Зубы есть, а рта нет* = Пила [4548]; *Мягок, а не пух, зелен, а не трава* = Мох [1927]; *Не горит, а гасить приходится* = Известка [5223]; *Рот есть — не говорю, глаза есть — не мигаю* = Рыба [556].

Характерно парадоксальное "не говорю", связанное с эквивалентностью первого и третьего лица в этих случаях. *Не кузнец, а с клещами* = Рак [599]; *Не из ниток, а соткан* = Паутина [756] — опять вводящий в заблуждение род.

Эквивалентность и второго лица (фактически все лица здесь "неопределенные") третьему и первому видна в загадках типа: *В руку возьмешь, а в стену не вобьешь* = Яйцо. "Кто?" с пресуппозиций: "существует один..., кто...": *Зарежет без ножа, убьет без топора* = Смерть [1631]. Но эта пресуппозиция нарушается в загадке: *Без огня горит, без крыл летит, | без ног бежит, без ран болит* [193]. Здесь — Солнце без огня — горит (ср. выше), туча без крыл летит, река без ног бежит (ср. выше), сердце без ран болит.

Встречаются загадки, где элиминируются два элемента из контекста, отыскивается — загадывается тождественный элемент в двух частях загадки: *На улице столбом, в избе скатертью* [3217] = На улице дым столбом стоит, в избе дым скатертью стелется. Однако: *Всуну — поправится, выну — свалится* [3999] = *Всуну ***руку*** — ***(рукав)*** поправится, выну ***руку*** — ***(рукав)*** свалится; *Поскребу, поскребу — да во дворишко* [3476] = Поскребу, поскребу ***(печь кочергой)***, да ***(уголья)*** во дворишко. Как пароль звучит загадка: *Не помню, не вижу, не знаю* [1617] = Не помню, ***(когда родился)***, не вижу, ***(как расту)***, не знаю, ***(когда умру)***.

Иногда загадки устроены как текст, для которого надо отгадать название: *Где-то, где-то дым идет, Где-то, где-то веники шумят* = Баню топят [2927] или *Ногой топчу, животом нажму, Рукой шмокну, другой потяну, Два раза колону да опять начну* = Ткут [4645].

Для функционирования загадки как жанра особенно существенны "предварительные условия" ("preparatory conditions"[28]) произнесения загадки. Это — право загадать загадку, знание ритуала, церемонии или соответствующей игры, владение спецификой жанра загадки. Наблюдения над детской игрой в загадки позволяют сделать выводы относительно роли и значении загадки в процессе социализации[29]. В качестве примера приведу фрагмент наблюдавшейся мною этим летом игры в загадки между мальчиком 5 лет и девочкой 6 лет.

Он. Отгадай загадку. Кто я? У меня много рук, а головы нет.
Она. Паук.
Он. Нет! Я — дерево!

Через некоторое время.

Она. Отгадай загадку. Кто я? У меня макушка есть, а головы нет.
Он. Не знаю.
Она. Я — дерево!

Такие игры удовлетворяют понятию игры в смысле теории игр, а именно относятся к классу транскрипционных игр[30]. Из выводов Л. Тарная особенно важен тот, согласно которому «различие между "de dicto" и "de re" стирается (blurs)»[31], здесь «теория игр принимается как средство исследовать различно проявляющиеся отношения, а не конкретные индивидуальные сущности». Если загадывающий загадку намерен включить в нее референциальное отношение (а это всегда возможно с помощью просодических[32] и экстралингвистических средств), то произносимый им текст теряет статус загадки и превращается в клише с другим смыслом — например, в пословицу[33]). Ср. загадку о гусе: *В воде купался, сухим остался,* употребленную как дескриптивное определение, т. е. референциально.

Прагматическая сторона этой игры определяется тем, что "в загадках равным образом дело идет как об общем формировании категорий, так и об их языковом обосновании"[34] *Grzybek P.* Zur Ontogenese des Rätselratens. Указ. соч. P. 285.. Отрицательную сторону такого процесса чувствовал А. Платонов, когда говорил, что цель здесь — "приучить к однообразному пониманию вещей". Неизбежную (и положительную) сторону в такой совместной концептуализации опыта Л. Витгенштейн определял как "форму жизни"[35], в которой отфильтровываются и

[28] *Searle J.R.* Speech Acts. London and N.Y., 1969.

[29] *Grzybek P.* Zur Ontogenese des Rätselratens // *Eismann W., Grzybek P.* (eds.). Semiotischen Studien zum Rätsel. Simple Forms Reconsidered. II. Bochum, 1987.

[30] *Tarnay L.* Op. cit.

[31] *Tarnay L.* Op. cit. P. 106.

[32] *Николаева Т.М.* Семантика акцентного выделения. М., 1982.

[33] *Пермяков Г.Л.* От поговорки до сказки: Заметки по общей теории клише. М., 1970.

[34] *Grzybek P.* Zur Ontogenese des Rätselratens. Op. cit. P. 285.

индивидуальные озарения, и коллективные иллюзии, определяется денотативное пространство и репертуар семиотических ситуаций (см. выше загадку Самсона или освоение в загадках "ситуации пророка Ионы"[36]).

В заключение стоит обозначить важную тему, которая остается за пределами настоящего рассмотрения. Это касается соотношения смыслов между элементами семантических полей, имеющих один и тот же определяющий контекст. Ср.: *Летит птица — павица, села на лавицу, распустила перья всякого зелья* = Разносчик [4934] и *Прилетела пава, села на лаву, распустила перья для всякого зелья* = Весна [4733].

"Разносчик" оказывается в отношении пародирования своего контекста по сравнению со смыслом контекста "весны".

Но относительно ряда загадываемых лексем можно предположить их глубинную эквивалентность: "тень" и "отражение в воде" — в воде не тонет, "тень" и "яйцо" — "в стену не вобьешь", "из стены не вырубишь".

В ведийской и русской традиции прослеживается отождествление мира как пространства, года как времени и языка[37]: *Лежит брус во всю Русь* — это и мировое дерево в смысле года (там же), и язык [2718]. *Мост на семь верст* — Пасхальная неделя как образ "полноты времени"[38], матица (горизонтальная трансформация мирового дерева): *Золотой мост на семь верст* [3000]. Идентификация языка с мировым деревом просвечивает в речении *молоть семь верст до небес...*

В этой связи можно думать, что загадка *Перед нами — вверх ногами, перед тобой — вверх головой* = Отражение в воде [534] имеет и другой ответ. Он естественно связывается с arbor inversa и положением эмбриона — знаками особо сакральной ценности. Как пел царь Давид:

Пусть покоится душа моя в Господе,
как ребенок в лоне матери своей.

---

[35] Ср.: *Hacker R.M.S.* Insight and Illusion. Wittgenstein on Philosophy and Metaphysics of Experience. Oxford, 1975.

[36] *Петровская Е.* Кит как текст. // Логос, 1991, № 2, С. 240—261.

[37] *Елизаренкова, Топоров.* Указ. соч. С. 29—30, 40—43.

[38] *Шмеман А.* Время // За жизнь мира. Нью Йорк, 1983.

Часть III

Т. Н. Молошная

Заметки по синтаксису простого предложения в загадках (сопоставительный русско-болгарский анализ)

В данном разделе рассматриваются некоторые наиболее яркие черты синтаксиса простого предложения в русских и болгарских загадках. Исследование проведено на материале сборников В.В. Митрофановой и Ст. Стойковой[1]. Примеры загадок приводятся с сохранением всех фонетических, морфологических и лексических диалектных особенностей, а также в системе орфографической записи, принятой в упомянутых сборниках. При каждой загадке после знака равенства указывается отгадка, которая во всех случаях записывается по-русски. В квадратных скобках ставится номер, под которым она зафиксирована в соответствующем сборнике.

Наиболее общая и очевидная особенность строения загадки — краткость, лаконичность, сжатость ее текста. Представляется, что весь синтаксис загадки подчинен данной цели — достижению компактности изложения. Ниже это будет проиллюстрировано в процессе сопоставительного анализа разных аспектов простого предложения в русских и болгарских загадках.

Вопросительные предложения

Известно, что по целевой установке акта коммуникации предложения делятся на невопросительные и вопросительные. Хотя суть загадки — вопрос, адресованный собеседнику, предложения, вопросительные по своей структуре, встречаются реже, чем можно было бы ожидать. Вместо вопроса, например, о месяце *Кто родится с рогами, потом их теряет?,* загадка оформляется в виде невопросительного повествовательного предложения *Родится с рогами, потом их теряет.* Подразумеваемые в загадках вопросы типа "Что это такое?", "Кто это делает?", "У кого это есть?" и т.д. как бы раз навсегда вынесены за скобки. Это одна из синтаксических характеристик текста загадки.

[1] *В.В. Митрофанова.* Русские народные загадки. М., 1968; *Стойкова Ст.* Български народни гатанки. София, 1970. Далее в скобках указываютя номера загадок из этих сборников.

О частотности вопросительных предложений можно судить по таким количественным данным: в выборке объемом 406 русских загадок обнаружено 27 загадок, являющихся по синтаксическому строению вопросами. Все они относятся к специально вопросительным, содержащим то или иное вопросительное слово (вопросительное местоимение или наречие). Общевопросительных предложений не встретилось. Подавляющее число вопросов представляют собой простые предложения (25 из упомянутых 27). Примеры вопросительных предложений из всего корпуса загадок сборника В.В. Митрофановой: *Кто дом стережет* = Замок [3175]; *Кто ест сено без рта тремя зубами* = Вилы [2149]; *Кто родится с бородой?* = Козел [1152]; *Кто 12 раз в году родится и 12 раз умирает?* = Месяц [114]; *Что растет без цвету?* = Волосы [1469]; *Что летом и зимой в рубашке одной?* = Хвойное дерево [1723]; *Что возвратить нельзя?* = Время [4917]; *Что топором не перерубишь?* = Дым [3202]; Что видно только ночью? = Звезды на небе [47]; *Что острее меча?* = Взор человека [1442]; *Чего человек всегда видит и чего никогда достать не может?* = Солнце и месяц [135]; *Чего у бога нет, а у нас есть?* = Грех [5122]; *Чего в избе не видно?* = Тепло [3188]; *Чего на свете нет быстрее?* = Ветер [231]; *Какой зверь из двери выходит, а в дверь не входит?* = Младенец [1330]; *Какие зубы не едят и не кусают?* = Гребень [4105]; *На каком дереве две кожи?* = Береза [1741]; *Где вода столбом стоит?* = Колодец [2783]; *Криво зеркало, где побывало, что повидало?* = Река [463]. Последняя вопросительная загадка содержит, кроме вопроса, также обращение.

Вопросительных предложений, относящихся к сложным, встретилось совсем мало, например, *Для кого нет такой скважины, чтобы он не пролез?* = Лучи солнца, свет [190]; *Что за трава, что и слепой знает?* = Крапива [1917]. Иногда вопросительное предложение привязано к повествовательному, является добавлением к нему: *С грузом иду, а без груза нейду. Кто я?* = Часы [3618]. Обнаружены загадки, состоящие из двух простых вопросительных предложений: *Что за художник у окна побывал? Что за художник окно разрисовал?* = Мороз [338].

Можно встретить и загадки-диалоги типа *Ванька малый, где был? — У Тули! — Что видел? — Алхирея! — В чем он? — В черной шубе и кольцо у губе* = Медведь [1270] или *Долга долгуша, куда пошла? — Стрижена голова, тебе-то что?* = Река и обкошенные берега [485]. Возможны также и еще более развернутые диалоги: *Собрались три вещи, собрались они в одном месте: — Ты, братец, что работаешь? — Я одно лето работаю. — А ты, братец, что работаешь? — Я одну зиму работаю. — А ты, братец, что работаешь? — Я зиму и лето работаю* = Телега, сани, лошадь [4434]. К ним примыкают так называемые вопросы-шутки (содержащие ответ на заданный вопрос) типа *Где небо без звезд? — Во рту* [5360]; *Какая болезнь неизлечима? — Глупость* [5369]; *Без чего хлеба не испечь — Без корки* [5343]; *Чем оканчивается день и ночь — Мягким знаком* [5459] и пр. Все подобные распространенные загадки не относятся к числу основных, они вторичны — возникли позднее простых вопросительных.

Примерно такое же положение с вопросительным типом предложений характерно для болгарских загадок[2]. По удельному весу в общем объеме загадок вопросительные предложения сильно уступают невопросительным. Подавляющее их число относится к специально вопросительным: *Что е най-спорно в къщи?* = Перец [3454]; *Кой прави мостове, без да кове?* = Лед [327]; *Без кое светът не може?* = Имя [3461]; *Кога е глупавио умен?* = Когда молчит [3474]; *Шарена кокошка на една нога стои. Шо е това?* = Кочан капусты [900]. Общевопросительные предложения в болгарских загадках единичны, например, *Скокла ли ядеш, или дрипла?* = Лягушка или баница [3512]. Изредка встречаются развернутые загадки, состоящие из нескольких вопросов, перемежающихся ответами на них, например, *Елен бел, де си бил? — В тевен дол. — Шо си прил? — Кръв съм пил. — Към ти кръвта? — На край село бех, та се не овъртех* = Белое сало у свиньи [2600].

Есть мнение, что загадки-вопросы и загадки-шутки не только не входят в корпус основных, но и не являются истинными загадками[3]. Если же их все-таки рассматривать, то необходимо отнести к особой группе среди вопросительных.

Невопросительные предложения

Невопросительные предложения с точки зрения передаваемой информации делятся на побудительные и повествовательные.

Побудительные предложения

Среди упомянутых 406 русских загадок их встретилось еще меньше, чем вопросительных, — всего 4. Они, естественно, содержат глагол в форме императива и иногда — обращение. Большая их часть входит в состав сложных предложений. Примеры (из всего корпуса загадок в сборнике Митрофановой): *Дуйся, не дуйся, а полезай на меня* = Рубаха [4003]; *Погляди через ворота — там щучка золота* = Солнце восходит [192]; *Я потрещу, а ты бей в ладоши да пляши* = Мороз, холод [357]; *За стеной костяной, соловейко, спой!* = Язык [1555]; *Заюшка, белозаюшка, полежи на мне, хоть тебе трудно, да мне хорошо* = Земля под снегом [401]; *Ходит Хам по избам, лезет Хам ко глазам, отворю окошко: "Выйди, Хам, хоть немножко!"* = Дым [3219].

Возможны случаи использования глагольного императива для передачи не столько побудительного, сколько уступительного, условного, временного значений: *Брось в грязь — будет князь* = Овес [2081]; *Пой, корми, а погладить не дается* = Блоха [872]; *Корми меня до Ивана, сделаю из тебя пана* = Пчела [638]; *Купи, не жалей — будет ехать веселей* = Колокольчик [4401].

В болгарских загадках побудительных предложений не больше, чем в русских. Чаще всего они являются частями сложных предложений: *Дрипава циганка — разгърни ѝ дрипите, изеш ѝ сладкото* = Виноградная лоза [412]; *Сечи, коли — кръв не пуща* = Дерево [362]; *Викна*

[2] *Молошная Т.Н.* Из синтаксиса болгарских загадок // Славянское и балканское языкознание. М., 1993.

[3] *Стойкова Ст.* Указ. соч.

Вида от Орида: "Бранете ме от кокошките, не бранете ме от пчи-те!" = Червь [1338].

Следовательно, побудительный тип предложений нельзя назвать характерным для загадок, но все же представляется, что он здесь более частотен, чем в письменных текстах литературного языка. Утверждать это с определенностью трудно, так как сравнительных подсчетов не производилось.

Повествовательные отрицательные предложения

Итак, в загадках преобладают повествовательные предложения. В этом типе широко реализуется синтаксическая категория утверждения — отрицания. Отрицание, конечно, наблюдается и в вопросительном и в побудительном типах, но чаще всего — в повествовательном. Отрицательных повествовательных предложений встречается чрезвычайно много. Очевидно, это связано с тем, что негация объектов обладания, признаков, явлений, действий, служащая для противопоставления их наличию (отрицательное сравнение), является одним из основных приемов организации текста загадки. Всего в выборке из 406 загадок обнаружено 128 отрицательных предложений[4]. Особенно частотны отрицательные предложения с глагольным сказуемым, выраженным:

1) глаголом в личной форме актива:

а) отрицание при единственном глаголе в предложении или при нескольких однородных глаголах: *Золотая кубышка на воде не тонет* = Солнце и небо [158]; *Без побоев не накормит* = Хлеб [4159]; *Сам не бежит, стоять не велит* = Мороз [335];

б) отрицание при одном из однородных глаголов, противопоставленное отсутствию отрицания при другом: *По полу елозит, себя не занозит* = Веник [3623]; *Светит, а не греет* = Месяц [125]; *Горя не знаем, а горько плачем* = Туча [259];

2) глаголом в пассиве наст. вр., фактически представленным только кратким пассивным причастием (вспомогательный *быть* опущен): *Поле не меряно, овцы не считаны, пастух рогат* = Небо, звезды, месяц [70]. Здесь также очень часто отрицание противопоставляется утверждению: *Не шит, не кроен, а на ниточке сборен* = Чулок [4082];

3) глаголом в инфинитиве: *Братцева коня не поймать* = Ветер [222]; *Сестрину повину не скатать* = Дорога [2709].

Противопоставление отрицания и утверждения может осуществляться и в разных простых предложениях, входящих в состав сложного: *На крыше кисть — никому не съисть* = Снег [377]; *Тянется нитка, на клубок не смотать* = Паук и паутина [751]; *Вырос лес, белый весь, пешком в него не войти, на коне не въехать* = Морозный узор на окне [361].

Нередок инфинитивный оборот, в котором отрицание выражается с помощью предикативного слова *нельзя* (или, редко, *не можно*): *Поперечина в избе, опереться нельзя* = Лучи солнца, свет [188]; *Поднять*

[4] Анализируемые далее загадки могут быть как самостоятельными простыми предложениями, так и простыми предложениями в составе сложных.

можно, а через избу перекинуть нельзя = Пух или перо [898]; *Пресное тесто на пол льют, ни ножом, ни зубами соскоблить нельзя* = Лучи солнца, свет [176]; *Стоит орел на корыте, не можно его накормити* = Овин со снопами [2308].

Все эти отрицательные инфинитивные конструкции выражают значение невозможности совершения действия, весьма частое в тексте загадок.

Естественно, наблюдаются случаи двойного отрицания, обязательного в русском языке: *Никто моего братца не перегонит* = Ветер [235]; *На всех садится, никого не боится* = Снег [378]; *Кручу, бурчу, знать никого не хочу* = Метель [409]; *Постелю рогожку, посею горошку, положу калач, никому не взять* = Небо, звезды, месяц [62].

Очень часто отрицание *не* при глаголе сопровождается усилительно-отрицательным союзом *ни ... ни: Влезет в окно, растянется, как сукно, не прогонишь ни пестом, ни шестом. Пора придет — сам уйдет* = Луч солнца, свет [179]; *Раскинут ковер, рассыпан горох, ни ковра не поднять, ни гороху не собрать* = Звезды на небе [27]. Как видно из примеров, союз *ни ... ни* употребляется чаще всего при перечислении однородных дополнений.

Весьма частотна отрицательная конструкция обладания с предикативом *нет: Нет ног, а идет, глаз нет, а плачет* = Туча [257]; *Ума нет, а хитрее зверя* = Капкан [4746]. Подробнее о предложениях с предикативным словом *нет* будет сказано ниже.

Изредка обнаруживаются отрицательные предложения обладания с глаголом *иметь: Рук не имеет, а пыль гонит* = Ветер [220]; *Ни огня, ни жару не имею, а все пожираю* = Молния [273].

Интересны некоторые неполные отрицательные предложения, в которых отсутствуют и глагол и отрицание *не* при нем, а имеется лишь отрицательное наречие: *По сеням и там и сям, а в избу никак* = Ветер [246] > **По сеням бегает и там и сям, а в избу вбежать не может.* Явление неполноты здесь, вероятно, является результатом близости языка загадки к разговорному или, по крайней мере, к устному языку, для которого неполные предложения, в том числе и отрицательные, чрезвычайно характерны[5].

Достаточно часто наблюдаются отрицательные предложения с именным сказуемым, т.е. фактически с глаголом *быть*, в настоящем времени опущенным: *Не огонь, а жжется* = Мороз [392]; *Не человек, а пляшет* = Ветер [248]; *Летит — не птица, воет — не зверь* = Ветер [237]; *Гуляет в поле, да не конь* = Метель [406]; *Не книжка, а с листьями* = Кочан капусты [2460]. Возможно отрицание *не* и перед глаголом-связкой *бывать*, когда этот глагол входит в именное сказуемое: *Без рук, без ног и без рта помногу съедает, сыт не бывает* = Ветер

[5] *Земская Е.А.* Русская разговорная речь. М., 1968; *Лаптева О.А.* Русский разговорный синтаксис. М., 1976; *Ширяев Е.Н.* Бессоюзное сложное предложение в современном русском языке. М., 1986.

Е.Н. Ширяев утверждает, что в случаях так называемой неполноты грамматической структуры или грамматического эллипсиса в действительности чаще всего мы встречаемся с наличием имплицитного смысла, когда одна конструкция предсказывается другою.

и снег [402]. Примеры показывают, что чаще всего отрицательное именное сказуемое противопоставляется утвердительному глагольному. Это яркое проявление отрицательного сравнения, обязательно используемого в тексте загадки.

В болгарских загадках также встречается большое количество отрицательных предложений. Особенно частотны отрицательные предложения с глаголами 'иметь' и 'быть': *Син вир дъно няма* = Небо [1]; *Снага нема, а се вижда* = Тень [172]; *Няма ръце, няма крака, сама си гроб копае* = Капель 277]; *Не е сънце, не е огин, а свети и обикаля* = Месяц [134]; *Брада има, поп не е, рога има, вол не е, козяк носи на гърба си* = Козел [1045]. Много отрицательных предложений и с другими глаголами: *У огин не гори, у вода се не дави* = Лед [330]; *Не крои, не шие, а много ризи носи* = Кочан капусты [924]; *Се преде и нищо не наприда* = Кошка [1103]; *Видиш го, а не чуеш го* = Туман [356]; *Пред очите ти, а не видиш го* = Воздух [195]; *Ти ме гониш, я те гоним, па се не стигаме* = День и ночь [152]. Из примеров видно, что противопоставление отрицания и утверждения в пределах простого предложения и в сложном предложении является заметной особенностью болгарской загадки — также как русской.

Структурные типы простых предложений

А. Односоставные предложения

I. Именные (номинативные) предложения

В загадках весьма частотны односоставные по своей формально-синтаксической структуре именные (номинативные) распространенные предложения (30 — из выборки в 406). Их семантика может быть обозначена как существование, наличие предмета или предметно представленного действия, состояния, поэтому в грамматиках их обычно называют бытийными предложениями. Предложения, имеющие подобное значение и схему строения, могут быть нераспространенными, тогда они состоят из одного существительного: *Ночь; Тишина; Ссора; Победа.* Эти номинативные предложения имеют неограниченные возможности распространения: ср. *Темная ночь; Тишина ночи; Ссора с товарищем; Победа в освободительной войне* и пр. Распространитель субъекта в таких номинативных бытийных предложениях в русских и болгарских загадках может быть выражен:

1) атрибутивным прилагательным со значением наличия у субъекта соответствующего признака: *Деревянный тулуп* = Гроб [1654]; *Чугунное море, каменное поле, железные ворота* = Чугун с водой, печь, заслонка [3771]; *Ящички-плющички, синие камешки* = Глаза [1436]; *Маленький погребец, два ряда яиц* = Зубы [1505]; *Синий мундир, желтая подкладка, в середине сладко* = Слива [1813]; *Голубой платок, красный колобок по платку катается, людям усмехается* = Небо и солнце [138].

Атрибутивное прилагательное может быть употреблено в краткой форме: *Липова загибка, мясной пирожок* = Ребенок в зыбке [1334]; *Белы хоромы, красны подпоры* = Гусь [1002]; *Красненька матрешка, беленько сердечко* = Малина [1851]. Эти примеры подтверждают, что

[295]. Ср. бол. *Около църква дечиня* = Сосульки [334]; *Стреде море мраморци* = Арбуз [749]; *Под земята мръсен каиш* = Змея [1329]; *Бяло куче на черепици* = Снег [299]; *По земята черно въже* = Муравьи [1422];

7) наречием: *Огонь да вода, посередке труба* = Самовар [3903]; *Кругом вода, а с питьем беда* = Море [540]; *Сперва блеск, за блеском треск, за треском плеск* = Молния, гром, дождь [295]. Ср. бол. *Изтук брег, изтук брег, в средота бивол реве* = Бурный поток [268]; *Оздол железо, озгор дърво, усред живо месо* = Подкованный конь с вьючным седлом [988].

Из примеров видно, что перечисленные способы распространения односоставных номинативных предложений обычно выступают не каждый в отдельности, а комбинируясь друг с другом.

Как известно, значение существования, наличия выражается в русском языке также с помощью конструкции обладания, состоящей из глагола *быть* (в настоящем времени в известных семантико-синтаксических условиях он может опускаться), предлога *у* с родительным падежом имени посессора и именительного падежа имени объекта обладания, например, *У него есть брат, У него длинный нос*[6]. Некоторые исследователи рассматривают названную глагольную посессивную конструкцию как бытийные предложения личной сферы[7]. Н.Д. Арутюнова и Е.Н. Ширяев называют сочетание "*у* + род. п." личностными локализаторами, а все другие предложные сочетания — пространственными локализаторами. В русских загадках подобные бытийные предложения личной сферы встречаются достаточно часто. Они содержат высказывания различного содержания:

а) о личном составе микромира человека (о родственниках): *У одной матери пять сыновей* = Пальцы [1572]; *У матери двенадцать деток, все детки однолетки* = Клуша с цыплятами [936];

б) о физических свойствах и облике человека: *Сидит баба на брусу, у ней чирей на носу* = Кувшин [3819];

в) об объектах, которыми владеет посессор: *Есть у дедушки конек — всему свету не догнать., есть у бабушки новинка — всему свету не скатать* = Ветер и дорога [206].

При этом к личностным локализаторам часто добавляются пространственные локализаторы: *Сидит баба на брусу, у ней чирей на носу* = Кувшин [3819]; *У маленькой скотинки сто серебрянных монеток в спинке* = Рыба [547]; *У нас под лавкой медвежья лапа* = Полено [3347]; *У нас в избушке Фетиньино имя* = Светильня [3257].

В отрицательных бытийных предложениях личной сферы настоящее время глагола *быть* заменяется предикативом *нет*, а объект обладания ставится в родительном падеже: *Этой бабе сто лет, горба у ней нет* = Сосна [1725]. В загадках такие предложения могут употребляться и без личностного локализатора, но значение отсутствия обладания 'он не имеет' в них сохраняется: *Зубы есть, а рта нет* = Пила

[6] Категория посессивности в славянских и балканских языках. М.,.1989. С.172—176

[7] *Арутюнова Н.Д.* Предложение и его смысл. М., 1976; *Арутюнова Н.Д., Ширяев Е.Н.* Русское предложение. Бытийный тип. М., 1983.

для загадки, как и для других жанров фольклора, характерны краткие прилагательные.

Ср. болгарские именные предложения с распространителем-прилагательным: *Синя паница, жълти яйца* = Небо и звезды [45]; *Червени капки, зелени опашки* = Черешня [389]; *Дърпалива майка, гиздаво чедо* = Лоза и гроздь винограда [416].

2) количественным числительным, количественным наречием или количественным существительным со значением квантитативной характеристики предмета: *Один вход, три выхода* = Рубашка [4006]; *Два брюшка, четыре рожка* = Подушка [3525]; *Две печки, одно поленце* = Нос [1390]; *Четыре ходунка, два бодунка и один хлестунок* = Корова [1085]; *Две сестры: одна светлая, другая темная* = День и ночь [7974]; *Две Пелагеи и обе нагие* = Оглобли [4391]; *Четыре сестрицы под одной фатицей* = Стол [3568]; *Шесть ног без копыт, есть рога, а не бык* = Таракан [827]; *Велико поле романовское, много скотины фараоновския, один пастух патриарховский* = Небо, звезды, месяц [71]. Ср. бол. *Един овен, девет кожи* = Репчатый лук [792]; *Шест крака, две брады* = Поп доит козу [1055]; *Половина погача на куки* = Месяц [131];

3) существительным с предлогом *без*, имеющими значение отсутствия у субъекта объекта обладания: *Загадка без разгадки* = Смерть [1630]; *Летел архан, без пол кафтан, без пуговиц* = Ветер [236]; *Бочечка без обручочка, в ней пиво да вино, не смешалося оно* = Яйцо [908]; *Семьдесят одежек, все без застежек* = Лук [2489]. Ср. многочисленные болгарские загадки той же структуры: *Син вир без дъно* = Небо [2]; *Дълга Неда без сенка* = Река [245]; *Цар без глаа* = Мороз [229].

4) существительным с предлогом *с*, имеющими значение наличия у субъекта объекта обладания: *Фока с коком* = Петух [990]; *Мышь с двумя хвостиками* = Лапти [4052]; *Лысый жеребец с белыми глазами, круглый, как венец, своими очами на все он глядит* = Месяц [86]. Ср. бол. *Цорвена кожа со бело месо* = Яблоко [396]; *Една тава с орехи* = Небо и звезды [34]; *Ковачка с дванайси пилята* = Год [187];

5) существительным с предлогами *о* и *в* + вин. пад., имеющими значение количественной характеристики субъекта: *Книга-раздвига о четыре листа, а середка пуста* = Изба [2975]; *Домок в шесть досок* = Гроб [1653];

6) существительным с другими, чаще всего пространственными, предлогами, обычно предшествующими существительному, с локативным значением (пространственное положение субъекта): *Середи неба плешь* = Ток [2311]; *У кореньев деревьев ратная сила* = Муравьи [709]; *Промеж ног похлебка* = Вымя коровы [1093]; *Середи польца хохолок сенца* = Месяц [120]; *На шесте дворец, во дворце певец* = Скворец [1037]; *Вокруг поля возжечки* = Изгородь [2764]; *По всей сковороде оладьи, посередке каравай* = Небо, звезды, месяц [58]; *На улице рубашка, в избе рукава* = Луч солнца, свет [183]; *За белыми березами бездонная яма* = Рот [1472]; *В маленьком горшочке сладкая опарка* = Орех [1789]; *Посреди двора золотая голова* = Подсолнечник [2686]; *Под одним колпаком семьсот казаков* = Мак [2542]; *Сперва блеск, за блеском треск, за треском плеск* = Молния, гром, дождь

[4548]; *Нет ног, а идет, глаз нет, а плачет* = Туча [258]; *Нет ни рук, ни ног, нет ни колес, а идет* = Дождь [313]; *Ума нет, а хитрее зверя* = Капкан [4746]; *Бежит по снегу, а следу нету* = Ветер [245].

Встречаются также отрицательные бытийные предложения, содержащие предикативное слово *нет*, со значением 'отсутствует', которые следует отнести к безличным: *Зимой — нет теплей, а летом — нет холодней* = Погреб [2926]; *Взглянешь — заплачешь, а краше его на свете нет* = Небо и солнце [147]; *Все ломаю, все срываю, ничему пощады нет* = Ветер [241]; *Расходится детина — удержу нет, уляжется — не видать, не слыхать* = Ветер [226].

II. Бесподлежащные предложения

Другой тип односоставных предложений — бесподлежащные, т.е. предложения с имплицитным подлежащим, выраженным не отдельным словом, а морфологически — формой лица, числа и в некоторых случаях — рода в сказуемом. Языку загадки гораздо естественнее опустить подлежащее-существительное, чем заменить его личным местоимением, как это обычно бывает в русском языке. В болгарском литературном языке бесподлежащные предложения, особенно с глаголом в форме прошедшего времени и с именным сказуемым, встречаются гораздо чаще, чем в русском: ср. бол. *Пристигнахме вчера* и рус. *Мы приехали вчера*, бол. *Болен съм* и рус. *Я болен*. Однако для болгарских загадок этот бесподлежащный тип еще более характерен. Очевидно, подлежащее опускается в целях краткости, лаконичности изложения, обязательной и для болгарской и для русской загадки.

Различаются следующие типы бесподлежащных предложений:

1. Со сказуемым в изъявительном наклонении, при этом сказуемое может быть глагольным, именным и смешанным.

Глагольное сказуемое возможно в формах 1, 2 и 3 л. ед. и мн. ч. наст., прош. и буд. вр.:

а) Наст. вр. 3 л. ед. ч.: *Светит, а не греет* = Месяц [125]; *Ночь спит на земле, а утром убегает* = Роса [195]; *Днем молчит, ночью кричит* = Филин [1015]; *Стучит без рук, без огня горит* = Гроза [294]; *Круг носа вьется, а в руки не дается* = Ветер, муха [230]; *Часто мигает, да долго не светает* = Звезда [54]; *На всех садится, никого не боится* = Снег [378]. Ср. бол. *Рано се ражде, пладне не сажде, вечър избега, срекъ нощ лега* = День [184]; *Стои над реката, маха и се брадата* = Верба [364].

Наст. вр. 3 л. мн. ч.: В одних случаях 3 л. мн. ч. относится к существительному, являющемуся отгадкой: *Хоть и видятся, а не сойдутся* = Солнце и месяц [131]; в других случаях формы 3 л. мн. ч. наст. вр. употребляются в неопределенном значении, т.е. обозначают каких-то действующих лиц без точного их определения: *К божьему мясоеду гусей щиплют* = Снег [371]; *Кладут белое, а вынимают черное* = Печь и дрова [3342]; *Палят и варят, а не едят* = Валенок [4078]; *Несут корыто другим покрыто* = Гроб [1657].

б) Прош. вр. 3 л. ед. ч.: *Лежал, лежал, да в реку побежал* = Снег [391]; *С неба пришел, в землю ушел* = Дождь [315]; *Рукавом махнул —*

дерево погнул = Ветер [243]; *Крупно, дробно зачастило, всю землю напоило* = Дождь [312]; *Росло-сповыросло, из дудки вылезло* = Ячмень [2073]; *Не болела, а белый саван надела* = Зима [4928]; *Ела дуб, да поломала зуб* = Пила [4551]; *Разлеглася, простяглася, а как встанет, то небо достанет* = Дорога [2735].

Как видно из примеров, глагол употребляется в форме любого из трех родов вне зависимости от рода существительного, являющегося отгадкой.

Прош. вр. 3 л. мн. ч.: *Посватали Машу в деревню не нашу* = Пересадили яблоню [1821]; *Били меня, колотили меня, все чины производили и на престол с царем посадили* = Лен [2104]; *Пришли в лес без топоров, срубили дом без углов* = Улей [681].

в) Буд. вр. 3 л. ед. ч.: *Летом убежит, осенью прибежит* = Снег [390]; *Никто моего братца не перегонит* = Ветер [235]; *Без рук возьмет, выздымет, не уронит* = Журавль у колодца [2790].

Надо сказать, что во всех случаях 3 л. ед. ч. имплицитное подлежащее является отгадкой: *Светит, а не греет* = Месяц [125]. Лицо формально выражено только в наст. и буд. вр., в прош. вр. формально очевидны лишь род и число, но отгадка также указывает чаще всего на 3 лицо: *Лежал, лежал, да в реку побежал* = Снег [391]. В принципе, однако, в русском языке эти прошедшие формы могут соответствовать и 1-му и 2-му лицам. Известно, что подобная омонимия снимается с помощью эксплицитного подлежащего: *Я лежал; Ты лежал; Он лежал.* В болгарском языке совпадения форм 1-го и 3-го лиц прошедших времен не наблюдается, поэтому в загадках возможны бесподлежащные предложения с прошедшей формой глагола в разных лицах. Ср. форму 1 л. ед. ч.: *Прострех кожа биволешка, сипах грах, турих галаб да го пази* = Небо, звезды и месяц [19].

г) Наст. вр. 2 л. ед. ч.: *Слышишь его, да не видишь его* = Ветер [240]; *Чем больше ешь, тем больше остается* = Раки или орехи [606]. Ср. бол. *Видиш го, а не чуеш го* = Туман [356].

д) Буд. вр. 2 л. ед. ч.: *Что из стены не вырубишь?* = Лучи солнца [174]; *Куда ни пойдешь, все за язык дернешь* = Дверная ручка [3143]; *Черного кобеля не домоешь добела* = Чугун [3746]; *Заедешь в ухаб, не выедешь никак* = Могила [1670]; *Взглянешь — заплачешь, а краше его на свете нет* = Небо и солнце [147]; *Виден край, да не дойдешь* = Горизонт [2].

Формы 2 л. ед. ч. наст. и буд. вр. используются в обобщающем значении, т.е. в значении действия, постоянно совершающегося и отнесенного к любому субъекту.

е) Наст. вр. 1 л. ед. ч.: *По небу хожу, на землю гляжу* = Солнце [163]; *Ни огня, ни жару не имею, а все пожираю* = Молния [271]; *Мост мощу без клинья, без вязья, без березья* = Мороз, лед [348]; *Кручу, бурчу, знать никого не хочу* = Метель [409]; *Прихожу — все рады, ухожу — все рады* = Снег [394]; *С грузом иду, а без груза нейду* = Часы [361]; *Жевать не жую, а все пожираю* = Огонь [3235]; *Летать летаю, всех птиц забиваю* = Орел [1051]; Ср. бол. *Отключвам, заключвам, греда дома, арамия наодвам* = Солнце [117].

Наст. вр. 1 л. мн. ч.: *Горя не знаем, а горько плачем* = Туча [259]; *Без него плачемся, а как появится, от него прячемся* = Солнце и небо [159].

ж) Буд. вр. 1 л. ед. ч.: *Сяду на конь и поеду в огонь* = Чугун на ухвате [3748]; *Загану загадку, заброшу через грядку, лежи, моя загадка, весь годочек, весь праздничек* = Посев ржи или пшеницы [2046]; *Заплачу заплатку без иглы, без нитки* = Замазка щелей [3038].

Подсчеты показывают, что самые частотные временные формы — это формы настоящего, самые частотные личные формы — формы 3-го лица, которые встречаются в ед. и мн. числах; формы 1-го и 2-го лиц употребляются преимущественно в ед. числе.

К глагольному сказуемому относятся пассивные формы, представленные из-за того, что в настоящем времени вспомогательный глагол *быть* не употребляется, краткими пассивными причастиями: *Не грешна, а повешена* = Икона [5109]; *Писано, переписано, рук не притыкано* = Соты и мед [672]; *Не шита, не кроена, а вся в рубцах* = Капуста [2465]; *Суслено, маслено, до лесу протянуто* = Дождь [311]; *Мешено, квашено, на стол поставлено* = Хлеб [4164]; *Скручена, связана, на кол насажена, а по улице пляшет* = Метла [2386]; *Не из ниток, а соткан* = Паутина [756]. Ср. бол. *Чемчирено, бембирено, чемчир китка накичено, сред морето забучено* = Луна [135].

Заметим, что краткое причастие может выступать в любом роде независимо от рода существительного, являющегося отгадкой.

Семантика данной синтаксической структуры — наличие отнесенного к субъекту состояния как результат произведенного действия. При этом субъект мыслится неопределенным, что соответствует вопросительности содержания загадки, пока она не отгадана.

Как видно из приведенного материала, данный тип сказуемого может соединиться либо с глаголом в личной форме (*Скручена..., а... пляшет*), либо с именным сказуемым, выраженным предложно-падежным сочетанием (*Не из ниток, а соткан*). Очень часто одна часть сказуемого противопоставляется другой с помощью отрицательной частицы *не* и/или союза *а*.

Именное сказуемое в бесподлежащных предложениях может быть выражено:

а) прилагательным в полной форме, или чаще — прилагательным в краткой форме, или прилагательным в форме сравнительной степени: *Зимой белый, летом серый* = Заяц [1282]; *Велик, голенаст, грамоте горазд* = Дождь [322]; *С голову велико, с перо легко* = Пузырь [1115]; *Зимой голоден, а летом сыт* = Волк [1267]; *Выше лесу, тоньше волосу* = Ветер [227]; *Милее милого, слаще сладкого* = Сон [1598]; *Выше леса, тоньше колоса* = Дождь [317];

б) существительным в творительном падеже без предлога (почти всегда однородными существительными, противопоставленными с помощью союза *а* или бессоюзно): *Ночью калачиком, днем скалочкой* = Собака [1178]; *На улице столбом, в избе скатертью* = Дым [3217]; *На дворе горой, а в избе водой* = Снег [380];

в) одновременно прилагательным и существительным в именительном падеже (в подавляющем числе случаев с участием отрицания *не*):

Маленький, горький, луку брат = Чеснок [2535]; *Мягок, а не пух, зелен, а не трава* = Мох [1927]; *Красна, да не девка, хвостата, да не мышь* = Морковь [2573]; *Не бык, а рогат* = Ухват [346]; *Не дерево, а суковато* = Рога оленя [1285]. Ср. бол. *Дълго съм, въже не съм, зелено съм, гущер не съм, некте имам, котка не съм* = Ежевика [612];

г) существительным в одном из косвенных падежей с пространственным предлогом: *Ни до неба, ни до земли* = Падающая звезда [55]; *Не из ниток, а соткан* = Паутина [756]; *Не король, а в короне* = Петух [978].

В болгарских загадках из-за отсутствия падежей у существительного подобная конструкция, естественно, состоит из предлога и существительного в общем падеже: *Пред очите ти, а не видиш го* = Воздух [195];

д) существительным в родительном падеже с предлогом *без*: *Без головы, а с рогами* = Месяц [122];

е) существительным в творительном падеже с предлогом *с*: *Без головы, а с рогами* = Месяц [122]; *Не книжка, а с листьями* = Кочан капусты [2460].

Два последних предложно-падежных сочетания весьма редки в сказуемом бесподлежащных предложений. Ср. выше об именных предложениях, где эти сочетания гораздо более частотны.

Смешанное сказуемое в бесподлежащных предложениях состоит из глагольной формы и именной части, выраженной существительным или прилагательным: *Шумит, гудит целый век, а не человек* = Ветер [221]; *Не огонь, а жжется* = Мороз [332]; *Не колода и не пень, а лежит целый день* = Лодырь [5239]; *Не зверь, не птица, а в избу просится* = Ветер [213]; *Без рук, без ног, а рубашку просит* = Подушка [3524]; *Без рук, без ног, а рисовать умеет* = Мороз [336]; *Не живые, а пищат* = Ворота [2912]; *Зубасты, а не кусаются* = Грабли [2147]; *Глух и нем, а счет ведет* = Верстовой столб [2760]. Ср. бол. *Луспи има, а риба не йе* = Кора сосны [367]; *На мост приличам, мост не съм, на студ дебелея, на топло тънея* = Лед [328]; *Трева не е, лист има, опашка има, коза не е, сол ближе* = Репа [943]; *Модро е, нима дано, нима край* = Небо [6]; *Не е болна, а пъшка* = Свинья [1063].

Как видно из примеров, в смешанном сказуемом также очень часто осуществляется союзное или бессоюзное противопоставление отрицания и утверждения, так характерное для синтаксиса загадки.

2. Бесподлежащными являются также предложения с глагольным сказуемым в форме императива; в случае наличия обращения последнее служит семантическим, а не синтаксическим подлежащим, так как вокатив не вступает в структурные связи с другими словами предложения. Примеры подобных загадок приводились в разделе о побудительном типе предложений.

3. К односоставным бесподлежащным относятся также безличные предложения. Для русских загадок очень характерны безличные инфинитивные предложения со значением невозможности осуществления действия типа *Матушкину скатерть не собрать, батюшкина коня не поймать* = Небо, месяц [76]. Примеры уже были

приведены в разделе об отрицательных предложениях. Там же упомянуты отрицательные безличные инфинитивные предложения с предикативным словом *нельзя* (или *не можно*) и многочисленные безличные отрицательные предложения с предикативом *нет*.

В болгарских загадках безличные предложения представлены почти исключительно синтаксическим типом с глаголом *имам* в утвердительной или отрицательной форме: *Връз кирамидите има еден блюд со свещчи* = Небо со звездами [51]; *Нощя го има млого, деня го нема никак* = Звезды [146].

Б. Двусоставные предложения

Естественно, в загадках также широко распространены простые двусоставные предложения с эксплицитными подлежащим и сказуемым. Подлежащее в них в подавляющем числе случаев выражается нарицательным существительным: *Под полом едет барин с колоколом* = Сверчок [704]; *По синему небу белые гуси плывут* = Туча [253]; *Поверх деревьев свечи теплятся* = Звезды на небе [22]; *Рой гору повалил* = Свинья с поросятами [1136]; *Синенька шубенка весь мир покрыла* = Небо [8]; бол. *Бяло куче на къща лежи* = Снег [296]; *По любада свещчи горят* = Звездное небо [61]; *Син-зелен лист цялата земя похлупил* = Небо [3]; *Една божа кравица всичкия свят напълнила* = Солнце [83]. В качестве подлежащего иногда возможно и имя собственное: *Леонид лежит, а потом в реку побежит* = Снег [391]; *Марья-Мария по воду ходила, ключи обронила* = Молния [274]. Ср. бол. *Длъга Яна през поле бяга* = Река [252]; *Наша Мара плат тъкала, на небето го простряла* = Радуга [285]. В этой синтаксической функции иногда используется личное местоимение, чаще всего 1 л. ед. ч.: *Я по земле не хожу, вверх не гляжу, гнезда не завожу, а детей вывожу* = Рыба [552]; *В каждом доме я стою и дом отепляю* = Печь [3314]. Но, как уже говорилось, загадке естественнее — при ее установке на лаконизм — личное местоимение опускать, так как лицо, число и род субъекта может выражаться в глагольной форме.

В болгарских загадках личных местоимений почти не наблюдается, ибо болгарский язык избегает употреблять личное местоимение в именительном падеже, если нет необходимости его особо выделить. Случаи выделения типа *Оно те бие, а ти го не видиш* = Ветер [212] единичны.

Нередко в качестве подлежащего в русских загадках выступает отрицательное местоимение *никто*: *Никто моего братца не перегонит* = Ветер [235]; *Рассыпался горох по сту дорог, никто его не соберет: ни царь, ни царица, ни красна девица, ни бела рыбица* = Звезды на небе [30]; *Никто не пугает, а вся дрожит* = Осина [1768].

В вопросительных предложениях подлежащим служит вопросительное местоимение *кто/что*: *Кто двенадцать раз в году родится и двенадцать раз умирает?* = Месяц [114]; *Что без огня горит?* = Туча грозовая [261]. Ср. бол. *Кой прави мостове, без да кове?* = Лед [327]; *Что е най-спорно в къщи?* = Перец [3454].

Иногда подлежащим может быть прилагательное:

а) прилагательное в полной форме: *Неживой живого связал* = Сера муравья [707]; *Лысый, белый в окошко глядит* = Месяц [91]; *Маленький, горбатенький два воза везет* = Ведра на коромысле [3836]; *Голенастый с голенастым на кулачки бьются* = Дождь с землей [305]; *Летит лохматенький, летит за сладеньким* = Пчелы [645]; *Ни свет ни заря пошел горбатый со двора* = Серп, жнут серпом [2110]; *Пустое стоит, полное ходит* = Обувь [4060];

б) прилагательным в краткой форме: *Маленько, зелененько все поле укрыло* = Весенний луг [1940]; *Серовато, зубовато по полю рыщет* = Серп [2119].

Сказуемое в двусоставных предложениях может быть глагольным и именным.

Именное сказуемое чаще всего выражается:

1. Прилагательным в полной или краткой форме: *Девка красивая, барин кучерявый* = Огонь [3238]; *Конь стальной, хвост льняной* = Иголка с ниткой [4681]; *Цветочки ангельские, а коготки дьявольские* = Шиповник [1834]; *Лапка мягонька, а коготок востер* = Кошка [1196]; *Дуб ясен, в середке красен* = Арбуз [2403]; *Нос долог, голос звонок* = Комар [802]; *Шуба нова, на подоле дыра* = Прорубь [531]; бол. *Имам си едно дръво, листата му от една страна са бели, от другата — черни* = Дни и ночи [155]; *Оздолу иде агата, червена му брадата* = Солнце [93]; *Сите деца с шапки, татко им гологлав* = Жолудь [372].

В последних двух примерах глагол-связка опущен, что для болгарского языка вообще не характерно, но нередко наблюдается в загадках из-за стремления к компрессии текста. В русском же языке, как известно, глагол-связка в настоящем времени почти всегда опускается. В довольно редких случаях прошедшего (или будущего) времени связка употребляется: *Когда я молод был, светло светил, под старость стал меркнуть стал* = Месяц [110].

Особую группу именных сказуемых образуют словосочетания, состоящие из прилагательного *полный* (в подавляющем большинстве случаев в краткой форме) с управляемым им существительным в родительном падеже. Зависимое существительное в родительном падеже означает "содержащий в себе что-нибудь до своих пределов". В таких словосочетаниях употребляются исключительно конкретно-предметные существительные: *Полон погребец белых овец* = Зубы [1474]; *Полон хлевец кургузых овец* = Улей [682]; *Полон дом голубей, нет ни окон, ни дверей* = Огурец [2424]; *Полна изба людей, да нет ни окна, ни дверей* = Арбуз [2402].

В болгарских загадках также частотно именное сказуемое с прилагательным *пълен*, но зависимое существительное присоединяется к нему с помощью предлога *с*: *Пълна паница с пшеница* = Небо и звезды [28]; *Пълна кошара с овце, а помежду им само един козел* = Звезды с месяцем [142].

В русских загадках в тех случаях, когда именная часть сказуемого содержит рассматриваемое прилагательное 'полный', почти всегда наблюдается инверсия: *Полон погребец белых овец*, а не *Погребец полон*

белых овец. Иногда, однако, возможен и прямой порядок слов: *Золотое решето крупным бисером полно* = Подсолнечник [2691]. Этот пример характеризуется также творительным, а не родительным падежом зависимого существительного, что наблюдается в современном литературном языке достаточно редко.

Относительно возможности выбора между полной и краткой формой прилагательного в сказуемом следует сказать, что современный русский обнаруживает тенденцию к ограничению употребления кратких форм при все более расширяющемся употреблении предложений с полными формами. Сравнительно широкой сферой бытования кратких форм в сказуемом продолжает оставаться только поэтическая речь и все фольклорные жанры, в том числе загадка.

В именной части сказуемого прилагательное может выступать и в форме сравнительной степени: *Сестра сильнее брата* = Вода и огонь [441]; *Кто на свете всех жестчѐ?* = Мороз, лед [355]; *Что краше света белого?* = Солнце и месяц [137]; *Что выше леса, краше света, без огня горит?* = Солнце [179].

2. Именное сказуемое может быть представлено существительным в именительном падеже: *Камень — пламень* = Месяц [117]; *Кирило — замазано рыло* = Ночник [3300]; *Молодочка — оберчена головочка* = Подойник [3779]; *Маленький мужичок — костяная шубка* = Орех [1795]; *У матери двенадцать деток, все детки однолетки* = Клуша с цыплятами [936]; бол. *Дървен му баща, шума му мати* = Гроздь винограда [424].

3. Именное сказуемое выражается существительным в творительном падеже (это наблюдается реже, чем в случае бесподлежащных предложений): *Ноги тонки, бока звонки, а хвост закорючкой* = Собака [1166]; *Матушкой весной я в платье белом, мачехой зимой — в саване одном* = Черемуха [1800].

4. Именным сказуемым очень часто служит существительное в одном из косвенных падежей с пространственными предлогами; эта предложно-падежная группа непременно следует за подлежащим: *Шуба в избе, рукав на улице* = Печь и труба [3385]; *Девка в каморе, а коса на дворе* = Морковь [2568]; *Бык на дворе — рога во стене* = Месяц [79]; *Глаза на рогах, домок на спине* = Улитка [618]; *Середка— на дворе, голова — на столе, ноги — на поле* = Солома, зерно, жнитво [2272]; бол. *Главата му в балканът, пък краката му в морето* = Река [256]; *Шаро седи на кошара, опашката му в кошара* = Солнце [124].

Это самый распространенный вид именного сказуемого в двусоставных предложениях.

5. Что касается сочетаний существительного с предлогом *с* и творительным падежом, выражающих значение наличия у посессора предмета или свойства (бол. *Сите деца с шапки, татко им гологлав* = Жолудь [372]), и существительного с предлогом *без* и родительным падежом, выражающих значение отсутствия у посессора предмета или свойства, то надо сказать, что в двусоставных предложениях они довольно редко выступают в качестве именной части сказуемого. В односоставных же именных предложениях, как уже упоминалось, подобные словосочетания весьма частотны.

6. Именное сказуемое иногда состоит из предлога *с* и винительного падежа существительного, выражая значение уподобления по размеру или виду: *Сам с коготок, а борода с локоток* = Веник [3663].

7. Именной частью сказуемого может служить наречие: *Сестрица сидит в темнице, коса наверху* = Морковь [2565]; *Мальчик в луже — хвостик наруже* = Орех [1796]; бол. *Колко да заключваш, харамията пак внетре* = Солнце в доме [113].

Глагольное сказуемое в двусоставном предложении чаще всего выражается личными формами настоящего времени. Поскольку самым частотным подлежащим является существительное, преобладают сказуемые в 3 лице обоих чисел: *По лесу жаркое в шубе бежит* = Заяц [1275]; *Один зверек весь свет одевает* = Игла [4670]; *Сивый жеребец на все царство ржет* = Гром [289]; *Два братца под одной шляпой стоят* = Ворота [2913]; *Сивые бараны под небом плавают* = Туча [252]; бол. *Сам господ с кавал в гори свири* = Ветер [203]; *Длъга Яна през поле бяга* = Река [252]; *Седем братя лете растат, зиме малки стават* = Дни [185].

Но возможна также, довольно редко — при подлежащем-местоимении, форма 1 л. ед. ч.: *В каждом доме я стою и дом отепляю* = Печь [3314]; *Живу я от ветра, сама не ем, а тебе еду готовлю* = Мельница [2842]; *Ни жара, ни тепла, ни огня я не имею, а много пожигаю* = Зажигательное стекло [3196].

При подлежащем-местоимении 2 л. ед. ч. употребляется соответствующая форма глагола: бол. *Ти ме гониш, я те гоним, па се не стигаме* = День и ночь [152]. Но формы 1 и 2 лиц ед. ч. в двусоставных предложениях встречаются гораздо реже, чем в односоставных бесподлежащных. Как уже говорилось, это объясняется стремлением языка загадки к лаконизму, компрессии — подлежащее-местоимение опускается, так как его значение, т.е. значение лица и числа, может быть выражено в форме глагола. Таким образом из двусоставных возникают односоставные бесподлежащные предложения: *Взглянешь — заплачешь, а краше его на свете нет* = Солнце [147] < **Ты взглянешь — ты заплачешь.*

Форм 1 и 2 л. мн. ч. в сказуемом двусоставных предложений не встретилось совсем, поскольку не употребляются местоимения 1 и 2 л. мн. ч. в качестве подлежащего.

Преимущественное использование в загадках (как в односоставных, так и в двусоставных предложениях) форм настоящего времени вполне оправдано. Дело в том, что настоящее время может выражать действие, совершающееся постоянно, в любой момент, а не обязательно только в момент речи. Загадка обычно и говорит об этом постоянно совершающемся, так сказать, вневременном действии.

Конечно, вполне часто в текстах загадок встречаются и формы прош. времени, причем преобладающе — от глаголов совершенного вида: *Конь Соврас по колени увяз* = Столб [2911]; *Рассыпался горох на двенадцать дорог* = Град [300]; *Красное коромысло через реку повисло* = Радуга [330]; *Плотники без топоров срубили горенку без углов* = Горшок [3684]; *Сто братьев за пятьсот сестер спрятались* = Бревна дома, обшитого тесом [2998].

Как известно, в русском языке прош.вр. сов. в. может употребляться параллельно настоящему времени. Оно имеет в этих случаях значение отнесенного к настоящему времени состояния, являющегося результатом законченного действия в прошлом. Эта смещенность значения прошедшего совершенного в область настоящего делает возможным употребление его в текстах загадок наряду с настоящим временем.

В болгарских загадках нередко встречаются аналитические формы перфекта (также чаще всего — сов. в.), в них вспомогательный глагол *съм* почти всегда опущен и вся форма представлена одним причастием: *Бяло покривало цялото поле застлало* = Снег [293]; *Наша Мара плат тъкала, на небето го простряла* = Радуга [285]. Интересно, что в болгарском литературном языке подобное опущение вспомогательного глагола в перфекте возможно лишь в немногих особых случаях[8]. Болгарский перфект обозначает состояние в настоящем, явившееся в результате прошедшего действия, либо констатирует прошедшее действие как факт, в том или ином отношении актуальный для настоящего. Эти значения вполне соответствуют значению русского прош. вр. сов. в., что и объясняет использование перфекта в текстах болгарских загадок.

Достаточно часто в болгарских загадках употребляются также формы аориста и имперфекта: *Заклах вол на тоя рид, кръвта му цъкна на оня* = Восход солнца [95]; *На двор излегох, коа си влегох, арамия у куки найдох* = Солнце в доме [119]. Значения аориста и имперфекта (последний может выражать, в частности, постоянно-непрерывное действие, имевшее место в прошлом) также в общем не противоречат значению русского прошедшего совершенного.

Будущее в двусоставных предложениях обнаруживается довольно редко, во всяком случае — реже, чем в односоставных: *Сестра покромку не скатает, а брат коня не поймает* = Ветер и дорога [207]; *Раскину я рогожку, насыплю горошку, поставлю квасу кадушку, положу хлеба краюшку* = Небо, звезды, месяц, дождь [56]; *Я заворы раскладу, а вам не скласть* = Лучина [3281]. Почти всегда употребляется форма будущего сов. в., причем чаще всего — 1 л. ед. ч. с подлежащим-местоимением *я*. Возможна также форма буд. вр. 3 л. ед. ч. с подлежащим-местоимением *никто/ничто, кто* и *тот*: *Вертится вертушечка, золотая коклюшечка, никто ее не достанет: ни царь, ни царица, ни красна девица* = Небо и солнце [142]; *Кто его убьет, тот свою кровь прольет* = Оконное стекло [3113]. Такое употребление характерно исключительно для простых предложений, которые входят в состав сложных.

Глагольным сказуемым является также личная форма в пассиве. В случае настоящего времени, что чаще всего и наблюдается в текстах загадок, она представлена одним пассивным причастием: *Из угла в угол протянуто решето* = Паук и паутина [757]; *Без рук, без топоренка построена избенка* = Гнездо [889]; *Беленький тулупчик сшит без рубчик* = Яйцо [902]; *Маленький Фанасик лычком подпоясан* = Сноп [2226]; *По синему пологу золотое просо рассыпано* = Звезды на

[8] *Маслов Ю.С.* Грамматика болгарского языка. М., 1981. С. 255.

небе [12]; *Весь мир подпоясан, один староста распоя- сан* = Овин со снопами [2289]; *Головы колоты, брюха распороты* = Молотят снопы [2324]; *Белый Тихон с неба спихан, где пробегает, ковром устилает* = Снег [375]; бол. *Подметен ток, насян боб, ценен старец да го варди* = Небо, звезды, месяц [12]; *Половин резник у море хвърлен* = Месяц [132]; *През дено стъклото разбито, вечеро стъклото направено* = Лед [333]; *Китка накичена, през море зафичена* = Солнце [84].

Это очень распространенный тип сказуемого в двусоставных предложениях.

Однородные сказуемые

Из изложенного ясно видно, что и в бесподлежащных и в двусоставных предложениях чрезвычайно частотны однородные сказуемые. Они могут быть выражены бессоюзным или союзным соединением личных форм глагола, именных частей сказуемых или личных форм с именными частями.

Однородные личные формы глагола: *Живет без тела, говорит без языка* = Ветер [228]; *Летать летаю, птиц всех забиваю* = Орел [1051]; *Летом убежит, осенью прибежит* = Снег [390]; *Днем молчит, ночью кричит* = Филин [1015]; *С неба пришел, в землю ушел* = Дождь [315]; *Ночь спит на земле, а утром убегает* = Роса [195]; *И на огне не горит, и на воде не тонет* = Месяц [112]; *Ела дуб да поломала зуб* = Пила [4551]; *Конь гогочет, овса хочет* = Жернов [2890]; *Раскину я рогожку, насыплю горошку, поставлю квасу кадушку, положу хлеба краюшку* = Небо, звезды, месяц, дождь [56]; *В каждом доме я стою и дом отепляю* = Печь [3314]; бол. *Сиво улази, мокро излази* = Бадья [3261]; *Затворих, заключих, дома найдох харамия* = Солнце [111]; *У огин не гори, у вода се не дави* = Лед [330]; *Оди та пише, къщата си на рамо носи* = Улитка [1354]; *От небето пада, на земята спи, в рецето са топи* = Снег [315]; *Два старца се бият, бели пени пушчаат* = Волны на озере или море [270]; *Седем братя лете растат, зиме малки стават* = Дни [185]; *Овчар по сини ливади оди и безброй овци води* = Месяц и звезды [140].

Весьма часто встречаются также однородные личные формы в пассиве: *Суслено, маслено, до лесу протянуто* = Дождь [311]; *Скручена, связана, на кол насажена, а по улице пляшет* = Метла [2386]; *Сито вито, решетом покрыто* = Крыша [3081]; бол. *Чемчирено, бембирено, чемчир китка накичено, сред морето забучено* = Луна [135]; *Китка накичена, през море зафичена* = Солнце [84].

С глагольным сказуемым может соединяться именное, образуя смешанный сочиненный ряд: *Сердита матка, да покрыла деток до красного дня пуховым одеяльцем* = Земля под снегом [398]; *Я как песчинка мал, а землю покрываю, я из воды, а с воздуха летаю, как пух лежу я на полях, как алмаз блещу при солнечных лучах* = Снег [397]; *Что выше леса, краше снега, без огня горит?* = Солнце [172].

Об однородных частях именного сказуемого, выраженных существительным и прилагательным типа *Ночью калачиком, зимой скалочкой* = Собака [1178]; *Ни до неба, ни до земли* = Падающая звезда [55]; *Маленький, горький, луку брат* = Чеснок [2535]; *Без головы, а с*

рогами = Месяц [122] и под., говорилось в разделе об именном сказуемом в бесподлежащных предложениях.

Уже отмечалось, что в загадках очень часто противопоставляются отрицательные и неотрицательные формы сказуемых. Подобное противопоставление осуществляется с помощью союзов *а* и *да* или бессоюзно. Это относится и к глагольным и к именным сказуемым во всех структурных типах предложений. Примеры антонимических противопоставлений однородных глагольных форм: *По полу елозит, себя не занозит* = Веник [3623]; *Светит, а не греет* = Месяц [125]; *Рук не имеет, а пыль гонит* = Ветер [220]; *Горя не знаем, а горько плачем* = Туча [259]; *Жевать не жую*, а все пожираю = Огонь [3235]; *Видятся, да не сойдутся* = Пол и потолок [3017]; *Собаки лают, достать не могут* = Месяц [99]; *Две сестрицы в ряд бегут, вместе не сойдутся* = Колеи [2754]; *Двенадцать богатырей одну копейку тянули и не оттянули* = Месяц [116]; *Два брата живут рядом, а сойтись не могут* = Глаза [1431]; бол. *Коса има, глава няма* = Кукуруза [655); *Няма ръце, няма крака, сама си гроб копае* = Капель [277]; *Се преде и нищо не наприда* = Кошка [1103]; *Не крои, не шие, а много ризи носи* = Кочан капусты [924]; *По горуту оди, булюк води, два сръпа носи, а тревуту не жне, а еде* = Козел [1062]; *Един чаршаф цалио свет покрива, стара Срума не мож да покрие* = Снег [309]; *Един баща не всеки син шапка купил, на себе си не купил* = Дуб [369]; *Бяла кака в ясли лежи, пък не стои* = Вода [261]; *В едно буре вино и ракия седят и па се не разбъркват* = Яйцо [1223]; *С бяло чело крава градината ни изяда, а пак я не изсушава* = Снег [295].

Могут противопоставляться утвердительные и отрицательные формы пассива: *Писано, переписано, рук не притыкано* = Соты и мед [672]; *Не шит, не кроен, а на ниточке сборен* = Чулок [4082].

Очень часто противопоставляются в качестве однородных сказуемых краткое пассивное причастие и краткое прилагательное или предложно-именная группа: *Не грешна, а повешена* = Икона [5109]; *Не шита, не кроена, а вся в рубцах* = Капуста [2465]; *Не из ниток, а соткан* = Паутина [756].

Противопоставляться друг другу по категории утверждение — отрицание могут глагольное и именное сказуемое: *Шумит, гудит целый век, а не человек* = Ветер [221]; *Не огонь, а жжется* = Мороз [332); *Без рук, без ног, а рубашку просит* = Подушка [3524]; *Не живые, а пищат* = Ворота [2942]; бол. *Не е сънце, не е огин, а свети и обикаля* = Месяц [134]; *Брада има, поп не е, рога има, вол не е, козяк носи на гърба си* = Козел [1045]. Подробнее об этом см. выше.

Возможно подобное противопоставление также внутри разных типов именного сказуемого: *Не бык, а рогат* = Ухват [3461]; *Не книжка, а с листьями* = Кочан капусты [2460]; бол. *Дълго съм, вже не съм, зелено съм, гущер не съм, некте имам, котка не съм* = Ежевика [612]. См. об этом также выше.

Противопоставление утверждения и отрицания действий, свойств, объектов частотно и в сложных предложениях: *Не горе, а плачешь* = Лук [2530]; *Печь не топится, дрова не курятся, а тепло* = Солнце [151]; *Виден край, да не дойдешь* = Горизонт [2].

Из приведенных примеров видно, что в загадках весьма распространены однородные сказуемые с повторяющимся отрицанием *не*: *В огне не горит, в воде не тонет* = Снег [381]. Чаще всего, однако, однородные отрицательные формы употребляются вместе с противопоставленной им утвердительной формой: *Не стучит, не звенит, а под лавку бежит* = Мороз [352]; *Не хилела, не болела, а саван надела* = Земля под снегом [400]; *Я по земле не хожу, вверх не гляжу, гнезда не завожу, а детей вывожу* = Рыба [552]; *Не зверь, не птица, а в избу стучится* = Ветер [213]; *Не колода и не пень, а лежит целый день* = Лодырь [5239]; *Летит — не птица, воет — не зверь* = Ветер [237].

Итак, отрицание действий, свойств, объектов, противопоставленное их утверждению, чрезвычайно характерно для загадки. Это своеобразное синтаксическое клише, являющееся совершенно обязательной чертой ее текста.

Как видно из рассмотренного материала, при соединении однородных сказуемых используются сочинительные союзы, которые делятся на: а) соединительные, имеющие значение перечисления (*и, и ... и, ни, ни ... ни, да*); б) противительные, имеющие значение противопоставления (*а, но*); в) разделительные (*или, или ... или*). Для загадок наиболее характерны союзы противительные. Противительное значение противопоставления является настолько преобладающим, что нередко его передают и соединительные союзы: *Двенадцать богатырей одну копейку тянули и не оттянули* = Месяц [116]; бол. *Двама братя се гонят и дене и ноще и не моят да са стигнат* = Солнце и месяц [136] и многие другие. Противительное значение ощущается весьма часто также при бессоюзном соединении однородных сказуемых: *По полу елозит, себя не занозит* = Веник [3623]; *Собаки лают, достать не могут* = Месяц [99]; *Два быка бодутся, в одно место не сойдутся* = Пол и потолок [3020]; бол. *Суво улази, мокро излази* = Бадья [3261]; *Един баща на всеки син шапка купил, на себе си не купил* = Дуб [369].

Надо добавить, что большая частотность бессоюзных однородных сказуемых объясняется упоминавшимся стремлением языка загадки к сжатости, лаконичности. Противопоставление глагольных действий видно и без союза, поэтому так широко используется бессоюзное соединение.

Разновидностью глагольного сказуемого (и в двусоставных и в односоставных бесподлежащных предложениях) является очень характерное для загадки повторение одного и того же глагола. Таким повторением достигается усиление, подчеркивание значения глагола и нередко одновременно создается ритмический рисунок фразы: *Лезу я, лезу по белому железу, вылезу, вылезу на крутую гору, сяду я, сяду в золотую чашу* = Садиться на лошадь [4376]; *Выметy я, выметy чистое поле, загоню я, загоню белого скота* = Хлебы в печи [4216]; *Блестит, блестит, все кругом гудит* = Молния и гром [271]; *Гудил, гудил гудок, да и спрятался в уголок* = Веник [3643]; *Бежать, бежать — не добежать, лететь, лететь — не долететь* = Горизонт [1]; бол. *Мета, мета, не се измита, нося, нося, не се изнася* = Свет [182];

Метеш го, метеш, не можеш да го изметеш; носиш го, носиш, не можеш да го изнесеш; кога му дойде време, само се маха = Свет [183].

Надо сказать, что повторение слов — вообще очень типичный прием синтаксического соединения слов в загадке. Повторяются не только глаголы, но и существительные, и прилагательные, и наречия. Повторы этих слов также производятся с целью эмфатического подчеркивания их значений. Яркие примеры можно привести из болгарских загадок: *Чудна ми чудна девойка на чуден камък седеше, чудна ми песен пееше* = Пчела [1406]; *Равна, равна поляна, по поляна свещици* = Небо и звезды [60]; *Изтук брег, изтук брег, в средота бивол реве* = Бурный поток [268]. Ср. рус. *Долга, долга Олена одной шубой покрылась* = Лед на реке [522]; *Над двором, двором стоит чаша с молоком* = Месяц [97]; *На воротах, воротах лежит чурка золота* = Месяц [119].

Одной из особенностей синтаксиса простого предложения в русских загадках является большое количество деепричастных оборотов: *Ходит спесь, надуваючись* = Индюк [1011]; *Стоит Федосья, распустив волосья* = Береза [1732]; *Шла свинья по овину, размыкавши сено по рылу* = Вилы [2150]; *Стоит мальчик, скривя пальчик* = Крюк [3154]; *Стоит Ферт подбоченившись* = Самовар [3885]; *Сидит на ложке, свесивши ножки* = Лапша [4313]. Очевидно, деепричастный оборот используется часто с целью достижения компактности текста — при одном субъекте называются два действия, к тому же без союза.

Уже упоминалось, что для русских загадок, как и для всех других жанров фольклора, чрезвычайно типично использование кратких форм прилагательных в разных синтаксических функциях, в том числе в атрибутивной: *Бела вата плывет куда-то* = Пена [535]; *Худенька шубенка все поле покрыла* = Снег [365]; *Вишнева сорочка на грядке висит* = Звезды на небе [19]; *Из-под липова куста бьет метелица густа* = Муку сеют [4166]; *Гляжу в окошко: ходит черна кошка* = Ночь [4988]; *Черна, мала крошка, соберут немножко, в воде поварят, ребята съедят* = Крупа, каша [4311].

Атрибутивно могут употребляться также и краткие прилагательные, которые произошли от причастий и сохраняют семантическую связь с глаголом: *Нехожена дорожка посыпана горошком* = Звезды на небе [25].

О кратких прилагательных, выступающих в качестве подлежащего и в составе именного сказуемого, было сказано выше.

* * *

Подводя итог обзору синтаксических особенностей простого предложения в русских и болгарских загадках, можно сказать следующее:

1. Синтаксис русских и болгарских загадок почти идентичен — с учетом различий в грамматическом строе этих языков (в болгарском существительное и прилагательное не имеют падежных форм, система глагольных времен отличается от русской и пр.). Но эти различия в данном случае не релевантны. Практически и русские и болгарские загадки строятся по одной синтаксической схеме.

2. Вопросительные предложения встречаются реже, чем можно было бы ожидать. Загадывание осуществляется в основном с помощью предложений с синтаксической точки зрения невопросительных, несмотря на то, что образная часть загадки всегда остается по содержанию вопросом.

3. Побудительных предложений также меньше, чем могло бы быть, если учитывать, что текст загадки по своей исходной сути является диалогическим и предполагает непосредственное обращение к собеседнику.

4. Отрицательные предложения очень частотны. Чрезвычайно распространено антонимическое противопоставление — отрицание, противопоставленное утверждению действий, объектов, свойств. Это своеобразное синтаксическое клише, являющееся совершенно обязательной чертой организации текста загадки.

5. Не вызывает сомнения самая общая особенность синтаксиса загадки — чрезвычайная краткость, скомпрессованность ее текста. Данной особенностью объясняются многие синтаксические характеристики простого предложения. Это, в первую очередь, частое использование односоставных, т.е. укороченных (глагольных бесподлежащных и номинативных) предложений. К таким же характеристикам можно отнести распространенность бессоюзного соединения однородных членов предложения, частотность пассивных причастий без вспомогательного глагола в качестве сказуемого и деепричастных оборотов в русских загадках.

6. Стремлению к лаконичности изложения, казалось бы, противоречат характерные для загадок повторы. Но они, как уже говорилось, необходимы для эмфатического подчеркивания отдельных слов в тексте и для его ритмической организации. Кроме того, повторы никогда не бывают распространенными и обычно не намного удлиняют предложение.

7. Бесспорной грамматической особенностью загадки является также преобладание настоящего времени в сказуемом. Как уже упоминалось, это связано с тем, что загадка сообщает о постоянном, фактически вневременном действии, а формы настоящего времени обладают способностью обозначать подобное действие, совершающееся в любой момент времени. Нередко встречающиеся в загадках формы прошедшего времени совершенного вида возможны благодаря тому, что они обозначают состояние в настоящем, явившееся в результате прошедшего действия, т.е. фактически относят событие в область настоящего.

8. Преимущественное употребление форм 3-го лица в сказуемом также объясняется общей особенностью синтаксической структуры загадки — в двусоставных предложениях подлежащим почти всегда служит существительное, требующее согласования с 3-м лицом; в бесподлежащных предложениях сказуемое чаще всего согласуется с отгадкой, т.е. с существительным (с 3-м лицом).

9. В русских загадках непременно встречается краткое прилагательное, как в составе именного сказуемого, так и в атрибутивной функции.

Т. Н. Свешникова

Румынские загадки о волке

В румынских загадках о волке отражены многие из тех представлений, которые лежат в основе чрезвычайно интересной и богатой "волчьей мифологии". Совершенно особое, основанное на страхе отношение к волку, черты волчьего характера, до мельчайших подробностей известные человеку, живущему в степи и покрытых густым лесом горах, все это вобрала в себя загадка.

Настоящие заметки содержат анализ довольно полного набора загадок о волке, извлеченных из многочисленных сборников загадок и книг, содержащих наряду с другими фольклорными жанрами, тексты загадок. Как кажется, исследование всех типов загадок, посвященных какому-то одному предмету, явлению или живому существу, не может не представлять интерес. Мы следуем в этом отношении уже существующей традиции (ср., например, работы Т.В. Цивьян[1] и З.М. Волоцкой[2], посвященные описанию дома в балканской и небесным светилам в славянской загадке).

Загадки о волке

Волк представлен в образной части загадки, лексемами-заместителями, обозначающими человеческие существа и реже — зверей.

Из человеческих существ чаще всего встречается дед (*moş*), сидящий на холме в винограднике и кроящий себе шапочку: *şade moşu 'n deal la vie / şi-şi croieşte tichie* (Neagu №171; Păsculescu p. 88); ср. также: *şeade popa 'n deal la vie / şi-şi croieşte materie* (Păsculescu 88) досл. 'Сидит поп на холме в винограднике / И кроит себе материю'; дед больной рожей, ср. *Într'o vale adîncă / Zace un moş de brîncă* (Neagu №170; Tocilescu 378) 'В глубокой долине / Лежит дед, больной рожей'; священник, страдающий той же болезнью: *Într'o vale adîncă, / se vaită popa de brîncă* (Neagu № 169) 'В глубокой долине / Мучается священник от рожи'; ср. вариант этой загадки: *Într'o vale adâncă / Urlă popa de brâncă* (Păsculescu 88) 'В глубокой долине / Воет поп от рожи; дед в погоне за орешками, кисточками (овцами): *Alunele, ciucurele / să dea moşul după ele* (Blaga № 57) 'Орешки, кисточки / Гонится дед за ними'.

Из животных упоминается *ciută* 'зверь', собака и поросята (в загадке о волчице и волчатах) и овца: Ciută mare *şade 'n cale / şi aşteaptă carne moale* (Neagu № 168; Cinel № 2163; Păsculescu 88) 'Зверь большой сидит на дороге / И ждет мягкого мяса'; ср. вариант этой загадки: *Ciută mare şeade 'n cale / şi ciupeşte carne moale* (Păsculescu 88) досл. 'Большой зверь сидит на дороге / И отщипывает мягкое мясо'; *Am o*

[1] *Цивьян Т.В.* Дом в фольклорной модели мира (на материале балканских загадок) // Семиотика культуры. Труды по знаковым системам.X. Тарту, 1978.

[2] *Волоцкая З.М.* Элементы космоса в фольклорной модели мира (на материале славянских загадок) // Исследования по структуре текста. М., 1987.

căţea plătănăgea / Cu doisprezece purcei plătănăgei: vine, suge, fuge-n tufe (Cinel № 2166; Păsculescu 88) 'Есть у меня серая сучка / С двенадцатью серыми поросятами: приходит, сосет, убегает в кусты'.

Загадка, в которой скрытый денотат замещается лексемой "овца", представляет, как кажется, особый интерес и рассматривается отдельно.

В ряде загадок в функции заместительной номинации загаданного денотата выступают прилагательные — обычно их четыре, и они соответствуют основным признакам волка, физическим и умственным. Эти прилагательные, собственно говоря, формируют образное описание волка. Ср. *şi codat şi colţat şi isteţ şi-ndrăzneţ* (FOM № 233; Păsculescu 88; Cinel № 2161; Ghicitori № 600) 'И хвостатый и зубастый, и смышленый, и дерзкий'.

Выделяется и такой признак, как способность волка к быстрому бегу: *Fuge, fuge tare, / Ca trăsura mare* (Mocanu № 54) 'Бежит, бежит быстро, / Как большая коляска'. Здесь в функции лексемы-заместителя выступает предикат и определяющий его адверб, которые соотносятся с загаданным денотатом, а не с термином сравнения (коляска) как это может показаться на первый взгляд (бежит волк, а коляска — катится).

В ряде загадок содержится еще одна характерная особенность волка, его устрашающий вой и блеск глаз (особенно ночью): ср. *Noaptea, ochi îi stecleşte / şi cînd urlă te-ngrozeşte* (Gorovei 457, 138; Cinel 2162) 'Ночью у него глаза сверкают / А когда он воет, то пугает тебя' Волчий вой как один из существенных признаков волка упоминается во многих загадках: ср. *Pe-o vale în jos / Urlă un lup bătăios* (Creangă IX, 1, p. 12) 'В долине внизу / Воет драчливый волк'.

Образная часть загадки может содержать одновременно в качестве лексем-заместителей скрытого денотата и прилагательные, и глаголы. Ср. например, следующую загадку о волке, где выделяются признаки "большой, толстый" и противопоставленные друг другу предикаты "слышать" и "исчезать": *Gros este, ori nu este, / Cînd te-aude, se prepădeşte* (Mocanu № 55) 'Толстый или не толстый, / Когда он тебя слышит, то исчезает'.

Вообще интересно отметить действия и состояния, которые в загадке приписываются волку. Волк сидит, затаившись, на дороге и ждет добычу, или сидит, внимательно прислушиваясь, за кустом и ждет: *şade jos şi ascultă* (Popescu 63, № 21): *şade 'n cale şi aşteaptă carne moale* (Neagu № 168; Ghicitori № 601); *şade-n dosul tufei* (Gorovei № 897). А, запасшись добычей, сидит и грызет, "кроит": *şade moşu 'n deal la vie / şi-şi croieşte tichie* (Neagu № 171); ср. в этой связи поговорку, отражающую ту же, что и в загадке, "склонность" волка к портняжному делу: *şi lupul are o meserie; şade în deal la vie şi-nvaţă croitorie* (FOM 665, № 340) 'И у волка есть ремесло: сидит на холме в винограднике и учится портняжному делу'.

Некоторые загадки представляют собой насыщенную действием драматическую сценку, в которой две части: погоня волка за добычей,

возня, борьба в замкнутом пространстве и результат этой борьбы. Ср.: *Otrocol / Prin ocol; / Unul râde, / O sută plâng* (Pamfile № 199) 'Прыг / В загон; / Один смеется, / Сто плачут'; *Ciugurele-mugurele, / Merg pe drum înşirăţele, / Jar Ciucuru-muguru, / Pe brînci tupilat, / S-a pus pe vînat* (Cinel № 2167), где выразительная картинка: овцы, мирно шествующие рядками по дороге и — притаившийся волк, готовый броситься на добычу.

Картинка, изображающая нападение волка на овец, содержится также в следующей загадке: *Alunele, ciucurele / să dea, moşul după ele* (Blaga № 57) 'Орешки, кисточки, / Гонится дед за ними'. Волк, врезающийся в стадо овец, представлен в другой, тоже выразительной загадке: *Jnapu-n mărunţele / Face drumurele* (Gorovei № 1085) 'Вор в мелкоте / Прокладывает дорожку'.

Одна из загадок о волке кажется необычной, "таинственной" и нелегко поддается интерпретации. Речь идет о клише следующего вида: *Dac-a veni, n-a veni; / Dacă n-a veni, va veni* (Gorovei № 1085; Cinel № 2165; Rahmil 267) 'Если придет, то не придет; / Если не придет, / то придет'. Смысл этого текста, возможно, проясняет записанная одним из собирателей загадка: *Dacă vine lupul, nu vine oaia; dacă nu vine, oaia vine* (Gorovei, 241) 'Если приходит волк, не приходит овца, если он не приходит, овца приходит'. Образная часть загадок этого типа имеет форму условного предложения и содержит, по существу, две лексемы — союз и глагол в будущем времени в утвердительной и отрицательной форме.

Многие из загадок о волке содержат сведения о локусе, в который помещен загаданный денотат. Местоположение волка может быть связано с холмом, при этом указано расположение на холме и за холмом одновременно: *Ce-i în deal, după deal / Cu rochiţa de muscal* (Mocanu № 45) 'Что на холме, за холмом / В ямщицкой одежде'. Порой уточняется место на холме, в винограднике (Neagu № 173) или наверху в винограднике (Gorovei 457, № 137).

Волк может находиться и внизу, и на дороге, и в долине: ср. *Pe-o vale în jos / Urlă un lup bătăios* (Creangă 12) 'В долине внизу / Воет воинственный волк'; *Ciută mare şade 'n cale* (Neagu № 168; Cinel № 2163) 'Большой зверь сидит на дороге'; *Într'o vale adîncă* (Neagu № 169, № 170) 'В глубокой долине'.

Известно, что у румын (как, впрочем, и у других народов) имя волка табуировано, его стараются не произносить вслух, заменяя различными лексемами (ср. Candrea 1927, p. 71). Это очень ярко отражено в загадке, где имя волка обозначается многочисленными ономатопеями и другими субститутами с разной степенью прозрачности формы. Интересно проследить, как именно кодируется имя волка в загадке.

В загадке об овцах и волке названия и тех, и других — табуированы; ср., например: *Tinghi-linghi o ia pe vale, / şoldu-boldu îi iese-n cale* (Gorovei № 1086; Cinel № 2168), в последнем из двух сборников содержится также интерпретация табуированных слов: *Tinghi-linghi* — ими-

тация звона овечьего колокольчика; *şoldu-boldu* — поза волка, который сидит на задних лапах с вытаращенными глазами (*şold* — 'бедро'; а *boldi* — 'пялить, таращить глаза'). Перевод этой загадки выглядит следующим образом: 'Тинги-линги идет по долине, / Шольду-больду выходит ей наперерез'. В другой загадке об овцах и волке содержится вариант указанной выше номинации овцы, волк обозначен сочетанием слов, которые пока не поддаются интерпретации: *Cinghi / Linghi / Pe cărare, / Hurdu / Burdu / şede-n vale* (Ghicitori № 631) 'Чинги / Линги / На тропинке, / Хурду / Бурду / сидит в долине'.

Смысл зашифрованных имен волка и овцы в ряде загадок доступен пониманию; так в следующей загадке первое из двух рифмующихся обозначений для овцы означает 'тетя, сестрица; кумушка'; лексема, называющая волка, соотносится с *ţanţoş* 'высокомерный, спесивый'; *Ţaţele maţele trec pe drum, / Ţăn̦ţoiu măn̦ţoiu şeade 'n drum, / Cere carne de român* (Păsculescu 88) 'Цацеле мацеле идут по дороге, / Цэнцою мэнцою сидит на дороге, / Просит мяса румына'.

Если в рассмотренной выше загадке выделяется признак 'высокомерный', то в следующей загадке подчеркивается другая особенность волка, а именно, его способность наводить страх, обращать в бегство: *Otrocol / Prin ocol; / Unul râde, / O sută plâng* (Pamfile № 199) (*a face, a da prin / după otrocol* — 'обращать в бегство') 'Отрокол / В загоне; / Один смеется, / Сто плачут'. Представление о волке как о существе, которое ходит извилистыми путями в поисках добычи отражается в номинации *coteleţ* в следующей загадке: *Coteleţ / Prin coteţ; / Unul joacă, / O sută plâng* (Pamfile № 200) 'Котелец / В загоне; / Один пляшет, / Сто плачут'.

Из остальных номинаций, не поддающихся пока интерпретации, отметим следующие: *Holea, / Molea-i ţine calea* (Izv. IV, № 9—10); *Mangu stă ş-ascultă* (Rahmil 267); *Mongea şade-n dosul tufet* (Gorovei № 897); *Mogoşoiu şade jos şi ascultă* (Popescu № 21).

Тавтологии в загадках этого типа представлены моделью Subst + Vb: ср. *Picuruş, picură / Trepăduş, treapădă* (Izv. IV, № 9—10) 'Капелька, каплей падает / Бегунок, бегает'; это клише имеет ряд вариантов с Subst в определенной форме или в форме множественного числа неопределенной формы: *Picuruşul picură / Trepăduşul treapădă* (Gorovei № 897); *Picuruşi picură / Trepăduşi treapădă* (Gorovei № 897a). В следующей загадке к уже рассмотренным строкам добавляется такая: *Mogoş mogoşeşte* (Păsculescu 96) 'Копун копается / Капелька каплей падает / Бегунок бегает' (загадываются свинья, желудь и волк). Ср. также: *Gîdiluşu / Gîdilă* (Ghicitori № 633) 'Щекотун / щекочет' (загадка о буковом желуде, свинье и волке, полная форма: *Picuruş / Picură / Trepăduşu / Treapădă / Gîdiluşu / Gîdilă*). Ср. другой способ загадывания тех же объектов: *Pipăruşul pipără / Trepăduşul trepădă, / Ilala Loala, ţine calea* (Păsculescu 96) 'Перчик перчит / Бегунок бежит / Илала лоала дорогой спешит'.

Загадки, содержащие в тексте имя волка

Таких загадок сравнительно мало. Среди объектов, которые загадываются через волка и его вой, следует выделить церковный колокол: ср. *Pe-o vale în jos / Urlă un lup bătăios* (Creangă IX, № 1, p. 12) 'В долине внизу / Воет воинственный волк'; *Într-un copac găunos / Urlă un lup bătăios* (Neagu № 64) 'В дуплистом дереве / Воет воинственный волк' ('дуплистое дерево' содержит, видимо, намек на пустоту внутри колокола). Более сложная загадка о церковном колоколе: *Strigă Gogea din copaciu / şi Gogeoaia din odaie / C'a furat lupul o oaie* (Neagu № 68) 'Кричит Годжя с дерева / И Годжоайа из комнаты / Что волк украл овцу'.

Представление о волке как о существе, которое издает протяжный, громкий вой, разносящийся далеко вокруг, связывает волка не только с колоколом, но и священником в церкви: ср. *La un copac găunos urlă lupul bătăios* (Pascu 26) 'У дуплистого дерева воет воинственный волк'. Та же ассоциация, видимо, связывает волка с представлением о громе: *Urlă lupul la hotare / şi s-aude-n altă ţară* (Manolache № 246) 'Воет волк на границе (на меже?), / и слышно в другой стране'; то же в мегленорумынской загадке о громе: *Am un lup, cọn zăurlă, / ăn lantă lumi si udi... Ugudeà, tse-i?* (Capidan, II, № 81) 'Есть у меня волк, как завоет, на том свете слышно... Угадай, кто это?'

Если в загадках о колоколе, священнике в церкви и громе актуализируются звуковые ассоциации, то в загадках о шипах, колючках принимаются во внимание какие-то иные признаки волка, по-видимому, связанные с остротой его зубов: ср. *şade lupul în cărare / şi aşteaptă carne moale* (FD № 549) 'Сидит волк на дорожке / И ждет мягкого мяса'; Ср. также: *Ciocia mocia stă 'n cărare / şi aşteaptă carne moale* (Păsculescu 88).

Совсем иными представляются загадки, в которых загаданными объектами служат предметы, связанные с домом, домашней утварью. Интересна своей "непонятностью" загадка о печке. Печка представляется волком, сидящим на яйцах, при этом добавляется, что ни снег не идет, ни дождь: *şade lupul pe ouă, / Nici nu ninge, / Nici nu plouă* (FD № 549). Для понимания такой, видимо, архаичной загадки необходимы специальные разыскания.

Имя волка содержит и загадка о ложках и миске: *Lupul intră 'n moară / şi coada îi rămine afară* (Neagu № 160) 'Волк входит на мельницу / А хвост у него остается снаружи'; то же и в загадке о ложке: *Lupul în moară / şi coada afară* (Blaga № 4) 'Волк на мельнице / А хвост снаружи'.

В роли лексемы-заместителя выступает волк и в загадке о телеге с сеном: *Lup tăpălăgos / Merge pe cale frumos* (Blaga № 76) 'Большелапый волк / Мирно идет по дороге'. Загадка основана на уподоблении тяжелой телеги с сеном широколапому, с тяжелой поступью волку, предикат (*a merge*) соотносится скорее с загаданным денотатом, а не с заместительной номинацией.

* * *

Среди румынских загадок о волке совершенно особое место занимает следующий текст:

I.	*Am o oaie rapănă,*	Есть у меня паршивая овца,
II.	*Şade-n deal şi deapănă*	Сидит на холме и мотает пряжу,
III.	*Şi se-nchină rugului,*	И поклоняется ежевике,
IV.	*Şi se roagă cucului:*	И молится кукушке:
V.	*— Cucule, măria ta,*	— Кукушка, твоя милость,
VI.	*Am venit la dumneata,*	Я к тебе пришла,
VII.	*Să-mi dai calul dumitale,*	Чтобы ты дала мне своего коня,
VIII.	*Să mă duc la socrul mare,*	Чтобы я поехала к свекру,
IX.	*C-am auzit c-a fătat*	Потому что слышала, что он родил детей
X.	*Sub un munte rotunzat*	Под крутой горой,
XI.	*Şi-a făcut trei feciori,*	Троих сыновей,
XII.	*Trei frăţiori*	Трех братцев;
XIII.	*Unu a murit,*	Один умер,
XIV.	*Altul a perit,*	Другой пропал (погиб)
XV.	*Unu-n munte s-a suit,*	Один в гору поднялся
XVI.	*Cu sîngele într-un săhan,*	С кровью в сосуде,
XVII.	*Cu maţele-ntr-un pahar*	С кишками в стакане

(Gorovei № 1884)

Удалось найти всего девять текстов этого типа (в их число, кроме загадок о волке, входит детская считалка и несколько загадок с отгадкой, смысл которой пока остается не совсем ясным: лишь в одном сборнике содержится ее объяснение — *untişca* — 'песня овцы, относящаяся к волку' (Cinel, p. 411). Тексты в некоторой степени отличаются друг от друга, и поскольку сам текст, как представляется, любопытен и нуждается в дальнейшей интерпретации, которая, видимо, возможна лишь с привлечением широкого фольклорного материала, принадлежащего разным жанрам, имеет смысл привести варианты (с этой целью один из текстов членится на строки, даются варианты этих строк и тем самым делается шаг к восстановлению исходного текста).

Варианты I-ой строки:

Am o oaie oacheşă (Rahmil 2670) 'Есть у меня овца с черными пятнами вокруг глаз'; *Am o oaie coacăză* (Gorovei № 1083) 'Есть у меня черная (?) овца'; *Am o oaie rapănă* (Gorovei № 1884) 'Есть у меня паршивая овца'; *Este o babă hreabănă* (Gorovei № 1885; Pamfile 8) 'Есть у меня (?) старуха'; *Oaie, oaie rapănă* (FOM p. 647, № 217) 'Овца, овца паршивая'[3].

[3] Ср. загадку о мотовиле (*vîrtelniţă*) которая повторяет первые две строки рассматриваемого текста: *Oaie, oaie oacănă / şeade jos şi deapănă* (Păsculescu 103) 'Овца, овца [?] / Сидит и мотает пряжу'.

Варианты II-ой строки:

şade-n deal şi deapănă (Cinel № 2172; Gorovei № 1884) 'Сидит на холме и мотает пряжу (возможно и *şede* у Pamfile, 8); *şade jos şi deapănă* (Gorovei № 1083a; № 1885; Rahmil, 267); пропущены II и III-я строки (Gorovei № 1083)'.

Варианты III-ей строки:

şi se roagă robului (Rahmil, 267, Gorovei № 1083a) 'И молится рабу'; *şi se roagă rugului* (FOM p. 647, № 217) 'И молится ежевике'; *şi se roagă lupului* (Gorovei № 1885; Pamfile 8) 'И молится волку'.

Варианты IV-ой строки:

şi se-nchină cucului (Rahmil 267; Pamfile, 8; FOM 647, № 217; Gorovei № 1083a; Gorovei № 1885) 'И поклоняется кукушке'; *şi se roagă cucului* (Gorovei № 1884; Cinel № 2172); se roagă la cuc (Gorovei № 1083) 'Молится кукушке'.

Варианты VI-ой строки:

Am venit la dumneata (Rahmil 267; Gorovei № 1083a; № 1884, № 1885; Cinel № 2172; Pamfile 8) 'Я пришел к тебе'; *Venii pîn 'la dumneata* (FOM 647, № 217) 'Зашел к тебе'; пропущена строка (Gorovei № 1083).

Варианты VII-ой строки:

să-mi dai calul dumitale (Cinel № 2172; Gorovei № 1884) 'Дай мне своего коня'; *să-mi dai calul şi căruţa* (Gorovei № 1885; Pamfile 8) 'Дай мне лошадь и телегу'; *să-mi dai caii cu căruţa* (Gorovei № 1083) 'Дай мне лошадей с телегой'; *să-mi dai căruţa* (Gorovei № 1083a; Rahmil 267) 'Дай мне телегу'; *să-mi dai ăl cal porumbac* (FOM 647, № 217) 'Дай мне сивого коня'.

Варианты VIII-ой строки:

să mă duc pân 'la măicuţa (Pamfile 8; Gorovei № 1885) 'Чтобы мне поехать к матушке'; *să mă duc la socrul-mare* (Cinel № 2172; Gorovei № 1884) 'Чтобы мне поехать к свекру'; *să mă sui la Măriuţa* (Gorovei № 1083) 'Чтобы мне подняться к Мэриуце'; să mă duc la soră-mea (Gorovei № 1083a; Fahmil 267) 'Чтобы мне поехать к моей сестре'; *să mă duc pîn 'la Novac* (FOM 647, № 217) 'Чтобы мне поехать к Новаку'. Между VII-ой и VIII-ой строками в двух текстах встречается следующий вариант: *Cu streşinuţa* (Rahmil 267; Gorovei № 1083a) 'С крышей (навесом)'.

Варианты IX-ой строки:

C-am auzit c-a fătat (Rahmil 267; Gorovei № 1083; Cinel № 2172) 'Потому что я слышал(а), что родил(а)'; *C-am auzit c-a făcut* (FOM 647, № 217; Gorovei № 1083a; № 1885; Pamfile, 8) 'Потому что я слышал(а), что сотворил(а)'.

Варианты X—XII-ой строк:

Trei feţi / Logofeţi (Pamfile 8; Gorovei № 1885; FOM 647, № 217) 'Трех чудо-мальчиков'; *Doi feţi / Logofeţi* (Gorovei № 1083a; Rahmil

267) 'Двух чудо-мальчиков'; *Trei iezi logofeţi* (Gorovei № 1083) 'Трех чудо-козлят'.

Варианты XIII—XV-ой строк:

Unul a murit, / Unul a pierit, / Unul în munte s'a suit (Pamfile 8; Gorovei № 1083, № 1885) 'Один умер, / Один погиб, / Один на гору поднялся'; *Unul a murit, / Altul a pierit, / Altul-n munte s-a suit* (FOM 647, № 217) 'Один умер, / Другой погиб, / Другой на гору поднялся'; *Unu a murit, / Altul a perit, / Unu-n munte s-a suit* (Gorovei № 1884; Cinel № 2172) 'Один умер, / Другой погиб, / Один на гору поднялся'.

Варианты XVI—XVII-ой строк:

Unu şade cu maţele-n pahar, / şi unul cu sîngele-n zahar (Rahmil 267; Gorovei № 1083a) 'Один сидит с кишками в стакане, / И один с кровью в (?)'; *Cu caii satului, / Cu căruţa-mpăratului, / Cu biciul vătafului* (Gorovei № 1083) 'С конями села, / С телегой императора, / С бичом вэтафа'; *El în munte cu ciocanul a dat, / Muntele s-a cutremurat, / Fetele s-au măritat, / Eu bacşis am căpătat* (Gorovei № 1885; Pamfile 8) 'Он по горе́ молотом ударил, / Гора содрогнулась, / Девицы замуж вышли, / Я на чай получил'; *Muntele s-a dărîmat / Apele s-au tulburat / şi pe el l-a astupat* (FOM 647, № 217) 'Гора обрушилась / Воды помутились / И его замуровали'.

Принятые сокращения

Blaga — *Blaga A.* 165 ghicitori şi cimilituri pentru şezători. Oradea, [1938].

Candrea — *Candrea I.A.* "Tabu" în limbă. Nume interzise // Omagiu lui I. Bianu. Bucureşti, 1927.

Capidan — *Capidan Th.* Meglenoromânii. Literatura populară la meglenoromâni. II. Bucureşti, 1928.

Cinel — Cinel. Culegere de ghicitori [Bucureşti], 1964.

FD — *Brăiloiu C., Comişel E.,* Găluşcă-Cîrşemariu. Folclor din Dobrogea. Bucureşti, 1978.

FOM — Folclor din Oltenia şi Muntenia VII. Bucureşti,1979.

Ghicitori — *Niculescu R.* Ghicitori. Bucureşti, 1986.

Gorovei — *Gorovei A.* Cimiliturile românilor. Bucureşti, 1972.

Izv — Izvoraşul. Revista de muzică, arta populară şi folklor. Bistriţa; Mehedinţi.

Creangă — *Ion Creangă.* Revista de folklor.

Manolache — *Manolache C.* Folclor din Prahova. [Ploieşti], 1972.

Mocanu — *Mocanu N.* Monografia comunei rurale Stălinesti. Plasa Mijloc-Prut. Judeţul Fălciu. Bucureşti. 1905.

Neagu — *Neagu Gh.I.* Ghicitori din Jalomiţa şi Teleorman. Roşiorii de Vede, 1939.

Pamfile — *Pamfile T.* Cimilituri româneşti. Bucureşti, 1908.

Pascu — *Pascu G.* Cimilituri româneşti. Bucureşti, 1911.

Păsculescu — *Păsculescu N.* Literatura populară românească. Bucureşti, 1910.

Popescu — *Popescu D.* Monografia satului Dărmăneşti, judeţul Prahova. Ploieşti, 1934.

Rahmil — *Rahmil M.* Ghicitori şi proverbe. I. [Bucureşti], [1957].

Steinitz — *Steinitz W.* Ostjakologische Arbeiten. Bd. 3. Textes aus dem Nachlass. Bucureşti, 1989.

Tocilescu — *Tocilescu G.G., Ţapu C.N.* Materialuri folcloristice III. Bucureşti, 1981.

Е. А. Хелимский

Номинативная мини-загадка: на стыке загадки, метафоры и лексического субститута

Достаточно частный, но любопытный повод дает основания обратить специальное внимание на роль загадок как потенциальных источников словаря (в чем проявляется, разумеется, более общая взаимосвязь между паремиями и идиоматикой), а тем самым на значимость данного фольклорного жанра в этимологическом поиске.

* * *

В двух недавно опубликованных работах по сибирской космонимии А.Е. Аникин (1990, 1991), анализируя наиболее распространенные типы обозначения Большой Медведицы в языках Сибири — как (небесного) лабаза (т.е. свайного сооружения для хранения продуктов) и как (небесного) лося, обнаружил своеобразное смыкание этих номинационных типов в тунгусо-маньчжурских языках. Цитируя ТМС II, 360, он отметил, с одной стороны, такие южные (амурские) тунг.-маньчж. факты, как ороч. *пэулэ* 'амбар без крыши, помост для хранения продуктов; Большая Медведица', ульч. *пэулэ(н-)* 'вешала; Большая Медведица, Малая Медведица', орок. *пэулэ* 'вешала; Большая Медведица', нан. (найхинск.) *пэулэ̄* 'вешала для юколы', *Да̄и Пэулэ̄* 'созвездие Большой Медведицы' (букв. 'большие вешала'), *Нӯчи Пэулэ̄* 'созвездие малой Медведицы' (букв. 'малые вешала'). С другой стороны, в эвенкийских диалектах широко представлены названия Большой Медведицы *hэглэн~hоглан~hоглун чоли~hэглэн со̄лин~hэвлэн~hэ̄чин ~hэглун~эвлэн~э̄улэн* при (подкам.-тунг.) *hэглэн* устар. 'лось', ср. также (забайк.) *оӈлэткан* 'Малая Медведица' при (ербогаченск.) *hоглока̄н~hэглэкэ̄н* 'лосенок', сюда же эвенск. *hэвлън* и негид. *хэвлэн ~хэ̄улэн* 'Большая Медведица'.

Как комментирует в этой связи А.Е. Аникин, "оба ряда фактов допускают выведение из тунг.-маньчж. **pǟulän*. Семантическая реконструкция вызывает затруднения. Соотношения значений '(небесный) лось' и '(небесный) амбар' сопоставимо с отразившимся в древних петроглифах противопоставлением двух эстетических концепций мира: динамическо-реалистической у палеолитических и неолитических охотников Сибири и статично-схематической у неолитических рыболовов Амура. Следует иметь в виду, что и '(небесный) лось', и '(небесный) амбар' могут именоваться как 'имеющий ноги (подставки)', ср. к семантике якут. *атахта̄х* 'имеющий ноги, опоры; Большая Медведица' (Аникин 1991, 38—39; см. также Аникин 1990, 20—21 и — касательно двух концепций мира в петроглифике — Окладников 1967, 121—131).

Проблема состоит, однако, в том, что в отличие от морфологически прозрачного якут. *атахтаах* (ср. *атах* 'нога', *-лаах/-таах* суффикс имен обладания), в тунг.-маньчж. *pǟulän* как синхронно, так, по-

видимому, и исторически невозможно выделить внутреннюю форму типа 'имеющий ноги/опоры' (ср. Болдырев 1987, 160—185). Авторы "Тунгусо-маньчжурского словаря", справедливо объединяя слова со значениями 'лось', 'лабаз' (амбар, помост, вешала)' и 'Большая (Малая) Медведица' в одной гнездовой словарной статье, вынесли в качестве заголовочного космонимическое значение. Но, несмотря на широкое распространение исследованных А.Е. Аникиным типов номинации и даже на то обстоятельство, что в двух языках-потомках (эвенском и негидальском) **päγlän* представлено только как космоним, было бы противоестественным предполагать, что при исходном значении 'Большая Медведица' на его основе могли вторичным образом развиться значения зоонима (в эвенкийском) и хозяйственного термина (в амурских языках). Крайне сомнительным выглядит сопоставление (на алтайском уровне) тунг.-маньчж. **päγlän* с кор. *ruðl* 'звезда' (Miller 1991, 196), ср. убедительную традиционную алтайскую этимологию корейского слова (Старостин 1991, 36, 90, 277, с реконструкцией алт. **pʻiūlʼV* 'звезда').

Представляется, что нужный ключ к решению этой семасиологической проблемы дает короткая хантыйская (шеркальский диалект) загадка, помещенная в недавно вышедшем томе фольклорных материалов из архива Вольфганга Штейница (Steinitz 1989; коллекция загадок подготовлена к печати Л. Хонти):

(Хант. № 85) *unt tŏpas = wɔj*
'Лесной лабаз = Лось'.

Свайный лабаз (Š *tŏpas*, ср. также VVj. *lăwas*, Trj. *lăpas*, Irt. *tăpas*, Kaz. *lðpas*, O *lăpas* < русск. *лабаз*, см. DEWOS 790) использован здесь как кодовый денотат, фактически напрямую соотнесенный с загаданным денотатом — лосем. Единственное пояснительное слово *unt* 'лес, лесной' не создает смыслового контраста (поскольку прекрасно совместимо и с прямым значением кодирующего слова: свайные лабазы устанавливаются как вблизи жилья, так и в лесу). Оно скорее апеллирует к устойчивому обозначению лося в хантыйском языке как "лесного зверя" (*unt wɔj*, ср. также ниже примеры с другими "лесными" названиями лося), сближая загадку с классом словарных загадок, в которых отгадка подсказывается фразовым контекстом (присутствием постоянного эпитета загаданного денотата и т.п., см. статью М.И. Лекомцевой в настоящем сборнике).

Что касается образной мотивации, она вполне прозрачна и согласуется с объяснением А.Е. Аникина: длинные ноги и туловище лося напоминают четыре высоких сваи и надстройку лабаза.

Загадывание лося через лабаз отмечено еще по крайней мере в одной близкородственной традиции — у манси. В монографии И. Шельбах о мансийской загадке приводится в двух вариантах загадка с Лозьвы о беременной лосихе: (по А. Каннисто) 'Внутри большого лабаза маленький лабаз', (по Б. Мункачи) 'В большом свайном доме маленький свайный дом' (Schellbach 1959, 56, 104, 123). Возможна и инверсия загаданного и кодового денотатов, как в тексте с р. Пелымки (по А. Каннисто) 'Безголовый лось обежал вокруг деревни = Лабаз' (Ibid. 30).

* * *

Лаконичность процитированной хантыйской загадки могла бы вызвать сомнения в самом ее статусе. Структурно ее собственно загадывающая часть (*unt tŏpas*) не отличается от обычных, широко представленных в номинационной системе хантыйского и родственных ему языков, именных словосложений, в том числе и от таких описательных (иносказательных, отчасти табуистических) названий лося, как хант. (южн.) *enə-wojə* ('большой зверь'), (вост.) *körəŋ wajəɣ*, (сев.) *kurəŋ waj* ('ногастый зверь') (DEWOS 1563ab), манс. (Ср. Лозьва) *jäni-uj* ('большой зверь'), *vāni-uj* ('лесной зверь') (Munkácsi, Kálmán 1986, 146b, 715b), коми *кузь-кок* ('длинная нога'), (язьвинск.) *вӧрпийан* ('лесной детеныш'), (пермяцк.) *вӧр-мӧс* ('лесная корова') (Хаузенберг 1972, 98—99) и др. По степени образности, измеряемой семантической дистанцией между кодовым и загаданным денотатами, хантыйская загадка также не выходит за рамки допустимого в словосочетаниях (ср. *морская звезда, грудная жаба* и под.).

Однако здесь, как и вообще применительно к загадке, структурно-семантические критерии отграничения от других феноменов языка и фольклора недостаточны; загадку делает таковой ее прагматика — функционирование в качестве стандартного законченного текста, предполагающего диалогичность и наличие контртекста (отгадки). Коллекция В. Штейница показывает, что в своем лаконизме загадка о лосе не уникальна внутри жанра. Ср. столь же простые по форме образцы:

(Хант. № 8, вост.) *köri pŏṇak = wäńť äj rịt*
'Нос стерляди = Узкий маленький челнок'.

(Хант. № 77, Шеркалы) *jĭŋk tŏman = χantas*
'Водный замо́к = Смола (для смоления лодок)'.

(Хант, №№ 184, 342, Казым) *kŭl tŏrəp = śŏχaḷ*
'Толстая губа = Чувал (очаг)'.

(Хант, № 186, Казым) *śăk tĭɣəл = pŭləp*
'Гнездо птички = Затычка дымохода'.

(Хант. № 201, Казым) *ne ḷak = rešeta*
'Круг женщины = Решето'.

(Хант. № 503, Сыня) *pĭti ńŏl = šŏχa*
'Черный нос = Куропатка'.

Еще проще (с точки зрения синтаксиса) загадки, построенные на ономатопее:

(Хант. № 138, 211, 368, Казым) *ptu! (ťpu!; tpu!) = leśtan*
'Пту! (Тьпу!; Тпу!) = Точильный брусок'.

(Хант. № 243, 385, Казым) *aḷi-aḷi = amp ŏrijəл*
'Али-Али = Собака ворчит'.

(Хант. № 275, Казым) *perəm pŏrəm = śŏχər*
'Перым-порым = Щокур, пыжьян (рыба Coregonus nasus)'.

(следует отметить, что слова междометного типа, которые кодируют здесь загаданный предмет или действие, имитируют сопряженные с ними звучания, а потому не носят характер чисто условных знаков, как в загадках бауле: *Некле, некле, некле?* = *Беременной женщине не взобраться на дерево; Годо, годо, годо?* = *Антилопа уазани не пролезет в дырку,* см. Пермяков 1970, 189).

Эти примеры подтверждают неслучайный характер мини-загадки о лосе в хантыйской традиции, которая не возбраняет подобный лаконизм (ср. вероятное отсутствие сколь-нибудь точных аналогов в русской традиции). Существенным моментом является, конечно, и наличие содержательно близких загадок "нормальной длины" о лосе и лабазе у манси. Без дополнительных данных интерпретировать их диахроническое соотношение трудно: текст *unt tə̑pas* с равным успехом может быть и результатом свертывания, и базой развертывания загадки мансийского типа.

Жанр мини-загадок хорошо представлен и в эвенкийской традиции (следует иметь в виду, что значительная часть опубликованных эвенкийских загадок содержит факультативный сигнальный компонент *та(ва)р экун),* ср.:

(Эвенк. 1, с. 290, баунт.) *Тар экун, — тыкулдыкаку?* = *Пурга*
'То что, — сердитый? = Пурга'.
(Эвенк. 1, с. 295, баунт.) *Ӈиндукан санаричи* = *Пэктырэвун*
'Жердинка с дыркой = Ружье'.
(Эвенк. 1, с. 299, баунт.) *Ирэктэкэн гарачи* = *Бэюн иелин*
'Лиственничка с ветками = Рога лося'.
(Эвенк. 1, с. 303, сым.) *Тавар экун, — гарпаран?* = *Эша*
'То что, — выстрелило? = Глаз'.
(Эвенк. 1, с.303, сым.) *Тар экун, — аилун?* = *Дяли*
'То что, — промышленник (умелый охотник)? = Ум'
(Эвенк. 1, с. 304, сым.) *Тар экун, — деӈнялдун?* = *Мундрукан*
'То что, — с приподнятым затылком? = Заяц'.
(Эвенк. 2 № 11, баунт.) 'Гнилая колодинка = Нос'.
(Эвенк. 3 № 144, сев.-байк.) 'Половина глухаря = Месяц'.
(Эвенк. 3 № 174, баргузин.) 'Колодина в неводе = Осетр'.
(Эвенк. 3 № 183, баргузин.) 'Гора корявая = Наперсток'.

Как можно видеть, загадывающая часть в некоторых из этих загадок представляет собой абсолютно минимальный возможный текст и состоит из одного только кодового денотата, что превращает его в метафорический синоним и потенциальный субститут загаданного денотата. Ориентируясь на этот вариант номинативной мини-загадки и на хантыйский (а также мансийский) материал, в целом обнаруживающий немало сходств с эвенкийским (ср. Futaky 1975 об эвенкийско-хантыйских лексических соответствиях), можно условно реконструировать эвенкийскую загадку

**Тавар экун, — hэглэн?* = *Тӧкӣ*
'То что, — лабаз? = Лось',

которая и послужила основанием для семантической эволюции 'лабаз' → 'лось' у части рефлексов тунг.-маньчж. **pä'ylän*. Использование **pä'ylän* как астронима, вообще говоря, подтверждает исходность значения 'лабаз', так как для Восточной Сибири и Приамурья характерно обозначение Большой Медведицы как (небесного) лабаза (у якутов, юкагиров, нивхов, а также у селькупов), а обозначение ее как (небесного) лося представлено преимущественно западнее — у уральских народов, а также у кетов, см. наряду с упоминавшимися статьями А.Е. Аникина также Erdődi 1970, 28—92. Впрочем, это распределение не является жестким, и отступления от него могут быть связаны как, например, с влиянием русских диалектных обозначений созвездия (*Лось, Сохатый*), так и с возникновением вторичных ассоциативных связей, опосредованных астронимом.

В этой статье не ставится задача детально проследить распространение номинативных мини-загадок (такая задача осложняется еще и тем, что, возможно, некоторые исследователи-фольклористы не включали их в публиковавшиеся коллекции ввиду "примитивности", недостаточной образной орнаментированности этих паремий), однако создается впечатление, что именно у ханты и эвенков они встречаются особенно часто. Несколько образцов этого жанра зафиксировано у ненцев:

(Нен. 1 № 76) *Ята"маком минарнга = Пия*
'Носящий уголек = Горностай'[1].

(Нен. 1 № 81) *Толава"техэ" = Нумгы"*
'Неисчислимые = Звезды'.

(Нен. 2 № 152) *śiḍa śējam pād = tē̮n sūjik"*
'Два мешка дверной половины чу́ма = Почки оленя'.

(Нен. 2 № 275) *ūlit ālit = kuppi̯śśä, ŋṓᵐᵖ́*
'ūlit alit = Ложка, ковшик'[2].

(Нен. 3 № 81) *Няхар" ŋэта халя = Вэбарка*
'Трехногая рыба = Белуха'.

(Нен. 3 № 137) *Лым" ŋэвата халы = Тынзя"*
'Червяк с костяной головой = Аркан'.

В собраниях загадок финно-угорских народов, живущих к западу от ханты и ненцев, тексты минимального объема встречаются, насколько можно судить, лишь как редчайшее исключение. Такова, например, карельская загадка

(Кар. № 327) *Heinän helpi = Viikate*
'Беда для травы = Коса',

выступающая, впрочем, лишь как редуцированная версия более естественной для всего соответствующего ареала рифмованной загадки

---

[1] Ср. несколько более развернутый вариант того же кодового сюжета: (Эвенк. 3 №47, баунт.) 'На хвосте уголек тащит = Горностай'.

[2] Явно не случайно сходство с цитировавшимися выше ономатопеическими загадками казымских ханты — соседей лесных ненцев, у которых бытует данная загадка.

(Кар. № 326) *Heinän heikko, aijan keikko = Viikate*
'Беда для травы, опора для ограды = Коса'.

Реально же в качестве минимального в большинстве финно-угорских традиций выступает — и распространен весьма широко — формальный тип загадки, в котором кодовый денотат наделен двумя характеристиками загаданного денотата, чаще всего выраженными локальным модификатором и качественным атрибутом (откуда каноническая синтаксическая структура загадок этого типа: N — Postp — Adj — N_{cod}), ср.:

(Морд. № 3) *Паксятнень вельхксса сенем зиблек = Менельсь*
'Над полями синий полог = Небо'.

(Морд. № 305) *Келуть яла якстерь шаваня = Панкне*
'Под березой красивая чашка = Грибы'.

(Коми, с. 21) *Ва дорын гӧрд чуньлыс = Лежнӧг йыв*
'Около речки красный наперсток = Плоды шиповника'.

(Коми, с. 98) *Сёр вылын уна шыр = Паськӧм*
'На грядках (жердях для просушки) много мышей = Одежда'.

Подобные загадки эпизодически встречаются и в русском фольклоре (обычно снабженные внутренней рифмой); любопытно, впрочем, что территориальные пометы сборника М.А. Рыбниковой (1932) позволяют полагать, что они распространены преимущественно в зонах русско-финно-угорского контактирования, ср.:

(Русск. 1. с. 364. арханг.) *Вокруг кола золота трава = Кольцо на пальце.*

(Русск. 1, с. 368, томск.) *Около кола золотая голова = Подсолнечник.*

(Русск. 1, с. 370, томск.) *Кругом хаты синие лопаты = Окна.*

Отметим также едва ли не уникальную номинативную (или все же предикативную, как можно судить по знаку тире в публикации?) русскую мини-загадку:

(Русск. 2 № 117) *Камень — пламень = Месяц.*

* * *

В отличие от других паремий, загадки сами по себе "являются знаками отдельных вещей" (Пермяков 1970, 77), выступая как потенциальные номинативные средства. Эти потенции, вообще говоря, тем выше, чем короче загадка и чем больший удельный вес в описании загаданного денотата приходится на ее номинативное ядро — кодовый денотат. В мини-загадках семантическая дистанция между кодовым и загаданным денотатами оказывается минимальной, так что при снятии внешних (по отношению к самому тексту загадки) признаков — функционального контекста, ожидания реакции собеседника, сигнального вступления, то есть при отделении загадки от ее прагматической стороны возникает готовое и достаточно лаконичное иносказательное (образное, описательное) обозначение загаданного денотата, его возможный фразеологический или даже монолексемный субститут. Приведенные выше хантыйские и эвенкийские примеры иллюстрируют возможность схождения и даже полного смыкания загадки, метафоры

и лексического субститута. Это позволяет, помимо прочего, думать, что подробные конкордансы типа "кодовый денотат" — "загаданный денотат", уделяющие особое внимание материалу номинативных мини-загадок, могут быть использованы с эффектом в семасиолого-этимологических штудиях.

Пограничное положение мини-загадок заставляет еще раз вспомнить, что "в ряде архаичных традиций некоторые поэтические конструкции не только напоминают загадку, но, видимо, и генетически восходят к ней или к общему с нею источнику" (Елизаренкова, Топоров 1984, 24). Было бы, однако, опрометчивым настаивать на том, что в каждом индивидуальном случае онтогенез текста загадки (в том числе и мини-загадки) совпадает с филогенезом жанра и что в наиболее коротких загадках следует видеть их не только простейшие, но и первичные варианты (ср. Митрофанова 1978, 119). Принципиальная допустимость лаконичных, неорнаментированных загадок в некоторых фольклорных традициях Сибири могла сама по себе служить фактором компрессионной переработки исходно более сложных, в том числе и заимствованных, вариантов их текста.

Принятые сокращения

Аникин 1991 — *Аникин А.Е.* Из сибирской космологии // Славистика, индоевропеистика, ностратика: К 60-летию со дня рождения В.А. Дыбо. М., 1991, с. 37—41.

Аникин 1990 — *Аникин А.Е.* К типологии названий Большой Медведицы в языках Сибири // Известия Сибирского отделения АН СССР. Серия истории, филологии и философии. Вып. 3, Новосибирск, 1990, с. 18—22.

Болдырев 1987 — *Болдырев Б.В.* Словообразование имен существительных в тунгусо-маньчжурских языках. Новосибирск, 1987.

Елизаренкова, Топоров 1984 — *Елизаренкова Т.Я., Топоров В.Н.* О ведийской загадке типа brahmodya // Паремиологические исследования. М., 1984, с. 14—46.

Окладников 1967 — *Окладников А.П.* Лики древнего Амура: Петроглифы Сакачи-Аляна. Новосибирск, 1967.

Пермяков 1970 — *Пермяков Г.Л.* От поговорки до сказки. М., 1970.

Старостин 1991 — *Старостин С.А.* Алтайская проблема и происхождение японского языка. М., 1991.

ТМС — Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков. Т. I—II. Л., 1975, 1977.

Хаузенберг 1972 — *Хаузенберг А.-Р.* Названия животных в коми языке. Таллин, 1972.

DEWOS — *Steinitz W.* Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der ostjakischen Sprache. Lfg. 1—14. Berlin, 1966—1991.

Erdődi 1970 — *Erdődi J.* Uráli csillagnevek és nitológiai magyarázatuk. Budapest, 1970.

Futaky 1975 — *Futaky J.* Tungusische Lehnwörter des Ostjakischen. Wiesbaden, 1975.

Miller 1991 — *Miller R.A.* How Many Verner's Laws Does an Altaicist Need? // Studies im the Historical Phonology of the Asian Languages. Amsterdam-Philadelphia, 1991.

Munkácsi, Kálmán 1986 — *Munkácsi B., Kálmán B.* Wogulisches Wörterbuch. Budapest, 1986.

Список источников материала

(см. библиографию в конце сборника)

Кар. —	Лавонен 1982.
Коми —	Коми народные загадки. Сыктывкар, 1975.
Морд. —	Устнопоэтическое творчество мордовского народа. Т. 4, кн. 2 Мордовские загадки. Саранск, 1969.
Нен. 1 —	Пичков 1960.
Нен. 2 —	Lehtisalo 1947, 592—607.
Нен. 3 —	Куприянова 1960, 261—271.
Русск. 1 —	Морохин 1986.
Русск. 2 —	Митрофанова 1968.
Хант. —	Steinitz 1989, 575—635.
Эвенк. 1 —	Воскобойников 1960, 292—307.
Эвенк. 2 —	Воскобойников 1958, 161—170.
Эвенк. 3 —	Воскобойников 1967, 159—175.

Библиография

Арнаудов — *Арнаудов М.* Български народни пословици и гатанки. София, 1943.

Березовський — Українська народна творчість: Загадки /Упорядкування, вступна стаття та примітки І.П. Березовського. Київ, 1962.

БНПП — Българска народна поезия и проза. Т. 7: Предания, легенди, пословици, гатанки. София, 1983.

БНМ — Балканска народна мъдрост. София, 1968.

БНТ — Българско народно творчество. Т. 12: Пословици, поговорки, гатанки. София, 1964.

Бривземниекс — Материалы по этнографии латышского племени / Под ред. Ф.Я. Трейланда // Известия Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском Университете. Труды этнографического отдела. Кн. VI. М., 1881.

Воскобойников 1958 — *Воскобойников М.Г.* Фольклор эвенков Бурятии. Улан-Удэ, 1958.

Воскобойников 1960 — *Воскобойников М.Г.* Эвенкийский фольклор. Л., 1960.

Воскобойников 1967 — *Воскобойников М.Г.* Фольклор эвенков Прибайкалья. Улан-Удэ, 1967.

Грынблат, Гурскі — Беларуская народная творчасць: Загадки / *Складальнікі М.Я. Грынблат, А.І. Гурскі.* Мінск, 1972.

Колева — *Колева М.* Гатанки от Хасковско, Харманлийско и Свиленградско // Български фолклор. 1991, №1.

Коми народные загадки. Сыктывкар, 1975.

Крейнович — *Крейнович Е.А.* Кетские загадки // Кетский сборник: Мифология. Этнография. Тексты. М., 1969.

Куприянова 1958 — *Куприянова З.Н.* Загадки народов Севера // Уч. зап. ЛГПИ, №177, Л., 1958.

Куприянова 1960 — *Куприянова З.Н.* (сост.) Ненецкий фольклор. Л., 1960.

Лавонен — *Лавонен Н.А.* (сост.) Карельские народные загадки. Петрозаводск, 1982.

Любенов — *Любенов Л.* Римувани силаботонични народни гатанки// Български фолклор. 1988, №3.

Митрофанова 1968 — *Митрофанова В.В.* (сост.) Русские народные загадки. Л., 1968

Митрофанова 1978 — *Митрофанова В.В.* (сост.) Русские народные загадки. Л., 1978

Морохин — *Морохин В.Н.* (сост.) Малые жанры русского фольклора: Пословицы, поговорки. загадки. М., 1986.

Новаковић — Српске народне загонетке / Састављач С. Новаковић. Београд и Панчево, 1877.

Пичков — *Пичков А.* Ненецкие загадки // Уч. зап. Ленинградского пед. ин-та. Т. 169. Л., 1960.

Рыбникова — *Рыбникова М.А.* (сост.) Загадки. М.-Л., 1932.

Садовников — *Садовников Д.* Загадки русского народа. Сборник загадок, вопросов, притч и задач. С.-П., 1876.

Стойкова — *Стойкова Ст.* Български народни гатанки. София, 1970.

Українські загадки. Київ, 1966.

Устнопоэтическое творчество мордовского народа. Т. 4, кн. 2: Мордовские загадки. Саранск, 1969.

Якутский фольклор. М., 1936.

Aarne — *Aarne A.* Vergleichende Raetselforschungen // FF Communications. V. 27, Helsinki.

Ancelāne 1969 — Mīklas. Izlase / Sakārtojusi A. Ancelāne. Rīga, 1969.

Ancelāne 1954 — Latviesu tautas mīklas / Sastādījusi A. Ancelāne. Rīga, 1954.

Bielenstein — 1000 Lettische Räthsel / Übersetzt und erklärt von A. Bielenstein. Mitau, 1881.

Blaga — *Blaga A.* 165 ghicitori şi cimilituri pentru şezători. Oradea, [1938].

Candrea — *Candrea I.A.* "Tabu" în limbă. Nume interzise // Omagiu lui I. Bianu. Bucureşti, 1927.

Capidan — *Capidan Th.* Meglenoromânii. Literatura populară la meglenoromâni. II. Bucureşti, 1928.

C.d.š. — *Plicka K., Volf Fr.* Cestička do školy. Praha, 1955.

Cinel — Cinel. Culegere de ghicitori [Bucureşti], 1964.

Č.r. — *Plicka K., Volf Fr., Svolinský K.* Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách. Praha, 1951—1953.

FD — *Brăiloiu C., Comişel E.,* Găluşcă-Cîrşemariu. Folclor din Dobrogea. Bucureşti, 1978.

Folfasiński — Polskie zagadki ludowe / Wybraf i opracowaf S. Folfasiński. Warszawa, 1975.

FOM — Folclor din Oltenia şi Muntenia VII. Bucureşti,1979.

Ghicitori — *Niculescu R.* Ghicitori. Bucureşti, 1986.

Gorovei — *Gorovei A.* Cimiliturile românilor. Bucureşti, 1972.

Izv — Izvoraşul. Revista de muzică, arta populară şi folklor. Bistriţa; Mehedinţi.

Creangă — *Ion Creangă.* Revista de folklor.

Lehtisalo — *Lehtisalo T.* Juraksamojedische Volksdichtung. Helsinki, 1947.

LT — Lietuvių tautosaka, tV: Smulkioji tautosaka, žaidimai ir šokiai. Vilnius, 1968.

Manolache — *Manolache C.* Folclor din Prahova. [Ploieşti], 1972.

Mocanu — *Mocanu N.* Monografia comunei rurale Stălinesti. Plasa Mijloc-Prut. Judeţul Fălciu. Bucureşti. 1905.

Neagu — *Neagu Gh.I.* Ghicitori din Jalomiţa şi Teleorman. Roşiorii de Vede, 1939.

Pamfile — *Pamfile T.* Cimilituri româneşti. Bucureşti, 1908.

Pascu — *Pascu G.* Cimilituri româneşti. Bucureşti, 1911.

Păsculescu — *Păsculescu N.* Literatura populară românească. Bucureşti, 1910.

Popescu — *Popescu D.* Monografia satului Dărmăneşti, judeţul Prahova. Ploieşti, 1934.

Rahmil M. Ghicitori şi proverbe. I. [Bucureşti], [1957].

Schellbach — *Schellbach J.* Das wogulische Rätsel. Wiesbaden, 1959.

Schulz — *Schulz W.* Raetsel aus dem helleniscen Kulturkreise. Bd. 1, 2 (Mythologische Bibliothek, 3:1; 5:1). Leipzig, 1909—1912.

Steinitz — *Steinitz W.* Ostjakologische Arbeiten. Bd. 3. Textes aus dem Nachlass. Bucureşti, 1989.

Tocilescu — *Tocilescu G.G., Ţapu C.N.* Materialuri folcloristice III. Bucureşti, 1981.

Summary

V. Toporov. **Notes on the riddle**

The global theory of question-answer correlations in human communication is considered as the main base of riddle genesis with correlation to networks in computer sets. The human mental possibilities of today are grown from the archaic stages of human dialogs at first not differentiated into riddles, prayers and minidialogs. This binary (question-answer) correlation has been shown in different cultural traditions. Special attention is paid to transition from riddle-orientation to the fiction text in the proper sense.

V. Ivanov. **Structure of the Indo-European riddles-kennings and their role in the mythopoetical tradition**

The chapter is dedicated to the famous Oedipus enigme and the place of numerique nomination in human mentality. These figures are connected with the idea of caritativity — when some necessary components are absent. The next step is the so-called "kenning-text" reconstruction through primary number components.

T. Nikolaeva. **Riddle and proverb: social functions and categorial grammar**

The two main types of paremia — riddles and proverbs — have different genesis and differnt functional load. The riddles are based (at the first stage) on World-as-Whole understanding and the principal unity of Macro- and Microworld. The proverbs deal with up-to-Human being orientation and these are usual communication tools for mass-over-one depression.

But the both types of paremia might be transformed up to day into the special verbal means of social power (commands, slogans and so on).

As for the grammar category functionalization, we ought to regard it as archaic state consevation with the verb with syncretized semantics etc. The referential status of names is so opaque, especially in riddles, that it can't be determined by rules of contemporary referential grammar. In this sense Slavic riddles are close to the most archaic forms of Indo-European sentence.

T. Civjan. **Die Lösung des Rätsels — des Rätsels Lösung?**

Der Artikel beginnt mit der Frage: kann man das Rätsel lösen oder muß man die Antwort "erlernen"? Das Rätsel stellt ein besonderer Texttyp mit einer Frage-Antwort-Struktur dar. Die Hauptaufgabe der Analyse besteht darin, den Mechanismus der logisch-semantischen Verbindung zwischen Frage und Antwort zu finden. Auf der Grundlage der bekannten Definitionen dieser Verbindung (Metapher vs. Willkürlichkeit) ergibt sich der folgende Schritt: Frage und Antwort des Rätsels sind durch den Mechanismus der *Verwandlung* (*Metamorphose, Transformation*) miteinander verbunden. Das bedeutet, daß wenn sich ein Object durch ein anderes spiegelt (Schloß und Hund, Bär und Mensch, Apfelbaum und *Mascha* usw.), es sich in dieses *verwandelt*. Der "Mechanismus der Verwandlung" wirkt nicht nur im Rätsel, sondern auch in anderen folkloristischen Genre. Er liegt einem archetypischen Weltmodell zugrunde und ist charakteristisch für menschliche Mentalität (es gibt einen Bereich, in dem sich dieser Mechanismus buchstäblich realisiert — im Traum). Die Kategorie der Verwandlung ist im Kontext des Weltmodelles universal und im Rätsel ein Musterbeispiel ihrer Anwendung.

A. Golowatschowa. **Zur Frage der Rätselpragmatik**

Die Rätselpragmatik wird hier als Identifikation des Konzeptes der Rätsellösung C^x durch seine Repräsentation durch die Summe seiner unveräußerlichen Eigenschaften ΣP^x betrachtet. Im Artikel werden verschiedene strukturell-semiotische Typen der Rätsel untersucht und mit den entsprechenden semiotischen Strukturen der Beschwörungsformel vergleicht.

M. Lekomtseva. **Semiotic aspects of the "indexical" folk riddle**

The folk riddles presupposing the direct mood of signification — i.e. excluding metaphoric or other indirect kinds of nomination — are considered in the present paper from the semiotic point of view.

The semeiosis of these riddles suggests that their pragmatics — though it were Samson's exchange of riddles with the Philistines' at his wedding or a contemporary children's game — is a check-up of communicative competence or a verification of a "phatic communion" channel by speech participants. Such riddles as a kind of meta-game contribute to a better comprehension of world through clearing up ("übersichtliche Darstellung" in the L.Wittgenstein's sense) private experience and collective illusions in their symbolic interdependence.

Semantic construction of these riddles requires as a condition the contextual definition of meaning (both Trier and Porzig field) of a focus lexeme — e.i. the riddle is constructed in such a way, that one can define a lacking lexeme on the basis of its standard vocabulary context. So these riddles may be called indexical in a Ryle's sense.

The most frequently occured riddles' types are as follows: 1) the riddles with interrogative on the place of the lacking lexeme at defined cotext; 2) ones with numerals implying the adding the focus lexeme at fixed context; 3) ones with nonsense sequence instead of which the demanded lexeme must be set; 4) ones with Nomina Propria which are playing the role of paronymes of senseless sequences, and 5) the ellyptic constructions with one or more lexemes to add.

T. Moloshnaya. **Notes on syntax structure of simple sentence in riddles (Russian-Bulgarian analytic comparision)**

Some of the basic characteristics of simple sentences in Russian and Bulgarian folk riddles are studied.The analysis reveals almost complete similarity of text structure of the riddles under discussion. Thus, grammatically interrogative sentences are of low frequency although from semantic point of view a riddle is a question addressed to a hearer. Negative sentences on the contrary are of high frequency. The explanation to the latter phenomenon lies in the fact that negative oppositions of objects, actions, qualities are most common in the riddles. The Russian and Bulgarian riddles are notable for their conciseness. This feature generates such syntactic peculiarities, as prevalence of mononuclear sentences (either verbless of subjectless), conjunctionless homogeneous sentence part etc. Word reduplications in the riddles may seem to contradict the tendency to laconicism. But they are usually necessary for the purposes of emphasis and rhythm. The statistical data demonstrate the dominance of present verb forms because the riddles concern events which take place at any time period, and such a non-temporal meaning can be expressed by present tense. This holds true for the Russian as well as for the Bulgarian riddles. Past perfective forms in Russian and present perfect forms in Bulgarian can be found in the texts under consideration due to their meaning of the result of an accomplished action bearing on the present moment.

T. Svechnikova. **Les devinettes roumaines sur le loup.**

L'étude présente um fragment d'une recherche monographique sur le folklore des loups chez les roumains. Un seul problème est envisagé: le loup et son image dans les devinettes roumaines.

E. Helimski. **Nominatianal mini-riddle: on the borderline between riddle, metaphor and lexical replacement**

An extremely short Ostyak riddle from W.Steinitz's collection ("Forest storehouse" — "Elk") gives the solution to an etymological problem in Tungusic, where one and the same Proto-Tungusic word renders in different daughter languages the meanings "storehouse" and "elk". This fact impels to pay special attention to the subgenre of nominational mini-riddles, which are widespread in several Siberian folk traditions, though almost unknown on the European side of Urals.

As distinct from other types of paroemiae, riddles are already by themselves linguistic signs for objects and, potentially, may serve as the means of nomination. The shorter a riddle, the greater is this potention. In mini-riddles of the above type the distance between the coding and the hidden denotates is so small, that the name of the first can be easily transformed into metaphoric or even synonymic (replacing) designation of the latter.

It is another problem, whether this nominational mini-type must be seen as diachronically primary for the whole genre of riddles, or they result from a compression of longer paroemiac texts.

Содержание

Предисловие (*Т.М. Николаева*) 5

ЧАСТЬ I

В.Н. Топоров. Из наблюдений над загадкой 10

Вяч.Вс. Иванов. Структура индоевропейских загадок-кеннингов и их роль в мифопоэтической традиции 118

ЧАСТЬ II

Т.М. Николаева. Загадка и пословица: социальные функции и грамматика 143

Т.В. Цивьян. Отгадка в загадке: разгадка загадки? 178

А.В. Головачева. К вопросу о прагматике загадки 195

М.И. Лекомцева. Семиотические аспекты "индексальной" загадки 214

ЧАСТЬ III

Т.Н. Молошная. Заметки по синтаксису простого предложения в загадках (сопоставительный русско-болгарский анализ) 226

Т.Н. Свешникова. Румынские загадки о волке 248

Е.А. Хелимский. Номинативная мини-загадка: на стыке загадки, метафоры и лексического субститута 256

Библиография 264

Резюме 266

Contents

Preface (*T. Nikolaeva*) 5

PART I

V. Toporov. Notes on the riddle 10

V. Ivanov. Structure of the Indo-European riddles-kennings and their role in the mythopoetical tradition 118

PART II

T. Nikolaeva. Riddle and proverb: social functions and categorial grammar 143

T. Tsivjan. Answer to the riddle: clue to the riddle? 178

A. Golovacheva. On the problem of the pragmatism of the riddle . 195

M. Lekomtseva. Semiotic aspects of the "indexical" folk riddle . . 214

PART III

T. Moloshnaya. Notes on syntax structure of simple sentence in riddles (Russian-Bulgarian analytic comparison) 226

T. Sveshnikova. Rumanian riddles about the wolf 248

E. Helimski. Nominational mini-riddle: on the borderline between riddle, metaphor and lexical replacement 256

Bibliography 264

Summary 266

Научное издание

**Исследования
в области
балто-славянской
духовной культуры:
Загадка как текст. 1**

*Утверждено к печати
Институтом славяноведения
и балканистики РАН*

Корректура выполнена
авторами

Оформление,
компьютерная верстка
Г.А. Черкасова

ЛР № 070644 выдан 26.10.92

Формат 60×90 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать офсетная.
Усл. печ.л. 17,0. Усл. кр.-отт. 17,4. Уч.-изд.л. 23,0. Тираж 1000 экз.
Заказ № 2116

Отпечатано в Московской типографии № 2 ВО "Наука".
121099, Москва, Шубинский пер., д. 6

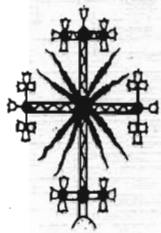
ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ

Исследования в области балто-славянской духовной культуры: Загадка как текст. 2

Второй том коллективной монографии содержит разделы, связанные с проблемами космологической загадки (*В.Н. Топоров.* "Второе" происхождение — загадка в ритуале (ведийская загадка типа *brahmodya*: структура, функция, происхождение); *Т.М. Судник.* Об одном типе космологических загадок; *Л.Г. Невская.* Печь в фольклорной модели мира). Развиваются темы сопоставления различных паремий (*И.А. Седакова.* Эпитет в структуре и семантике болгарских пословиц и загадок (опыт сравнительного анализа)), функционирования загадки (*Л.Н. Виноградова.* Ритуальный контекст загадки) и другие.

Исследования в области балто-славянской духовной культуры

Загадка как текст
1



Исследования духовной культуры Загадка 1